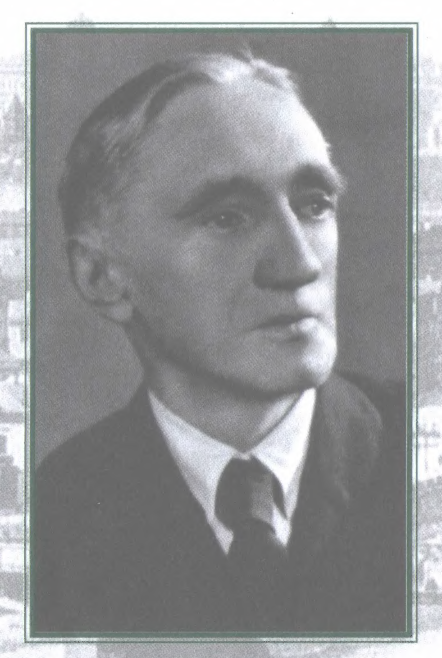


Н.М. Солнцева

ИВАН ШМЕЛЁВ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Н.М. Солнцева

ИВАН ШМЕЛЁВ ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Памяти моих родителей
Анны Дмитриевны
и Михаила Сергеевича
Шершнёвых



И.С. Шмелев

Н.М. Солнцева

ИВАН ШМЕЛЁВ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Жизнеописание

Москва
Эллис Лак
2007

УДК821.161.1.09 Шмелев И.С.
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
С 60

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

В оформлении книги использованы иллюстративные материалы,
любезно предоставленные Российским фондом культуры и
Культурным центром «Дом-музей Марины Цветаевой»

Художник *В.М. Мельников*

ISBN 978-5-902152-45-3

I. *Предки*
Радости и страхи семейного уклада
Радости и страхи гимназиста
Первые пробы пера

Не было у Ивана Сергеевича Шмелева отца — выдающегося математика, матери — талантливой пианистки, не было среди его родни мистиков, философов, художников, действительных тайных советников, не текла в его жилах кровь князей Курбских, не принадлежал он по рождению ни к политической, ни к военной, ни к творческой элите.

Гуслицы — это юго-восточная часть Богородского уезда Московской губернии с прилегающими землями Рязанской и Владимирской губерний по реке Гуслице, притоку реки Нерской, которая впадает в Москву-реку. По одной из версий, название пошло от финского «kuusi», то есть «ель»: в начале второго тысячелетия население Гуслиц было смешанным, славянским и финно-угорским. По реке названо и село Гуслицы Богородского уезда, известное со времен Ивана Калиты. Оттуда идет род Шмелевых.

Эти места называли старообрядческой Палестиной. Там в XVII—XVIII веках селились беглые староверы. Из актов конца XVII века Иван Сергеевич Шмелев вычитал, что его предок во время тяжбы в Успенском соборе между старо-

обрядцами и новообрядцам в присутствии царевны Софьи учинил драку с соборным батюшкой. Жители назывались гусляками, они были носителями особого, гуслицкого, самосознания, которым многое объясняется в характере и образе жизни Шмелевых.

Гусляки — люди с достоинством, деятельные, предприимчивые, грамотные. В XVIII—XIX веках в гуслицких селах добывали глину, производили фаянсовую посуду, хлопчатобумажные ткани, занимались извозом, торговлей, хмелеводством, потому и родилась поговорка, записанная В. Далем: «У него в голове гусляк разгулялся». Гусляки делали лестовки (кожаные четки раскольников) и развивали иконопись, причем их заказчиками были и новообрядцы. В Гуслицах сложился свой стиль оформления книг — их переписыванием и украшением там занимались профессионально. Оформился и свой стиль рисованного лубка.

Прадед Ивана Сергеевича Шмелева, тоже Иван, был из государственных гуслицких крестьян. Прабабушка, Устинья Васильевна, состояла в родстве с Морозовыми, из которых вышел основатель династии Морозовых — Савва Васильевич. Прадед Иван перебрался в Москву в 1812 году. Он обосновался в Кадашевской слободе, что в Замоскворечье, — в районе купеческих особняков и каменных церквей. Замоскворечье — символ купечества. Здесь укоренился купец первой гильдии В.А. Кокорев, из старообрядческой семьи костромских торговцев; с его именем связана Большая Ордынка, Кокоревское подворье. Здесь были владения Шемшуриных и Жемочкиных. Отсюда купец Кумакин, дядя Достоевского по материнской линии. Тут благодаря прадеду Ивану жило несколько поколений Шмелевых.

Слобода названа по селу Кадашево, которое упомянуто в завещании великого князя Ивана Васильевича в 1504 году. Название пошло, очевидно, от старинного наименования мастеров полотняного ремесла, либо от *кадник*, *кадаш*, *ка-*

дыш — бочар, обручник, бондарь... «наехали кадаши, из Мещеры торгаши». Шмелев построил дом, а когда началась война с Наполеоном, он оставил в этом доме жену, детей и ушел на Воробьевы горы, где по ночам вместе с другими мужиками ловил французов. По семейному преданию, Устинья Васильевна как-то схватилась с французом-мародером, пытавшимся увести со двора корову, ее заступником оказался Наполеон, появившийся во дворе в нужное время. После войны прадед занялся плотницким делом, торговал посудным и щепным, то есть деревянным, товаром резной, токарной работы, а это могли быть чашки, миски , ложки, игрушки, складни и проч. Он накопил денег и стал подрядчиком.

Его сын, тоже Иван, дед писателя, продолжил семейное дело, расширил его — начал брать подряды на строительство домов и стал настолько уважаемым подрядчиком, что принял участие в строительстве деревянного Крымского моста. И не такое бывало: он взялся за дело, сулившее верные прибыли и почет, — за перестройку Коломенского дворца. Думал, что за это ему пришлют «кулек крестов», как написал его внук в «Автобиографии» (1913)[1] . Но Иван Иванович, человек, по всей видимости, с норовом, отказался дать взятку приемной комиссии, а в результате почти разорился. От коломенского проекта пришлось отказаться. Тогда он выломал дворцовый паркет, снял рамы и двери и пустил все это на ремонт отцовского дома в Кадашах. Иван Иванович оставил сыну Сергею три тысячи рублей ассигнациями и сто тысяч долга.

Сергей Иванович курса в Мещанском училище не окончил, проучился только четыре класса; он с пятнадцати лет помогал отцу и после его смерти продолжил подрядное дело, покупал лес, гонял с ним барки, сплавлял плоты, стал хозяи-

[1] Тексты И.С. Шмелева цитируются по изданию: *Шмелев И.С.* Собр. соч.: В 5 т. (доп. 6—8) / Сост. Е.А. Осьминина. М., 1998—2000.

ном большой плотницкой артели и держал банные заведения. Почти все московские бани строились по берегам рек, речек, проточных прудов. От Крымского моста до Воробьевых гор тянулись бани, купальни, портомойни, был устроен прокат лодок. Часть всего этого принадлежала Шмелевым и обеспечивала им доход. Шмелевский род вообще отличался хозяйственностью: двоюродный брат Сергея Ивановича, Егор Васильевич, владел кирпичным заводом на Воробьевых горах; правда, в 1894 году завод был продан.

Иван Сергеевич Шмелев, будущий писатель, родился 21 сентября (3 октября) 1873 года, в родовом шмелевском доме, что на Калужской улице, под номером тринадцать. Он появился на свет в пору расцвета семейного дела — домашний уклад был благополучен, устойчив, а детское ощущение райского бытия происходило от отцовского жизнелюбия.

У Сергея Ивановича было триста плотников — и они тоже были известны по всей Москве. Они выполняли такие престижные работы, как возведение лесов и помостов в храме Христа Спасителя. Азарта Сергея Ивановича хватало и на серьезные проекты, и на веселую безделицу. Он первым ввел в Москве ледяные горы. Алексей Михайлович Ремизов в «Центурионе», вошедшем в его книгу «Мышкина дудочка» (1953), писал: «Отец Шмелева заделался тузом на Москве за свои масленичные горы — понастроены были фараоновы пирамиды в Зоологическом и Нескучном. Долго потом купцы вспоминали в Сокольниках и на Воробьевых за самоваром шмелевские фейерверки»[2]. Сергей Иванович, как говорили раньше, ставил балаганы. Он упомянут как устроитель народных гуляний в «Юнкерах» (1933) Александра Ивановича Куприна. Его последним делом был подряд по построй-

[2] *Ремизов А.М.* Мышкина дудочка // *Ремизов А.М.* Собр. соч.: В 10 т. / Под ред. А.М. Грачевой. М., 2000—2003. Т. 10. С. 128.

ке трибун на открытии памятника Пушкину. Умер Сергей Иванович 7 октября 1880 года. Молодая, необъезженная лошадь сбросила его и протащила по дороге. Перед кончиной Сергей Иванович долго болел. Его похоронили на кладбище Донского монастыря. Ивану Шмелеву было тогда семь лет. Он наблюдал из окна, как траурная процессия двигалась к монастырю. Отца Иван обожал. Сергей Иванович стал героем его произведений. Когда в феврале 1928 года в парижской газете «Возрождение» был опубликован посвященный Куприну рассказ Шмелева «Наша Масленица», Константин Бальмонт 4 марта 1928 года написал автору: «Когда я читал его вслух, мы и плясали, и смеялись, и восклицали, и плакали <...> Это — чудесно. Это — родное. Мы любим Вашего отца. Я его вижу. Мы — силой Вашего слова были у него в гостях...»[3]

После смерти отца семья жила скудновато — остались долги. Но Шмелев вспоминал, что дома пекли ситный хлеб, по воскресеньям к чаю обязательно были пирожки — эти и другие привычки милой старины сохранила матушка. Ее звали Евлампией Гавриловной. Она была родом из купеческой семьи Савиновых, закончила институт благородных девиц. Выйдя замуж за Сергея Ивановича, родила ему шестерых детей: Софью, Марию, Николая, Сергея, Ивана, Екатерину. Овдовев, она в полной мере проявила жесткость характера и силу воли, взвалив на себя заботы о благополучии дома. Кормилась семья за счет принадлежавших Шмелевым бань. К тому же Евлампия Гавриловна еще сдавала третий и подвальный этажи дома. Родители Шмелева — из устроителей жизни. В матушке проявилась купеческая хватка. Шмелев, как это видно из его произведений, в частности из ста-

---

[3] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев / Вступ. ст., примеч., публикация К.М. Азадовского и Г.М. Бонгард-Левина // Наше наследие. 2002. № 61. С. 110.

тьи «Душа Москвы» (1930), не считал купечество темным царством, отдавал должное купцам в материальном и духовном строительстве Москвы, имея в виду галерею Третьяковых, художественные собрания Щукина и Цветкова, собрания древней иконной живописи Солдатенкова, Рябушинского, Постникова, Хлудова, Карзинкина, картинную галерею Морозова, библиотеку Хлудовых, бесплатные больницы — Алексеевскую, Бахрушинскую, Хлудовскую, Сокольническую, Морозовскую, Солдатенковскую, Солодовниковскую, а также богадельни, дома дешевых квартир, родильные приюты, училище для глухонемых, приют для исправления малолетних преступников.

Семья будущего писателя в известном смысле не была просвещенной, в доме, кроме старенького Евангелия, молитвенников, поминаний да в чулане на полках «Четьи Минеи» прабабушки Устиньи, других книг не было. Жизнь протекала по когда-то давно заведенному порядку.

Шмелевы хоть и приняли новую веру, но к сохранению религиозных обрядов и домашних устоев относились со старообрядческой строгостью. Обязательно соблюдались посты, постились также по средам и пятницам. Семья почитала святыни, посещала церковь, ходила на богомолье; еще маленьким Шмелев совершил паломничество в Троице-Сергиеву Лавру, принял там благословение от старца Варнавы — старец достал из кармана и дал ему крестик. Смысла церковных слов маленький Иван не понимал, а картинки с грешниками, шествующими по мытарствам, рождали страх и говорили о существовании жуткой тайны. Решающее духовное воздействие на него — еще при жизни отца — оказал плотник Михаил Панкратыч Горкин, по сути, его домашний воспитатель. Раньше таких, как Горкин, называли дядьками. Он утешитель и наставник маленького Ивана, он внушал впечатлительному мальчику мысль о том, что есть ангел-хранитель, что Господь его любит, что ветчину в пост есть греш-

но, что надо трудиться, что душа все равно как полевой цветик. Уже постаревший Шмелев писал о том, что душу его сотворили отец и Горкин.

Помимо церковного, Шмелеву с детства открылся мир балаганных сказок: амбары были завалены декорациями морей, китов, чудовищ, скелетов и прочего, что рождалось в головах художников с Хитрова рынка. Открылся ему и мир простонародный — плотников, бараночников, скорняков, сапожников, банщиков. Он рано услышал бойкую речь — тот народ, что стекался во двор, за словом в карман не лез. Шмелев вспоминал в «Автобиографии»:

«Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиванием и рубанки, и пилу, и топорик, и молотки и учили, как "притрафляться" к доскам, среди смолистого запаха стружек, я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и черные, из деревни привезенные лепешки. Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы о деревне, сказки и ждал балагурство. Дюжие руки ломовых таскали меня в конюшни к лошадям, сажали на изъеденные лошадиные спины, гладили ласково по голове. Здесь я узнал запах рабочего пота, дегтя, крепкой махорки. Здесь я впервые почувствовал тоску русской души в песне, которую пел рыжий маляр. "И-эх и темы-най лес… да эх и темы-най…" Я любил украдкой забраться в обедающую артель, робко взять ложку, только что начисто вылизанную и вытертую большим корявым пальцем с сизо-желтым ногтем, и глотать обжигающие рот щи, крепко сдобренные перчиком. Многое повидал я на нашем дворе и веселого, и грустного. Я видел, как теряют на работе пальцы, как течет кровь из-под сорванных мозолей и ногтей, как натирают мертвецки пьяным уши, как бьются на стенках, как метким и острым словом поражают про-

тивника, как пишут письма в деревню и как их читают. Здесь я получил первое и важное знание жизни. Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому народу, который все мог. Он сделал то, чего не могли делать такие, как я, как мои родные. Эти лохматые на моих глазах совершали много чудесного. Висели под крышей, ходили по карнизам, спускались под землю в колодезь, вырезали из досок фигуры, ковали лошадей брыкающихся, писали красками чудеса, пели песни и рассказывали дух захватывающие сказки».

Все так замечательно складывалось в его жизни, и все так его любили, а между тем уже в раннем детстве он узнал страх, потому что увидел страшное. Такое страшное, что жалость к человеку укоренилась в нем навсегда. Была Пасха 1877 года. Тогда началась Русско-турецкая война. Было солнечно и звонили колокола, маленький Иван гулял с няней и заметил, что у сарая столпились люди. Няня взяла его на руки, и он увидел чужих, они были безъязыкими, под лохмотьями старика он разглядел незатянувшуюся рану, сквозь которую проступала кость, у женщины вместо глаз были красные ямы. Тогда он узнал, что есть православные мученики, что царь начал войну с турками, чтобы турки не мучили христиан. Эти несчастные долго снились ему, и ужас вновь и вновь сковывал его сердечко. Второй раз панический страх овладел им в 1881 году: он услышал, что убили Александра II, что без царя всем грозит беда, что нигилисты всех будут резать.

Обучение наукам началось в частном пансионе сестер-француженок Верзес, располагавшемся недалеко от дома, на Полянском рынке. В одиннадцать лет Шмелев сказал «прощай» праздности вольной, его отдали в Первую гимназию, что у храма Христа Спасителя. Попасть туда оказалось делом нелегким, на шестьдесят вакантных мест было четыреста кандидатов. Приемный диктант по русскому языку он написал без ошибок, но на экзамене по арифметике сбивался и

робел. Хлопотать за него принялась крестная, Елизавета Егоровна, его дальняя родственница, сама в девичестве Шмелева. Проучился он там всего три месяца, с августа по ноябрь. В 1913 году Шмелев вспоминал: «Меня подавили холод и сушь. Это самая тяжелая пора моей жизни — первые годы в гимназии. Тяжело говорить. Холодные сухие люди. Слезы. Много слез ночью и днем, много страха». Уже в детстве накопились обиды и страхи, все, что в зрелые годы обернулось страстностью, непримиримостью и даже мнительностью.

Каждое утро маленький Иван шел по Якиманке, через Большой Каменный мост к Волхонке, к розовому огромному зданию за высокими чугунными воротами. Из-за своих рефлексий он был отстающим; разбирая «Птичку Божию», не мог определить сказуемое; получал колы и двойки, и смятение его разрасталось, застило весь свет. На перемене он ютился под пожарной лестницей на большом дворе; до него доносились запахи сыра, колбасы, слоек, он в одиночестве жевал в своем укрытии пустой розанчик — пятачка на гимназический завтрак дома не выдавали.

Матушка решила перевести его в другую гимназию — под номером шесть. Она находилась неподалеку от дома, в Большом Толмачевском переулке, в усадьбе графов Соллогубов, за чугунными воротами с литым фруктовым орнаментом. Собственно, посоветовал ей это сделать четырехклассник шестой гимназии некто Сережа Волокитин. Хотя бабушка и называла его пакостником, совету его вняли. Просторные классы сменили маленькие уютные комнаты, а в учебе Шмелев выказывал успехи. Из последних учеников стал чуть ли не первым. Он попал в свою среду.

На молебны в гимназию приходил дьякон Алексий, впоследствии старец, схимник Зосимовой пустыни. Он был литературно и философски образованным человеком, о котором учитель словесности Федор Владимирович Цветаев,

дядя Марины Цветаевой, преподаватель шестой гимназии и инспектор Московского учебного округа, говорил: «О, он *всего* Достоевского... пере-же-вал! И всего — Соловьева... и — всех "гностиков-хвостиков"... му-дрец!»[4]. За сочинения у Цветаева Шмелев получал в основном пятерки, за работу «Летний дождь в лесу» — пятерку с тремя плюсами. По русскому языку были четверки. По латыни получал тройки, но больше двойки, по немецкому — тройки. Вот фрагмент рассказа Шмелева «Как я покорил немца» (1934):

> Только Отто Федорыч, немец, ставил всё тройки с минусом. Как ни переводил ему любимые его каверзы — «он, казалось, был нездоров», «он, казалось бы, не был бы нездоров», даже — «он, не казалось бы, что будто бы будет нездоров»... как ни вычитывал Шиллера и Уланда, как ни жарил все эти фатер, гефеттер, бауэр и нахбар... — ничто не помогало. Он пучил стеклянные ясные глаза, и румяное, в пятнах, лицо его, похожее на святочную маску с рыжими бровями и бачками, сияло удовольствием: «ошень ка-ашо, драй!»
>
> Но почему же — драй?!
>
> «Руски ушенник не мошет полушайт фир, немецкий мошет!» Я ненавидел щегольский галстук немца — зеленый с клюковками, в розовых клеточках платочек, которым он вытирал потную лысину, тыкал в стеклянные ясные глаза, когда, растроганный, декламировал нам шиллеровскую «Лид фом Глокэр» или «Уранэ, Гросмуттер, Муттер унд Кинд ин думпфер Штубэ бейзаммен зинд»... — как накануне Троицы убило молнией четверых. «Жестокий, он притворяется добряком, он тычет в глаза платочком, чуть не рыдает даже: «Унд моэн ист... Файэртаг!..» — у, фальшивый!» Я вычитывал ему с чувством «Дер Монд ист ауфгеганген, ди гольдене Штернэ пранген» — драй и драй! — только 2-е место. <...> Я поклялся сжечь Кайзера и хрестоматию Бертэ.

---

[4] *Ильин И.А.* Собр. соч.: Переписка двух Иванов (1947—1950) / Сост., коммент. Ю.Т. Лисицы. М., 2000. С. 16.

Все же Шмелев закончил гимназию весной 1894 года, до медали ему не хватило полбалла.

Из детства сохранилось чувство безысходности, незащищенности перед насилием. Отца уже не было, и никто не мог помешать материнской деспотии. Матушка его... была она из матушек-командирш. То ли жестокосердие, то ли страх вдовы за будущее семьи побуждали ее пороть мальчика. Пороть, пороть, пороть. Порой его наказывали розгами по три раза в неделю. И так, что стыдно было идти в баню. В 1929 году Шмелев рассказал Буниным, как его пороли: «...веник превращался в мелкие кусочки»[5]. Евлампия Гавриловна не умела приласкать, она не была нежной матерью; бессильная в убеждении, в слове, она использовала верное, как ей казалось, средство воспитания. Возвращаясь из первой гимназии, мальчик заходил в часовню Николая Чудотворца у Большого Каменного моста — она была разрушена в 1930-е годы — и, жертвуя редкую копеечку, просил угодника, чтобы поменьше пороли; когда его, маленького, худого, втаскивали в комнату матери, он с кулачками у груди, дрожа, криком молился образу Казанской Богородицы, но за негасимой лампадой лик Ее был недвижим. В молитве — все его «не могу» и «спаси»... но мать призывала в помощь кухарку, когда он стал старше — дворника. В четвертом классе Иван, сопротивляясь, схватил хлебный нож — и порки прекратились.

Мать, сама того не желая, была для сына постоянным источником страха, именно из-за нее у подростка появился нервный тик. В письмах Шмелева к Ольге Александровне Бредиус-Субботиной, ставшей в эмигрантские годы его близким другом, он делился воспоминаниями о своем детстве:

---

[5] Устами Буниных: В 3 т. / Под ред. М. Грин. Франкфурт-на-Майне, 1981. Т. 2. С. 199.

И еще помню — Пасху. Мне было лет 12. Я был очень нервный, тик лица. Чем больше волнения — больше передергиваний. После говенья матушка всегда — раздражена, — усталость. Разговлялись ночью, после ранней обедни. Я дернул щекой — и мать дала пощечину. Я — другой — опять. Так продолжалось все разговение (падали слезы, на пасху, соленые) — наконец, я выбежал и забился в чулан, под лестницу, — и плакал[6]

Вряд ли он научился страдать и терпеть, скорее материнское воспитание стало причиной проявившейся позже страстности в отрицании насилия и неправды.

Обиды обострили впечатлительность, книги и театр развили воображение, влюбленности сформировали нежный внутренний мир. Он начал влюблялся уже с восьми лет. То это была Саша, то Тоня... Шмелев вымаливал у брата своей избранницы ее портрет и от переживаний, в ночной рубашке, босой, выбегал в морозные сени — чтобы умереть!

В гимназии Иван увлекся театром. Это была семейная традиция: театр обожал его дед и его дядя Павел Иванович. У Шмелева рано обнаружились вокальные данные — сначала альт, перешедший затем в баритон. Интерес к музыке развился под влиянием сестры Марии, учившейся в Московской консерватории: он слушал ее упражнения на фортепьяно и посещал консерваторские концерты. В пятом классе страстно увлекся оперой и каждый субботний вечер шел к Большому театру за билетами по тридцать пять копеек, на галерку, на пятый ярус; он выстаивал в очереди с десяти вечера до десяти утра — в любую погоду! Эти тридцать пять копеек он выпрашивал у матери за «пятерку», но он и сам начал зарабатывать деньги — уже в шестом классе занялся репетиторством,

[6] Письмо от 3.11.1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Роман в письмах: В 2 т. / Сост. Л.В. Хачатурян. М., 2003. Т. 1. С. 224.

и полученное за уроки вознаграждение тоже шло на билеты. Он знал весь репертуар театра Корша; чрезвычайно был увлечен игрой артистки Малого театра Е.К. Лешковской в «Старых годах» И.В. Шпажинского, в «Волках и овцах» А.Н. Островского, как вспоминал потом: «Не была красива, в жизни страшная неряха, всегда непричесанная, туфли на босу ногу, но… "Божией Милостью" талантище!»[7]

Еще одна ранняя страсть Шмелева — чтение. Как-то во дворе он увидел дворника, который по слогам читал потрепанную книжечку. Но это был не поминальник и не молитвенник, что казалось необычным для той среды. Мальчик понял, что есть другие книги, их откуда-то берут, и нужно научиться читать.

Сергей Иванович взял — не ради барыша, а чести ради — подряд на строительство «мест» для публики к открытию памятника Пушкину. Тогда семилетний Иван и услышал впервые о Пушкине. И хотя он еще не знал, что Пушкин — поэт, он стал для него своим и близким. Пушкин был постоянной темой разговоров в доме. Его образ долго ассоциировался в памяти мальчика прежде всего со смертельно больным отцом, с оставшимися в его кабинете пригласительными билетами на торжество освящения и открытия памятника. Из этих билетов он строил домики, потом стал учить стихи поэта наизусть. Он читал «Песнь о вещем Олеге» и плакал: жаль было и бедного Олега, и бедного коня. Однажды почтальон принес завернутое в рогожку фисташкового цвета полное собрание сочинений поэта. Тогда и случилось истинное открытие Пушкина. Но разгадан он был только в 1930-е годы.

На Калужской находилась книжная лавка Соколова. В ней не было дверей, и на ночь она закрывалась досками. В этой лавке в енотовой шубе сидел сам Соколов, обладатель ры-

[7] Письмо от 3.11.1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. С. 433.

жего, похожего на лисью морду, с утиным носом, лица. Соколов продавал дешевые книги, книжки-листовки, продавал и редкие издания, попадавшие к нему из Мещанской богадельни от скончавшихся там стариков. Благодаря этой лавке Шмелев познакомился с произведениями Толстого. О Толстом он впервые услышал от парильщика, старого хромого солдата, от которого всегда пахло вином и которому парившийся в шмелевских банях лакей из толстовского дома в Хамовниках подарил книгу «Чем люди живы». В бане же маленький Иван услышал историю о том, что за Крымским мостом живет граф Толстой, который сам ходит за водой, одевается по-деревенски, посещает простые бани за пятак. От рассказа «Чем люди живы» Шмелеву стало печально. Тогда он купил у Соколова книгу «Три смерти», от которой стало еще грустнее: «Помнится, я заплакал, как умирала березка. Но было и интересно: и в книжке разговаривали люди, — совсем как у нас на дворе, наши». У Шмелева даже зародилась мечта написать роман и отдать его на суд Толстому. Ему нравились «Казаки», но скучной показалась «Смерть Ивана Ильича». То ли в пятом, то ли в шестом классе гимназии, на Святках, все дни и ночи он читал «Войну и мир». Толстой притягивал его своей мощью. Уже в детстве Шмелев понял, что Толстой — не как все: раз на Рождество за чаем в доме Шмелевых один батюшка рассказал о произошедшем от гордыни «помрачении» ума Толстого — о его Евангелии, о новой, толстовской, вере. Впечатления о своем открытии Толстого Шмелев позже отразил в рассказах «Как я узнавал Толстого» (1927) и «Как я ходил к Толстому» (1936).

Из русских писателей в гимназическом возрасте Шмелев зачитывался М. Загоскиным, И. Крыловым, И. Тургеневым, В. Короленко, П. Мельниковым-Печерским, А. Чеховым, от которого воспринял «чувство народности, русскости, родного». Он знал наизусть лермонтовский «Маскарад»,

рано прочитал Г. Успенского и Н. Златовратского, и ему нравилось, что они описывали знакомую ему жизнь. От едкого слова М. Салтыкова-Щедрина он впадал в восторг. Заметим, однако, что постаревший Шмелев посчитал это слово неимоверным злом для России. Из европейских писателей любимыми были те, которые будоражили воображение, — Ж. Верн, М. Рид, Ф. Марриэт, Г. Эмар. Он увлекался Г. Флобером, Э. Золя, А. Доде, Ги де Мопассаном, Ч. Диккенсом и не любил Г. Гейне, не любил В. Гюго за очень уж скрытую в медлительной фабуле суть, И.В. Гете — за сухость.

О ранних литературных пристрастиях Шмелева можно судить по его автобиографическому рассказу «Как я встречался с Чеховым» (1934). На пруду в саду при Мещанском училище Чехов облюбовал для рыбалки место, которое мальчики-гимназисты считали своим, — так состоялось их знакомство; позже они вновь встретились в библиотеке Мещанского училища:

> Мне опять понравилось добродушное его лицо, такое отрытое, простое, как у нашего Макарки из бань, только волосы были не ежом, а волнисто зачесаны назад, как у о. дьякона. Вскидывая пенсне, он вдруг обратился к нам:
>
> — А, господа рыболовы... братья-краснокожие! — сказал он, с усмешливой улыбкой, — вот где судьбе угодно было столкнуть нас лицом к лицу... — выговорил он особенным, книжным, языком. — Тут мы, кажется, не поссоримся, книг вдоволь.
>
> Мы в смущении молчали, теребя пояса, как на уроке.
>
> — А ну, посмотрим, что вы предпочитаете. Любите Жюль-Верна? — обращается он ко мне.
>
> Я отвечаю робко, что уже прочитал всего Жюль-Верна, а теперь... Но он начинает допрашивать:
>
> — Ого! А Густава Эмара, а Фенимора Купера?.. Ну-ка, проэкзаменуем краснокожих братьев... Что читали из Густава Эмара?..

И я начинаю перечислять, как по каталогу, — я хорошо знал каталоги: Великий предводитель Аукасов, Красный Кедр, Дальний Запад, Закон Линча, Эльдорадо, Буа-Брюле, или Сожженные Леса, Великая Река…

— Ого! — повторил он значительно. — А что из Майн Рида прочитали? — и он хитро прищурился.

Я был польщен, что такое ко мне внимание: ведь не простой это человек, а пописывает в «Сверчке» и в «Будильнике», и написал даже книгу — «Сказки Мельпомены». И такой замечательный, спрашивает меня, знаю ли я Майн Рида!

Я чеканил, как на экзамене. <…> Он сказал — «вот знаток-то!» — и спросил, сколько мне лет. Я ответил, что скоро будет тринадцать. <…>

— Ого! — сказал он, — вам пора переходить на общее чтение.

Я не понял, что значит — «общее чтение».

— Ну-с… с индейцами мы покончим. А как Загоскина?..

Я ему стал отхватывать Загоскина, а он рассматривал в шкапу книги.

— А… Мельникова-Печерского?

Я видел, что он как раз смотрит на книги Мельникова-Печерского, и ответил, что читал «В лесах» и «На горах», и…

— «На небесах»?.. — посмотрел он через пенсне.

Я хотел показать себя знатоком и сказать, что читал и «На небеса», но что-то удержало. И я сказал, что этого нет в каталогах.

Конечно, читательские вкусы повлияли на его раннее творчество, а писать собственную прозу и стихотворения он начал в гимназии. Поздний Шмелев вывел закон: все, даже гении, в творчестве могут состоятся лишь под чьим-либо влиянием. Даже Пушкин, даже Лермонтов, даже Достоевский, поначалу напитавшийся от Бальзака, даже Мопассан — он что-то воспринял от Флобера, даже ранний Толстой был под влиянием Стендаля...

В первом классе Шмелева прозвали римским оратором — orator romanus. Он рано полюбил слово, а желание писать в нем развили гимназические сочинения. В третьем классе он увлекся романами Ж. Верна и написал поэму о путешествии учителей на Луну на воздушном шаре, сделанном из необъятных штанов латиниста, за что по решению педсовета был наказан. Юмористические стишки, сочиненные в пятом классе и посланные в «Будильник», не были пропущены. «Буди, буди, "Будильник", / Чтоб жизнь была, а не могильник»! Красным карандашом цензор начертал: жизнь не могильник, а Божий дар. Редакция подарила ему на память гранку, и он годился тем, что всего две строчки его стихов помещались на незаполненном листе бумаги. В пятом же классе он столкнулся с жесткой учительской цензурой: в сочинение о храме Христа Спасителя ввел цитату из пессимиста и бунтаря Надсона, за что получил кол, не был допущен к экзамену и остался на второй год. Он писал потом: «С тех пор я возненавидел и Надсона, и философию».

Положительная сторона этой драмы состояла в том, что Шмелев в итоге попал к другому словеснику — Цветаеву, предоставившему ему полную творческую свободу. Тогда же под влиянием романа Мельникова-Печерского «В лесах» он начал писать роман из эпохи XVI века. Под впечатлением от рассказа Успенского «Будка» он ночью, со слезами, написал рассказ «Городовой Семен»: одинокий городовой дружит с фонарщиком, обездоленным калекой, они мечтают переселиться в деревню, но городовой умирает, фонарщик в его честь зажигает на всю мощь фонари; яркий свет — это аллегория вечного света; но лопаются стекла фонарей, ясно, что фонарщика прогонят со службы, а новый фонарщик будет зажигать фонари вполсвета. Вот такой жалостливый сюжет, полный, как Пушкин бы сказал, сердца горестных замет — в нем есть и благородный порыв, и любовь к ближнему, и мировая несправедливость, и высокая аллегоричность.

Шмелев отдал рукопись в редакцию, ее ему, конечно, вернули. Редактор, запивая розанчик чаем и подмигивая автору на его гимназическое пальто, сказал что-то вроде: слабовато, но... ничего... Под влиянием Загоскина Шмелев писал роман об эпохе Ивана Грозного; был и другой источник вдохновения: он любил смотреть на дом Малюты Скуратова напротив храма Христа Спасителя. Под влиянием Толстого он взялся еще за один роман и написал его; название было «Два лагеря»; на чердаке прятал рукопись от сестры, но одна из тетрадей все-таки к ней попала — и он согласился с ее замечаниями. Герой романа — владелец сибирских приисков, он едет в глушь Н...го уезда, в имение сестры, там разворачивается интрига, в которой участвует обманщик управляющий — беглый каторжник. Шмелев решил показать роман Толстому. Мимо церкви Николы в Хамовниках, мимо пивоваренного завода, вдоль забора толстовской усадьбы он подошел к калитке, посмотрел на засветившуюся в мансарде лампу с зеленым абажуром, подождал и позвонил. Вышел сердитый дворник:

«Я растерянно показал ему тетрадки и сказал невнятно, что "графа Толстого бы..." Дворник посмотрел на тетрадки, на мою потертую гимназическую шубу...

— Много у нас графов... самого молодого вам?..

Я сказал, что мне надо знаменитого писателя графа Льва Толстого.

— Во-он кого вам!.. Нету их, уехали к себе в деревню... — и хотел затворить калитку.

Должно быть, мое лицо что-то ему сказало; он опять поглядел на синие тетрадки:

— По ихнему делу, что ли... сочиняете ли? Нету их, в Ясной они, там для их дела поспокойней. И графиня не велит таких бумаг принимать, не беспокоить чтобы.

В этот ужасный миг кто-то, голенастый и прыщавый, в гимназической фуражке и синей курточке, обшитой серым

барашком, ляпнул огромным комом в загривок дворнику, и меня залепило снегом. Дворник хлопнул калиткой, чуть не прихлопнул мою руку и погнался за голенастым: “ну, стой теперь, су-кин кот… я те покажу, чертов баловень!” — слышал я сиплый голос и топот ног. Я вытирал глаза и мокрый снег, а в глазах смеялось большеротое, некрасивое лицо щеголя гимназиста, — может быть ,“самого молодого графа”? Собака брехала яростно, рвалась и гремела цепь. В доме зажгли огонь, и сразу стемнело в переулке. У Николы-Хамовники печально благовестили к вечерне. А я продолжал стоять. Потянуло жареной рыбой с луком, по-постному. В голых березах, осенявших чудесный дом, лег желтоватый отсвет, — должно быть, из нижних окон. Глухо захлопало: затворяли ставни в невидном мне нижнем этаже» («Как я ходил к Толстому», 1936).

II. *Университет*
Ольга Александровна Охтерлони
У старца Варнавы
«На скалах Валаама»
Семейная жизнь
«Распад»
Литературные объединения
«Человек из ресторана»
Между Толстым и Горьким

В детстве Шмелев любил церковные праздники. Как все в семье, соблюдал посты, всенощные, обедни, а говенья воспринимал как увлекательный подвиг. Но в юношестве он утратил свою воцерковленность, к вере стал безразличен и отдал дань критицизму. Социалистом он не был, но «Народной воле» сочувствовал. Левизна умонастроений — знак времени, и в этом Шмелев мало чем отличался от русской молодежи. Уже в эмиграции прочитав «Автобиографические заметки» отца Сергия (Булгакова), он воспринял их как собственное откровение, как человеческий документ, отразивший искания современников, в том числе и его, Шмелева, отпадение от Церкви: Булгаков тоже родился в религиозной семье, «под кровом церковным», как он писал, но прошел через

«искушение в неверии»; среди причин безбожия он называл несогласованность личностного и религиозного, а также бурсачество, вытравившее детскую веру; кроме того, он писал о влиянии искушающей нигилизмом «интеллигентщины — судьбы и проклятия нашей родины»: интеллигентщина оторвала его от «почвы» и толкнула к борьбе с самодержавием; имеет отношение к Шмелеву и признание Булгакова в том, что его критицизм пробудился именно в среде внекультурной, что сделало его беззащитным перед «ядами интеллигентщины», привлекательными для человека, находящегося в поре «первоначальной невинности, святого варварства»; в булгаковских заметках Шмелев увидел себя, тем более что явными были совпадения биографического и эмоционального содержания; например, Булгаков писал: «Я еще помню из отрочества, как я, десятилетним мальчиком, горестно переживал убийство Александра II, со всей трогательностью этой кончины, еще усиливавшейся обликом Царя-Освободителя. Однако этот облик был совершенно вытеснен из памяти сердца политическим обликом его преемника и всем общим характером царствования Александра III»[8].

Интеллектуальные искания пришлись на время учебы на юридическом факультете Московского университета, куда Шмелев поступил в 1894 году. Вот его признание из очерка «У старца Варнавы» (1936): «Я питал ненасытную жажду "знать". И я многое узнавал, и это знание уводило меня от самого важного знания — от Источника Знания, от Церкви». Новым источником знания стали книжные прилавки на Моховой. Шмелев увлекся идеями Г. Бокля, который рассматривал историю цивилизаций с позиций материализма, а человеческую природу объяснял климатом, почвой, ландшафтом, питанием. Дарвинские концепции о генетической связи человека и обезьяны, о сотворении видов, естественном и искус-

[8] *Булгаков С.* Автобиографические заметки. Париж, 1991. С. 25—29.

ственном отборе, в целом органический детерминизм как принцип познания и систематизации мира — все это также было Шмелеву ново и чрезвычайно интересно. Он осмыслил ботанические идеи профессора Московского университета К.А. Тимирязева, дарвиниста, выразителя позиций естественно-научного материализма, познакомился с философией и социологией высоко ценившего дарвинское «Происхождение видов» позитивиста Г. Спенсера, с его теорией эволюционизма (тут трудно удержаться от искушения напомнить о выпаде В.В. Розанова: «Никакого желания спорить со Спенсером: а желание вцепиться в его аккуратные бакенбарды и выдрать из них 1/2»[9]). Шмелеву были интересны идеи другого социолога, а также этнографа — Ш. Летурно. Его привлекали труды И.М. Сеченова, его новая психология, изучение психики человека в контексте среды, естественно-научный анализ мозговой деятельности, учение о рефлексах, связь философских и естественных идей в сеченовском понимании человека. Наконец, он заинтересовался теоретиком индивидуалистического анархизма М. Штирнером, который уверял, что с самого рождения человек борется с миром и таким образом утверждает свою индивидуальность, а сам человек есть собственник идей, идеи же универсальные, такие как богобоязнь или благочестие, ущемляют его свободу.

Студент Шмелев впитывал эти идеи страстно, находил в них ответы на загадки мира и, по всей видимости, многое пытался осмыслить через толстовское учение. Позже он писал о своих мировоззренческих колебаниях: от религиозности к рационализму в духе шестидесятников, от рационализма к учению Л. Толстого. Причем сам Толстой к модным философским системам относился скептически; Летурно, например, считал ограниченным — это видно из его

---

[9] *Розанов В.В.* Опавшие листья // *Розанов В.В.* О себе и жизни своей / Сост. В.Г. Сукач. М., 1990. С. 207.

дневников, а Дарвин, по его мнению, создал глупую теорию, приравнял человека к животному и тем самым оправдал в человеке зло. Толстой верил в Бога, но полагал, что «и ложь, и истина переданы тем, что называют церковью», что «ложь и истина заключаются в <...> священном предании и писании»[10], тем самым еще в 1882 году предвосхитив неохристианские искания писателей и философов Серебряного века. В своем скептическом отношении к Церкви он утвердился после поездок в Киево-Печерскую и Троице-Сергиеву лавры в 1879 году. С тезисной краткостью он изложил свои позиции после отлучения его от Церкви в «Ответе на определение Синода от 20—22 февраля» (1901): «Верю я в следующее: верю в Бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что он во мне и я в нем. Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека – в исполнении воли Бога, воля же Его в том, чтобы люди любили друг друга <...> это увеличение любви <...> дает после смерти тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, и вместе с тем и более всего другого содействует установлению в мире Царства Божия. <...> Верю, что для преуспеяния в любви есть только одно средство: молитва, не молитва общественная в храмах, прямо запрещенная Христом (Мф. VI, 5—13), а молитва, образец которой дан нам Христом, — уединенная, состоящая в восстановлении в своем сознании смысла своей жизни и своей зависимости только от воли Бога»[11]. Неортодоксальным было и представление Толстого о существовании после смерти. В конце июня 1901 года его друг, духовно близкая ему М.А. Шмидт спросила

[10] *Толстой Л.Н.* Исповедь // *Толстой Л.Н.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1964. Т. 16. С. 156.

[11] *Толстой Л.Н.* Ответ на определение Синода от 20—22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма // *Там же.* С. 548—549.

его: разве после смерти она не соединится с Богом? Так, ответил Толстой, думают церковники, в то время как сама жизнь суть увеличение блага как следствие увеличения любви, и за гробом жизнь будет в основе своей такая же, «хотя и в формах теперь непостижимых для нас»[12].

Таким был интеллектуальный бульон, который напитал сознание Шмелева.

В 1896 году в университете ввели жесточайший устав — и на третьем курсе Шмелев отсидел две недели в Бутырской тюрьме за участие в демонстрации. Однако членом политических кружков он не был и, как вспоминал Алексей Ремизов в «Мышкиной дудочке», в университете держался белоподкладочников, сторонился нигилистов. Сам Ремизов, студент естественного отделения математического факультета, был арестован за участие в студенческой демонстрации в 1896 году, его выслали под надзор полиции в Пензенскую губернию, там вновь был арестован и провел в тюрьмах и ссылках шесть лет. Друг Шмелева по эмиграции, Константин Бальмонт, еще в гимназии увлекшийся, как Шмелев, идеей «Народной воли» и ставший, как Шмелев, студентом юридического факультета, за участие в 1897 году в студенческих беспорядках был выслан в Шую. Через два года, в феврале 1899 года, в студенческих беспорядках участвовал еще один студент юридического факультета — Максимилиан Волошин; его исключили и выслали из Москвы. Шмелев же исключения и высылки избежал, он продолжил учебу. Помимо юридических дисциплин, он слушал лекции по сравнительному языкознанию, по истории, а закончил университет с первой степенью, получив на выпускном экзамене высшую отметку.

В университете Шмелев стал писателем. В июльском номере журнала «Русское богатство» за 1895 год был напе-

[12] *Толстой Л.Н.* Философский дневник. М., 2003. С. 35.

чатан его рассказ «У мельницы». Замысел рассказа возник, когда Шмелев проводил лето перед восьмым, последним, классом за рыбной ловлей. Тогда же у старой мельницы он познакомился с каким-то глухим стариком. И старик этот, и расщепленные ветлы, и омут, и запустенье — все породило ассоциации и с пушкинской «Русалкой», и с мельником из «Князя Серебряного» А.К. Толстого. На заре ловил подлещиков, и вдруг — «что-то во мне забилось, заспешило, дышать мешало». Готовясь позже к экзамену на аттестат зрелости, он вдруг почувствовал, что это состояние вернулось, он как бы увидел плотину, омут, мельницу, глинистые обрывы. Рассказ был написан за вечер и явно под влиянием тургеневских «Записок охотника». Он отнес его на Тверскую, в «Русское обозрение». Редактором журнала был приват-доцент Московского университета А.А. Александров, в редакции царил дух основателя журнала К. Леонтьева, даже пальма в кабинете редактора — от Леонтьева. Рассказ, конечно, не стал явлением в русской словесности, в «Биржевых ведомостях» от 20 июля рецензент М. Полтавский (М.И. Дубинский) обозвал его неестественным и лживым. Художественных текстов Шмелев не писал до 1905 года.

В университетские годы в жизни Шмелева произошло чрезвычайно повлиявшее на его судьбу событие. 14 июля 1895 года он женился на Ольге Александровне Охтерлони. Она была на два года моложе его, родилась в Орле. Ее отец, Александр Александрович Охтерлони, участник Крымской и Русско-турецкой войн, умер в 1893 году. Дед по отцовской линии, генерал-майор Александр Романович Охтерлони, тоже участник Крымской войны, — шотландский дворянин из королевского рода Стюартов, потому на гербе был изображен чертополох и белый вереск; его отец приехал из Шотландии при Екатерине II. Бабушкой Ольги Александровны была русская дворянка Варвара Ивановна Безобразова.

Мать Ольги Александровны, Олимпиада Алексеевна, — из обрусевших немцев Вейденгаммеров. Она родила восемнадцать детей, но многие умерли в раннем возрасте. Дед Ольги Александровны по материнской линии, Алексей Иванович Вейденгаммер, жил в Москве, имел свой дом, был губернским секретарем, с 1857 года — председателем Московской гражданской палаты. Женат он был на дворянке Ольге Осиповне Серебряковой, бабушке Ольги Александровны.

Ольга Александровна училась в петербургском Патриотическом институте — благотворительном учебном заведении, в котором обучались дети военных. После окончания института она должна была стать сельской учительницей. На каникулы юная Охтерлони приехала погостить к родным, которые снимали квартиру в шмелевском доме. Тогда она и познакомилась с Иваном Сергеевичем. В романе «История любовная» (1927) он так описал ее портрет: «Тоненькая, стройная… бледное личико, робкие, узенькие плечи, совсем детские локотки, стягивающие вязаный платочек, словно ей холодно. Она взглянула, пытливо-скромно. Бойко закинутые бровки, умные, синеватые глаза. Они опалили светом… Залили светом — и повели за собой, в далекое»[13].

Увлечен ею Шмелев был еще в гимназии, в гости ходил каждый день, систематически пропуская занятия, и, чтобы избежать скандала, сам сочинял для гимназического начальства так называемые письма об отсутствии. Евлампия Гавриловна, конечно, вмешалась в их отношения, как она это умела, — решительно и жестко: Охтерлони было отказано в квартире. Но и этого показалось мало, и мать пошла на крайность — пожаловалась на сына в полицию. Уже постаревший Шмелев так описал Бредиус-Субботиной эту некрасивую историю:

[13] Предположение о том, что О.А. Охтерлони стала прототипом персонажа, высказано О.Н. Сорокиной в ее книге «Московиана. Жизнь и творчество Ивана Шмелева» (М., 1994. С. 37). Обращено внимание также на то, что описанная в «Истории любовной» встреча произошла ранее реальной.

> Дурак пристав позволил себе вызвать меня. Ну, и сцена была! Я сумел, мальчишка, устыдить его — «у полиции, надеюсь, более важные обязанности, чем мешаться в мои дела...» Мать заявила директору, все раскрылось. Грозило исключение. Заступился учитель словесности... — «нельзя губить исключительно даровитого мальчика!» <...> И — продолжал «бегать» к невесте — ! — да! да! Раз мать заперла шубу. В мороз я ушел в курточке. В 12-ом ч. ночи меня не впустили, заперли ворота дома. Через всю Москву я побежал к замужней сестре, 12 верст! — прибежал в 2 ч. ночи. Переполошил всех, — не замерз, л ю б о в ь согрела[14].

Когда Шмелев учился на первом курсе университета, Евлампия Гавриловна подобрала ему богатую невесту с приданым в 200 тысяч, особняком на Поварской, имением и дачей в Крыму. Сначала мать билась за образование сына, потом с таким же упорством — за его благосостояние, но тут ей пришлось смириться. Свадьба Ивана с Ольгой Охтерлони была устроена в усадьбе Евлампии Гавриловны, в селе Трахоньеве, что на Клязьме, в сорока верстах от Москвы.

Ольга Александровна была религиозна, что сыграло немалую роль в дальнейшем духовном становлении Шмелева. На одном полюсе его интеллектуальных исканий оказались Спенсер, Бокль, Штирнер, на другом — она. О религиозном воспитании детей, в целом о характере отношений в семье Охтерлони — Вейденгаммеров, во многом отличных от семьи Шмелевых после смерти Сергея Ивановича, можно судить по письму дяди Ольги Александровны по материнской линии, Виктора Алексеевича Вейденгаммера, который в 1900 году, в пятьдесят шесть лет, поступил в Оптину пустынь, был пострижен в рясофор в 1901-м, а в 1904-м был определен в число послушников пустыни. В 1911 году скон-

[14] Письмо от 20.10. 1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 178.

чалась мать Ольги Александровны, и она получит от дяди письмо:

Дорогая племянница, Оля!

Прости меня, пожалуйста, за такое громадное промедление ответом на твое хорошее письмо. Конечно, с самого дня получения известия (телеграммы) о кончине родной и дорогой моей сестры и твоей мамы ежедневно вынимается просфора о упокоении ее души, также и в Шамордине она поминается на каждой обедне. Молюсь я (но я плохой молитвенник), сестра Оля и все знавшие ее монахи Оптиной пустыни, я просил их об этом. Молитесь и вы о доброй, всегда забывавшей себя для вас и всегда болевшей о вас сердцем матери, ведь в этом (в молитве о ней) и выражается наша память и любовь к ушедшим от нас в другой мир близким и родным людям, и в этом выражается общение мира нашего с загробным, и она, сестра, тоже «там» молится за тех, кого любила, о ком болела душой в этом мире. Со смертью человек родится в жизнь будущего века, где царствует одна любовь, любовь вечна, она переходит за предел гроба. Знаю я, дорогая Оля, какое потрясающее впечатление производит смерть матери, и еще более знаю. Потерять мать, также любимого человека! Это такие факты, с которыми не может примириться ни ум, ни сердце, ни дух, ни тело: все болит и все протестует, и только вера в загробную жизнь, в свидание за гробом дает надежду на свидание, а при вере и надежде! Смерть! Где твое жало?! «Там» увидимся! — остается только подождать некоторое, хотя, может, и продолжительное время. И это-то время до желанного свидания и надо постараться прожить так, чтобы не совестно было встретиться «там». Мама твоя, конечно, любила тебя не менее других, но жила у других, потому что они более нуждались в ее помощи и потому у тебя ей было бы вполне покойно жить, но она не искала легкого покоя: всем жертвовала для детей. Мне случалось, дорогая Оля, говорить с ней о тебе. В материальном отношении она была покойна за тебя, но в другом отношении, в смысле веры, близости к Богу, принадлежности к православной Церкви, она очень болела о тебе

душою. Вот на это и обрати внимание, ведь она в этом отношении, также как и каждая мать, отвечает за детей перед Богом. Ведь не захочешь же ты увеличить за тебя ее ответственность! Ты любишь свою маму, вот и дай ей великое утешение, в этом выразится твоя память о ней и твоя любовь к ней, исполни ее сердечное желание, о котором она возносила усердные молитвы к Богу, будь ближе к вере, к Богу и Церкви. И я полагаю, что если она говорила со мною о тебе, то это обязывает меня сказать тебе все вышенаписанное и прибавить: не поддавайся неверию и всяким религиозным мудрствованиям — все это растлевает, убивает, отнимает бодрость, энергию и делает жизнь невыносимой, а вера без рассуждения, молитва по мере сил, близость к Богу и Церкви дает тишину и спокойствие душевное, делает человека энергичным, бодрым, бесконечно сильным, потому что «с нами Бог»! Великое благо и великая сила — вера и надежда на Бога: ничего не страшно и все можно перенести. Конечно, и там, за пределами гроба, мама твоя молит Господа о тебе и муже твоем, чтобы Господь привел вас к вере, к Церкви и православию.

Еще раз прошу извинить меня за мое долгое молчание, потому что я был страшно занят проектом гостиницы. Мне нужно было его кончить, а работы было много и голова совершенно забита, так что я не мог писать. Вообще я постоянно занят и сейчас опять приступаю к проекту богадельни, тоже будет очень много работы. Работы-то много, а заработок = 0, так как за труд ничего не поучаешь. Приехать на похороны я не мог, потому что меня бы все равно не отпустили. Шлю мой душевный привет тебе, Ивану Сергеевичу, крепко жму ваши руки, целую тебя и Сережу, и Ивана Сергеевича.

Да хранит вас Господь, желаю милости Божией и всякого благополучия.

Кланяюсь всем. Ваш дядя В. Вейденгаммер[15].

---

[15] Цит. по: *Любомудров А.М.* Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Борис Зайцев. Иван Шмелев. СПб., 2003. С. 265. *Сестра Оля* — монахиня Шамординской обители О.А. Лихачева; слова о смерти любимого человека относятся к умершей жене Вейденгаммера; упомянутый в конце письма *Сережа* — сын Шмелевых.

Возвращение Шмелева к Церкви, переоценка мировоззренческих аксиом — все это случилось не без влияния жены, которое было совершенно очевидным для людей, окружавших писателя. Например, об этом в статье «Религиозный путь И.С. Шмелева» (1950) писал близкий Шмелеву в эмиграции философ Антон Владимирович Карташев.

В августе 1895 года, по инициативе Ольги Александровны, молодожены отправились путешествовать в Валаамский Преображенский монастырь на северо-западе Ладоги. Перед путешествием было решено получить благословение у старца Варнавы в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры. В очерке Шмелева «У старца Варнавы» читаем: «Подходим. Бокль, Спенсер, Макс Штирнер... — все забылось. Я как будто прежний, маленький, ступаю робко... — “благословите, батюшка, на путь...” <...> Смотрит *внутрь*, благословляет. Бледная рука, как та, в далеком детстве, что давала крестик. Даст и теперь?.. — “А, милые... ну, живите с Господом”. Смотрит на мой китель, студенческий, на золотые пуговицы с орлами... — “служишь где?”— Нет, учусь, учусь еще. Благословляет. Ничего не скажет? Надо уходить, ждут люди. Кладет мне на голову руку, раздумчиво так говорит: “превознесешься своим талантом”. Всё. Во мне проходит робкая мысль: “каким талантом... *этим*, писательским?” Страшно думать».

Думать было страшно, но через два года, в 1897-м, была опубликована первая книга Шмелева — путевые очерки «На скалах Валаама», написанные по впечатлениям от паломничества. Шмелев рассказал в них о своей радости от увиденного в обители; он писал о духовной силе монахов, об их расположенности к труду — монах работает для Бога. А еще хорошо то, что в монастыре человеческое не затирается и среди монахов унылых нет. Насельники сильны идеей, и пока она жива, их духовная община не переродится в простую ар-

тель. Но суровы правила устава… и по звонку ходи, и клобук в положенный час снимай… все-таки монастырская дисциплина обезличивает… Шмелев — мирской человек, и монахи ему представляются словно живыми мертвецами: иноки молятся — и думают о смерти, они мир оставили, а в Шмелеве сильна укорененность в заботах суетного света, он даже ироничен и по отношению к монашескому плотскому аскетизму, и по отношению к паломникам — любопытствующим купцам.

Он по-толстовски ценит во всем сущем силу жизни и не понимает самоотречения от живой жизни. По Толстому, «есть одно средство любить Бога: оно состоит в том, чтобы любить себя, свое божественное "я", так же, как мы любим свое телесное "я", т.е. жить для этого "я", руководиться в жизни его требованиями и потому ничем не огорчаться, ничего не бояться и все считать для себя (этого "я") возможным»[16]. Шмелев влюблен, в нем силен инстинкт жизни, и ему в мире радостно. От слов монаха о рае, который лучше земной жизни, о необходимости печься о душе и не давать ее во власть врагу человеческому, на автора очерков повеяло мраком могилы.

В отношении Шмелева к Валаамским насельникам было много общего с настроениями интеллигенции того времени. Например, Василий Васильевич Розанов в 1906 году записал такую мысль: монастырь суть «длинная мантия гроба»[17], и гроб этот монастырем преображается в поэзию и метафизику. В 1908 году были опубликованы близкие по жанру шмелевской книге путевые очерки Михаила Пришвина «За волшебным колобком», автор которых к вере тоже относится своеобразно. Соловки в его понимании святая земля, но… «…я верю в это лишь в то время, когда кормлю с богомольцами чаек. А как только прихожу в монастырскую келью и

---

[16] *Толстой Л.Н.* Философский дневник. С. 42. Запись 26.12.1901.

[17] *Розанов В.В.* Таблица вопросов религиозно-философских // *Розанов В.В.* Собр.соч.: Около церковных стен / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. М., 1995. С. 493.

особенно в свой отдельный нумерок, то сейчас же все исчезает. Хочу писать о чем-то высоком, а выходят анекдоты...»[18]. Встретившийся Пришвину богомолец говорит, что старцы теперь не те стали, слабые.

«На скалах Валаама» Шмелев отнес в «Русское обозрение». Через месяц он вновь был в редакции. Тот же усатый швейцар, та же леонтьевская пальма, тот же леонтьевский стол, тот же редактор. Рукопись брали при условии внесения некоторых исправлений: и редакция, и цензура не могут согласиться с авторской трактовкой монашеского аскетизма. Шмелев отказался от какой-либо правки и рукопись забрал. Его не соблазнил даже гонорар: редактор посулил четыреста рублей за журнальную публикацию и сто рублей за триста оттисков в виде книжечки.

Книгу все-таки издать удалось — за счет автора и без предварительной цензурной правки. Но тираж был задержан по распоряжению обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева. Шмелева вызвали в Цензурный комитет на Кисловке. Он смотрел на одутловатое лицо князя Н.В. Шаховского и слушал его цензорский приговор.: «Вы... автор? Это что же, пикник из Валаама устроили? Не возражайте. Так нельзя-с. И порнография... Да позвольте, у вас бабы моют в банях... мужчин! Ну, не на Валааме... еще бы вы — на Валааме! В Финляндии, но в книжке о Валааме! И про пьяных купчиков и девок...» («Первая книга», 1934). По всему цензорскому экземпляру книги были сделаны пометки красным карандашом. Следующая встреча автора и цензора прошла за вечерним чаем, и цензор уже напоминал доброго дядю. И вообще он человек приятный... и коньяк в чай предлагает... и кабинет его весь в книгах... и запрещенные книги показывает... И уже не так больно соглашаться на сокращение в двадцать семь страниц. Правка шла с трудом и растянулась на

---

[18] *Пришвин М.М.* Собр.соч.: В 8 т. М., 1982. Т. 1. С. 250.

четыре вечера. Да, собственно, деваться некуда — книгу просто запретят. Хороший человек князь Шаховской...жаль, погиб при взрыве на Аптекарском.

Тираж книги составил 2400 экземпляров. Книга разошлась по России, но в Москве раскупалась плохо. В конце концов Шмелев за гроши продал ее букинисту. В шестом номере журнала «Новое слово» книгу обругали фельетонной болтовней, но все-таки отметили и наблюдательность, и искренность, и впечатлительность автора. Появились благоприятные отзывы в «Русском богатстве» и «Русской мысли». Однако на поступившее перед войной предложение о переиздании Шмелев отказался. Один экземпляр он послал на Валаам, игумену о. Гавриилу. В 1935 году Б. Зайцев, приехавший на Валаам, обнаружил книгу в монастырской библиотеке, ее любезно через Зайцева о. Иувиан переслал Шмелеву. В том же 1935-м Шмелев существенно переработал материал, по сути написав новую книгу «Старый Валаам», в предисловии к которой признался: первая книга принесла ему и радость, и тревоги и была слишком легкая.

В университетские годы в жизни Шмелева произошло, пожалуй, самое значительное в его судьбе событие — в 1897 году, с шестого на седьмое января, у него родился сын, которого назвали в честь деда Сергеем. Из письма к Бредиус-Субботиной от 18 января 1942 года:

> Мороз был. В комнате было градусов 10, горела «молния». Окна в ледышках. Я ездил за акушером, роды были трудные. Оля вся померкла, много потеряла крови. Был миг страшный. Вливали физиологический раствор. Помню крик, первый крик мальчика. Буренько тельце, все напряженное... Увидел — маль-чик, м о й! И — заплакал. Сидел у библиотечного шкафа. Доктор: «поздравляю, отец-студент! Мальчик — на диво. Будет в свое время петь «Гаудеамус игитур!» Утро, окошки в ледяных пленках, розы от солнца. Оля, спокойная, слабая,

в белой кофточке, кружевной, в меховой накидке. И... мальчик, уже у груди ее... у м е е т! Чудо[19].

Шмелевы жили крайне стесненно. Из унаследованных от отца десяти тысяч рублей на восемь тысяч Шмелев купил ценные бумаги акционерного общества Ярославской железной дороги, но оно претерпело крах — и деньги были потеряны. Порой семья питалась одной печеной картошкой. После занятий в университете Шмелев чуть ли не каждый день занимался репетиторством, давал по два, а то и по три урока, пешком добираясь от Калужской улицы до Красных Прудов или на Землянку. Уроки приносили пятнадцать-двадцать рублей в месяц, и когда он получал деньги, то, после недельного картофельного меню, покупал что-нибудь этакое. Ананас, например.

Окончив в 1898 году университет, Шмелев отбыл воинскую повинность в звании прапорщика запаса, и потому летом семья жила в Петровско-Разумовском — около военного лагеря. Отслужив год, он поступил в московскую адвокатуру, работал успешно, подавал надежды. Уже первая казенная защита в Окружной палате была выиграна с блеском: он добился оправдания рецидивиста, совершившего три преступления — кражу железных балок со стройки, побег из тюремной больницы, отлучку с места приписки. Адвокат убедил судей в том, что кража балок была не преступлением, а озорством, и обвиняемый априори знал, что кража не удастся.

Шмелев был нетерпелив, а служба в адвокатуре связана с постоянными ожиданиями — то клиента, то слушания дела, то решения и проч. К тому же ему не поручали серьезных дел; лишь однажды ему довелось вести солидное дело, которое он выиграл. Ожидание было невыносимым еще и потому, что постоянно не хватало денег. Кроме того, в самом

[19] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 444.

адвокатском деле он видел какое-то лукавство. Адвокатуру он оставил и решил поработать в провинции.

С 1901 по 1907 год Шмелев служил чиновником по особым поручениям Владимирской казенной палаты, по сути являлся налоговым инспектором. Жили Шмелевы во Владимире, но по роду занятий он ездил по глубинке. Так он узнал уездную Россию, увидел деревенскую жизнь, наблюдал провинциальное чиновничество, мелкопоместное дворянство, фабричный народ. Из владимирской глухомани он вынес впечатления для рассказов «По спешному делу» (1907), «Гражданин Уклейкин» (1908), «В норе» (1909), «Под небом» (1910), «Патока» (1911). Сам он ничего тогда не писал, но, останавливаясь у народных учителей, лесничих, священников, фабрикантов, инспекторов, акцизников, многое читал из их домашних библиотек, а это были Д. Мамин-Сибиряк, П. Мельников-Печерский, Н. Лесков, А. Чехов, Вас. Немирович-Данченко, А. Амфитеатров, который привлек Шмелева своим языком — языком улиц, трактиров, трущоб, канцелярий, светских салонов.

После истории с книгой «На скалах Валаама» Шмелев восемь лет не брался за перо — «не исполнилась душа» («Первая книга»). В «Автобиографии» он вспоминал, как в августе 1905 года долго бродил по лесу, увидел журавлиный косяк, летящий к солнцу, подумал, что вот и осень надвигается, и вдруг почувствовал в себе желание переломить ход жизни. Вечером, в тот же день, ощутил потребность писать — и в один вечер создал рассказ «К солнцу» — душа «исполнилась». «К солнцу» — рассказ для сына. Шмелев отправил его в журнал «Детское чтение», где он и был опубликован в 1907 году. Потом появились «Служители правды», «Гассан и его Джедди» (1906), «В новую жизнь» (1907). Он писал для детей, писал о животных, птицах, о человеческой природе, склонной и к жестокости, и к состраданию, о бескорыстии и беззащитности зверя. Например, о беговой лошади, которая

выигрывает приз ради своего жокея («Мэри», 1907). Или о раненом ястребе, к которому охотник испытывает жалость и которого он так и не смог спасти («Последний выстрел», 1908). Удивительно, что и с самим Шмелевым позже случилось похожая история: он, Ольга Александровна и сын жили у монастыря под Серпуховом, ястребы унесли его любимую, выведенную им в инкубаторе белую курочку, он принялся стрелять по ястребам — и далее события протекали точно так же, как в рассказе. Герой другого рассказа — ирландский сеттер, он раздражает пассажиров парохода, но вызывает их сострадание, оказавшись за бортом судна («Мой Марс», 1910).

С 1906 года Шмелев начал писать для взрослого читателя, в «Русской мысли» появились его рассказы «Вахмистр», «Жулик», «По спешному делу». Тогда же и там же была опубликована его повесть «Распад (Из воспоминаний приятеля)».

Воспоминания приятеля — литературная мистификация. Материалом для повести послужили воспоминания о собственной жизни. Шмелев начал писать в традиционной реалистической манере, в «Распаде» он бытописатель. Модернистские искания Серебряного века «Распада» не коснулись. Не было никакой лиризации прозы, не было особой музыкальности, фонетической пикантности, намеренных инверсий, ассоциативности, двусмысленностей, недоговоренностей. Язык Шмелева не был изощренным, но он был метким, убедительным, мускулистым.

Сюжет — череда фрагментов из жизни купца из Замоскворечья Захара Хмурова, дяди рассказчика, семилетнего мальчика, в котором угадывается сам Шмелев. Хмуров — владелец кирпичного завода, у него грубый нрав, он необразован, обсчитывает кирпичников, он сын своей матери — бабки Василисы, которая держит двух коров и продает молоко собственной семье. Прообразом Василисы была жена двоюродного деда Шмелева — Надежда Тимофеевна. За-

хар был срисован с двоюродного дяди — Егора Васильевича.

К чести автора, купеческая жизнь не показана темным царством Кабаних и Диких, в «Распаде» описаны трагедия и счастье Хмурова-отца. Шмелев в этой повести открыл свою тему — отцовство. Его занимает не столько куражливость Хмурова, сколько страх за жизнь заболевшего скарлатиной сына Лени или ликование по поводу того, что сын получил образование и на отцовском заводе сам ставит печь. Но Леня — новый человек, безбожник, нигилист, он изготавливает бомбы; не желая быть арестованным полицией, он кончает жизнь самоубийством — принимает яд.

Шмелеву жалко и Хмурова, и его сына. Писателю уже тесно в рамках социальной проблематики — над всеми страстями и идеями он ставит свою любовь к человеку. «Распад» — одно из тех произведений, начиная с реалистической повести «Мать» (1907) М. Горького до символистского романа «Петербург» (1912) А. Белого, в которых социальные потрясения проецировались на отношения детей и родителей. И «Мать», и «Петербург» появились после «Распада». И все же горьковское присутствие в произведении Шмелева очевидно. Сама тема нового сознания детей, их выламывания из собственной среды прозвучала много раньше — в 1899 году была опубликована повесть Горького «Фома Гордеев»: молодой купец не видит смысла в традиционном купеческом укладе, в деньгах как пути к власти, в итоге он сломлен купеческой средой. Родственность текстов есть, но среда у Шмелева «не заедающая», мир не поделен на плохих и хороших, своя трагедия достается и самодуру-купцу, и нигилисту. Рассказчик размышляет: что же страшного в нигилистах, если Леня среди них? ...просто в доме ничего о них не знают... их напрасно боятся. Уклад купеческого дома порушен, жизнь семьи съехала с наезженной колеи; через три года дела Захара пришли в упадок, его разбивает паралич, новый

владелец разрушает старый деревянный дом и строит каменный.

Шмелев написал «Распад» в пору первой русской революции. Заметим, он не осудил и не оправдал своего нигилиста. Каким было отношение Шмелева к революции 1905 года? Романтическим, и в этом — традиция русской интеллигенции. Например, столь привлекавший Шмелева в более поздний период жизни К. Леонтьев, религиозный мыслитель, идеолог панславизма, вспоминал о себе: «*Даже и революция* мне нравилась; но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только романтическая, эстетическая сторона этих революций: опасность, вооруженная борьба, сражения и "баррикады" и т.п. О *вреде* или о пользе революций, о последствиях их я думал в те молодые годы гораздо меньше. Почти совсем не думал»[20]. Понимание Шмелевым первой русской революции не было партийным, его увлекала стихия всеобщего подъема, он услышал в героических и трагических событиях того времени пробуждение жизни. Критик В. Львов-Рогачевский вспоминал, как Шмелев говорил ему о том, что движения 1900-х дали ему новые ощущения: «Я чуял, что начинаю жить»[21]. Рассказчик «Распада», сочувствуя жертвам трагедии, тем не менее пишет: «Я смотрю и не печалюсь: пусть… Все пришло и уйдет, и на смену незаметно проглянет новое…».

Шмелев писал о людях, униженных жизнью. В «Распаде» были и обманутые рабочие, и сын сапожника Васька, который умер, потому что не было денег на его лечение. Под впечатлением революции были написаны «Вахмистр», «Иван Кузьмич», «Гражданин Уклейкин». Однако в этих рассказах нет и следа революционной страстности. Шмелев сочувству-

---

[20] *Леонтьев К.* Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // *Леонтьев К.* Записки отшельника. М., 2004. С. 5.

[21] *Львов-Рогачевский В.* Новейшая русская литература. М., 1927. С. 276.

ет и наблюдает, он не готов принять ту или иную сторону, и в этом он не похож на автора «Матери». Один его герой, жандарм, видит на баррикадах своего сына и переходит на сторону восставших; у другого героя во время уличных столкновений погибает племянник — так пресекается его род; третий его герой, пьяница-сапожник, не понимает смысла революционных речей... Шмелев, как Розанов в «Опавших листьях» (1913), будто задавался вопросом: есть жалость в мире? смысл есть... а жалость?

В судьбе самого Шмелева куда значительней оказалась не пережитая Россией революция — в ней он занял позицию неучастия любопытствующего наблюдателя, а личная жизнь, его новый статус — он стал писателем. Он оставил службу, и семья вернулась в Москву. Отныне Шмелевы жили на гонорары. Получая их, он испытывал сладкое удовольствие от траты денег в хороших магазинах, ему нравилось быть расточительным, и он покупал у Елисеева закусок на двадцать человек, у Эйнема — шоколад.

Шмелев вошел в круг литераторов, был принят в знаменитое в XIX веке Общество любителей российской словесности, в котором состояли и Пушкин, и Толстой, и Фет, и Тютчев, и Тургенев, и Хомяков, и многие другие блистательные писатели и мыслители. В начале XX века Общество уже не играло той значительной роли в гуманитарной жизни России, как это было прежде, но в его составе были яркие на литературном Олимпе фигуры: Чехов, Андреев, Бунин, Зайцев,Вересаев, Горький, Мережковский, Бальмонт, Брюсов, Белый... О членстве Шмелева в Обществе говорится в воспоминаниях Бориса Зайцева «Былое»: «Но свое вступительное чтение хорошо помню, несколько позже, в 1909 году. Так полагалось: новичок должен произнести речь или прочесть что-нибудь свое <...> ненарядны, но основательны, прочно-интеллигентского тона были и слушатели — верней слушательницы, больше немолодые дамы просвещенного круга, профес-

сора. Из писателей помню И.С. Шмелева, тогда еще не члена Общества — его выбрали позже»[22].

С 1909 года он стал участником образованного еще в 1899 году по инициативе Николая Дмитриевича Телешова литературного кружка «Среда», в котором объединились демократически настроенные писатели, и среди них Л. Андреев, И. Бунин, В. Вересаев, М. Горький, Б. Зайцев, А. Куприн, С. Скиталец, А. Серафимович. Шмелев среди этого блистательного писательского собрания не чувствовал себя неофитом и, не мысля гордый свет забавить, проявлял неуступчивость к замечаниям в свой адрес. Вот фрагмент из воспоминаний Веры Николаевны Муромцевой-Буниной о небольшом конфликте Шмелева и Бунина, о столкновении писательских амбиций:

> Не помню точно числа, когда я впервые увидала Шмелева, но помню ярко тот вечер, когда я познакомилась с ним у Малаховых.
>
> Хозяин дома, драматург Разумовский, собрал московских писателей на пьесу Шмелева. Была ли это «Среда» или просто литературный вечер? В памяти встают уютная квартира во втором этаже (по-русски) деревянного дома, гостеприимные хозяева, обильный ужин с горячими закусками. Но ярче всех я вижу Ивана Сергеевича Шмелева. Небольшого роста, с нервным асимметричным лицом, с волосами ежиком, с замоскворецкими манерами, он произвел впечатление колючего и самолюбивого человека. Видимо, он волновался и был рад приступить к чтению. Содержание пьесы выпало у меня из памяти, но, вероятно, что-то из военной жизни, так как один герой был денщик. Ян после чтения сказал:
>
> — Вот у вас денщик говорит: «Так что, ваше благородие» — уж очень это истрепано, во всех анекдотах…
>
> Шмелев неприятным тоном:

[22] *Зайцев Б.* Собр. соч.: В 11 т. / Сост. Т.Ф. Прокопов. М., 2000. Т. 9. С. 366—367.

— А что ж, ему по-французски, что ли, говорить прикажете?

Было не в обычае услышать такой тон среди писателей. Конечно, у Яна пропала охота делать дальнейшие замечания[23].

В 1910 году возникло объединение «Молодая среда», возглавляемое Юлием Алексеевичем Буниным. В его составе насчитывалось сто четыре литератора, и среди них И. Бунин, Б. Зайцев, В. Новиков-Прибой, А. Серафимович, А. Соболь, Н. Телешов, А. Толстой. Шмелев также член этого объединения.

Кроме того, в 1910 году он вошел в товарищество «Знание». Оно было создано в 1898 году, но особенно заявило о себе с приходом Горького в 1900 году; в 1902-м шесть пайщиков продали ему свои доли, и в товариществе осталось два полноправных члена — К.П. Пятницкий и Горький, вклад первого составил сорок тысяч рублей, вклад второго — девяносто тысяч. По сути, литературную политику товарищества определял Горький, начиная с 1904 года он издавал «Сборники товарищества “Знание”», современные беллетристы получили возможность выпускать в свет свои книги в издательстве товарищества, а это пятьсот томов большими тиражами; авторы получали гонорары более высокие, чем в других издательствах. Шмелев тоже стал знаньевцем, и его творчество идейно и эстетически как нельзя лучше соответствовало демократической и реалистической, антидекадентской направленности писателей этого круга. «Знание» прекратило свое существование в 1913 году, причиной стали разногласия Горького и Пятницкого в ведении издательских дел.

---

[23] *Муромцева-Бунина В.Н.* Встречи с писателями в 1907—1908 гг. // *Муромцева-Бунина В.Н.* Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 1989. С. 415—416. *Ян* — И.А. Бунин.

В январе 1910 года Шмелев отправил Горькому рассказ «Под горами» с просьбой опубликовать его в «Сборнике товарищества “Знание”». Рассказ появился в том же году в XXXI сборнике. Горький знал Шмелева по его прежним произведениям, читал он и его «Распад». Он не только поддержал Шмелева, но и попытался придать его прозе то русло, которое сам считал нужным для литературного процесса того времени. Подчеркнув в рукописи рассказа неудачные, с его точки зрения, обороты, он обнадеживал автора: у него есть свой язык, и язык этот разовьется, только надо избегать вредных влияний. Он писал ему: «Искреннейше советую: избегайте сологубовской слащавости и андреевских устрашений! В этом рассказе у Вас и то и другое пущено, к невыгоде Вашей»[24]. Упоминание Андреева, писателя тогда чрезвычайно модного, имело свою предысторию: в 1907 году ему было предложено редактировать сборники «Знания», он потребовал прекратить издавать демократическую публицистику и привлечь к сотрудничеству модернистов; Горький, конечно, не согласился, а Андреев от редактирования отказался. Горький, высказывая Шмелеву свои пожелания, проявлял корректность и предупредительность, в его фразах не было ничего, что могло бы спровоцировать автора рассказа на строптивость. Никаких, в бунинской манере, колкостей по поводу анекдотов и истрепанных фраз, напротив:

> За советы же — извините меня, если они неприятны Вам. Поверьте, что у меня нет желания выступать перед Вами в роли унтер-офицера от беллетристики. Я просто — человек, влюбленный в литературу от юности моея, и всегда хочу видеть ее сильной, простой, ласковой, честной, красивой и еще красивой![25]

---

[24] Переписка М. Горького: В 2 т. / Под ред. Н.К. Гея. М., 1986. Т. 1. С. 411.
[25] *Там же.*

Письмо было написано 22 февраля 1910 года. В ноябре того же года умер Толстой. Горький, конечно, еще не был патриархом, хотя словечко «подмаксимовики» вошло в литературный обиход. Шмелев был искренне благодарен Горькому, он принял его замечания, тем более что сам избегал стилевой вычурности. В 1910 году через посредство Горького в «Знании» вышло отдельное издание книги Шмелева «Рассказы». Шмелев находился под обаянием Горького, он писал ему в 1911 году о том, что если ему и суждено сеять разумное и доброе, то обязан он будет ему, Горькому.

Но при всей признательности Горькому Шмелев все-таки шел своим путем. Он хотел писать о родном. Все настойчивее в его прозе проявлялась тема, ставшая впоследствии для него главной: он писал о русском, вкладывая в это понятие свои представления и о бытовой культуре, и о народной духовности. Через семнадцать лет в письме к своему другу философу И.А. Ильину он определил русскость как «высокую и одухотворенную человечность»[26]. Эта тема пришла к нему не без литературных влияний, и он сам признавал огромную роль Пушкина, Крылова, Короленко, Успенского, «Записок охотника» Тургенева в зарождении в нем чувства русскости, окончательно оно сформировалось под влиянием Толстого.

Шмелев и Горького полюбил, потому что тот был «человечески хорош, русски хорош»[27]. Ему же он попытался объяснить, что это значит: «Ширь, простая сердечная ширь в Вас. Русская ширь, рожденная тоской, и огромность родных полей, вольной природы и души, томящейся, рвущейся и стискиваемой...»[28] И сам Горький, и его герои, таким образом, понимались Шмелевым как воплощение многосложности и драматичности русской ментальности. Как видим, тут и тос-

[26] Письмо от 22. 01.1927 // *Ильин И.А.* Собр. соч.: Переписка двух Иванов (1927—1934) / Сост., коммент. Ю.Т. Лисицы. М., 2000. С. 14.

[27] Письмо к М. Горькому от 1.03.1910 // Переписка М. Горького. Т. 1. С. 413.

[28] *Там же.*

ка, и простота, и сердечность, и душевная широта, и воля, но и состояние принужденности. Он писал Горькому о несоответствии природной данности русских и условий цивилизации, ими же созданной, о «культурной скудости» народа, о том, что народ — «бичуемый, оплевываемый и терзаемый, вечно голодный»; но он знал, что этот народ – «огромный и важный рычаг мировой машины», потому что он, народ, «смотрящий добрыми глазами и тоскующий, <...> выдвинул, выбросил во все человечество колоссов ума, сердца, простоты, шири душевной, крепкой мысли и честного прямого слова»[29]. Этот народ выдвинул и Горького.

Шмелев не претендовал на абсолютные знания о народе. Многое ему было неясно, но он предчувствовал, что народ суть «зерно зреющее, неведомое»[30]. Горькому был понятен порыв Шмелева, в ответном письме он тоже написал о своей вере в «исключительную» талантливость русских, в их «недурную психику» как следствие их «*исторической* молодости», а говоря о своей «любви к русским людям», писал: «...Вы так хорошо — горячо, нежно и верно — говорите о России, — редко приходится слышать такие песни в честь ее, и волнуют они меня — до слез! Ну да, до слез — их из меня камнем не вышибить, но — я весьма охоч плакать от радости»[31].

Итак, Шмелев хочет быть национальным писателем, он пишет об обычном, узнаваемом русском человеке, реалистически описывает быт, и в этом он противоположен писателям модернистского круга. Отмечая снижение национальной традиции в литературе, он горячился: «Что сейчас национального, своего, родного в Андрееве, таланте большом? А в Сологубе? И других? Под творениями их могут подписаться и англичанин и француз. Свидетельствует ли это о

---

[29] Переписка М. Горького. Т. 1. С. 413—414.

[30] *Там же.* С. 414.

[31] Письмо к И. Шмелеву от 6 (7).03.1910 // *Там же.* С. 416.

гениальности? Нет. Это свидетельствует об обезличении литературы, об отсутствии у нее основы, целостности, души живой. Или уж так далеко ушло время Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Короленко, Чехова… Или уж пропало народ и наше… Потеряли и плоть, и кровь и облеклись в ткани холодных умозаключений, и страшных андреевских вопросов, мистических переживаний, и легенд сологубовских? И быт пропал, и потерял народ свои жгучие боли, стремления …»[32]

Настоящая слава пришла в 1911 году. В тридцать шестом номере «Знания» появилась повесть Шмелева «Человек из ресторана»[33], которую он посвятил Ольге Александровне. Конечно, Шмелев тогда не мог предположить, что в 1920-е годы это произведение будет переведено на испанский, голландский, шведский, немецкий, французский языки.

От лица главного героя, Якова Софроныча Скороходова, в «Человеке из ресторана» рассказывается история его семьи. Официант известного ресторана — имелась в виду «Прага» — кротко и стойко несет бремя жизни. Яков Софроныч не умствует, живет сердцем, мечтает, чтобы сын вышел в инженеры — тогда Яков Софроныч купит домик, заведет кур и будет отпускать посуду напрокат. Он одинокий человек, изо дня в день в посетителях, этих несчастных творениях Бога, он наблюдает всю мерзость человеческую, у него умерла жена, его сын — революционер, его дочь с кем-то сожительствует, его сосед — доносчик. Наконец, из-за сына его уволили со службы. Он не ропщет, не призывает к возмездию, он знает, что надо собрать все силы, надо прощать, любить

[32] Цит. по: *Вильчинский* В. И.С. Шмелев в журнале «Родник» // Русская литература. Л., 1966. № 3. С. 189—190.

[33] И.С. Шмелев предпочитал называть это произведение романом. Об истории написания см.: *Дунаев М.М.*, *Черников А.П.* Творческая история повести И.С. Шмелева «Человек из ресторана» // Записки Отдела рукописей РГБ. Вып. 45. М., 1986. С. 47—60.

и верить в Божье провидение. Причем герой Шмелева верит по-толстовски, внецерковно: Яков Софроныч полагает, что Бог — в человеке, он как-то зашел в церковь и не получил облегчения. Читая «замечательные сочинения» Толстого, герой говорит: «Знаю я про одного человека, очень резко пишет в книгах и по справедливости. И ума всеогромного, и взгляд строгий на портрете. Это граф Толстой! И имя ему Лев! Имя-то какое — Лев! Дай Бог ему здоровья». Господь не оставил его: дочь продолжает служить в магазине, появляется на свет внучка, сын бежит из тюрьмы и чудесным образом спасается у незнакомого старичка, торговца теплым товаром. Этот старичок высказывает шмелевскую мысль о том, что без Господа не проживешь и что добрые люди имеют силу от Господа. В первых вариантах повести мотив революционной деятельности сына звучал сильнее, в окончательной редакции писатель утишает социальное звучание и обращается к вечным темам.

Шмелев принял совет Горького и отказался от первоначального названия повести «Под музыку». Финал повести жизнеутверждающий — и это тоже соответствовало пожеланию Горького, который полагал, что Шмелеву необходимо было сделать акцент на изменении характера героя. Действительно, Якову Софронычу любовь к сыну открывает высшие смыслы жизни. Но путь Ниловны не для Скороходова, эта любовь не приводит его в революцию, он не видит сродства социалистических и христианских идей.

Шмелев внимал Горькому, но шел за Толстым, у которого к Горькому интерес «этнографический», как писал сам уязвленный Горький — автор литературного портрета «Лев Толстой» (1919): «Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и — только»[34]. Все-таки не только. Толстой

---

[34] *Горький А.М.* Собр. соч.: В 16 т. / Общ. ред. Н.Н. Жигалова. М., 1979. Т. 16. С. 93.

хотел узнать Горького, но не видел в его произведениях работающей самобытно мысли; Горький даже встревожил Толстого, и это была тяжелая тревога, в ней проявлялось принципиальное мировоззренческое и этическое различие этих писателей: «Читал после обеда о Горьком. И странно, недоброе чувство к нему, с которым борюсь. Оправдываюсь тем, что он, как Ничше, вредный писатель: большое дарование и отсутствие каких бы то ни было религиозных, т.е. понимающих значение жизни, убеждений, и вместе с этим поддерживаемая нашим “образованным” миром, который видит в нем своего выразителя, самоуверенность, еще более заражающая этот мир»[35]. Итак, ему неприятны самоуверенность и неверие Горького. И то, и другое имело одно объяснение — незнание, о чем писал Розанов; если по поводу Толстого Розанов сказал: «Но от добродетели Толстого затрещала Россия. И от ума Толстого Россия тоже треснула»[36], то причину горьковской социальной и писательской активности он увидел в незнании, породившем самоуверенность: Горький думал, что успешен, потому что талантлив, а был успешен, потому что попал в определенное «историческое положение» — его, «человека совершенно необразованного», «употребляли» и «тащили» радикалы и революционеры; он расправлялся с Францией или с Соединенными Штатами, выступал арбитром Востока и Запада, веков и культур, сам при этом написав о «проститутке» в «Мальве» (1897), о воре в «Челкаше» (1895), о «воровском и проституционном сброде» в «На дне» (1902) и обругав сословия и классы «сущих людей»[37].

---

[35] Записи 4.02.1909 и 23.11.1909 // *Толстой Л.Н.* Философский дневник. С. 386, 448.

[36] *Розанов В.В.* Апокалипсис нашего времени // *Розанов В.В.* Собр. соч.: Апокалипсис нашего времени. М., 2000. С. 341.

[37] *Розанов В.В.* М. Горький и о чем у него «есть сомнения», в чем он «глубоко убежден»... // *Розанов В. В.* Собр. соч.: О писательстве и писателях. М., 1995. 619—621.

Шмелев не обругивал «сущих людей». В «Человеке из ресторана» нет того критицизма, который был у Горького — автора написанных тогда же «Городка Окурова» (1910) и «Жизни Матвея Кожемякина» (1910—1911). В «Человеке из ресторана» и падшие показаны как заблудшие, там и доносчик — человек несчастный, со своими болячками.

Якова Софроныча Шмелев уважает, потому как Яков Софроныч — выразитель нравственных абсолютов народа. Казалось, знакомая по произведениям Достоевского картина страданий городского человека. Последователь Достоевского в изображении несчастных людей, в повышенном тоне нравственной проповеди, Шмелев, как писал яркий критик русского зарубежья, литературовед К. Мочульский, «преодолел абстрактно-гуманитарную схему Достоевского, превращая формулу в образ»[38]: если герои Достоевского, например Карамазов, существуют как функция своей мысли или порождение чьей-нибудь бредовой фантазии, например Смердяков, то Яков Софроныч — не носитель идеологии и философии, он существует с полной самоочевидностью, он неразложим на «элементы» и «идейки», он говорит настоящим, личным языком, по выразительности не уступающим языку героев Лескова; если, продолжал Мочульский, люди Достоевского — призраки, они не драматичны, потому как в них проявляется прежде всего огромный динамизм мышления автора, то Шмелев исходит из дыхания человека.

Повесть тронула читателей подлинностью героя. Именно тронула. К. Чуковский в обзорах литературной жизни в «Ежегоднике газеты “Речь”» писал о том, что, оказывается, еще не истрачены силы «бесхитростного» реализма, что «бытовик» Шмелев написал повесть «совершенно по-старинному» и «всю ночь просидишь над нею, намучаешься и на-

[38] *Мочульский К.* О Шмелеве // *Мочульский К.* Кризис воображения / Сост. С. Федякина. Томск, 1999. С. 125.

страдаешься, и покажется, что тебя кто-то за что-то простил, приласкал или ты кого-то простил»[39]. Любовь писателя к героям — неподдельная, великая душевная сила, и произведение получилось, как отмечал Чуковский, задушевным, форма его — безукоризненной. К. Сомов отметил в дневнике 8 мая 1916 года: «Читал чудесный рассказ Шмелева “Человек из ресторана”»[40]. К. Гамсун, много позже прочитавший «Человека из ресторана» в переводе, писал в 1927 году Шмелеву о том, что считает это произведение, которое он читал всю ночь, гениальным.

В определенной степени ощущение подлинности усиливалось за счет того, что Шмелев придал герою собственные переживания. Например, на появление фрагмента о найденных героем в ресторане деньгах, которые он, преодолев искушения, отдал владельцу, повлиял случай, описанный Шмелевым в 1945 году в письме к Ильину:

> И вот, помню, лето подошло... и мы — четверо — с мальчиком и няней — на мели... и решили поехать на месяц — подкормиться к матушке в подмосковную усадьбу. Крутое у нас было воспитание... всего хлебнул. Ну-с, и было у нас грошей — только на конке до Никол<аевского> вокзала доползти и на три билета 3 кл<асса>, а всего 80 коп., в обрез к<а>к раз. Поднялись по каменным ступенькам, смотрю, — Оля моя — вся красная... и шепчет, как в испуге — «три рубля нашла...» — и так робко и радостно в глаза смотрит, и будто ей стыдно. И мне стало неловко: «кто-то ведь обронил!» — без портмонэ, голая трешница-зелень. И так мы минут пять стояли, и чего-то ждали, Оля так, на виду, и держала бумажку — не подойдет ли кто, не спросит ли... ведь мож<ет> б<ыть> бедняк последний, как и у нас, деньги потерял. А уж ко 2-му

[39] *Чуковский К.* Обзоры литературной жизни // *Чуковский К.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 407—408.

[40] *Сомов К.А.* Письма. Дневники. Суждения современников / Сост. Ю.Н. Полякова, А.Н. Свешникова. М., 1979. С. 159.

> звонку! Так никто и не подошел, не взял бумажку. <…> Случай с «3 руб.» дал мне «опыт», м<ожет> б<ыть> вспомните, в «Челов<еке> из ресторана» мой Скороходов находит после кутежа под столом деньги, и что с ним произошло — как бежал домой-то!..[41]

Шмелева влекли темы на все времена и для всех сословий: он писал о жалости к обиженному и оскорбленному, о любви к ближнему. Такая любовь была связана у Шмелева с воспоминаниями об отце — великодушном, красивом и трудолюбивом. В том же 1911 году в журнале «Родник» был опубликован рассказ Шмелева «Рваный барин» о самоучке, оформившем по заказу отца подряд на украшение праздничной Москвы: «Отец был простой, необразованный человек, но он имел сердце и умел понимать другого». Герой рассказа — талантливый, но нищий архитектор, которого в насмешку звали рваным барином, мечтает построить всесветный храм, однако ему не дают даже пустяковых заказов, его не пускают в хорошие дома, у него воруют идеи. Лишь отец рассказчика, успешный и известный московский подрядчик, поверил в способности самоучки и не ошибся: сооруженное по его проекту праздничное украшение восхитило москвичей. Сюжет рассказа выразил не только идею человеколюбия, но и мысль автора о Божьем промысле, о справедливом воздаянии униженному таланту. Как и в «Человеке из ресторана», в «Рваном барине» просматриваются мотивы Достоевского. Но где у Достоевского страдания, там у Шмелева их преодоление — и здесь, и, конечно, за порогом земной жизни:

«В праздник освящения плодов был я с отцом в ближнем монастыре, где за стенами покоятся мои близкие. Там пышно разрослись яблочные сады бок о бок с могилами,

[41] Письмо от 3.07.1945 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 319—320.

увенчанными крестами и памятниками. Там много часовен, гранитных глыб и надгробий. Там много успокоившихся.

— Пройдем-ка сюда... — сказал мне отец.

— Куда?

И он повел меня в глубь монастырского кладбища. Отступили глыбы и величавые памятники. У самой задней стены, под вербой, на свеженасыпанном бугорке стоял железный крест, сделанный под березу. На нем жестяной свиток.

— Вот где теперь он, наш архитектор... — сказал отец. — Не забыл?

И прочел я на жестяном свитке:

"...Не имеющий чина и звания архитектор Василий Сергеич Коромыслов".

И еще ниже, славянской вязью:

"Блаженни есте, егда поносят вас..." ».

В 1911 году завершился первый — и очень успешный — этап творческой жизни Шмелева. Он уже сказал читателю свое слово, а ему было что сказать.

Ну а в 1912 году в его рассказах появилось нечто новое — ранее в его творчестве небывалое и чрезвычайно яркое в литературе Серебряного века.

III. *«Пугливая тишина»*
Неореализм
«Росстани»
Война
О национальном
В поисках законов бытия

В 1912 году увидел свет рассказ Шмелева «Пугливая тишина», и в нем уже невозможно было узнать традиционного, такого привычного, реализма, не было того бытописания жизни, в котором так замечательно проявился его талант. Рассказ написан в технике тех самых модернистов, которым Шмелев себя противопоставлял.

Сюжет как бы выдавливался, вымещался созерцательностью, и эта созерцательность, эта впечатлительность не была приживалкой, она заявляла в тексте о своих первейших правах. Реалистическая любовь к узнаваемой детали, к быту синтезировалась с импрессионистской художественностью, той самой, которая давно уже обжилась в противоположной реализму новой литературе — модернистской.

Никаких особых событий не происходило. Описано кратковременное пребывание в усадьбе главного героя — корнета, озабоченного тем, где бы раздобыть тысячу рублей. А еще в рассказе есть множество не имеющих к этим заботам мелочей: абсолютно необязательных мотивов, деталей

несущественных, но сопровождающих человека в обыденной жизни на каждом шагу. Герой потянулся, проснулся, закурил, подошел к окну, наблюдал за девчонкой в красной кофте, подставил голову под холодную струю воды, девчонка обтерла ему сапоги, он встретил возвращавшуюся с купанья худенькую фрейлен, потом наблюдает за ней ночью, он же в росистой крапиве прижимает к себе деревенскую девчонку... Бессобытийны и линии других персонажей. Вот маленькие Марочка и Лили наблюдают за шмелем, да и говорят они ни о чем, вот Прокл собирает с деревьев янтарную накипь, вот отец глядит в сад, вот приходят резаки и... наконец-то происходит стоящее событие — забивают свиней! одну зарезал сам корнет!

Шмелев явно избегал характерного для его раннего творчества психологического анализа. Анализ вообще в этом рассказе подменен впечатлением от происходящего. Словно Шмелеву хотелось изобразить ощущение реальности, а не саму реальность, потому рассказ получился лиричным. Он показывал не столько жизнь, сколько жизненные ощущения, он словом передал — не описал, а именно дал почувствовать! — вкус, запах, осязание: корнет побарабанил пальцами по спине девчонки, «чувствуя, как она худа и пуглива», он заметил, как вспыхнула фрейлен, он слышал, как застучали ее каблучки, как от ротиков девочек пахло молоком и сном, старшему резаку «было приятно слушать, как потрескивает чем-то знакомым с лугов». Животное тоже мир чует: свинья почувствовала, что скоро придет та, веселая, звонкая, что почесывала им за ушами, болтала, напевала, наливала корыта; приговоренные к убою животные чувствовали неладное по запаху крови на куртках людей.

Шмелев, как это бывает в лирике, словно не желал завершить какой-либо мотив точкой: рассказ соткан из фрагментов. Художественное пространство безвольное. Импрессионистскому чувствованию мира вообще свойственна ведо-

мость — человека влекут впечатления, а не он выбирает из множественности красок, звуков, ритмов нечто свое. Этой добровольной зависимости человека от состояния мира были найдены соответствующие формы — многое происходило по воле какого-то безличного *оно*: «И вдруг все вспорхнулось в саду <...>, затрещало, защелкало», «все было радостно и покойно», в вишняке вспыхивало рубином, «кругом горело», Троханово раскинулось по взгорью, «было солнечно, пахло сенною прелью и придорожной пылью», «захотелось жить», «перевалило за полдень», на корнета «наплывало страстное, охватывающее дрожью», «кипело в нем».

Созерцательность и впечатлительность во многом достигались лейтмотивом тишины, даже пугливой тишины: «так было покойно кругом»; день был тихий, «дремал в полном солнце вишняк», над ним в жаркие часы «застаивались» рои стрекоз, «и тогда тишина становилась такой четкой и звонкой, что сорвавшаяся вишня давала тугой звук камня»; было так тихо, что слышалось, как струйками бежит песок; рев кабана понесся в «тихую росистую ночь»; разогретые водкой резаки были опьянены «воздухом тихих, ночных полей»; «ночь шла и шла тихим ходом и в небе далеком, и на земле».

И вдруг в эту инертную плазму врезается определенность натуралистического толка. Такое зыбкое, такое ленивое, такое тихое бытие пронзительно контрастирует с экспрессивным, с нервическим убойным делом; тут и метущийся кабан, и сосредоточенная работа резаков: «Захлестнули веревками и навалились грудой. Жали к земле. Но кабан упирался, выставив переднюю ногу. Тогда старший забежал с головы и с размаху ударил по ноге кулаком. Кабан рухнул и ткнулся рылом в песок»; спокойное усадебное пространство пронизано животным страхом: кабан «выкинулся» и издал «тревожный рев», свинья, подчиняясь инстинкту, старалась «отлипнуть от земли», «цеплялась за каждую

неровность»; а в корнете вдруг пробудилось желание — «сладость»! — самому зарезать свинью: «Это скрытое напряжение, бессознательно искавшее выхода все эти дни, подавленное и, быть может, еще более раздраженное пережитой тревогой и усилившееся к ночи, и едкий запах от крови, который он особенно ярко чувствовал, раздражали до боли».

Шмелев писал об очень простом — о том, что «шла светлая Божья жизнь», что в полноте жизни сосуществовали наслажденья и тревоги корнета, идиллическая, пасторальная изначальность мира и кричащие инстинкты. В привычности обнаружилась значимость бытия.

Шмелев — один из тех писателей, которые в начале XX века создали новый реализм. Может быть, правы те, кто писал о кризисе реализма. А если не о кризисе, то о его исчерпанности. Например, В. Розанов был уверен, что Толстой довел русскую литературу до апогея и в традиционном направлении уже больше ничего нельзя было сделать[42]. М. Волошин тоже говорил об окончательности реализма, но имел в виду не Толстого, а Чехова: это он «в своем многоликом муравейнике исчерпал всю будничную тоску русской жизни до дна, и она подошла к концу»[43]. Почему? Потому что целое столетие русская литература, как отмечал Волошин, требовала лишь изображения действительности как она есть, но действительность оказалась не такой простой и понятной. А ведь в слове — и об этом тоже писал Волошин — есть не только изобразительный потенциал, в слове живет предчувствие, желание, порыв.

---

[42] См.: «80-летие рождения гр. Л.Н. Толстого» (1908), «Неоценимый ум» (1911).

[43] *Волошин М.* Магия творчества. О реализме русской литературы // *Манфред Ш.* Литературные объединения Москвы и Петербурга: 1890—1917. М., 2004. С. 354.

Слово целым поколением писателей начало восприниматься как нечто живое, со своими интуициями и инстинктами. Слово начало передавать восприятия и впечатления, что мы как раз и видим в «Пугливой тишине».

Означало ли такое преображение творческой манеры отречение от Толстого? Вовсе нет. Реализм, может быть, себя и исчерпал на толстовском пути, но Толстой же и указал Ивану Шмелеву, Ивану Бунину, Викентию Вересаеву, Алексею Толстому, Александру Куприну, Борису Зайцеву их путь. В их неореализме не обошлось без Толстого. Это Толстой привил им непосредственное, неумствующее отношение к быту и бытию. Это Толстой ругал литературу за «умственный яд»[44]. Это Толстой обратил взор человека XX века к обыденной, ежеминутной жизни, которую как раз и надо любить. Вслед за ним идеолог XX века, самобытный критик Р.В. Иванов-Разумник сказал: «Цель жизни — не счастье, не удовольствие, а полнота бытия, полнота жизни...»[45] Толстой увлек за собой будущих неореалистов, когда они были еще в нежном возрасте. Бунин свои воспоминания 1927 года о Толстом начал так: «Я чуть не с детства жил в восхищении им»[46].

В 1910 году вышла в свет посвященная Достоевскому и Толстому первая часть философского эссе Вересаева «Живая жизнь». В нем он сформулировал то, что готовы были сказать эти писатели и что они уже выражали в своих произве-

---

[44] Л.Н. Толстой 29. 09.1910 записал в дневнике: «Какой ужасный умственный яд современная литература. <...> Цитируют словечки из Платона, Гегеля, Дарвина, о которых пишущие не имеют ни малейшего понятия, и рядом словечки какого-нибудь Горького, Андреева, Арцыбашева и других, о которых не стоит иметь какого-нибудь понятия» (*Толстой Л.Н.* Философский дневник. С. 493).

[45] *Иванов-Разумник Р.* О смысле жизни (Ф. Сологуб, Л. Андреев, Л. Шестов). Изд. 2-е. СПб., 1910. С. 291.

[46] *Бунин И.* Толстой // *Бунин И.А.* Собр. соч.: В 8 т. / Сост. А.К. Бабореко. М., 2000. Т. 8. С. 212.

дениях. Суть «Живой жизни» такова: герои Достоевского тоскуют о живой жизни, простой и радостной, ежедневной и ежеминутной, а герои Толстого живут ею, и все потому, что Достоевский, в отличие от Толстого, подходил к жизни «с меркою разума и логики»[47]. Если Алеша Карамазов говорит, что жизнь хочется ему полюбить всем нутром, что все должны жизнь полюбить больше, чем ее смысл, то Толстой не говорит *должны* и *хочется*, он «и без того жадно любит жизнь именно нутром и чревом, любит жизнь больше, чем смысл ее»[48].

На сознание новых реалистов повлияли и распространившиеся в России идеи новой европейской философии — философии жизни, представителями которой были А. Бергсон, В. Дильтей, Г. Зиммель, Ф. Ницше, Г. Риккерт. Если Толстой изображал саму жизнь, а не ее идею, то и Риккерт писал: «Под философией жизни не следует понимать философию о жизни как некоторой части мира. <...> Для современной философии жизни характерно скорее то, что он пытается при помощи самого понятия жизни, и *только* этого понятия построить целое миро- и жизнепонимание»[49]. Высшим смыслом цивилизации эти философы полагали человека с его страстями, желаниями, с его волей, интуицией, и в этом они опирались на Б. Паскаля, призывавшего узнавать мир сердцем. Шмелев, несомненно, был знаком с идеями философов жизни. В рассказе «На пеньках» (1924) его герой говорит: «Логика хромает?.. Ах, эта логика!.. <...> Слух обострен, а логика моя... Знаете — шестое чувство, Бергсон-то еще говорил все?.. А Ницше? А Паскаль?!»

Писателям нового направления нужны свои издательства. И в 1911 году в Петербурге было создано «Издательское товарищество писателей». Существовало оно недолго, до

[47] *Вересаев В.* Живая жизнь. М., 1991. С. 65.

[48] *Там же.* С. 81.

[49] *Риккерт Г.* Философия жизни. Минск; М., 2000. С. 11.

1914 года, на дальнейшую деятельность просто не хватило денег. В нем собрался цвет прозаиков реалистического направления. Причем были тут и неореалисты, и приверженцы традиционного реализма. Собственно задачей товарищества, противопоставившего себя вкусам «лавочников и мещан»[50], было объединение реалистов демократической ориентации и защита их материальных интересов. Товарищество организовал Николай Семенович Клёстов-Ангарский, который впоследствии, уже после Октября, сыграет свою роль в судьбе семьи Шмелевых[51]. Журналист, литературный критик, он был видным революционером, членом партии большевиков с 1902 года; Советская власть использует его на издательской работе, а с 1929 года он проявит себя во Внешторге. Шмелев — пайщик товарищества. Помимо него и Клёстова-Ангарского пайщиками были И. Бунин, Б. Верхоустинский, Г. Гребенщиков, П. Нилус, А. Серафимович, С. Сергеев-Ценский, С. Скиталец, А. Толстой, А. Чапыгин, Е. Чириков и другие — всего двадцать шесть человек. При вступлении каждый вносил пай в размере 100 рублей плюс десятирублевый вступительный взнос. Шмелев — участник первого коллективного сборника, изданного товариществом; он опубликовал в «Сборнике первом» (1912) «Пугливую тишину»; там же были напечатаны произведения Бунина, Сергеева-Ценского, Толстого, Федорова, а также не состоявших в товариществе Вересаева и Брюсова. Под маркой товарищества в 1912 году была выпущена книга Шмелева «Рассказы».

По примеру «Издательского товарищества писателей» в 1912 году Клёстовым было создано издательство и в Москве. Оно называлось «Книгоиздательство писателей в Моск-

---

[50] *Клёстов-Ангарский Н.* С. Литературные воспоминания / Публ. М. Ангарской // Вопросы литературы. 1992. № 2. С. 340.

[51] Письма И.С. Шмелева к Н.С. Клёстову-Ангарскому / Публ. А.П. Черникова // Записки ОР ГБЛ. М., 1986. Вып. 45. С. 248—249.

ве». Просуществовало оно до 1923 года и располагалось сначала на Никитском бульваре, а с 1916 года — в Скатертном переулке. Первое собрание состоялось 22 марта. На нем были Шмелев, Ю. Бунин, Вересаев, Клёстов-Ангарский, Телешов и др. Шмелев стал пайщиком издательства, среди других пайщиков были братья Бунины, Вересаев, Зайцев, Телешов, а также Горький, Новиков, Серафимович, Сергеев-Ценский, Тренев. Шмелева избрали в руководящий издательством Наблюдательный комитет; вместе с ним в этот комитет вошли Клёстов, Бунин, Вересаев, Телешов. Редактором издательства стал Вересаев. Первые книги издательства — это «Суходол» Бунина, «Человек из ресторана» Шмелева, «Избранные рассказы» И. Новикова. Книгоиздательство выпустило восемь томов первого собрания сочинений Шмелева.

Благодаря книгоиздательствам, в целом писательству, материальная жизнь Шмелевых налаживалась. Летом 1913 года они даже смогли отдохнуть на Кавказе. Шмелев был яркой фигурой в культурной жизни того времени, участником литературных чтений и обсуждений, появление в печати его рассказов — это заметный факт литературной жизни и пример тех новых тенденций, которые она порождала. Например, рассказ «Росстани».

Шмелев написал «Росстани» в 1913 году. Он создал текст, который много позже И.А. Ильин назовет поэмой. Жизнь, такая привычная и узнаваемая, такая затертая глазом и ни к чему не побуждающая воображение, под его пером дышала, источала запахи, томилась, шелестела, охала... Шмелев вообще остро чувствовал органическую жизнь, у него было какое-то специфическое художественное обоняние, его слово видело, слышало, осязало. Когда он был еще маленьким и читал про лисицу и виноград, то ясно-ясно видел, как лисица эта выкатывала красный язык, как из пасти ее текли слюни,

и «то, что было заключено в буквах, оживало, имело запах, живую форму» («Автобиография»).

В «Росстанях» рассказывалось о Лаврухиных, которые широко поставили банное и подрядное дело. Эти Лаврухины празднуют именины отца, вслед за именинами наступает его смерть, и они устраивают поминки. Повествование неспешное. Пирог и кулич привезли, освятили хлеб-соль, старик Лаврухин ходит по садику, голубей прикармливает… на пасеку пошел… вот приезжают к нему гости, поздравляют с именинами… именины справляют в уютной Ключевой, которую обступили «мягкие, тихие» горы, и речка там «играла по камушкам», и была она с «омуточками»; вся Ключевая поросла «травкой», был там «ельничек», «березничек», были «лужки», а земля на усадьбе была сильная… вот сестра Арина нашла старика, мертвого, на полу… поплакала…с округи на похороны и поминки стала наезжать родня… и телок так же, как прежде, мычит, и бревна те же — кривые, серые, и та же крапива из-под них растет, и дождь блестит на сытой спине лошадки… на поминках подали щи с головизной, блины с маслом, кисель — гороховый и молочный, а когда хоронили жену старика, давали к киселю сыту…

«Росстани», уже в эмиграции, вдохновили К. Бальмонта — и в его лирике появились шмелевские мотивы. «Росстани» и сами лиричны. «Росстани» тихи, интонации их текучие. Рассказ появился в крикливую, громкую пору русской жизни, но Шмелев никого не поучал, ни к чему не звал. И если Дмитрий Сергеевич Мережковский писал о пределах христианства, о противоречиях плотского и духовного, Отчего и Сыновьего, если он звал всех от церкви Петровой к церкви Иоанновой, от Завета Сына к Завету Духа, то Шмелев своими «Росстанями» говорил: нет противоречий плоти и духа, жизнь человеческая укоренилась равно и в небесном, и в земном. Если в «Русском Ниле» (1907) Розанов сетовал на «ужасную русскую пассивность»: русский оживляется, если приходит-

ся кого-то хоронить! русским интересно только умирать![52] — Шмелев говорил: жить хорошо!

Шмелев не вступал в метафизические споры Серебряного века. Они ему либо неинтересны, либо он к ним не готов. Но ясно, что Шмелев, создавший в «Росстанях» образ покойной, разумной жизни, видел и другое — как скорбен мир, какое бремя страстей и суеты несет человек, и он искал ему пока еще неясных высших смыслов существования. Он бы мог, вслед за Пушкиным, сказать: счастья нет, есть покой и воля. Собственно, в «Росстанях» и сказал. Но в реальности покоя не было. Ключевая — тихое селение, но Шмелев пишет рассказ «Волчий перекат» (1913) и говорит: нет тихих селений, то «маяшник» утонул, то молодую выдают замуж за щедрые посулы, то сожительствуют невенчанные, то душа тоскует о несбывшемся... Нет тихих селений. Началась война, и тихая идиллия Шмелева, пугливая тишина его мира осталась только в памяти.

Летом 1914 года Шмелевы снимали дачу в селе Оболенском Калужской губернии. В августе 1914-го уже была проведена восточно-прусская операция русских войск, в результате чего Вторая русская армия потерпела поражение; была отброшена за Неман и Первая русская армия; в августе же началась Галицийская битва, и русские потеряли 230 тысяч человек... По деревням шла мобилизация. Издательница петербургского журнала «Северные записки» С.И. Чацкина предложила Шмелеву написать о настроениях крестьян — так появились его очерки «Суровые дни». Они печатались в «Северных записках» в 1914 и 1915 годах. Шмелев рассказывал в них о жизни крестьян калужской деревни Большие Кресты. Писал о том, что видел и слышал. Его герои — сильные, здоровые люди. Деревня отдавала фронту мужиков, она

[52] *Розанов В.В.* Сумерки просвещения / Сост. В.Н. Щербаков. М., 1990. С. 539.

отдавала армии коней, и деревенский народ принимал это бремя на себя без злобы в сердце, без трагизма. Один из героев очерков отказывается от денежной компенсации за коня — он просто жертвовал его для фронта. Шмелев видел, как война изменяла людей, заставляла их жалеть и прощать. Он рассказал историю битой мужем бабки Настасьи, битой ее сыном невестки Марьи; сын Настасьи в мирной жизни был грубым и своевольным, даже корову пропил; с фронта эти женщины получают от него покаянное письмо — и прощают его. Шмелев увидел в деревне и светлое, и темное. Работник Максим — человек с пугливой душой, кормилец одиннадцати детей — своих и воевавшего брата-вдовца; на него «накатывала» темная сила, и как-то утром его нашли у лавки, где спали дети, с ножом у горла: по округе распространились слухи о том, что пришла ночью к Максиму темная сила «и открыла ему напоследок такое, что перерезал горло». Мирон и староверка Даша — счастливые супруги, но вернувшийся с войны Мирон обречен, у него сухотка мозга. Деревня открыла Шмелеву истины о народе, о нацональном, о русском человеке. Он увидел его благородство, выносливость, он подсмотрел в народной жизни трогательное, почувствовал невысказанное. В рассказе о войне «Три часа» (1915—1916) у новобранца по дороге на фронт появляется возможность навестить родную деревню, на свидание с матерью остается час — и мать, чтобы продлить встречу, бежит рядом с сыном, возвращающимся к эшелону через снежное поле. В сборник «Клич», посвященный жертвам войны, вошла проза Шмелева «В Луйском уезде» — начальный фрагмент задуманного им романа «Наследники»; в коллективный сборнике 1916 года «В помощь русским пленным воинам» он отдал рассказ «У плакучих берез», и он тоже — о национальном.

Шмелев задавался вопросом: за что выпадают такие испытания? И утешал себя надеждой, что через боли и трево-

ги человек откроет для себя истинную жизнь... или не для себя, а для будущего человека... так ему предопределено. Свою мысль о целесообразности всего происходящего — и страданий тоже — он высказал в рассказе «Лихорадка» (1915): «И жизнь постепенно формируется и движется к какой-то великой цели. Через эти страдания выявляется светлый лик жизни, через века... покупается великое будущее...» В этих словах было русское согласие с ниспосланными испытаниями.

Война побудила интеллигенцию к размышлениям о пределах и возможностях русских. В 1910 году Горький призывал Шмелева писать «хорошее», «человеческое», «бодрые песни»: в этом нуждается Россия, а «скотское» в народе уже «оплевано и будет оплевано», но — без Шмелева и без Горького[53]. Шмелев писал «хорошее», «человеческое» — о мужике размышляющем и страстном, созерцающем и деятельном, открытом и озорном, от такого не слышно упреков и жалоб, его помощник — Святитель Никола. В 1915 году в декабрьском номере петроградского журнала «Летопись» Горький опубликовал статью «Две души» — о русском характере, в котором есть восточная, Западу не свойственная вялость: если в русских есть что-то яркое, красивое, героическое, то, что и являет славянскую душу, то вспыхивает ненадолго, поскольку есть в русских и другая душа — от мистика и лентяя монгола. Статья была встречена с недоумением. Л. Андреев, например, в одном из писем назвал ее «надменной чепухой»[54], а в ответной статье в «Современном мире» высказался о статье Горького как об унижающей народ. Шмелев прочитал статью Андреева и написал о ней автору: «Думая над ней, я думал и о Вас, о Вашей крепкой и живой любви к русской душе. — Горький же возмутил

[53] Переписка М. Горького. Т. 1. С. 416.

[54] Реквием: Сборник памяти Л. Андреева. М., 1930. С. 124.

меня»[55]. Позже Андреев в рецензии на «Суровые дни» в «Утре России» (1927. 29 янв.) упрекал новых западников в том, что их стараниями русский мужик «попал в хамы и безнадежные эфиопы», но есть Шмелев, который к этому «эфиопу» подошел чутко, «новой красотой озарил его лапти и зипуны, бороды и морщины, его трудовой пот, перемешанный с неприметными для барских глаз стыдливыми слезами»; Андреев писал: «Нет на этом мужике прекраснодушного народничества, ничего он не пророчествует и не вещает в даль, но в чистой правде души своей стоит он, как вечный укор несправедливости и злу, как великая надежда на будущее...»[56]

В 1916 году, после медицинской комиссии, Шмелева признали к военным действиям неспособным. Мобилизован был его сын — Сергей. С первого курса университета он поступил в артиллерийскую бригаду, в составе которой воевал в 1916—1917 годах. Поначалу он находился в Серпухове, и отец ездил туда к нему. После того как Сергея отправили на фронт, Шмелев стал мрачен, писать ему не хотелось, он, казалось, терял волю к жизни, понимая, что каждую минуту его мальчик — так он звал его — подвергается опасности. Сын, действительно, был отравлен газами. Уткнувшись в мокрый платок, он продолжал командовать солдатами. В письмах к сыну Шмелев проклинал войну и жаловался на свою апатию.

Где та целесообразность страданий?.. Где тот светлый лик жизни? В квартире стоял невозможный холод. С первого марта вводились карточки на хлеб. Шмелев не мог не видеть, что человеческое терпение подходит к своему пределу. Е.П. Пешкова сообщала Горькому 26 февраля 1916 года:

---

[55] Цит. по: *Вильчинский В*. Л. Андреев и И. Шмелев // Русская литература. 1971. № 4. С. 130—131.

[56] Цит. по: *Осьминина Е.А*. Про купца, мужика, солдата — и барина // *Шмелев И.С*. Собр.соч. Т. 8 (доп.). С. 8.

«Шмелев вчера рассказывал, как толпа окружила какого-то торговца мукой, водила его по складам, заставляли показывать — сколько муки»[57]. И сын, и народ, и война, и происходящее в Москве и на фронте — все возвращало к вопросу о конечной цели, о скрытом смысле голода, холода, смерти, страха. И вот в 1916 году Шмелев написал рассказ, в котором — так ему казалось — он смог это объяснить. Он назвал рассказ «Лик скрытый» и посвятил его Сергею.

Среди его героев есть поручик Сушкин, с гимназии Евангелия не раскрывавший, но читавший Ницше; он считает что жизнь — результат воли человека, что евангельская мораль неприемлема в военных условиях, тем более — при «нашем расхлебайстве». По Сушкину, человек прост, а человечество — материал для лепки, из него можно сотворить зверя, но можно зажечь небесным огнем. Там есть капитан, саркастически заметивший Сушкину: по логике «математику в жизнь!» дозволяется и младенцев душить... Там есть легендарный герой войны капитан Шеметов, и его философия такова: жизнь движется психоматематикой — наукой о Мировой Душе, Мировом Чувстве, о законах Мировой Силы, один из них — закон тончайшего равновесия, Великих Весов, на которых учитывается и писк умирающего самоедского ребенка, и жалоба китайца, и слезы калужской нищей старухи, и счастье проститутки-жены. Шеметов рассуждает о круговой поруке как мировом порядке вещей: «Действуй, но помни, что за твое — всем!». Такой порядок вещей есть Лик скрытый бытия. Человечество только на задворках того Царствия, по которому тоскует, и ему необходимо «пройти через Крест», ему еще только предстоит сколотить Крест, «чтобы быть распятым для будущего Воскресения», поскольку жертва Христова оказалась напрасной. Этого всеобщего распятия требует Закон Весов, Великого Равновесия. Наконец, в

[57] Переписка М. Горького. Т. 2. С. 91.

рассказе есть мать Сушкина, которая, выслушав от сына теорию Шеметова, сказала просто: «Надо верить, Паля... Я верю в Промысел». Эта же сердечная вера, непосредственность была и в жалостливой бабе с тяжелым мешком, которая, посмотрев на Сушкина, сказала фразу, в которой заключалась недоступная ему простая мудрость о Боге и человеке: «Родимые вы мои, родимые... Господи-Батюшка...»

Во что верил Шмелев в 1916 году? В Божий промысел или в Великое Равновесие? На это ответить трудно. Но и та, и другая вера, сердечная и аналитическая, объясняла неизбежность страданий фатальностью. Сын, он сам, народ — все зависят от высшего предначертания.

Много лет спустя писатель обнаружил, что в «Лике скрытом» выразились его, шмелевские, предчувствия будущих потрясений. Шмелев окажется и участником, и свидетелем трагических катаклизмов, крестного пути России. Приближаясь к своему семидесятилетию, он признался в том, что в «Лике скрытом» показал интеллектуальное самообольщение человека. Шмелев писал 12 января 1942 года Бредиус-Субботиной: «Т а м, в рассказе, в с е дано, что потом должно было б ы т ь и что еще длится: о б м а н ЖИЗНИ. И во всем — с а м и виноваты. Там, в рассказе — д в е “системы” строить жизнь и познавать ее — сталкиваются: рацио, ratio, и... сердце, душа... — самому смутно»[58]. В сентенциях его героев-фронтовиков отразились идеи и Вл. Соловьева, и Н. Федорова, и Ф. Ницше.

[58] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 426.

IV.

Февральское вдохновение
В большевизме нет любви к народу
Крым
«Неупиваемая Чаша»
Народ податлив — «хоть улицу им мети»
Сына расстреляли на окраине Феодосии
«...Я нищий, голый, голодный человек»
В Москве
Бежать!

Итак, Шмелев описывал жизнь. Просто жизнь. Он не был назидательным, в его произведениях не было экспрессии, не было драматической интриги, но было будничное течение жизни. Возможно, это объясняет, почему из него не вышел драматург. Он пробовал писать одноактные драмы, водевили. В 1914 году создал пьесу с претенциозным названием «Догоним солнце» (1914). В 1915 году в Московском драматическом театре поставили его пьесу «На паях». В 1942 году он, вспомнив премьеру 22 января 1915 года, свой успех и выходы на сцену, полутораметровый лавровый венок, девушек с цветами у подъезда театра, писал: «Пьеса мне противна, чушь. Одно лишь: я з ы к. Знаю: н е м о я, не по мне, хоть сам писал. Силой заставили, вырвали для театра. Артистки переругались из-за роли: роль главная — старуха. Отлично вышла. Остальное — мерзость, плююсь доселе. Стыдно.

Разве т е п е р ь т а к о е дал бы! Да не тянет, для сцены. Я — для “внутри”— душе!»[59] Писать пьесы ему не дано. Он так оправдывал свою драматургическую немощь: Шекспиру не дано было написать «Братьев Карамазовых», «Идиота», а Достоевскому — «Короля Лира» или «Ромео и Джульетту». Висевший же в кабинете венок при большевиках повар, в порядке уплотнения вселившийся в квартиру Шмелевых, ощипал в соусы и супы. Возможно, о нем вспоминал Шмелев, когда писал рассказ «На пеньках» (1924): «Итак, многое у меня разворовали. И жильцов вселили. В гостиной, где стоял рояль... — когда-то на нем играл Чайковский! — у меня его отняли и в клубе его потом разбили, — в гостиной сидел повар из столовки, к ночи всегда веселый, — душу выматывал своей гармоньей! <...> Он ободрал — на похлебки! — лавровый венок, который мне поднесли студенты на юбилей».

Лавровый венок — малость. Шмелева ждали страшные потрясения, которые он, конечно, даже не мог себе представить, когда романтически увлекся Февральской революцией. Он ее принял, это видно из его писем к сыну. Ему нравилось, что страна охвачена стихией свободы. Он тоже недоволен старым порядком, он в восторге от того, что его ликование вливается в общий эмоциональный поток. Он приветствовал Керенского. Но он видел, что из соборного, хорового демократического движения выбивалась одна партия — большевиков: он уже тогда понял, что это была партия не народа, а класса.

Ему было мало наблюдать революцию в Москве, 14 марта он поехал в глубинку и вернулся 16 апреля с очерками «В Сибирь за освобожденными». Дело обстояло так: «Русские ведомости» предложили ему отправиться в Сибирь в качестве их корреспондента для встречи амнистированных политзаключенных. Предварительно посоветовавшись с сыном, он

[59] Письмо к О.А. Бредиус-Субботиной от 4.02.1942 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С 488.

согласился с предложением редакции, посчитав это поручение почетным.

Сквозная тема очерков — обновление жизни. Ему было отрадно: «Так много радостного, такого неожиданного в душе». В революции он увидел прямо-таки религиозное преображение народа — ведь «с такими лицами стоят в церкви», ведь именно такую Россию «чуяли Достоевский и Толстой...» Поддавшись общему восторгу, со всеми радуясь тому, что закончилась «*ихняя* власть», он даже вдохновенно выступил с речью на митинге, где простыми словами разъяснял народу суть перемен — он искренне хотел найти путь к народу через слово, и, похоже, ему это удалось. Даже встреча бабушки русской революции Екатерины Константиновны Брешко-Брешковской — «сон удивительный».

Но эта поездка и смутила Шмелева. Далеко не все увиденное в Сибири побуждало к радости. Например, народ просто не понимал, о чем ему говорит революционная интеллигенция, которая не знала тех простых слов, которым поверит мужик. Этот мужик не понимал жаргона лозунгов, речей, листовок. И вообще за Уралом народ в целом равнодушно либо сдержанно воспринимал агитаторов. Шмелев наблюдал и озлобление освобожденных политзаключенных, и жестокость в речах встречавших их рабочих. Наконец, он увидел, как с революционными лозунгами свободы пробудилась и вседозволенность: на одной из сибирских станций в пасхальную ночь революцией освобожденные каторжане зарезали семью машиниста товарного поезд — и детей, и взрослых.

«— Христос Воскресе! — говорю я утром делегатам-солдатам.

— Воистину Воскресе! А слышали, что случилось?! Ужас! На станции Тайга, — мы ее к утру проехали, — в эту ночь каторжане вырезали семью.

— Что?! Не может быть...

Ударяет, как обухом.

— Говорят, солдат раненый пришел на поправку к семье... И его, и жену, и троих ребят... Будто, солдатами переоделись. Поймали их на станции, заарестовали. У нашего машиниста четвертной отняли. Сменился, домой пошел, а они окружили...

От этих слов вновь валится тяжелый камень на сердце...»

Позже Шмелев не раз обращался к этому случаю. В написанном в эмиграции очерке «Убийство» (1924) он уже не скрывал скептического отношения к своему прежнему оптимизму, а убийство семьи машиниста представилось ему символом убийства страны.

Вернувшись в Москву, Шмелев обнаружил, что ничего не изменилось: город по-прежнему недоедает и купить в магазинах нечего. 13 июня 1917 года, на некоторое время, он и Ольга Александровна уехали в Крым. В Крыму они разместились на даче Сергеева-Ценского под Алуштой. Конечно, Крым того времени более подходил для нормальной жизни, но, как говорится, нет мира под оливами. Там он увидел тот человеческий тип, который впоследствии будет назван большевиком.

Все более он убеждался в невозможности срочных социальных и политических изменений. Февральский восторг убывал, а на смену ему в душу вползала тревога. Вслед за очерками «В Сибирь за освобожденными» Шмелев написал для «Русских ведомостей» серию очерков «Пятна», и в них уже не было ни капли революционного вдохновения. Так, в июльском «По мелководью» писатель передал услышанный им разговор оказавшихся на палубе пароходика чиновника, солдата, матроса, гусятника, мужика, странника, монашек, учителя... Словом, уездная Россия. Они говорят о том, что «без церкви никак нельзя», что развелось много «сволоты», потому и было нападение на мощи, что «в Сучкове трактирщицу с детьми порубили». Шмелев описал расколотую Россию: матрос готов монахов «за хвост да палкой» — они деньги «сосут».

Шмелев, возможно, думал, что на него как на русского интеллигента ложится особая ответственность: один из пер-

сонажей, торговец, советует учителю разъяснять народу истину, чтобы не смел он в одну кучу сваливать и сор и жемчуг. Но разразилась Октябрьская революция, а она для Шмелева вся — сор. В «Пятнах» он писал о том, что в большевизме нет любви ни к народу, ни к родине. Уже в декабрьском 1917 года очерке «Про модные товары» большевик — с громадными кулаками, в кожаной куртке, «не человек, а... машинное масло», в речи его не было хозяйственного, насущного, а было о массах, классах, капитализме, о том, как буржуям «кишки выпустят».

Измученный, чрезвычайно болезненно воспринимающий происходящее, Шмелев в мае 1918 года тяжело заболел анемией. Настолько тяжело, что потерял способность говорить. В целом революционные катаклизмы, в частности подписанный в марте Брестский мир, в результате которого бывшая империя теряла Украину, Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья, а также полная демобилизация армии и флота — все это было прочувствовано Шмелевым как национальный позор. В мае же в «Нашей Родине» он опубликовал очерк «Последний день» — о расформировании, по Шмелеву — погребении, дивизиона: солдаты, офицеры немцев «выбили», а их — «рассыпали». Шмелев вместе со своим героем задавался вопросом: даром воевали или нет?.. Но ответа не было.

С фронта вернулся Сергей, совсем больной, и в июне Шмелевы уехали в Крым. Теперь уже надолго. Под Алуштой они купили домик, от которого к морю спускался виноградник.

Оторвавшись от московского бытия, Шмелев, вопреки происходящему в России, словно убегая от кошмара реальности, написал нечто совершенно не в духе эпохи — о вечном: в ноябре 1918 года он завершил «Неупиваемую чашу». Писал при фитиле из тряпок, который горел на постном масле, в комнате было то минус 6, то плюс 5, а из книг под рукой оказалось

только Евангелие. Писал он о живописце, об Италии, об иконописи. Писал в жесткой реалистической манере — действительность не располагала к поэтичному лиризму неореалистов.

В основу сюжета повести положена череда событий, рассказывающих о жизни крепостного художника Ильи. По-видимому, не случайной в ту пору для Шмелева была тема нормы и творческой свободы художника. Илья творил страстно, по своей воле интерпретируя иконописные каноны: в образе преподобного Арефия Печерского представил своего наставника иконописца Арефия, на иконе мученика Терентия — своего отца Терешку, пророк Илья в его росписи стал мужицким, в жизнь вечную шли и «маляр Терешка, и Спиридоша-повар, и утонувший в выгребной яме Архипка-плотник, и кривая Любка»; в портрете возлюбленной им госпожи изобразил чистую отроковицу с лицом Мадонны; итогом ее обóжения стала неканонически написанная икона «Неупиваемая чаша», на которой Богородица была изображена с золотой чашей, как мученица, и без Младенца. Написанная неуставно, но, как сказано в повести, с «выражением великого Смысла», икона стала чудотворной.

Шмелев не писал о грязи, своих героев он называл людьми света, которых Фрейдом не измерить. В 1920 году Бунин принес «Неупиваемую чашу» Бальмонту, и тот потом вспоминал: «Я смутно знал имя Шмелева, знал, что он талантлив — и только. Я раскрыл эту повесть. "Что-то тургеневское", — сказал я. — "Прочтите", — сказал Бунин каким-то загадочным голосом. Да, я прочел эту повесть. Я прочел ее в разное время и три, и четыре раза. <...> Я читаю ее сейчас по-голландски. Этот огонь не погасишь никакой преградой. Этот свет прорывается неудержимо»[60]. 25 февраля 1927 года Бальмонт

[60] *Бальмонт К.* Шмелев, какого никто не знает (К 35-летию литературной деятельности И.С. Шмелева) // Сегодня. 1930. № 345. 14 декабря С. 5.

самому Шмелеву признался: «Неупиваемую чашу» он «пил три вечера», сила Шмелева «певуча и велика»[61].

В 1920-е годы эта повесть была переведена на французский, немецкий, испанский, голландский... ее узнал читающий мир. Т. Манн в 1932 году послал в Нобелевский комитет представление на Шмелева, в котором, в частности, говорилось, что «Неупиваемая чаша» достойна пера Тургенева. В письме к Шмелеву Манн высоко оценил это произведение: оно «находится на высоте русского эпоса, оставаясь в то же время глубоко личным произведением»[62]. А поэтесса Лилли (Лидия) Нобль, дочь английского поэта и философа Э. Нобля, по матери русская, переводчица на английский язык стихотворений Бальмонта, сообщила Константину Дмитриевичу, что, по ее мнению, как и по мнению ее родителей, «Неупиваемая чаша» — «произведение гениальное»[63]. Хорватский поэт Божо Ловрич писал Шмелеву 27 марта 1928 года:

> Дорогой мастер, благодарение Вам за прекрасную книгу и за дружеские слова. Ваше произведение я прочитал тотчас же. «Неупиваемая чаша» единственна во всех отношениях. Вы прирожденный музыкант. За последнее время мало какое произведение захватило меня, как Ваша повесть о художнике-мужике. Слова Ваши — тихие, набожные и полные какой-то неодолимой тоски томленья. Так может писать лишь человек, который много мучился и, наконец, во избавленье от отчаянья, нашел утеху в боли. Это парадокс — и однако же истина! — когда я читал Вашу книгу, со мной было так, как будто я слушаю биения Вашего сердца. Так, слышу ваше дыханье... Я чую Вашу молитву в «Неупиваемой чаше», как в «Человеке из ресторана» я чую Ваш бунт.
>
> Но и бунт Ваш тихий, одухотворенный. И когда Вы говорите об обычных вещах, Ваше слово — сказ. Вам не нужно

---

[61] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 102.
[62] Письмо от 26.05.1926 // Мосты. 1962. № 9. С. 318.
[63] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 105.

труб и барабанов, Вы не хотите резких эффектов, и в том Ваше величие. Как мы схожи один с другим! Как будто мы братья… я, Вы и великий наш друг Бальмонт. Это школа тихой поэзии, которая в своей тишине чувствует, как бьется и мучается сердце мира, сердце всемирности. Все, что сотворено, мучится, чтобы выразить себя и чтоб найти свою конечную форму.

Благодарение Вам еще раз за дар! Вам преданный

Божо Ловрич[64].

Письмо перевел Шмелеву Бальмонт — он был переводчиком поэзии Ловрича на русский, Ловрич же переводил его произведения на сербский.

Написал во избавление… Ловрич понял Шмелева. И в дальнейшем Шмелев спасался от ужаса существования, от отчаяния, от одиночества творчеством. Ловричу был понятен психологический подтекст. Напротив, Сельма Лагерлеф, по-видимому, мало что поняла в «Неупиваемой Чаше». Она написала Шмелеву: да, «очень лирично, но читателям была бы непонятна покорность Ильи Вашего»… «Каково?» — удивился Шмелев и желчно заметил: «И ей, стало быть — *не внятно?!*»[65] Профессор-славист из Голландии Николай ван Вейк воспринял историю Ильи просто, доверившись автору, и услышал, возможно, главное — тоску человека, в которой была сокрыта сила чудотворения, он услышал слово автора о сродстве земного и высшего. Выдвигая Шмелева на Нобелевскую премию, он писал в Нобелевский комитет: «Здесь описана трагедия талантливого крестьянского сына. В образах святых, которые он пишет, так сильно выражены тоска его глубокой души и несбывшиеся надежды жизни,

[64] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 110.

[65] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 420.

что один из них становится чудотворным, утешает и исцеляет приходящих к нему несчастных паломников»[66].

«Неупиваемая чаша», действительно, могла если не утешить, то утишить. Крымский период — самый страшный в жизни писателя. Весной 1918 года началась интервенция, войска Антанты высадились в Крыму. В конце того же года по мобилизации, объявленной возглавившим с апреля белогвардейское движение А.И. Деникиным, был призван в Добровольческую армию Сергей, и это для семьи Шмелевых имело роковые последствия. В ноябре 1919 года началось наступление красных на Южном фронте, и деникинские войска были отброшены на юг.

Переходная эпоха выдвигала нового героя — личность маргинального типа, она все более заявляла о себе как о социальной силе, вытесняя тех, кого Шмелеву вскоре пришлось называть бывшими. Все более утверждалась в его сознании мысль о том, что жизнь не наладится, а источник зла — использующие народ социалисты. В августе 1919 года ему припомнилась толстовская «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах» (1885), в которой дьявол, то есть чистый господин, как те социалисты, старался рассорить братьев и отучить народ, то бишь дураков, от труда, однако своей цели он не достиг, так и провалился сквозь землю. Шмелев увидел в этом сюжете, с одной стороны, пророчество: действительно, в стране усилиями чистых господ началась брань; с другой стороны, он понимал, что толстовское прозрение осуществлялось лишь отчасти: если в сказке кровь так и не пролилась, дьявол, в общем-то, посрамлен, то в реальности кровь залила Россию.

[66] Цит. по: *Бонгард-Левин Г.М.* Кто вправе увенчивать? // Наше наследие. 2001. № 59—60. С. 144.

В октябре 1919 года Шмелев сам принялся писать сказки — и написал «Степное чудо», «Преображенский солдат» (в 1924 году — «Преображенец»), «Веселого барина», «Всемогу», «Инородное тело», «Сладкого мужика». Для многих, и для Шмелева, стало очевидной губительная сила абсолютной свободы. У М.И. Цветаевой в «Лебедином стане» (1917—1919) свобода стала «гулящей девкой на шалой солдатской груди», а Крым «буйствует и стонет». Шмелев написал в «Преображенском солдате» о такой солдатской свободе, куражливой и бессмысленной. В сказке «Всемога» бес искушает матроса, и тот, выбросив нательный крест и запродав бесу душу, разделался с начальством и под красными флагами вошел в город. В «Степном чуде» Россия показана обессиленной, окровавленной бабой, что лежала в степи с непокрытой головой, с косой, закинутой за ольховый куст, с глазами, полными слез; матрос, что мощи вскрывал и ничего не боялся, сквернословя, решил залезть бабе в карманы, но поднялась ее десница, «полнеба закрыла» — и пал матрос. Шмелев был подавлен тем, что народ столь безволен и наивен, податлив — «хоть улицу им мети»![67]

Писатель общался с жившими тогда в Крыму К. Треневым, В. Вересаевым, С. Сергеевым-Ценским. Его поддерживал Иван Бунин — с октября 1919 года он был главным редактором одесской газеты «Южное слово»; в состав редакции вошли Шмелев, Сергеев-Ценский и Тренев. Но никакое общение и никакая поддержка не могли спасти Шмелева от чувства бессилия перед Октябрем. Октябрь он ненавидел, как и большевика, и пролетария, именем которого разрасталось революционное насилие. М. Пришвин записал в дневнике: «Шмелев. Ненавидит пролетариат как силу числа дрян-

[67] Из письма к А.Б. Дерману от 2.08.1919. Цит. по: *Осьминина Е.А.* Про купца, мужика, солдата — и барина // *Шмелев И.С.* Собр. соч. Т. 8 (доп.). С. 11.

ных людей; дворянство, напр<имер>, — то есть кусок благородного человека, а что имеет в себе пролетариат?»[68]

Не внушила ему надежды и интервенция. В европейце Шмелев почувствовал презрение к русскому: для интервента русское простонародье — дикарь, а русский интеллигент — непротивленец толстовского толка. В августе 1920 года он опубликовал рассказ «Письмо лейтенанта». Некий английский лейтенант пишет письмо из Крыма в Лондон некой мисс; в нем сноб англичанин предлагает создать акционерное общество спасения и утилизации остатков российской культуры, к работе в котором следует привлечь русских эмигрантов — те влачат жалкое существование и не противятся злу: часть культурных ценностей пойдет в оборот, часть — в британские музеи, среди проектов — эвакуация Кремля, колокольни Ивана Великого, Медного всадника, Царь-колокола. По мнению лейтенанта, революция обнаружила дикарскую сущность русского народа, и народ этот вне истории. В 1920 году главкомом Русской армии в Крыму стал П.Н. Врангель. С 7 по 17 ноября Южный фронт красных под руководством М.В. Фрунзе провел Перекопско-Чонгарскую операцию, войска Врангеля были разгромлены. Более ста сорока шести тысяч штыков красных — против двадцати трех тысяч врангелевских штыков, более сорока тысяч сабель — против двенадцати тысяч сабель, девятьсот восемьдесят пять орудий — против двухсот тринадцати, четыре тысячи четыреста тридцать пять пулеметов — против тысячи шестисот шестидесяти трех, пятьдесят семь бронемашин — против сорока пяти, семнадцать бронепоездов — против четырнадцати, сорок пять самолетов — против сорока двух. Крым стал красным. В ноябре врангелевская армия на кораблях покидала Крым. Этому предшествовал приказ Врангеля № 0047118 от 16 ноября 1920 года:

[68] *Пришвин М.М.* Дневники. 1920—1922. М., 1995. С. 264.

Всем русским судам с крейсера «Генерал Корнилов»

Севастополь 1920 г.

Русская армия, оставшаяся одинокой в борьбе с коммунизмом, несмотря на полную поддержку крестьян, рабочих и городского населения Крыма, вследствие своей малочисленности не в силах отразить нажима во много раз сильнейшего противника, перебросившего войска с польского фронта, и я отдал приказ об оставлении Крыма. Учитывая те трудности и лишения, которые Русской армии придется терпеть на дальнейшем горестном пути, я разрешил желающим оставаться в Крыму, и таких почти не оказалось. Все солдаты Русской армии, все чины Русского флота, почти все бывшие красноармейцы и масса гражданского населения не захотели подчиниться коммунистическому игу, они решили идти на вдвое тяжелое испытание, твердо веря в конечное торжество своего правого дела. Сегодня была закончена посадка на суда. Везде она прошла в образцовом порядке. Неизменная твердость духа флота и господство на море дали возможность выполнить эту беспримерную в истории задачу и тем спасти армию и население от мести и надругания. Всего из Крыма ушло 150 000 человек и свыше 100 судов Русского флота. Настроение войск прекрасное. У всех твердая вера в конечную победу над коммунизмом и в возрождение нашей Великой Родины. Отдаю Армию, флот и выехавшее население под покровительство Франции, единственной из великих держав, осознавшей мировое значение нашей борьбы[69].

Шмелев эвакуироваться вместе с войсками Врангеля отказался, недооценив опасности. Возможно, поверил в обещанную большевиками амнистию.

Уже в ночь на 4 декабря арестовали Сергея — до возвращения в Крым он, офицер, воевал в составе Добровольче-

[69] Марина Цветаева: «Берегите гнездо и дом...». Страницы русского лихолетья в творчестве поэта / Сост. Т.И. Радомская. М., 2005. С. 212.

ской армии в Туркестане. Как вспоминал Шмелев: «Бился на бронепоезде под Асхабадом, чудом спасся из красн<о-го> “кольца”, отступая (путь подорвали б<ольшеви>ки), сами белые сожгли бронепоезд и отступали в кольце красн<ых>-дик<их>туркмен! Собирался командир застрелиться, но Сережа удержал его… — и спаслись!»[70] Домой он вернулся больным туберкулезом легких, первопричиной этой болезни стало отравление газом во время мировой войны. В Алуште он служил в комендатуре при П. Врангеле. В письмах к знакомым Шмелев называл сына мальчиком. Арестованного мальчика отвезли в Феодосию. 10 декабря 1920 года от него пришло письмо, а 19 января 1921 года — последняя открытка, датированная 27 декабря 1920 года. Шмелевы пребывали в страшной тревоге: мальчик погибнет — у него чахотка. 29 декабря 1920 года Сергея приговорили к расстрелу. Месяц его продержали в подвале и вместе с другими заключенными казнили морозной ночью на окраине Феодосии в конце января 1921 года. Он был расстрелян, как писал впоследствии Шмелев адвокату Т. Оберу, помощником начальника особого отдела Третьей стрелковой дивизии Четвертой армии Островским.

29 января Шмелев увидел во сне сына: он пришел к отцу словно после дальней дороги, лежал, одетый в чистое белье. Перед 2 февраля еще сон: сын на аэроплане перевез Шмелева и Ольгу Александровну в Москву, высадил у Университета, университетские часы показывали без четверти семь вечера.

Трагедия Шмелевых — одна из множества. После эвакуации армии Врангеля оставшихся в Крыму офицеров, как и духовенство, солдат, промышленников, чиновников, репрессировали. Репрессиям подверглись и женщины, и дети. Шме-

---

[70] Письмо к И. Ильину от 29.03.1947 // Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 108.

лева вызвали на допрос и регистрацию, вслед за которой должен был последовать арест. Комиссар, очевидно читатель Шмелева, молча, кивком, отпустил его. По свидетельству писателя, во всех крымских городах без суда были расстреляны бывшие полицейские чины, а также служащие в милиции, тысячи солдат, ничего не понимающих в политике и служивших из-за нужды, все бывшие офицеры, в том числе явившиеся по требованию властей на регистрацию, а среди них и не участвовавшие в Гражданской войне, инвалиды мировой войны, старики. Погибло много татар. Были арестованы все прибывшие в Крым после Октябрьской революции без разрешения властей, многих из них расстреляли. По распространившимся в эмиграции сведениям, собранным по материалам бывших союзов врачей Крыма, в конце 1920-го — начале 1921-го года, за два-три месяца, в Севастополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Алупке, Алуште, Судаке и других местах без суда и следствия было уничтожено до ста двадцати тысяч человек. По официальным данным их было пятьдесят шесть тысяч. Например, по одной только Феодосии официально считались расстрелянными семь-восемь тысяч, но по версии врачей — более тринадцати тысяч. Максимилиан Волошин 15 марта 1922 года писал художнику К.В. Кандаурову: «Несколько цифр — вполне точных: за первую зиму было расстреляно 96 тысяч — на 800 тысяч всего населения, т.е. через 8-го. Если опустить крестьянское население, непострадавшее, то городское в Крыму 300 тысяч. Т.е. расстреливали через второго. А если оставить интеллигенцию— то окажется, что расстреливали двух из трех»[71]. Карательными акциями руководили председатель Крымского военно-революционного комитета Бела Кун и секретарь Крымского областного бюро ВКП(б) Розалия Землячка (Самойлова). Позже, оказавшись в эмиграции, Шмелев надеялся на меж-

---

[71] *Купченко В.П.* Киммерийские этюды. Феодосия, 1998. С. 40.

дународное расследование репрессий. Но после крымской эпопеи Бела Кун был на руководящей работе в аппарате партии, Землячка занимала руководящие должности в наркоматах, в 1930-х стала членом ЦК партии и заместителем председателя КПК — Комиссии партийного контроля.

В дневниках жившей в Крыму в то же время, что и Шмелев, певицы Евфалии Хатаевой, позже эмигрировавшей с мужем, писателем С.И. Гусевым-Оренбургским, сначала в Китай, затем в США, есть запись:

> Была объявлена в Симферополе регистрация оставшимся офицерам, была объявлена за подписью Бела Куна, главы Крымского Правительства, полная неприкосновенность личности зарегистрировавшимся. Пошли на регистрацию доверчиво, многие с радостью... И ни один человек не вернулся, ни один. А в Симферополе объявили митинг для оставшихся офицеров (после регистрации), окружили здание, вывели за город и всех из пулеметов. В Ялте, Феодосии было еще хуже...
>
> Какой ужас, Господи, какой ужас! Ведь не писать об этом надо в ненужном дневнике, а надо кричать, негодовать, бить в набат. А мы почти спокойно об этом говорим. <...>
>
> А расстреляны были десятки тысяч. Когда Сергей Иванович хлопотал за сына писателя Шмелева, то он обращался к одному из членов обласкома (Бабахану). Тот спросил: «Он был офицер?» — Кажется... — «Значит, незачем узнавать о нем, был приказ расстрелять всех офицеров...» Нет, дальше, дальше из Крыма. Теперь существует здесь поговорка: «у нас только море да горе»[72].

В 1921 году Шмелев о гибели сына еще ничего не знал. Но слух о страшной участи Сергея распространился в среде эмигрантов. В том же году, в эмиграции, Бунин, Бальмонт, Ландау, А. Толстой в разговоре с приехавшим из больше-

---

[72] *Хатаева Е.* Жизнь в красном Крыму // Крымский альбом 2003 / Сост. Д. Лосев. Феодосия; М., 2004. С. 140. *Сергей Иванович* — Гусев-Оренбургский.

вистской России Ильей Эренбургом коснулись трагических крымских событий. Защищавший большевиков Эренбург высказал суждение о том, что Кун расстреливал белогвардейцев «только по недоразумению»[73]. Вера Николаевна Бунина, вспоминая этот разговор, записала: «Среди них погиб и сын Шмелева... Трудно представить себе, что теперь с его родителями»[74]. По рассказам Эренбурга, отменяющая расстрел телеграмма опоздала.

Значит, была телеграмма. Или никакой телеграммы не было?..

Известно, что Шмелев хлопотал о судьбе мальчика — но все тщетно. В феврале — а Сергея уже не было в живых — Шмелевы отправились в Феодосию на поиски сына. До Феодосии добирались мучительно — на бревне, положенном на колеса телеги; страдали от жестокого, пронзительного холода. В Феодосии пережили нестерпимый голод, помогло чудо: незнакомый человек, до революции официант, теперь — раздававший хлебные пайки, подарил Шмелеву как автору «Человека из ресторана» буханку хлеба. Этой буханкой они кормились три дня.

Наступил март 1921 года, а Шмелевы все еще надеялись найти сына. 6 марта Шмелев написал Вересаеву о своем предположении: сына переправили в Джанкой или Симферополь. Наступил апрель, в доме Шмелевых не говорилось о самом страшном, но это страшное уже и не исключалось. 11 апреля в письме к Треневу Шмелев высказал мысль о гибели мальчика, признался в том, что потерял надежду увидеть сына. На запросы о судьбе Сергея ему сообщали, что он выслан на север. В августе 1921 года Шмелев написал во ВЦИК, к Калинину и Смидовичу, однако «ответа не последовало»[75]. Во ВЦИК он обращался дважды. Он писал М. Горь-

[73] Устами Буниных. Т. 2. С. 37.

[74] *Там же.*

[75] *Кутырина Ю.А.* Трагедия Шмелева // Слово. 1991. № 2. С. 64.

кому, А. Луначарскому, В. Брюсову. Он уже не верил в то, что Сергей жив, и хотел найти хотя бы следы сына: «Я хочу знать, где останки моего сына, чтобы предать их земле»[76], — писал он Вересаеву по поводу своего запроса. В его сентябрьском письме к Вересаеву есть слова о последних днях жизни мальчика. В письме к Треневу от 24 января 1922 года он опять высказал предположение о том, что сына уже нет в живых.

С одной стороны, Шмелев понимал, что случилось непоправимое, но с другой — все-таки не исключал невероятного. Даже находясь в эмиграции, в 1923 году, он еще ожидал чуда и писал Бунину из Берлина: «$^{1}/_{4}$% остается надежд, что наш мальчик каким-нибудь чудом спасся. <...> Но это невероятно»[77]. По воспоминаниям Ю. Кутыриной, племянницы Ольги Александровны, у Шмелевых действительно было упование на то, что сын каким-то чудом мог оказаться в Европе. Она же рассказала о жестокой афере, жертвой которой стали Шмелевы: писатель вдруг получил письмо, в котором сообщалось о том, что Сергея видели в Италии; в письме содержалось предложение предпринять поиски за весьма большой гонорар. Но в апреле 1923 года Шмелев встретил доктора Шипова, который в Феодосии, в Виленских казармах, находился в заключении вместе с Сергеем. От него Шмелевы узнали о расстреле сына. Казалось бы, можно было поставить точку. Но ни Шмелев, ни Ольга Александровна никогда не служили панихиды по сыну: знали, что убит, но надеялись.

В.Н. Бунина сделала примечательные записи о пребывании Шмелевых у Буниных в Грассе в 1923 году. Она, например, заметила, что присутствие Ольги Александровны ее всегда успокаивало — это потому что Ольга Александровна много пережила, у нее самое большое горе: «...расстре-

[76] «Последний мой крик — спасите!» Письма И.С. Шмелева В.В. Вересаеву / Публ. Н.Б. Волковой // Встречи с прошлым. № 8. М., 1996. С. 178.

[77] Устами Буниных. Т. 2. С. 100.

ляли, замучили и неизвестно куда кинули сына. А сын у них, кажется, правда был чудесный, храбрый, благородный»[78]. И еще: «И зачем у них такое горе! Как они все трое любили друг друга, какие у них были нежные отношения»[79]. После вечерней прогулки 27 июля 1923 года — новая запись: «На вечерней прогулке Ив.С. опять вспоминает сына, плачет. Он винит себя, винит и мать, что не настояли, чтоб он бежал один, без них. Но все дело, конечно, что у них всех трех не было физиологического отвращения к жизни с большевиками. Погубила и дача, она удержала подсознательно»[80]. Гибель сына — боль, которая пронзила всю жизнь Шмелева. Детей у него больше не было. Уже увядающий, в 1941-м, он, вспомнил эту трагедию и вспомнил свою университетскую молодость — тогда еще могла бы быть дочь... Он писал Бредиус-Субботиной о том, как желали они с Ольгой Александровной родить в утешение себе ребенка — уже после расстрела Сергея:

> И еще хотел рассказать, как могла быть дочка у нас, давно-давно! И как п р о п а л а... как я шел Москвой и плакал — студентом был еще... нес... и плакал. Да *ч т о* нес-то!! ...И вот, Оля моя уже больше не могла... т в о р и т ь, — долго болела. Как мы молились... как в Крыму взывали... уже после Сережечки... теплилась надежда... ей тогда было 40—41, в 21 году... как она была красива, молода, сильна! Напрасные надежды... какой-то больной экстаз был, все это. Страшно вспоминать[81].

Шмелевы до марта 1922 года оставались в Алуште, безрезультатно стараясь добыть какие-нибудь сведения о сыне. Они чудовищно голодали. Голод в Крыму был свирепый и

---

[78] Устами Буниных. Т. 2. С. 109.

[79] *Там же.* С. 112.

[80] *Там же.* С. 113.

[81] Письмо от 24.09.1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 136.

повальный, вплоть до людоедства. Аделаида Герцык писала Максимилиану Волошину 9 декабря 1921 года: «…наш глухой, отрезанный от мира Судак костенел в молчании, голоде и умирании»[82]. Бывали дни, когда Шмелевы ели лишь по три-четыре кильки с прозрачным кусочком хлеба или по половине сушеной груши. Кормились лепешками из виноградного жмыха. У него, правда, остался детский золотой крестик на шее, а у жены — обручальное кольцо… Это кольцо решили обменять на продукты. Шмелевы распродали все, что могли. Больше продавать было нечего, даже белья не осталось, не было и запасной обуви, а ту, что была, они каждый день подбивали куском «линолеума». Мыло заменили золой. Совсем как у старообрядцев. Вместо бумаги для папирос использовался старый журнал «Мир Божий», выходивший до 1906 года. Не было чернил, писать можно было соком ягод. Табака не было, но на раскур пошла книга Диккенса.

Шмелев слал письма Горькому и молил его о помощи. Он писал ему 9 февраля 1921 года: «Спасите нас от гибели»[83]. Горький сочувствовал крымским страдальцам и хлопотал об их участи. Так, Тренев в начале 1921-го благодарил Горького за то, что телеграмма «высшей власти» оказала «облегчение в переживании кошмарных крымских дней»[84] ему, Ценскому, Шмелеву, Елпатьевскому. Горький искренне сострадал Шмелеву, 17 июля 1921 года он делился своими впечатлениями с Короленко: «...сколько <…> трагических писем читаю я, сколько я знаю тяжких драм! У Ивана Шмелева расстреляли сына, у Бориса Зайцева — пасынка…»[85] Но и возможности Горького имели предел. Порой помощь приходила совершенно неожиданная — из Парижа, от Георгия Гребен-

---

[82] Сестры Герцык. Письма / Сост., коммент. Т.Н. Жуковской, вступ. статья М.В. Михайловой. СПб., 2002. С.173.

[83] Горький М. Неизданная переписка. М., 2000. С. 177.

[84] *Там же*. С. 182.

[85] *Там же*. С. 161—162.

щикова, с которым Шмелев состоял в «Издательском товариществе писателей» и который буквально спас его от голодной смерти. Крымчане жили в состоянии страха. Например, Тренев писал из Крыма Горькому: «Положение мое здесь очень тяжелое, грозят серьезные репрессии, несмотря на то, что я – только беллетрист. Жутко здесь <…> спасите!»[86]

Вот большое письмо Шмелева к Вересаеву, которое он отправил ему из Алушты 8 / 21 сентября 1921 года:

> Дорогой Викентий Викентьевич,
>
> Едете Вы в Москву, слышал я: «везут вагон писателей из Коктебели». За Вас, как за последнее средство (простите) хватаюсь — помогите. В Москву не еду, не могу ехать. Не могу оторваться от той земли, где жил с мальчиком посл<едние> дни его жизни, уйти из того угла, который заставил своей волей мой мальчик меня иметь. Это, кажется, скверно я выразил, но пустяк. Вы понимаете. Москва для меня — пустое место. Москва для меня — воспоминания счастья прошлого. Крым — страдание, но это страдание связано с сам<ым> дорогим в жизни. Пусть оно остается, я не в силах уйти. Москва — сутолока и надежда дальше устраивать что-то в жизни. Мне нечего больше устраивать. Я хочу тихо умереть. Т.е. я хотел бы работать в тиши, ибо у меня есть, что сказать и сказать иначе, чем я до с<их> п<ор> делал. Я сделал оч<ень> мало. Теперь я знаю, что и как надо писать. Но, кажется, поздно. Одн<им> слов<ом>, я не еду. Я, м<ожет> б<ыть>, нелогичен: я могу уехать из Крыма, но только не в Россию. Чтобы начать свою новую литер<атурную> работу и работу оч<ень> большого калибра — «Храм человеческий» и «Его Величество Лакей», работа на год, мне необходима перспектива. Мне нужно то еще, чего уже нет в России, — тишины и уклада. Чтобы не мызгаться, не крутиться с утра до ночи за куском, за одеждой, за топливом. Чтобы жизнь не мешала. Я не могу работать с перерывами, урывками. Я написал Лунач<арско-

---

[83] *Горький М.* Неизданная переписка. С. 182.

му> и М. Горькому о разрешении уехать. Письмо любезно взяла и обещала передать Фофанова, член полномоч<ной> комиссии ВЦИК, ведающая зем. Отделом. М<ожет> бы<ть>, Вы с ней увидитесь в поезде на Москву и напомните. Или возьмите передать лично. Вас, добрый и дорогой товарищ, друг (простите), прошу и просит Оля — как можете — пособите нам в этом деле. Я знаю, что то, что еще привязыв<ает> к жизни, — давно задум<анные> работы, к которым я не смел подойти, что это я могу сделать, у меня уже есть хватка, и, б<ыть> м<ожет>, это уже не будет так мало, как все то, что я д<о> с<их> п<ор> делал. Я занимался пустяками. Я напевал про себя. Теперь хочу попробовать спеть в полный голос. Приготов<ительная> школа кончена. Пора в жизнь, перед уходом из нее. Пособите и что узнаете — перешлите мне с оказией, что ли — на К.А. Тренева, Казанская, 22. Вы, верно, хоть ответите. А многие — многие — и не отвечают вовсе.

Второе, которое д<олжно> б<ыть> первым: я с Фофановой же пишу Калинину по делу об убийстве моего мальчика. Я прошу помочь, наконец, узнать правду; всю правду и назначить расследование. Я писал ему еще в апреле — и ни звука. Д<олжно> б<ыть>, Галланд не передал. Я ему все пишу. Неужели и на эт<от> раз все останется втуне? Пособите. Через Вас я прошу Петра Гермог<еновича> — он ведь в президиуме ВЦИК. М<ожет> б<ыть>, Вы не откажетесь передать ему, через него для Калинина мое заявление. (Оно у Фофановой). Я верю еще, что высш<ая> Сов<етская> Власть не могла одобрить того, что было. А раз так, она должна помочь найти правду и остановить, назначить следствие и найти следы моего сына и виновных. Я хочу знать, где останки моего сына, чтобы предать их земле. Это мое право. Помогите. Хорошо бы, если бы Вы сами прочли то, что я написал Калинину. Тогда вы помогли бы мне. Помогите. Третье: мы в страшной нужде. Нам *перестали давать и хлеб*. Мы лишены заработка: ни вольных изд<ательст>в, ни журналов. В невольных я не могу писать. Говорю — я предпочту околеть. Раз нам не дадут возможности уехать из России — стало быть мы арестанты. Но и арест<анты> им<еют> право на хлеб. Нам, мне и Ценскому, выдали охр<анные> грамоты с правом на как<ой>-

то акад<емический> паек. Но мы не видали этого пайка. Нам случайно давали, то соль, то j табаку, то фунтов 5 крупы. Теперь ничего. Мне нечего продать, Вы знаете. Я приехал на 2—3 мес<яца>, а живу 4-й год. Я хожу в лохмотьях. У меня нет белья, у жены нет рубашки! Если мне разрешат выезд, я поеду в Москву и возьму, что у меня уцелело дома. И уеду. Если бы полномоч<ная> Комиссия распорядилась в Симфер<ополе>, чтобы мне и Ценскому хотя бы высылали из Симфер<ополя> муку, что ли. О, как все это тяжко. И какая, скажите, беспомощность! Но... я не могу делать дело, которому не верю. Я только и могу еще, чтобы удерживать в душе остатки сил для работы. За пайки же я уплачу, уплачу... Я, приведется если, оставлю чем бы заплатить за пайки! Наше книг<оиздательство>! Мне прислали 100 000 рб., на что я не мог купить пуда муки. И это бухгалт<ерский> вывод за 3 года! Это — насмешка. Книг продано — все! Вы будете в изд<тельст>ве. Скажите, чтобы дали ч<то>-ниб<удь> моей матери-старухе. Ей выдавали, но когда узнали (!) о моей смерти (!) — прекратили. Прошу книгоизд<ательст>во отдать матери моей, голодающей (это я на днях узнал), хоть какие авансы под буд<ущие> издания. Я ведь не мало дал книг издательству. Мне не хотелось бы издаваться больше на языке, мне неведомом, но пусть издают и дадут моей матери. Она живет у дочери, Калужская ул., св<ой> дом. Ив<ан> Андр<еевич> знает.

Я не могу ничем помочь ей — я нищий, голый, голодный человек. Ехать в Москву и для видимости взять как<ое>-ниб<удь> место или обучать в литер<атурных> мастерских?! Нет, пусть это делают те, кто умеет это. Я бездарен в эт<ом> отношении. Одно прошу — пусть дадут мне возможность уехать — и я верну пайки во сто крат. Куда я поеду в Москву?! На юру жить и биться в тисках среди тысяч не знающих, что с собой делать, нищих интеллигентов и бывших людей? Скоро будут перегрызать глотку др<уг> другу.

Передайте прилагаемое письмо Ив. Андр. Данилину. Его адрес в книгоизд<ательст>ве знают, я забыл: кажется, Мал. Полянка, угол 2-го Петропавловского пер., д. 7? Письмо важное: я прошу в нем отдать моей матери из моих вещей, какие, б<ыть> м<ожет>, у него сохранились. Она хоть хлеба поест

перед смертью: ей 77 лет. Часы мои у него есть с цепочкой, еще что-то. Пусть отдаст ей скорей. Она продаст эти часы, когда-то ее подарок сыну-студенту. Я только посл<еднее> время стал, нашел силу писать письма. Я только мог ковырять землю, убивать душу в черной работе. Всю тяжесть — искать куски — взяла на себя моя Оля. Святая, горевая. Если бы погибнуть, но у нас не нашлось духу погибнуть: мы еще жили и живем какой-то жалкой надеждой. А м<ожет> б<ыть>, мальчик еще придет! Нет, не придет. Ну, я, кажется, все сказал. Да, если не удастся уехать, не разрешат, умрем, как умир<ают> животные, в закутке, в затишье, не на глазах. Прощайте, дорогой Вик<ентий> Вик<ентьевич>. Вряд ли свидимся. Передайте наш последний> привет М<арии> Герм<огеновне>. Вы — другое дело. Вас не ударила жизнь, слава судьбе. Будьте счастливы. Я хотел бы быть бодрым. Не могу. Так, день за днем, день за днем. И сплошная, неизбывная мука. Пусто для нас всякое место. Но наше место еще носит следы, тень нашего дорогого и чистого мальчика, которого мы так преступно потеряли. Этого не избудешь. Ну, обниму Вас заочно, крепкий Вы человек. Сделайте, что найдете возможным, что в силах. Передайте привет Ник. Дмитриевичу <Телешову>, Ив.Ал. Белоусову, Юл.Ал. Бунину, Ив.Андр. Данилину и собратьям-писателям.

сердечно *Ив. Шмелев.*

Прилагаемые при сем письма — Данилину и матушке — будьте добры передать оба Данилину, а он доставит, ему поближе.

Ах, дорогой Вик<ентий> Вик<ентьевич>! Многое бы я сказал, но нет сил, смято в моей душе все. Все мои взгляды на жизнь людскую перестроились, словно мне вставили иные глаза. Все, ранее считавшееся важным, — уже не важно, великим — уже не то. Знаете ли, я сразу состарился лет на 1000! И многое, раньше звучавшее стройно, как церковный орган, — только скверная балаганная музычонка! И люди попали на глаза мои новые в новом виде, и как же пожалеть только можно все и всех. Увидал новое — и сказал бы новое и по-новому.

И природу увидал по-новому. Досадно, если не совладаю с собой. Досадно, если не получу возможности найти выход из жизни, приличный выход, завершить век свой работой, которая, б<ыть> м<ожет>, кое-чему кое-кого научила или хотя бы помогла в чем — в главном деле — отношении к жизни и правильной ее оценке и восприятию. И как же мне хочется указать человеку его истинное местечко в мире и изменить кое-какие ярлыки. Представьте, во мне что-то лопнуло, то, в чем таился багаж, о коем я не подозревал! И что же выперло! и прет! Я отказался бы верить, если бы мне сказали год тому, что я ношу в себе! И мне не хватит ни жизни, ни сил, чтобы все это вложить в нужные формы. И как же глупо и ничтожно все, что писал я раньше, и самая манера писанья! Не тонким бы перышком стал бы я водить, а взял бы самую большую и стенно-половую кистищу маляра. Эх, сил не наберешь. И неведомо — когда г<осподи>ну случаю угодно будет позволить мне это.

И.Ш.[87]

Исповедальное письмо. Шмелев словно личный дневник писал. Он в отчаянии и смятении — ему и невозможно оторваться от Крыма, и невозможно оставаться там, он и растерян, и строит планы. К собственным заботам прибавились тревоги об оставшейся в Москве матери. В октябрьском 1921 года письме к Вересаеву он признался ему, что потерял Бога, что «почвы нет»[88]. Жизнь превратилась в адскую тьму. Он знал, что тьма не только в Крыму: его поразила весть о расстреле Н. Гумилева.

---

[87] «Последний мой крик — спасите!». С. 177—180. *Галланд* — очевидно, сотрудник Центросоюза. *Петр Гермогенович* — Смидович, член Президиума ВЦИК, троюродный брат В. Вересаева. *Книгоиздательство* — «Книгоиздательство писателей в Москве». *Неведомый язык* — новая орфография. *Иван Андреевич* — писатель Данилин, член «Книгоиздательства писателей в Москве». *Мария Гермогеновна*— жена Вересаева, родная сестра П.Г. Смидовича.

[88] «Последний мой крик — спасите!». С. 181.

В ноябре Шмелев уже жалел, что не выбрался в Москву. Потеряв надежду узнать что-либо о сыне, найти его останки, Иван Сергеевич и Ольга Александровна все-таки решили вырваться из Крыма. 26/13 сентября 1921 года он писал Вересаеву:

> Тяжело погибать от голоду в глуши, забытым всеми, никому не нужным. Прошу Вас, дорогой Вик<ентий> Вик<ентьевич>, поищите возможность для нас приехать в Москву. Но не с чем подняться. Вызовите меня в Москву с женой, чтобы не платить за проезд — нечем платить, нечего взять в дорогу. Последний мой крик — спасите! В Москве у меня все же хоть гроши собрать можно, хоть кому-ниб<удь> запродам свои книги. Ведь у меня *детских* работ более 30 листов. Я совсем разбился физически, жена слабеет и кашляет. <…> Напишите, как и чем жив<ут> писатели в Москве. Вообще, об услов<иях> жизни. Я чувствую Вас, В<икентий> В<икентьевич> — Вы отзоветесь. Я сколько раз писал Треневу — помочь нам с Ценс<ким> — ни звука. Я отдам, я верну все эти куски и фунты, если начну работать. О, мне стыдно писать все это, проклятая беспомощность. В Алуште нечем заработать. Слабость, едва держу топор, задыхаюсь, когда рублю кусты и пни. <…> Буду ждать от Вас весточки, возможно <ли> проехать в Москву. Весной все-таки будут санаторные поезда, м<ожет> б<ыть>, с обратн<ым> поездом можно будет? А пешком не дойти[89].

Он очень надеялся найти в Москве работу, устроиться букинистом. Но выбраться в Москву оказалось тяжелой проблемой. Так, Горький сообщал Короленко о том, что вот уже третий месяц не может вывезти из Крыма как Шмелева, так и Тренева, Сергеева-Ценского, печатавшегося в «Русском богатстве» писателя А. Деренталя[90].

---

[89] «Последний мой крик — спасите!». С. 186—187.
[90] *Горький М.* Неизданная переписка. С. 162.

И все-таки в марте 1922 года Шмелевы возвратились в Москву. Физическое состояние было ужасным: писателя мучила постоянная лихорадка, слабело зрение. К тому же Шмелевых уплотнили. 27 марта 1922 года Иван Сергеевич сообщал Треневу о том, что его квартира напоминает конюшню, что он лишился пишущей машинки, что «библиотека разбита», что в его кабинете живут чужие — повар с женой, что на его кроватях спят «дикие студенты»[91], что в комнату мальчика вселился ветеринарный фельдшер, в квартире вонь, дым, сырость, каждый считает имущество Шмелевых своим, и на все это с грязных стен смотрят портреты классиков. В рассказе «На пеньках» (1924) есть такие строки: «Много разворовали, и оно разлетится по белу свету! И уже разлетается. Недавно на Бульварах я увидел м о е... украденное, "изъятое"— не помню. Но это — подлинное мое».

Москва была грязной, и в городской грязи Шмелев обнаружил движение новой жизни, о которой он в 1923 году, уже из Берлина, Бунину написал так: «Москва живет все же, шумит бумажными миллиардами, ворует, жрет, не глядит в завтрашний день, ни во что не верит и оголяется духовно. Жизнь шумного становища, ненужного и случайного. В России опять голод местами, а Москва живет, ездит машинами, зияет пустырями, сияет Кузнецким, Петровкой и Тверской, где цены не пугают <...> жадное хайло — новую буржуазию. "Нэп" жиреет и ширится, бухнет, собирает золото про запас, блядлив и пуглив, и нахален, когда можно. Думаю, что радует глаза "товарищам" и соблазняет»[92].

В Москве Шмелев завершил начатый еще в Алуште рассказ «Это было». Он дал ему подзаголовок «Рассказ странного человека». Шмелев возвратился ко времени Первой мировой войны и затем стремительно переместился в со-

---

[91] «Последний мой крик — спасите!». С. 174.
[92] Устами Буниных. Т. 2. С. 100.

временность. Его безумный герой — участник трагического абсурда, мир в его воображении — сумасшедший дом. Если Ремизов во «Взвихрённой Руси» (1926), произведении о страшном искажении жизни после революции, писал, что именно война обеспощадила сердце человеческое, если С. Клычков в «Сахарном немце» (1925) сказал, что именно война обманула душу человеческую, то Шмелев показал: именно война уничтожила разум человеческий. В этом рассказе открылись новые грани таланта Шмелева. Так он раньше не писал. Если бы на титуле не было его фамилии, автором этого произведения можно было бы посчитать Л. Андреева. Александр Амфитеатров, в 1927 году написавший на «Это было» рецензию «Свирепые больные», сравнил этот рассказ Шмелева с «Записками сумасшедшего» Гоголя и «Палатой № 6» Чехова.

В экспрессионистской манере Шмелев рассказал о бессилии и одиночестве человека в страшном мире, об аберрациях человеческой мысли и бытия. В сюрреалистическом существовании людей, в их помраченном сознании смещены границы между нормальным и болезненным, между реальностью и бредом, между пространственными плоскостями. Все настолько странно, что и понять-то невозможно, *это было* — или *этого не было*. По-видимому, произошедшая со Шмелевым трагедия требовала новой манеры письма, в которой отразились и его душевные муки, и его мировоззренческий кризис.

Рассказчик, участник войны, пройдя курс лечения после контузии, снова отправлен на фронт. Но сознание его слишком зыбкое, постепенно его охватывает безумие — «запах кровавых полей проникает в меня до недр, и уснувшая было сила начинает шуметь и звать». Говоря языком психоанализа, в сознании этого несчастного происходит возврат вытесненного: Фрейд уверял, что бессознательные мотивы неустранимы, что вытесненные однажды образы постоянно пытаются вновь проникнуть в сознание, причем происходит

компромисс — и это показано Шмелевым — между удаляемыми представлениями и представлениями, их вытесняющими; Фрейд предполагал, о чем речь идет в его работе 1915 года «Вытеснение», что возврат вытесненного достигается всякого рода смещениями, сгущениями. Рожи, «улыбки ряженых обезьян, пощелкивающие пасти» плясали перед его глазами, они «вздувались и опадали, распадались в гримасы и улыбки», а мир наполнялся запахами «человечьего стойла», пота, бананов и ванили, запахами «человечьей гнили». Мир гадлив. Герой, в поисках бензина, оказывается в сумасшедшем доме, где встречает душевнобольного полковника — этот странный человек ждет донесений с Луны, он уличает врагов в том, что они соорудили дьявольской силы работающий кровью двигатель — два гигантских цилиндра, наполненных насыщенной радием кровью; кипящая «радио-кровь», в которой скопилась вся земнородная сила, источает черные волны, поглощающие свет, и вот эти-то волны убивают людей и высасывают луну.

Воинственные страхи полковника по поводу разрушительной силы беспроводного оружия — отклик на современные открытия. Вымысел Шмелева — это реакция на достижения военной техники. В начале 1900-х годов профессор М. Филиппов, инженер и химик, развивает идею о передаче электротока по воздуху, о взрыве на расстоянии. Одновременно в США Н. Тесла, серб по национальности, ведет опыты по передаче энергии без проводов. И тот, и другой приближают мир к созданию лучей смерти, которыми заинтересовывается германская разведка. В 1905 году в Великобритании демонстрируется фильм «Волшебный луч». Созданием лучей смерти занимается английский изобретатель Г. Мэтьюз. Ко времени Первой мировой войны им проведены опыты по осуществлению радиоконтакта с военным пилотом, по созданию беспроволочного телефона, во время войны он ведет разработки по остановке аэроплана на расстоянии.

Рассказчик, общаясь с полковником, признается, что безумие заражает, что сам он безвольно ему поддался. Они оба существуют в проклятом мире, на который реагируют с гипертрофированной подозрительностью. Если рассказчик видит в людях шпионов, то полковник и того больше: он запирает в подвале агентов, то есть медицинский персонал — тех, кто держал его в изоляторе.

Но самое необъяснимое Шмелев приберег к концу рассказа. Оказывается, война закончена, рассказчика ведут по коридорам, его оставляют с неким неприятным человеком, на столе которого два револьвера, этот человек допрашивает рассказчика — он пытается получить информацию о его занятиях за последние годы. Например, был ли он на службе у генерала Эн. Его заставляют написать все, что он помнит, — и он описывает уже известный нам сюжет. Таким образом, сумасшедший дом оказывается образом послевоенной реальности.

В 1924 году, 9 марта, когда Шмелева уже не было в России, Р. Киплинг в письме к нему выразил свое отношение к рассказу «Это было»:

> Дорогой господин Шмелев,
>
> Я весьма благодарен Вам за ваше любезное письмо, полученное вместе с Вашей повестью о России. Я нахожу это произведение одним из интересных, одновременно страшных и суровых. Едва начав читать, начинаешь постигать в меру своих малых сил бездны, через которые прошла Ваша Родина. Как сказал Эдгар По, «вне пространства и вне времени», но в ней ощущаются возможности, которые в один прекрасный день могут стать страшными реальностями в других странах.
>
> С бесконечными благодарностями за Вашу доброжелательность и любезность,
>
> верьте мне,
> искренне Ваш
> *Редьярд Киплинг*[93].

[93] Цит. по коммент. Ю.Т. Лисицы: Переписка двух Иванов. С. 542.

Рассказ написан так художественно убедительно, словно Шмелев — сам этот рассказчик. Все произошедшее с его семьей, все страхи и страдания писателя вылились на страницы этого рассказа. Бежать! Бежать от этой реальности!

В 1920 году Шмелев об эмиграции еще не помышлял. В августе он опубликовал рассказ «Пушечное вино» — об эмигрантах, жалких и нелепых. Там фигурируют известный музыкант в засаленном смокинге, в поисках заработка растрачивающий талант; какой-то писатель; спасшийся от расстрела журналист Вязов в визитке 1914 года и военных сапогах и проч. Вязову теперь, слишком поздно, становится ясно: «надо быть т а м, кричать из последниих сил, звать, будить», вожди должны уметь умирать, а не бросать родину, не ходить по европейским обедам, не побираться на них страсбургскими паштетами и рейнскими лососями. Несчастный Вязов бросается в Сену. Но уже в следующем году Шмелев все более утверждался в своем намерении выхлопотать разрешение на отъезд за границу. Это видно из приведенного выше сентябрьского письма Вересаеву. В ноябре 1921 года он писал ему же:

> Я писал о разрешении выехать за границу. Там я мог бы запродать свои литерат<урные> права и жить, лечиться. Здесь лечиться, при невозможности найти хлеба, — нельзя. Молю Вас, что можете сделать в этом отношении — сделайте. Нечего говорить, что я буду за границ<ей> безусловно лоялен в отнош<ении> политическом. М<ожет> б<ыть>, найдутся поручители, если это нужно. <...>Я не хочу думать, чтобы в интересах власти было дать умереть с голоду больному русскому писателю»[94].

Он написал о своем желании пожить где-то вне России даже Луначарскому и Горькому. Но он не думал об эмигра-

[94] «Последний мой крик — спасите!». С. 186.

ции, о том, что покинет Россию навсегда. Из писем Вересаеву видно, что он собирался уехать самое большее на год или два. Он видел, что в большевистской России он чужой, ему просто нет здесь места. Вересаеву в октябрьском письме Шмелев жаловался, что здесь он иждивенец, что ему нужен иной воздух: «Мне надо воздуху иного...»[95] Воздуху надо — это и крик, и просьба творческой интеллигенции начала 1920-х годов. Блок в речи «О назначении поэта» (1921), незадолго до смерти, говорил об отсутствии воздуха, по сути, об отсутствии творческой свободы. Перед эмиграцией во время одной из лекций о Блоке А. Белый кричал о душевной астме, в которой задохнулся Блок, задыхается и он… Вот и Шмелеву «надо воздуху».

Литературная жизнь была невыносимой. «Литература — случайна, пустопорожна, лишена органичности, не имеет лица, некультурна, мелка, сера, скучна, ни единого проблеска духовного»[96], — писал Шмелев Бунину в Париж уже из Берлина. Русскому писательству действительно не хватало воздуха. Тренев сообщал Шмелеву о требованиях идеологов к прозе: произведение должно отвечать эпохе, реагировать на социальные изменения. Шмелев воспринимал такого рода условия как задание, он жаловался Вересаеву на невозможность для себя писать по заданию, вспоминал «Человека из ресторана», написанного вольно. Ему было совершенно ясно, что он чужд современной литературной ситуации. Он принципиально ей не соответствовал.

Если классиков подгоняют под задачи дня, что же будет с его творчеством!.. В Достоевском, поражался он, увидели изобразителя отмирающих классов, чуть ли не писателя революций. Шмелев, конечно, мог бы теперь писать о человечестве, но ведь он напишет то, что не подойдет идеологам —

---

[95] Цит. по коммент. Ю.Т. Лисицы: Переписка двух Иванов. С. 182.
[96] Устами Буниных. Т. 2. С. 101.

ведь он вовсе не полагает человечество, тем более его одну часть, предпочтительную для большевиков, чем-то совершеннейшим и конечным. В алуштинском письме к Вересаеву от 20 ноября — 3 декабря 1921 года он рассуждал о том, что беспартийному писателю теперь «каюк», ему трудно найти приют его вольной мысли, в отличие от партийного, у которого «не разойдется слово и образ с его душой»[97]. Шмелев не исключал того, что когда-нибудь «в России дозволят писателю писать не только отвечающее пролетарскому укладу», но пока он не видел «органов печати с таким правом»[98]. Он считал, что «писателю, истинному художнику, если хотят, чтобы его энергия и все существо его тщилось» нужно «создать ценности вне времени и политич<еских> перестроений, — ему д<олжна> б<ыть> предоставлена полная воля в творчестве. Ибо истинное худож<ественное> произведение не собьется ни на памфлет, ни на пасквиль...»[99].

Итак, здесь он чужой. А там, за границей? За рубежом он известен. Эмигрировавший Бунин был уполномоченным Шмелева в издательских проектах по доверенности от 30 сентября 1920 года. Александру Семеновичу Ященко, некогда профессору Петербургского университета, весной 1919 года отправившемуся в Берлин в качестве эксперта по международному праву, но в Россию так и не вернувшемуся, Шмелев писал из Москвы в 1922 году: «Только Ив<ану> Бунину и дана была доверенность»[100]. Например, Бунину Шмелев послал «Неупиваемую чашу» с просьбой издать ее. Книга вышла в 1921 году в парижском издательстве «Русская Земля», одним из основателей которого был Алексей Толстой. Примечательно, что Шмелев, интересуясь у Ященко,

[97] «Последний мой крик — спасите!». С. 189.
[98] *Там же.* С. 190.
[99] *Там же.* С. 189—190.
[100] Русский Берлин. 1921—1923. По материалам архива Б.И. Николаевского в Гуверовском институте. Париж; Москва, 2001. С. 273.

возможно ли получить гонорар, высказал желание получить его уже в Европе.

Эмигрантскому читателю Шмелев интересен. Так, автор исторических романов Иван Наживин, с 1920 года эмигрант, решив создать национальное издательство, запрашивал Бунина 12 февраля 1921 года о текстах Шмелева и сообщал ему о намерении венского издательства «Русь» напечатать выходивший в России до революции том рассказов «Росстани». Он же справлялся у него, нет ли Шмелева в Париже. О своем желании издавать произведения Шмелева Наживин сообщал Бунину и в письмах 20 июля 1921 года и 13 января 1922 года. Причем до эмигрантов дошли вести о крымских страданиях писателя. В письме от 13 января, когда Шмелев уже был в Москве, Наживин писал: «Мне хотелось бы издать "Росстани" И.С. Шмелева и послать ему денег в Крым. Говорят, он страшно бедствует. Не поможете ли Вы мне в этом? Не знаю, где достать эту книгу. Может быть, у Вас там у кого найдется... И точный адрес его»[101]. Издать «Росстани» предполагалось в основанном Наживиным монархическом издательстве «Детинец», потому и реакция Бунина, опасавшегося за судьбу Шмелева в большевистской России, была отрицательной: «Шмелева у меня нет. И сохрани Вас Бог издавать его без спросу, а главное потому, что его повесить могут за его появление в "Детинце"»[102].

Шмелева угнетала не только бесперспективная для него литературная ситуация в Советской России, его также охватывало отчаяние от того положения, в котором оказалась интеллигенция в целом, а главное, его поражали соглашательские либо подчиненные исключительно задачам самосохранения позиции интеллигенции: «Зачерствел и опоганился русский интеллигент! <...> И куда мне больше по сердцу еще

[101] С двух берегов: Русская литература XX века в России и за рубежом. М., 2002. С. 303.

[102] Письмо от 30.01.1922 // *Там же*. С. 304.

не нюхнувший “культуры” простяк-человек. У него все прямолинейней и проще. И скорей дороетесь до его души. Ему простишь все»[103].

В апрельском 1922 года письме к Ященко Шмелев написал совершенно определенно о том, что ему необходимо уехать «хотя бы на короткое время», что он решил хлопотать о выезде за границу на четыре-шесть месяцев, что желает поселиться в южной Германии; он просил Ященко оформить ему визу на въезд в Берлин[104].

О визе хлопотал не только Ященко, и благодаря усилиям сочувствующих Шмелеву эмигрантов она была получена — лишь на шесть недель. Шмелев нежно простился с матерью. Он не припоминал ей жестокость прошлых лет, он посвоему любил ее. Зная об успехах сына, она гордилась им и даже робела перед ним.

20 ноября 1922 года Шмелев и Ольга Александровна выехали в Берлин. Для выезда нужно было официальное решение, а для него необходима была специальная причина: супруги отправлялись в Европу поправить здоровье после пребывания в Крыму. Хлопоча о выезде, писатель называл и другую причину: необходим материал, знание европейских реалий для работы над новым произведение «Спас черный». За них поручился издатель альманаха «Недра», литературный критик, партиец, давний знакомый Шмелева Н.С. Клёстов-Ангарский. Писатель был признателен Ангарскому, но в Россию он не вернулся.

---

[103] «Последний мой крик — спасите!». С. 175.

[104] Русский Берлин. 1921—1923. С. 272—273.

V. Берлин Париж У Буниных в Грассе Капбретон «Солнце мертвых»

Шмелевы прибыли в Берлин 13 ноября 1922 года. Из ноябрьского письма Шмелева к Бунину видно, насколько он был опустошен и безразличен к своей участи. Ему что Берлин, что Япония, что Персия, что Патагония — все одно: «Когда душа мертва, а жизнь только известное состояние тел наших, тогда все равно. Могли бы уехать обратно хоть завтра. Мертвому все равно — колом или поленом»[105]. Встретившийся с ним в Берлине Б. Зайцев был поражен его «внутренней убитостью»[106]. Адаптироваться к заграничному существованию оказалось не так-то просто. Он здесь, а там было то, от чего невозможно себя оторвать. Там был сын. Прозаик Семен Юшкевич 30 декабря 1922 года писал в Сааров Горькому: «Видел И. Шмелева. Впечатление тяжелейшее, а от разговора и умиленное и трагическое. Один шанс есть, что сын жив, и на этом шансе и стоит весь дом жизни. Я про себя плакал. А слов было им сказано не много»[107].

---

[105] Устами Буниных. Т. 2. С. 100.

[106] *Зайцев Б.* О Шмелеве // *Зайцев Б.К.* Собр. соч. Т. 6. С. 366.

[107] Цит. по: *Примочкина Н.Н.* Горький и писатели русского зарубежья. М., 2003. С. 228.

Вересаеву Шмелев сообщал о своем недоумении: зачем он, собственно, оказался в Берлине?.. Похоже, такое смятение было не только у него — Вересаеву же он писал о растерянности эмигрантской интеллигенции вообще. С одной стороны, его подавляло собственное отчаяние, он переживал состояние пустыни, мрачной и сухой, с другой стороны, он уговаривал себя: не ему одному, а всем приходится томиться в этой пустыне, но надо надеяться на Бога, надо найти в себе Бога, надо обязательно взяться за перо и все-таки... вернуться в Россию!

Бунин, по всей вероятности, так не думал. Он, желая, чтобы Шмелев закрепился в Европе, вел переговоры об издании его произведений, рассматривал возможности их переводов на шведский язык. Наконец, Бунин хлопотал о французской визе для Шмелевых, и она была отправлена им 6 января 1923 года. Он и Вера Николаевна — в основном она, Бунин конфузился — продавали билеты на вечер Шмелева, который еще не приехал в Париж. Наконец, по приглашению Буниных 16 января 1923 года Шмелевы приехали в Париж, и Бунины передали им 1800 франков, собранных специально для них.

Шмелевы поселились у племянницы Ольги Александровны — у Юлии Александровны Кутыриной, в ее трехкомнатной квартире в доме № 121 на улице Шевер. Вере Николаевне Буниной обстановка шмелевского приюта напоминала быт московского студенчества. Впрочем, Шмелевы всегда жили скромно. Посетивший в 1924 году Шмелева Томас Манн вспоминал убогость жилища, его потрясли и скудное существование писателя, и его измученное лицо, на котором были запечатлены ужасы крымской трагедии.

Шмелевы нанесли визит Буниным, у которых были устроены публичные чтения — Шмелев читал из «Это было». Тогда же Бунин представил его состоятельным, принимавшим участие в создании крупного журнала «Современные

записки» Михаилу Осиповичу и Марии Самойловне Цетлиным, познакомил с другими влиятельными лицами, от которых зависели публикации произведений эмигрантов.

И хотя Шмелев в марте писал Треневу о том, что Россия для него — хлеб духовный: «С Россией порывать не хочу, люблю ее больную и несуразную и несчастную душу»[108], — он не торопился возвращаться. С лета до 5 октября 1923 года, четыре месяца, Шмелевы жили у Буниных в Грассе: «...мы тогда с июня по октябрь жили вместе, тогда Бунин *настоял*, чтобы мы приехали на их виллу, в огромном парке, — "Mont-Fleury", — я согласился, но... на общие расходы по хозяйству...»[109]. Минули и четыре, и шесть месяцев, которые писатель отвел себе для жизни в Европе. В июне 1923 года он передал через Кутырину приехавшему в Париж Клёстову-Ангарскому свой отказ вернуться в Россию. По-видимому, уже летом он понял, что его связь с «больной и несуразной» Россией может быть какой угодно, только не физической.

Грасская жизнь возвращала Шмелева к нормальному состоянию, там он смог вернуть себе вкус к жизни, к ее простым радостям. Бунины сняли виллу Mont-Fleury незадолго до визита Шмелевых — в мае 1923-го и жили там больше года. Она располагалась высоко над Грассом, в саду росли пальмы, оливы, черешня, хвойные деревни, открывался вид на Средиземное море.

По наблюдению В.Н. Буниной, он был «бледен, накален, возбужден»[110], но А.И. Куприну он писал из Грасса о том, что ему там легко, что Грасс — это рай. Письмо от 13 июня — подробное описание грасской жизни; в наивном восторге Шмелева перед забытыми удобствами видна глубина его крымских потрясений, проступает тот ужас, который отда-

---

[108] «Последний мой крик — спасите!». С. 176.

[109] Из письма И.С. Шмелева к О.А. Бредиус-Субботиной от 4.12.1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 301.

[110] Устами Буниных. Т. 2. С. 112.

лил человека от нормального бытия, бросил его, слабого, в бездну, из которой, казалось, нет возврата:

Дорогой Александр Иванович,

Другую неделю живем в Грассе, и незаметно мчит время — так здесь легко. Крым, но субтропический, с водой и гущиной зеленой. Пальмы не пальмы, а слоновьи ноги с… султанами (не турецкими), вино само вливается и рассказывает такие сказки, что… Хорошее вино, и стоит 1 фр. литр!.. Завода русского, из Мужэн. Эти вот, золотенькие, по ночам шныряют, насекомые-то тропические, — можно поймать и прикурить. Доро́ги — паркет, а культура такая, что так бы захозяйствовал: коровы — при электрическом освещении жрут, жрут, лежа на боку, и течет из них молоко. Петухи — провансальские, ядовитые, орут, как брандмайоры, куры — брюнетки, какие-то брестские, несут по паре в день… Соловьи поют на заре! Но соловьи 2-го сорта, не наши, рокоту нет такого. Ежели бы у меня было тысяч 15—20, купил бы себе здесь клочок с хибаркой, и такие бы я чудеса натворил! И так бы и осел…

Вот это — рай, осколок, показанный кукишем нам, имевшим и Крым, и Кавказ, и… Был я у Моисеенки… Что за буколика. Пара казаков в широких соломах, как на плантациях, мерно-казацки бьет мотыгой. Журчит вода (из водопровода). Черешни — сахар в розовых щечках, вино — словно Господне, слеза сладкая, куры, кролики (10 фр. 2 кило, сбыт), виноград — на 1500 ведер, осел, при электрич. освещении, черный, как черт ушастый, и ко-ро-ва… И такая компостная яма, и такая веранда в тени, и такие кресла, и такой пес — волк и 9 десятин такой благодати. А казаки всех девок покорили, и такие бои были, что 7-меро весь Mougin побили! Что тут рассказов одиссейской мерки и мазки, что за благодать! Здесь Вы бы написали такие чудеса, что… Здесь под каждым камнем история. Плацо Наполеона… Здесь золото прет из камня — в маслины, апельсин, абрикос, во всем. Хорошо трубят рожки аннамитов в далекой казарме, хороши девушки с цветами у алтарей на бульваре (здесь попы все устраивают молебны!). Здесь городок из «Мадам Бова-

ри», какие старички, какие бородатые старушки, сломанные и вновь склеенные, а алоэ — канделябры, и пальмы — не обхватишь, и доживающие век пенсионеры — много-много, и духи — розовое масло — разлиты по городам, и гора Эстерель, любимые цепи Мопассана, и яхты у побережья Канн (1/2 ч. пути), с ленивыми матросами — баловнями господ — белое с золотом, праздно подремывающие у мола, начищенные до солнца в глазах. Здесь трижды косят, а мушмала сыплется золотым градом. Вот, дорогой Александр Иванович! Дайте мне взаймы 15 тыс., и я через пять лет подарю Вам имение — рай в 50, а сам уйду под землю. Подумать только: 2 куб. метра воды ежедневно — платят по 150 фр. в год! Да ведь можно какие помидоры снимать, по 1/2 пд. с клети! А я бы на 300 саж. все имел: 2—3 маслины — и каждый день провансаль, и каждый день бутылка какого-ниб. Каберне, и каждый день по 3 яйца круглый год с 7 кур (больше не надо), а к Петрову дню — цып-ля-та молодые! А шоссе на Ниццу такое, что хочется идти, идти... и я утром часов в 6 иду-иду, мимо вилл в огненной герани, в сладком гелиотропе, и смеются мне апельсины золотеньким шаром, и ковыряются в придорожной канаве старики-грибы, говоря: Bonjour, Monsieur! Покуришь на неведомой скамейке, а мимо тебя шныряет и шныряет парнишка на велосипеде — в школу, рабочие на мотоцикле с пилой и кожаной сумкой, из которой торчит к небу горлышко с розоватым всплеском, и выбежавшая девка — прованская крутобедрая, голорукая, орет кому-то вослед о-лал-ля-а! Глядит на ее ноги старикан из канавы и ведет отседевшим усом и все еще соловьиным глазком. Да что... Ну, как живете? Наслышаны мы, что был diner-gala, что Вы купались в обольстительных ласках великих женщин, что подавали на золоте, что меню были изображены на 100-франковых бумажках, а к цыплячьим котлеткам розовая ручка герцогини накладывала звонкими ложечками зеленый горошек — пару изумрудную, изумруды — горошком на память. Что присутствовали тени Бурбонов, и Карлов, и Луи, и легконогие маркизы в шелках и золоте сыпали пудрой, и дамы делали реверансы и подымали бокалы во славу русского имени, а мадам принцесс пожи-

мала под столом чью-то бодрую руку, написавшую много прекрасного? Не скромничайте, дорогой, и примите от меня братское — да будет! Quid novis? Какие добрые перспективы видятся? Как себя носите? Буду ждать письмеца, а придет время — распишусь. Однако скажу — здесь все располагает к работе. Но... вытягивает это солнце к дали, зовет в Антибы (был!) — за 2 фр. На трамвае, в Ниццу, в Монако, на № 23, который я испытаю пятифранковиком. И отрясусь. Не надо мне молочно-сиреневых бумажек в небе, лучше верных рабочих — 40 фр. в день — и я был бы трудоспособен.

Каждый вечер ходим по шоссе — версты 4—5 по проспекту золотых мух, и они уплывают от нас, как неуловимые мысли. Воистину благословенна страна, владеющая таким кусочком земли!..

Наш привет горячий Вам и Лизавете Мавриките Мавриkиевне и наши поцелуи милой Кисе.

А книги я послал в Копенгаген 2 июня из Парижа.

Сердечно Ваш *Ив. Шмелев.*

Пишите. Ваши письма будут для меня славным ликером! И жжет, и крепит, и душа парит[111].

Это письмо свидетельствует о том, как Шмелев «расписывался»; личный, интимный стиль сросся с эссеистским, литературно-описательным. Куприн, сохранивший это и другие письма Шмелева, ценил их за язык, сочный и точный. Именно в Грассе Шмелев «расписался»: он создал там одно из самых великих произведений, которые дала эмиграция русской литературе, — эпопею «Солнце мертвых».

В грасском мире его внешность была совсем не грасской. Большие серые глаза Ивана Сергеевича, человека не-

[111] Цит. по: *Куприна К.А.* Куприн — мой отец. М., 1979. С. 236—238. *Quid novis?* — Что нового? (лат.) *Елизавета Маврикиевна, Киса* — жена и дочь Куприна.

высокого и сухощавого, выражение имели скорбное, лицо было «в глубоких складках — лицо старовера-мученика»[112]. И тем не менее грасские письма Шмелева к Куприну, которого он недолюбливал в 1910-е годы, к которому теперь испытывал искреннюю симпатию и в котором явно чувствовал родственную душу, отличает детский восторг. Он писал ему о всяких мелочах, обычно такие письма предназначаются другу. Например, сообщал о том, что глаз его болит и он с трудом работает на машинке, а читать не может, как не может писать пером; он радовался тому, что житье в Грассе недорогое, что в саду он собирает кедровые орешки, что посадил огурцы и ждет, когда они зацветут; он писал о том, что подарили ему кролика Ваську и он его дрессирует, что был в игорном доме, что была африканская жара, а сейчас идет дождь, что хочется ему пирожка с груздем, что тоскует по Александру Ивановичу и рад успеху его «Ямы» у французов. От будничных, бытовых подробностей он переходил к мыслям о литературе и литераторах, иронизировал по поводу литературных снобов: в Грассе до ноября сняли виллу, Villa Evelina, Мережковские. Он постепенно адаптировался в новых условиях и психологически уже был готов к бытию писателя-эмигранта. Вот, с небольшими сокращениями, письмо от 6 сентября 1923 года:

> Очень был рад получить письмо от Вас, дорогой Александр Иванович! <...> О «Яме» Вы не того, не преуменьшайте славы своей. Впрочем, Вы расточительный человек, знаете, что у Вас может быть — сидит в Вас! — полтора десятка романов, и Вы так неглиже! Конечно, успех! И дай Вам еще вдесятеро, и всем французам чтобы тошно стало! О Вас вон даже в медитерранском Эклерер — мсье Фаро сказал — самый любимый во Франции русский писатель, имеющий больше всего адмираторов и аматеров! Гвозданите романище!

[112] Цит. по: *Куприна К.А.* Куприн — мой отец. С. 233.

рассыпьте в нем кремни и жемчуга духа своего российского и человеческого! Садитесь и пишите! Вы сейчас «на струе», прикормка сделана, бор бу-дет! Шесть тысяч, а я думаю, что и все десять – в два месяца — это... фейерверк!..

Медведь Вы Великий. Двиньте из берлоги, берите перо в сосну, бумагу в добрую пашню! Я по Вас стосковался. Думаете, весело я живу? Я не могу теперь весело! И пишу я — разве уж так весело? На миг забудешься... А сижу я наверху у себя, сползал для отправления естественных надобностей, как-то перекусить от трудов моей Оли, которая совсем не отдохнула. Никуда не выбираюсь, к американцам не езжу, ибо на авто денег нет, а раза три в день пойдешь в сад виллин и так с часочек лазаю под кедрами ливанскими, все дырки излазаю, подбираю орешки. Подбираю орешки и думаю краюшком. Тут то жук дохлый попадется, то муравей необыкновенный, крыловский, то змеиное испражнение увидишь, то синичка цилькает возле, а то раз сорока за мной все ходила — должно быть, и за человека не считает. Вот и «отдых». И таким манером набрал я орешков ф. 6! Буду Вас угощать. А еще один адмирал дал мне русских огурцов. Посадил 13 авг., и теперь такие экземпляры! Вчера опыление первое совершил! Садовник здесь, мосье Франсуа (ни туа, ни суа) покачал головой — пять недель? — Не-пе-па-зетр! Я, может быть, посолю огурцы даже, но всего 5—6 растений! И ежели мне удастся произвести один, то... но молчание! И еще жил у меня крол Васька! исторический крол! сколько с ним историй было... и свадьба была, и... после брачной ночи... украли его итальянцы. Мог бы трагический рассказ написать, поучительный! Пишу Вам все сие, чуя и зная, что Вы любите природу и понимаете ее! Я тоже ее люблю. А кому же еще я и расскажу-то! Я да Оля. Мы любим. Я тут нашел калеку, заброшенный георгинчик, — заставил, подлеца, цвет показать! Вот и вся моя компания. А парк большой. В каждом уголочке что-нибудь свершается. А-ах, дорогой друг! Какие тут хутора да дачи!.. На чужом поле русские огурцы рощу, скоро уеду, и будут англичане стоять над моими лунками и думать — что такое?! Эх, если бы у меня здесь было 100 саж. земельки с

конурой! И я бы тогда — алер кричал храбро! Я бы был независим. У меня бы и огурцы к водке были, и красненькие, и картошка, и был бы я Гарун аль Рашид! А на булку-то бы я достал! Нет, у меня в жизни всегда ступеньки: только ногу поставишь — по голове оглоблей!..

Скоро и в Париж! Прощай, орешки! Сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, и тоска, тоска. Я не на шутку по Вас соскучился. Доживаем дни свои в стране роскошной, чужой. Все — чужое. Души-то родной нет, а вежливости много. С Мережковскими у меня точек прикосновений не имеется, не имелось и не будет и не может иметься. Они с самым Вельзевулом в бою пребывают извечно и потому с людьми пребывать разучились. Милые люди, ничего. К огурчикам подойдут: это… что же?!. Ах, скажите! Болеют попеременно, понемножку, ездят не иначе, как первым классом, иногда даже милы. Ивана Шмелева, кажется, для них не существует. А я лорнетов не люблю. С Иваном Алексеевичем отношения самые добропорядочные, особенно за обедом. Русской литературы не существует вообще. Ну, был Пушкин, ну, Тургенев, Толстой… Да еще Чехов, который, помню, и т.д. Ну, немного расходимся. Для меня существует и современная. Это иногда является остреньким соусом для кабачков. А в общем — все благополучно. Если случится еще год жить, замахнусь-ка я на Океан! на лето, найти бы нору какую, где ходить босиком бы, а есть ракушки и салат, с хлебом. На триста франков в месяц. И стал бы я про море сказки рассказывать. Но… влекут меня «иные берега, иные волны». Для Кисы напишу непременно про «Ваську». Тряхну стариной. Елизавете Маврикиевне низкий поклон и душевный привет. Оля такожде. Как приедем — алле силь ву плэ в нотр салон на Швер, и Вы много-много расскажете любопытного…

А в общем это лето ничего особо приятного не дало. Пил гнусный мар, но зато закусывал капорцами «своего заводу»! Нашел в парке и так их закусил — в затылке мороз. От головной боли помогает. А я жду от Вас письмеца — до отъезда, а оный состоится 8—9 октября. Ибо если раньше уехать, — совесть меня будет мучить. Хотя я ни в чем не виноват. Но…

надо довершить сезон. Жалею, что не видал Парижа летнего. Все у меня плохо, на душе-то. Ну, да будет с Вами и Вашими Христос бог, но Христос русский, благостный, благостный, а не какой-нибудь декадентский!

Крепко Вас обнимаю. Сердечно Ваш *Ив. Шмелев*[113].

Заграница втягивала Шмелева в свою жизнь. В.Н. Бунина сделала запись: «Ив.С. трогательно учится по-английски»[114]. Причиной послужило письмо, которое Шмелев получил от переводчика Ч. Хогарта. За переводом он вынужден был обратиться к Зинаиде Николаевне Гиппиус, а это было не совсем удобно.

Но общаясь со Шмелевым, Бунины увидел и как он сложен: не только мил, но и непримирим, и страстен. Как полагала В.Н. Бунина: «В нем как бы два человека: один — трибун, провинциальный актер, а другой — трогательный человек, любящий все прекрасное, доброе, справедливое»[115]. Бунин же в письме к Ариадне Владимировне Тырковой-Вильямс 11 ноября 1923 года, то есть уже после отъезда Шмелева из Грасса, заметил: «Тяжелый во всех смыслах человек!»[116].

5 октября 1923 года Шмелевы вернулись в Париж и всю зиму 1923-го и часть весны 1924-го жили у Кутыриной. В дальнейшем холодные месяцы они проводили в городе — сначала в Париже, а впоследствии в пригороде Парижа — Севре; в теплые месяцы выбирались на побережье. Шмелев о своем житье-бытье писал Ивану Александровичу Ильину: «Лета-

[113] *Куприна К.А.* Куприн — мой отец. С. 240—241. *Не-пе-па-зетр* — не может быть (*фр.*). *«Иные берега, иные волны»* — из «...Вновь я посетил...» (1835) А.С. Пушкина. *Алле силь ву плэ в нотр...* — Приходите, пожалуйства, в наш... (*фр.*).

[114] Устами Буниных. Т. 2. С. 116.

[115] *Там же.*

[116] Минувшее. 1994. № 15. С. 187.

ем, как чибисы тоскливые, — над болотиной», гнезда нет, «не подымается душа — вить гнездо»[117].

В сыром Париже, среди рекламы, Иван Сергеевич чувствовал себя чужаком, ему было там неуютно. 15 ноября он писал З.Н. Гиппиус:

> Но... приходится шмыгать в метро, где гуси «Мари» все еще доклевывают свое фуа гра, красная идиотка вопит про «Котидьен» и появились пылающие печки и дамы в зимних нарядах. Глядеть, как сырым утром котелки-котелки-котелки спешат захватить «обратный» за 30 сантимов, консьержки озябшими руками полощутся на тротуарах, обмывая подтеки ночных гуляк, и серьезные люди в балахонах набивают на антрэ траур с инициалами покойника, тащат полешки-хлеб, и объявившиеся во множестве русские растерянно мечутся в парижской суматохе.
>
> Что-то уж я растекся... Сижу в Париже и сыро-сыро. Сидишь будто на шумном чужом вокзале, без билета. Багаж украли, и спросить некого, и не знаешь, куда идти. За вокзалом — огни и ночь, много огней и путаная от них ночь, и неуютно, бродяжный ветер... а люди шмыжут и шмыжут, валят и бегут толпами, проскакивают в дверки, едут в с в о е, к с в о и м, и никто не замечает тебя, и ты растерян. И вот-вот подойдет тяжелый ажан, спокойный, в спокойном плащике, и пальцем, бровью, пожалуй, только: «Э бьян!». Так меня этот ажан торопит, так от него тревожно, нудно... Или это «булонь» на меня так подействовала? И откуда этот отврат от «культуры», почему она — в с я — ч у ж а я?![118]

Но все-таки Шмелевы старались сохранить московский уклад. Ольга Александровна пекла пироги с капустой, рыбой, мясом, варила щи, гречневую кашу, на Пасху пекла ку-

[117] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 30.

[118] Иван Шмелев: Отражения в зеркале писем / Публ. О.Н. Шотовой, В.П. Полыковской // Наше наследие. 2001. С. 59—60, 125—126. *Антрэ* — перекладина; *ажан* — полицейский; *Э бьян!* — Ну-ка! (*фр.*).

личи. По воскресеньям Шмелевы встречали гостей. Материально они были стеснены настолько, что одежду мужу Ольга Александровна шила сама. Выручали ежемесячные субсидии от созданных в 1920-е годы в Чехословакии и Югославии фондов помощи русским писателям.

В России лето Шмелевы проводили на даче — недалеко от Абрамцева, либо в Кунцеве, либо под Малоярославцем. Теперь весну, а также часть лета 1924 года они решили провести в Ландах, на юго-западе Франции, недалеко от Атлантического океана, в окруженном лесами рыбацком поселке Оссегор. На следующий год Шмелевы переехали в Капбретон, где сняли виллу «L'louette», «Жаворонок». Вилла была небольшим деревянным домом, расположенным рядом с кукурузным полем[119]. Шмелеву Капбретон напоминал Поволжье.

Так получилось, что в Капбретон съезжались русские. В июле 1924 года Шмелев писал богослову Антону Владимировичу Карташеву, ставшему в эмиграции председателем Русского национального комитета: «Скоро в наши места пожалуют Бердяевы и еще М. Вишняк. Сыскал им комнаты, и недорого»[120]. Впоследствии Марк Вишняк, соредактор «Современных записок», вспоминал:

> Личному моему сближению с Иваном Сергеевичем и Ольгой Александровной способствовало 3-недельное пребывание в Капбретоне в августе 1925 г. Я мог тогда убедиться в личных достоинствах Шмелева. Он глубоко чувствовал природу, любил сажать цветы и ухаживать за ними — превращал «простую ромашку» в Anthemis frutescent, — наслаждался полетом птиц, восторгался лесом и общим пейзажем «чудесного Капбретона», на пляже которого показывался раз-другой за сезон, предпочитая «mer sauvage — подальше от тел (и дел) человеческих».

[119] См.: *Жантийом-Кутырин Ив*. Мой дядя Ваня. М., 2001. С. 25.
[120] Цит. по: Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 94.

Шмелевы благожелательно относились к людям, дружили с французами-соседями и наезжавшими в Капбретон, по рекомендации Шмелева, русскими»[121].

Жил в Капбретоне близкий Шмелеву профессор Николай Карлович Кульман. В 1926 году в Капбретон приехал Антон Иванович Деникин с семьей. Генерал и писатель стали друзьями; впрочем, Деникин в эмиграции сам стал писателем, он автор очерков «Офицеры» (1928), пятитомных «Очерков Русской Смуты». Там же с 1926-го по 1928-й и с 1930-го по 1932-й жил Константин Бальмонт, который посвятил Капбретону не одно стихотворение: «...Я долю легкую несу...», «В зеленом Капбретоне...», «Мир вам, лесные пустыни...», «Ночь в Капбретоне» и др. Как рассказывал Бальмонт в очерке «Оссегор» (1927), во время пятиминутной остановки на узловой станции Лабен, поэт, по пути в Оссегор, где хотел снять дом, встретил Шмелевых, возвращавшихся из Капбретона в Севр, и Ольга Александровна посоветовала ему обосноваться в Капбретоне — и дешевле, и живописное место. Бальмонт оказался в эмиграции раньше Шмелева, он покинул Москву 25 июня 1920 года, перебрался через Петербург в Нарву и Ревель. Незнакомцы в России, во Франции они стали родственными душами. Они постоянно общались, поддерживали друг друга, переписывались. Когда Шмелев покидал Капбретон, Бальмонт и его супруга жили там и зимой; 8 декабря 1926 года он, например, писал Шмелеву:

Дорогой Иван Сергеевич,

Спасибо Вам, что послали книгу сельским отшельникам. И за письмо ко мне спасибо. Я чувствую в нем Вашу горячую искреннюю душу. Вас здесь все любят, и даже старая мясничиха, и даже полицейский коммисар (кажется, нужно

[121] *Вишняк М.* «Современные записки»: Воспоминания редактора. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 132.

писать комиссар?), когда говорят о Вас, у них в лице и в голосе почти влюбленность.

Мой Коттэдж, по прямой линии (птичьей), в нескольких аршинах от Вашего Жаворонка, а по Заячьей дорожке менее минуты хотьбы. Рядом со мной Паризетт. Сзади — лес. Да лес здесь и всюду. Я очарован. <...>

Ваш *К. Бальмонт*[122].

Бальмонт писал о Шмелеве статьи: в 1927-м — «Горячее сердце», в 1930-м — «Шмелев, которого никто не знает». 28 марта 1925 года Клуб молодых литераторов устроил чествование тридцатипятилетия литературной деятельности Бальмонта, и, конечно, среди выступавших был Шмелев. Бальмонт называл Шмелева Королем Шмелей, посвящал ему шуточные стихотворения. Так, в опубликованном в 1927 году стихотворении о шмеле он обыгрывал фамилию писателя и названия его произведений — «Неупиваемой чаши» и «Солнца мертвых»:

У шмеля забот немало: —
Заострить, на случай, жало,
И с утра, на юг, на север
Мчаться вдаль, где лучший клевер.
В грязь лицом тут не ударить.
По дороге все обшарить,
Там сирень или калина,
Раз цветет, нам все едино.
Все же лучший мед — из кашки.
И летает без поблажки,
И туда, а то оттуда,
Шмель мохнатый, полный гуда.
Шмель усердный помнит свято,
Что в гнезде его шмелята,

[122] *Вишняк М.* «Современные записки». С. 101. *Паризетт* — Маленький Париж, название магазина.

Потому из дивной Чаши
Пьет он мед, а мед все краше.
Солнце — мертвым даже светит.
Солнце мертвых нас заметит.
Позовет нас в час веселый,
На родные наши долы![123]

Возможно, под влиянием Шмелева в эмигрантской поэзии Бальмонта появились почвеннические мотивы.

В первые годы эмиграции сложился круг друзей писателя. Это были Бальмонт, Куприн, Деникин, Карташев — сын крестьянина, лицом похожий на священника. Колоссальную душевную помощь Шмелев получал от обосновавшегося в Германии философа И. Ильина. Шмелев сходился лишь с духовно близкими ему людьми. Были у него и враги. Были, очевидно, среди русских парижан люди, которые могли бы стать его друзьями — но не стали, они выделяли Шмелева из всей эмиграции — но так и не сблизились с ним. Например, М.И. Цветаева писала своей подруге по Чехии О.Е. Колбасиной-Черновой 14 августа 1925 года: «К литераторам ходить не будем, не люблю (отталкиваюсь!), кроме Ремизова, никого из парижских. И., м.б., еще Шмелева»[124]. Однако их отношения так и не сложились, хотя у него и у нее был один общий близкий человек — Бальмонт.

В эмигрантском существовании Шмелева установился свой ритм, пришло ощущение воли и относительного покоя, но ничто не могло успокоить его память. Он сам не хотел ничего забывать и мысленно обращался и обращался к крымским страданиям. Гостя в Грассе, он закончил писать свою эпопею о большевистском Крыме и назвал ее «Солнце мер-

[123] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 101.

[124] *Цветаева М.И.* Собр. соч.: В 7 т. / Сост., коммент. Л. Мнухина. М., 1995. Т. 6. С. 751.

твых». Он читал ее небольшому кругу собравшихся у Буниных слушателей в течение двух-трех вечеров, и она потрясла их. Бунин вскрикнул: «Э т о… будет переведено на все языки!»[125] «Солнце мертвых» было переведено на тринадцать языков.

Впервые эта небольшая эпопея напечатана в издававшемся Цетлиными журнале «Окно» (1923. № 2; 1924. № 3), на страницах которого публиковались Бунин, Куприн, Зайцев, Ремизов, Гиппиус, Мережковский, Цветаева, Бальмонт и другие писатели, определявшие уровень эмигрантской литературы 1920-х годов. После третьего номера Цетлины прекратили издание «Окна», дабы не создавать конкуренции «Современным записками»: по составу авторов оба издания дублировали друг друга. Отдельной книгой «Солнце мертвых» вышло в 1926 году, второе издание — в 1949-м.

В «Солнце мертвых» Шмелев изобразил то, чему был свидетелем, — крымские репрессии и голод. Он описал события, которые укладываются во временные границы: с 20 августа 1921-го по февраль-март 1922 года. Место действия — Профессорский уголок под Алуштой. Узнаваемы прототипы героев. Например, собирающий крошки с пола татарской пекарни автор «Словаря ломоносовского языка» — профессор, известный филолог И.М. Белоусов (1850—1921), о судьбе которого в крымскую пору хлопотал Шмелев. В мотивах «Солнца мертвых» отразились и реальные факты и общая атмосфера крымского существования — та, о которой он, в частности, писал Вересаеву, когда просил его помочь врачу Коноплеву, дачу которого заняли под морской наблюдательный пункт, хотя в Алуште есть пустующие дачи; та, о которой говорилось в его письмах к Треневу: о гибели людей от голода, о незахороненных трупах, о своем голоде, о голод-

[125] Из письма И.С. Шмелева к О.А. Бредиус-Субботиной от 4.12.1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 301.

ном обмороке жены, о том, что больницы не принимают опухших с голоду, а приюты не берут детей.

Крым для русской эмиграции — врата в иной мир, последние врата изгнанника. У Шмелева Крым — все равно что Киммерия, мрачное место, где был расположен вход в Аид. Таким Крым был в «Крымских степях» (1903) И. Бунина, у М.Волошина в «Киммерийских сумерках» (1906—1908). Крым в русской литературе задолго до Шмелева обрел черты греческого мифа: это место зловещее, путь в «Аидову мглистую область», как говорится в «Одиссее» Гомера, «там киммериян печальная область». «Солнце мертвых» — о реальных страданиях, и узнаваемые в эпопее мотивы древнего мифа усиливали чувство безысходности, древнего ужаса, навалившегося на человека XX века. Шмелев явно усиливал в своем произведении ощущение человека, оказавшегося в древности, в умершей цивилизации; например, рассказчик видит сон, построенный на аллюзиях с «Одиссеей»: нездешние деревья, солнце цвета бледной жести источает «подводный» свет, люди — уже нездешние, прошедшие нечто страшное, — с неживыми лицами, в бледных одеждах; но и Цирцея сказала Одиссею о том, что в Аиде умершие — как безумные тени.

Крым — гиблое место, а сытый мир — за морем, где Стамбул, там горы хлеба, брынзы, кофе. Крым – царство мертвых либо обреченных на смерть. И солнце уже не источник жизни, а символ смерти, бесчувственного существования человека, раздавленного трагедией. Вспоминая в 1942 году свой отъезд из России, Шмелев писал о том, что он и Ольга Александровна были словно неживые — им светило солнце мертвых[126]. Солнце для Шмелева психологически значимый образ и очень личный, в письме сыну 9 августа

[126] Письмо к О.А. Бредиус-Субботиной от 28.01.1942 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 478.

1917 года он писал о своей тоске: «Ведь пять лет не вижу тебя… Я не хожу на улицу — мне тяжело. Как в горе, в тоске человеку, так и мне. Но от себя не уйдешь. Мне даже неприятно смотреть на солнце. Скорее бы оно садилось – одним днем меньше»[127]. Солнце в эпопее — насмешник, оно смеется в мертвых глазах; ему, как красноармейцу, все равно — труп ли посинелый, живое ли тело, вино ли, кровь ли; оно угнетает рассказчика: «Когда же, наконец, солнце потонет за Бабуганом?! Скорее бы…».

Треневу 23 марта 1923 года Шмелев сообщил: «Сейчас пишу "Солнце мертвых", неожид<анная> тема…»[128] Но возможно, что сама мысль написать книгу о голоде зародилась уже в Крыму; ведь есть в его ноябрьском 1921 года письме к Вересаеву строки: «О, как бы я мог написать теперь! Что "Голод" Гамсуна! Это мелко и жидко»[129]. Роман К. Гамсуна «Голод» (1890), как и «Солнце мертвых», имеет автобиографическую основу. Описано состояние голодного и бесприютного человека среди сытых и равнодушных обитателей Христиании. Герой пишет статьи в газеты, одна из них — о роли преступлений в будущем, что сближает его с героем «Преступления и наказания». Находясь в крайне отчаянном бытовом положении, он пребывает и в пограничном психологическом состоянии, балансирует между страхом и надеждой; как герой Достоевского, он занят самоанализом, порой ощущает себя червем, обостренно, не вполне адекватно воспринимает очевидные ситуации, он во власти своих лихорадочных мыслей и фантазий. «Голод» — социально-психологический роман. Шмелев назвал «Солнце мертвых» эпопеей: он описал не только трагизм собственного существования, но и катастрофу, переживаемую народом. Он намеренно

[127] Цит. по: *Сорокина О.* Московиана. М., 1994. С. 119.

[128] «Последний мой крик — спасите!». С. 176.

[129] *Там же.* С. 187.

не ввел в текст сюжет о собственном горе: «Там о Сережечке — только г д е - т о — в молчании — в тО-нах!»[130] Голодают люди, животные, птицы. Голодают не только в Крыму, в «Солнце мертвых» говорится и о Волге: там от голода умирают миллионы. Упомянутый исследователь истории языка мечтает вернуться на родину, в Вологодскую губернию, по сути, в прошлое: попил бы молочка, поел бы кашки, с маслицем, «творожку бы...».

Пребывание теней умерших в обители Аидовой бессрочно, вот и время для крымских мучеников теряет всякий смысл — так бесконечны их страдания. Бессрочнику календарь ни к чему! Истекший день — убитый день, и забота о курочках отрадна, потому что убивает время. Как замечает знакомый доктор, часы — буржуазный пережиток, интеллигенты — бывшие люди, все вокруг — бывшее, будущее — помойка, а путь из этой помойки — только в *ничто*. От самого доктора пахнет тлением, он забыл «Отче наш» и придумывает философию реальной ирреальности, небытия помойного. У него отняли паек из врачебного союза — полфунта соломистого хлеба, у него реквизировали градусники, барометры, колбы, челюсти с золотой пластиной, четыре — все, что было, — банки абрикосового варенья, которое хранилось в ореховом шкафу; в этом шкафу он и похоронил свою жену.

«Солнце мертвых» — о смерти. Девочка Анюта выпрашивает «крупки на кашку»: «...маленький у нас помирает, обкричался...». Старой татарке отдали тело сына-офицера, забитого шомполами. Тело фабриканта консервов валялось на солнце, рот, из которого выбили золотые зубы, был разинут. У самого моря живет старуха с двухлетним внуком — ее сына-лейтенанта убили. В Ялте убили древнюю

[130] Из письма И.С. Шмелева к О.А. Бредиус-Субботиной от 4.12.1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 301.

старуху: она держала на столике портрет покойного мужа-генерала; она не могла идти, и ее толкали прикладами. Каратели взяли семерых моряков-офицеров, угнали за горы и расстреляли. Шмелев рассказывает о расстреле старика — отставного казначея: он донашивал серую, погонную шинель; о расстреле юнкера-мальчугана, вернувшегося больным с германского фронта. Итак, «от самого Бела Куна свобода убивать вышла!». Доктор насчитал только в одном Крыму за три месяца восемь тысяч вагонов расстрелянных без суда и следствия, «десять тысяч тонн свежего человечьего мяса, мо-ло-до-го мяса! Сто двадцать тысяч го-лов! Че-ло-ве-ческих!!».

Шмелев максимально приблизил художественное повествование к реальной жизни. В 1927 году в обращении к швейцарскому адвокату Теодору Оберу, защищавшему на Лозаннском процессе убийцу Воровского Морица Конради («Защитнику русского офицера Конради — г-ну Оберу, как материал для дела»), он сообщал о фактах крымских репрессий, среди которых встречаются и описанные в «Солнце мертвых». Писатель выступил в своем обращении как свидетель преступлений: он рассказал о том, как убили московского фабриканта Прохорова и его сына, как расстреляли престарелую княгиню Барятинскую (она не могла идти и ее толкали прикладами), как расстреляли писателя Бориса Шишкина и его брата, как расстреляли всех офицеров, как расстреляли его сына («Тов.Островский расстрелял моего сына»). Он старался беспристрастно излагать факты, но не мог подавить своего ужаса и омерзения. Он желал отмщения — и взывал к чувствам европейцев. Он рассказал о том, как гнали солдат Врангеля зимой за горы, «раздев до подштанников, босых, голодных», как они укрывались мешками, как народ смотрел на них и плакал. Бредиус-Субботиной он писал 6 ноября 1941 года: «Тогда вечерами громыхали грузовики — полные трупов, и на ямах мостовой —

эти трупы подскакивали, вздымались плечи, головы, руки... — и падали. Тоже — и ребят — грудами, как мерзлых поросят — возили»[131]. Так что эпопея «Солнце мертвых» документальна, и в частности и по сути.

Умирают растения, животные. Всякой твари рассказчик сострадает. Сочувствует павлину, которого нечем кормить: он, как люди, сам добывает себе пропитание, становится дерзким вором, оклевывает у греков пшеницу. Шмелев жалеет курочек: «Бедные мои птицы! Они худеют, тают, но... они связывают нас с прошлым. До последнего зернышка мы будем делиться с ними». Умирает на его руках курочка Торпедка, но сам рассказчик не смеет ее есть и закапывает в землю. Из октябрьского 1921 года письма к Вересаеву становится понятным трогательное отношение к курочкам — с ними связаны воспоминания о сыне: «Есть 6 кур, но их не могу. <...>. Я их кормлю сухим виногр<адным> листом. Это единое наше. Посл<еднюю> крошку делим. О, я мог бы много ласкового сказать о них. Об их уме, о многом. И все, все связано с мальчиком»[132]. Умирают кони, брошенные в Крыму ушедшей за море армией добровольцев. Погибает природа: чернеет море, убит каменистый клочок земли. Разрушаются дома: ослепла разоренная ворами дачка екатеринославской учительницы. «Солнце мертвых» потрясало этой древней, роковой безысходностью, библейскими масштабами гибели.

В пещерном существовании умирает и человеческая мысль. Встретилась «замызганная баба» с «лицом без мысли, одуревшая от невзгоды». Рассказчик, послушный инстинкту самосохранения, убеждает себя отказаться думать: «Надо разучиться думать!» Но как это противоестественно, и какие у девочки Ляли умные русские глаза. Примечательно,

---

[131] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 240.

[132] «Последний мой крик — спасите!». С. 183.

что Евгения Герцык, также пережившая крымскую трагедию, в ночь судакских расстрелов записала в дневнике 1 марта 1921 года: «Страшная ночь 18 января, когда я тупо, механически кончала все дела дневные <...>»; 15 апреля 1921 года — о своей реакции на репрессии: «И какая я лежу опустошенная, обессмысленная и разбитая, когда уводили Б<обу>, и после этой ночи страшной, ночи смертей, и после лица его на вокзале. Отчего было это чувство, когда стояла, провожая каторжников, что это уже было, точь-в-точь так же?»[133]. В созданном в Туапсе стихотворении «Изгнанники» (1920) Ирина Кнорринг, камерная поэтесса, путь которой из Крыма лежал в африканский лагерь русских беженцев, писала: «В нас нет стремленья, в нас нет желанья, / Мы только тени, в нас жизни нет <...> / У нас нет жизни — она увяла, у нас нет мысли в немых сердцах. / Душа стремиться и жить устала — / Мы только призрак, мы только прах!»[134] Описывая в дневнике крымские расстрелы, Евфалия Хатаева заметила: «Привыкли, что ли, мы к крови, к смерти, болезни, страданию...»[135] Угасание интеллекта, притупление психических реакций как итог репрессий, каждодневного страха отмечены и в «Окаянных днях» (1918—1919) Бунина: большевики, приучая человека к ужасу, делали его невосприимчивым. Показательна реакция А. Амфитеатрова на «Солнце мертвых»: «...никакого сопротивления торжествующему большевизму нет и уже быть не может, хотя бы в самой тайной и пассивной форме, ибо население под двойным бичом рабства и голода ОСКОТИНЕЛО»[136].

Бесчувствие, механистичность существования заострены Шмелевым в мотивах людоедства. Собственно, Шме-

---

[133] *Герцык А.* Воспоминания. М., 1996. С. 252.

[134] *Кнорринг И.* Очертания смутного Крыма... // Крымский альбом. 2003. С. 122.

[135] *Хатаева Е.* Жизнь в красном Крыму. С. 140.

[136] Возрождение. 1926. 17 нояб.

лев описывал все, как было. Он ввел в повествование сюжет о Бабе-Яге; она — древний образ хозяйки мира мертвых, в мифе о ней есть несомненная связь с Персефоной, которая, похищенная Аидом, стала богиней мертвых[137]. Помело Бабы-Яги — это помело репрессий: «Шумит-гремит по горам, по черным лесам-дубам, — грохот такой гудящий! Валит-катит Баба-Яга в ступе своей железной, пестом погоняет, помелом след заметает... помелом железным». В Бахчисарае татарин съел жену, и доктор прокомментировал: «Значит, Баба-Яга завелась...» Яга у Шмелева — символ реального каннибализма. В воспоминаниях дочери генерала Николая Петровича Квашнина-Самарина Марии Николаевны Квашниной-Самариной о крымском ужасе такое свидетельство: «Как-то раз ко мне подошла маленькая девочка — дочка санитарки — и сказала с восторгом: "Сестрица, какую вкусную человечину я ела!"»[138]

Большевик для Шмелева все равно что старьевщик, который для будущего наварит из человечьих костей клей, из крови заготовит бульонные кубики. В «Солнце мертвых» есть несколько таких старьевщиков. В городок приехали те, «что убивать ходят», они днем спали, ночью убивали, они уставали от работы: «Нужно было устроить бойни, заносить цифры для баланса, подводить итоги. <...> Убить надо было очень много. Больше ста двадцати тысяч. И убить на бойнях». Теоретиков социализма доктор называет «кровавенькой сектой». Матросы, «одуревшие от вина, мутноглазые», — дикая орда: они били о камни бутылки с портвейном, мускатом, руками вырывали у баранов кишки, плясали с гиком вокруг огня, «спали с девками по кустам», били пушкой по татарским деревням.

---

[137] А.А. Потебня обратил внимание на сходство славянской Яги, «пожирающей смертью», с «мрачной и жестокой» Персефоной. См.: *Потебня А.А.* О мифическом значении некоторых обрядов и поверий // *Потебня А.А.* Символ и миф в народной культуре. М., 2000. С. 243.

[138] *Квашнина-Самарина М.Н.* В красном Крыму // Минувшее. № 1. М., 1990. С. 352.

Мелкозубый музыкант Шура — это местная большевистская элита: он хорошо одет и сыт, он «принимает женщин», «он один на коньке ездит, когда все ползают на карачках». Сытые победители — реальность. Сытые победители вызывали в Шмелеве страх за существование всеобщее. Они вызывали в нем и брезгливость. Как-то он и Тренев шли по городу и вдруг услышали томный, полный неги мотив, что само по себе казалось диким совокуплением смерти с чумой; над угловым входом одного из домов была вывеска «Студия ритмического танца — дунканизм»; заглянув в окно, они увидели страстно раскачивающиеся тела, полные плечи, серьги в ушах, «ангельские» прически и жующие рты; они увидели два стола: «...на одном — колбаса (не зеленая), сыр, яйца... На другом: груды хлеба пшеничного — глаз режет белизна! — молоко в бутылках, стаканы, сливочное масло глыбой, варенье. Два жида-юноши у входа, с... винтовками! Те пары потанцуют, прижимаясь э т и м и местами, — к столу, запихивают до растопыренных ушей *в с е* и — все напев истомный, напев Востока. Музыканты во фраках-рвани — тоже жуют... все жует-*п о е т* телом пухлым — льнет друг к другу — прилипает — и все плывет — покачивается — в ритме — танце — в “дунканизме”. А кругом, под окнами — издыхают»[139]. Увиденное он понял как зловещий символ, мерзкий ритуал — как соитие на трупах.

Крымские подвалы были превращены в тюрьмы, и Шмелев писал об этих подвалах в «Солнце мертвых». Герой Гамсуна в поисках приюта идет на хитрость, и ему удается переночевать в уютной камере полицейского участка; темнота камеры возбуждала страх, герой боялся раствориться во мраке, он был близок безумию; его ночные тревоги —

[139] Письмо И.С. Шмелева к О.А. Бредиус-Субботиной от 6.11.1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 239—240.

следствие добровольного заточения, голода и нервного возбуждения. В «Солнце мертвых» тюремное, подвальное, существование предсмертное, из подвалов людей забирали на расстрел. Шмелев пишет о подвальных смертниках: «В зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалах Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства». Мотив подвальных смертников мы встречаем и в очерках и стихотворениях Аделаиды Герцык. Живя в Крыму, она знала о крымском существовании Шмелева. Так, в марте 1922 года она писала И.А. Новикову, в редакцию издательства «Костры»: «О местонахождении Шмелева и Сергеева-Ценского Вам, верно, уже сообщил Волошин»[140]. Три недели в январе 1921 года Герцык провела в тюрьме, создала там стихотворный цикл «Подвальные», после освобождения написала «Подвальные очерки». Как и «Солнце мертвых», произведения Герцык автобиографичны. В дневниковых записях 1921 года также жившей в Крыму Евгении Герцык говорится о «призрачной» жизни в Феодосии — между тюрьмой и церковью: «Это Военная улица, по которой десятки раз в день ходила, ловя знак, взгляд, улыбку в подвальное оконце и тут же вглядываясь тревожно в этих скоморохов в коже и звездах...»[141] На окраине Феодосии был расстрелян Сергей Шмелев... Как и Шмелев, в крымской действительности сестры Герцык видели признаки конца. Подвальное существование — сквозной мотив и воспоминаний Квашниной-Самариной («увели его в подвал», «я пришла в подвал», «меня вызвали из подвала», «втолкнули меня обратно в подвал» и т.д.). Описывая террор большевиков в Крыму, она сообщала о том, что особому карательному отряду были даны полномочия арестовывать, расстреливать и «арестован-

[140] Письмо от 10 (23) марта 1922 // Сестры Герцык. Письма. С. 479.

[141] *Герцык Е.* Воспоминания. С. 252.

ных они помещали в винном подвале дачи Капнист-Паскевич...»[142].

«Солнце мертвых» — свидетельство глубочайшего духовного кризиса Шмелева. Крымские испытания породили растерянность и отчаяние, чувство богооставленности. Вересаеву в 1921 году он признался, что все прежде написанное — «глупо и ничтожно», что прежняя жизнь — «балаганная музычонка», что Бога он потерял. Вот и в «Солнце мертвых» он повторил: «Бога у меня нет: синее небо пусто». На жестокость Бога Шмелев в «Солнце мертвых» ответил сарказмом: Великий создал чашу-море и велел пить глазами — он и пил «...сквозь слезы». Несчастный доктор решил, что обанкротилась идея воскресения: пришел хулиган и сорвал завесу с тайны — водители, оказывается, прятали от непосвященных пустое место.

Шмелев — как Иов, сполна испытанный Богом тяжелыми лишениями. Прочитавшие «Солнце мертвых», конечно, увидели в эпопее библейский подтекст. Справедливо писал Лоллий Львов: «....трагический мир подлинно библейских ужасов»[143]. Юлий Айхенвальд назвал книгу Шмелева «апокалипсисом русской истории», описанную трагедию — «космогонической», а большевиков — помощниками более общего зла»[144]. Шмелев сам в письме к Айхенвальду признавался в том, что его в Крыму охватил страх, что дело не только в политике: он наблюдал «борьбу творящего и разрушающего начала»[145].

Но приведем и точку зрения Ивана Ильина, который 18 марта 1927 года написал Шмелеву: «Я читал Солнце Мертвых — долго; растягивал — откладывал; не то боялся, что кончит-

[142] *Квашнина-Самарина М.Н.* В красном Крыму. С. 336.

[143] Возрождение. 1926. 28 окт.

[144] Руль. 1923. 8 июля.

[145] Цит. по: *Осьминина Е.* Художник обездоленных // *Шмелев И.С.* Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. С. 11.

ся; не то боялся дальше читать; не то боялся, что я упущу что-то мимо своего духовного черпала. Это один из самых *страшных* документов человеческих. Мне: то казалось, что человеку от стыда нельзя больше жить на свете; то казалось, что *Бог ужасается, что создал человека.* Солнцу нельзя быть солнцем — мертвых! Чтó книга Иова? — рефлектирующее благочестие обедневшего и захворавшего жида!.. Что́ книга ходульных аллегорий и сонных стихов — Апокалипсис!?.. Первое — эпизод; второе — сон. А это — *система бытия.* В средние века верили, что есть такие в небесах сконцентрированные квинтэссенции бытия — speacula mundi — образ мира, сгустки прототипические. Вот — "солнце мертвых". Богу — меморандум; людям — обвинительный акт»[146]. Шмелев ему ответил 28 марта 1927 года: «Солнце мертвых» для него книга жуткая, он в нее не заглядывает, не знает, как смог ее одолеть, корректуру читать было мукой — все равно что смотреть в незасыпанную могилу. «Господи, да сколько же мук-то неизбывных в мире! И не верится, как еще живешь, как еще свистят и попрыгивают люди! Выть надо, как собаки на месяц. Нет, не воют, а — всеобщий канкан! Да ведь не только у "именинников", у Европы победоносной, чуть ли не 10 миллионов утратившей на войне (а у каждого трупа хоть по 5 родственников), а и у *нас*, *там* и *здесь*! Канкан! Как послышишь — да что тут "провалы" Достоевского! Не снилось и Ф<едору> М<ихайлови>чу! Он лишь зарисовочки и "кроки" дал. Глубже — или — площе? — натура человека? <…>» — спрашивал Шмелев Ильина и продолжал: «Я положил на сердце слова Ваши (*Слово* Ваше) о "С<олнце> М<ертвых>". Нет, не приемлю, недостоин. Му́ка моя писала… М.б. и не надо было, но *не мог я*, с этим и сюда ехал»[147].

[146] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 21. *specula mundi* — высота мира (*лат.*), у Ильина *speacula.*

[147] *Там же.* С. 23.

Итак, «Солнце мертвых» вписали в контекст Ветхого Завета. Иова надо бы вспомнить не столько в связи со страданиями героя «Солнца мертвых», сколько в связи с тем, что он, как библейский герой, испытал ужас, но от Бога все-таки не отступил («...знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено». Иов, 42, 2). И если в Крыму Шмелев решил, что Бога нет, то когда писал свою эпопею, думал уже иначе. Из кризиса Шмелева выводило, по всей видимости, само «Солнце мертвых». Он писал это произведение и утверждался в мысли о силе человека и помощи Бога. Все же рассказчик слышит неумирающий голос с минарета — весть о том, что над всем «пребывает Великий Бог и будет пребывать вечно, и все сущее — его Воля». Он все же верит в Царство Божие: «Не надо бояться смерти... За ней истинная гармония!»

И примеров жизнеутверждения в эпопее достаточно. В древней, классической, эпопее героика — непременная черта и сюжета, и характера. В «Солнце мертвых» развернут сюжет о зеленых, о «рангелевцах», поверивших в амнистию, арестованных, но не смирившихся: шестеро убежали, один погиб при побеге. Шмелев показал, как человек в условиях тотального голода и репрессий все-таки не утратил восприимчивости. Старая барыня учит нянькиных детей правильно говорить по-русски, она намерена заниматься с девочкой Лялей французским языком. В Крыму Шмелев сам изучал французский. Старая барыня словно напоминает рассказчику о том, что и в обители Аидовой сохраняются аксиомы земной жизни: надо умываться, чистить дверные ручки, заниматься географией — «надо уцепиться и не даваться». Потому у голодающего профессора «один Ломоносов в голове». Надеется написать о детском — о ясном и чистом — молодой писатель Шишкин, опухший от голода. Источником их силы были вера и любовь.

О спасительной силе любви в «Солнце мертвых» сказал в рижском «Слове» Иван Лукаш, ставший в эмиграции изве-

стным автором исторической прозы. Он писал: «О чем книга И.С. Шмелева? О смерти русского человека и русской земли. О смерти русских трав и зверей, русских садов и русского неба. О смерти русского солнца. О смерти всей вселенной, — когда умерла Россия, — о мертвом солнце мертвых… Так значит конец? Нет — начало… В громадном образе русской смерти, принесенном И.С. Шмелевым, — движется океан света. Его смерть побеждена, пронзена огненными стрелами любви…»[148] Об этом же писал в своей рецензии и Львов: «…сплав ужасного и трагического с подлинно прекрасным»[149].

Шмелев возвеличил способность человека возлюбить ближнего. Соседка присылает рассказчику табак. Еще одна добрая душа угощает его молоком. Учительница хочет испечь ему лепешку. Старый татарин Гафар присылает корзину с яблоками, сушеной грушей, мукой, бутылкой бекмеса, табаком. Гафар — как вестник неба, посланный в момент крайнего отчаяния: «Небо! Небо пришло из тьмы! Небо, о Господи!..» Теперь жить не страшно: «Знаю я: с нами Бог! Хоть на один миг с нами. Из темного угла смотрит, из маленьких глаз татарина. Татарин привел Его! Это Он велит дождю сеять, огню — гореть. Вниди и в меня, Господи! Вниди в нас, Господи, в великое горе наше, и освети! Ты солнце вложил в сучок и его отдашь солнцу… Ты все можешь!»

Итак, Шмелев повторил слова Иова: «Ты все можешь!» Страшный, киммерийский, смысл «Солнца мертвых» потеснен библейским. В эпопее зазвучала мысль о спасении.

И как необычно для трагедии, как удивительно хорошо закончил Шмелев свою эпопею — весенней песней дрозда. Дрозд этот сидит на старой груше, на светлом небе видно, как сияет его нос. «Он любит петь один. К морю повернется —

---

[148] Слово. 1926. № 343.
[149] Возрождение. 1926. 28 окт.

споет и морю, и виноградникам, и далям... Тихи, грустны вечера весной. Поет он грустное. Слушают деревья, в белой дымке, задумчивы. Споет к горам — на солнце. И пустырю споет, и нам, и домику, грустное такое, нежное...». Когда солнце село и забелели звезды, дрозда уже не было видно, но он все еще пел, а потом там, где прорубили миндаль, запел другой дрозд. Этот, заключительный, фрагмент придает эпопее элегическую тональность. Шмелев писал об этой концовке Бредиус-Субботиной: «Но я все ужасы, все смерти — закрыл... — ты знаешь? — песенкой — такой простой, и такой грустной... песенкой... дрозда. Конец, сведение всей э п о п е и (это — э п о п е я, ибо захватывает эпоху, в е с ь народ, скажу — мир!) я дал очень т и х о, p i a n i s s i m o...»[150]

В духовном преодолении крымского кошмара Шмелев не одинок, и тут опять надо обратить внимание на то общее, что объединяет произведения о Крыме. Первое стихотворение цикла «Подвальные» А. Герцык начинается так: «Нас заточили в каменный склеп. / Безжалостны судьи. Стражник свиреп»[151]. Но лейтмотив цикла — Божья помощь в страданиях: «Что нам темница? Слабая плоть? / Раздвинулись своды — с нами Господь...» («Нас заточили в каменный склеп...»), «Сердце учится молиться и молчать» («Ночь ползет, тая во мраке страшный лик...»). Герцык относилась к своему узничеству как испытанию, посланному свыше. Об этом стихотворение «Я заточил тебя в темнице...»: смысл заточения — познать, кто Судья и «чем дух живет», потому и плен для нее «сладостен». В «Подвальных» через христианское смирение открываются высшие смыслы крымских мучений. Шмелев, конечно, не помышляет о сладостности плена, он предельно жесток. Жесток даже в намеренной не-

[150] Письмо от 4.12.1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 301.

[151] А. Герцык. С. Парнок. П. Соловьева. Черубина де Габриак. Sub rosa. М., 1999. Здесь и далее цит. по этому изданию.

чувствительности описания страдания, что отвечает самому жанру эпопеи, что выдает его эпическое видение прошедших событий.

Однако вот что удивительно: не все в эмигрантской печати приняли эпопею. Шмелев писал Зайцеву в феврале 1926 года о том, что «Солнце мертвых» многим стало «поперек горла»[152]. В «Последних новостях» (1924. 8 мая) М. Бенедиктов отмечал не только силу впечатления от текста, но и некоторую истеричность повествования; Б. Шлецер («Современные записки». 1924. № 20) увидел в «Солнце мертвых» сырой материал, вызывающий скуку. Советские рецензенты писале об эпопее как книге злобной. В Советах книгу справедливо считали антисоветской. О ней писали И. Аксенов («Печать и революция». 1923. № 3), Н. Смирнов («Красная новь». 1924. № 3), А. Воронский («Прожектор». 1925. № 13) и др. По поводу хулы Шмелев заметил: «Книга, конечно, делала свое в душах… и будет. Но “бесы” и иже с ними… они корчились от злобы. Они прятали это “Солнце”. Они называли его “*книгой злобы* и ненависти!” Да, большинство левых, масоны <…> И т а м было решено: ты понимаешь, *что* было решено. “Собрашеся архиереи и старцы…” И травля началась…о, какая! Только Оля знала да я. И *так* я *кипел*, д е л а я, вскрывая днями мира язву — ужас красный — бесов!»[153]

Эпопея представила Европе жуткую картину. Она заставила Европу сопереживать. Иван Лукаш, признававшийся, что читал «Солнце мертвых», «задыхаясь» — «точно из глубины поднялась сдавленная волна, затопила, обрушилась, не давая передохнуть, набрать воздуха, выбраться прочь», утвер-

---

[152] Мосты. 1958. № 1. С. 408.

[153] Из письма И.С. Шмелева к О.А. Бредиус-Субботиной от 4.12.1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 302. *Собрашеся архиереи и старцы…* — Мф. 26, 3—4: «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить».

ждал: эта книга «хлынула, как отровение, на всю Европу»[154]. Г. Струве в поздней монографии «Русская литература в изгнании» также свидетельствовал о том, что эпопея Шмелеве повлияла на европейцев, в ту пору довольно равнодушных к историям о жертвах большевиков. Бальмонт переслал Бунину с просьбой показать Шмелеву заметку из «Народных Листов» (5 апреля 1928), автор которой, чешский переводчик и журналист В. Червинка, определил Бунина, Шмелева и Бальмонта «наизвучнейшими литературными именами Русско-Парижской колонии», писал о том, что появление «Солнца мертвых» в Нью-Йорке вызвало «взволнованное впечатление и <…> новую волну противоборства в отношении к коммунистическому режиму в России»[155]. Лагерлеф писала Шмелеву о пережитом потрясении от прочтения «Солнца мертвых». Известен восторженный отзывы Т. Манна («кошмарный, но окунутый в поэтический блеск документ»[156]).

Наконец, эпопея стала показателем жизнеспособности эмигрантской культуры. И если А. Туринцев в статье «О новой русской литературе» («Годы». 1926. № 2) утверждал, что русская литература создается только в СССР, то в четвертом номере этого же журнала В. Кадашев в статье «Несовременные мысли (По поводу статьи А.А. Туринцева в № 2)» возражал: советская литература не создала произведений, равных «Солнцу мертвых» И. Шмелева, «Золотому узору» Б. Зайцева, «Митиной любви» И. Бунина, «Эгерии» П. Муратова; названы были также «Тяжелая лира» В. Ходасевича, воспоминания С. Волконского, произведения А. Ремизова, М. Алданова.

---

[154] Цит по: *Кутырина Ю.А.* Иван Сергеевич Шмелев. Париж, 1960. С. 41—42.

[155] Цит. по: С двух берегов: Русская литература XX века в России и за рубежом. М., 2002. С. 78.

[156] Возрождение. 1926. 12 авг.

VI. «История любовная» Даша

Что еще осталось там и к чему возвращала его память? Его отрочество, мальчик-гимназист. С ним связаны ощущения Москвы, милых девушек, друзей.

В 1927 году появился роман Шмелева о любви. Он был назван «История любовная. Роман моего приятеля». Роман публиковался в «Современных записках» и вышел отдельным изданием в 1929 году. В творчестве Шмелева эта тема внезапная. Тем более на фоне политически заостренных, полемических рассказов. В дореволюционной прозе она была достаточно тихой, редко претендовала на центральное место. Но вот он написал «Историю любовную» — о влюбленном мальчике. Все, что произошло в романе, не имеет к Шмелеву никакого отношения, но сам главный герой — его характер, его мирочувствование — это, несомненно, Шмелев.

Обратившись к прошлому и, возможно, пытаясь рассмотреть в прожитом, за толщей крымского бытия, здоровое и хорошее, он начал писать о подростковом сознании, о том, как укреплялась еще неустойчивая психика, как и в нежном возрасте человек превозмогает зло. «История любовная» была написана вслед за «Митиной любовью» (1925) Бунина, а в отношениях писателей все очевиднее проявлялось со-

перничество, ревнивое восприятие того, что сказал один, что написал другой. Вполне возможно, что появление романа Шмелева вызвано «Митиной любовью».

Роман был весьма популярен среди эмиграции, автор получал письма благодарности; например, Г.Ф. Волошин, редактор софийской газеты «Голос», написал ему о своей радости по поводу «Истории любовной». Высоко отозвался о переведенном романе в 1932 году в «Bücherwurm» Г. Гессе.

Иван Ильин — а «Историю любовную» он читал вслух вместе со свой супругой Наталией Николаевной — высказал Шмелеву мысль о том, что в заголовке романа скрыт тонкий юмор, но сам роман «глубок и страшен, именно траги-эпичен»[157]. Ильин полагал, что в шмелевском романе есть чувство катарсиса — и он был прав. Что принципиально отличает любовную тему в «Истории любовной» от произведений Бунина о любви, так это морализаторство, это столкновение чистоты и похоти. Где Бунин не говорит ни *да*, ни *нет*, там Шмелев обличает и обрекает на терзания, доводит до катарсиса. Ему понравилась рецензия Э. Вихерта на роман, опубликованная в немецком журнале «Литература» (1932, № 5); в ней говорилось об «Истории любовной»: это искусство, вмещающее трагическое в идиллию, святое в человеческое, пафос в простое, смирение в страсть.

Главный герой — шестнадцатилетний гимназист Тонька. Его влечет к семнадцатилетней горничной Паше, к ее запахам, а пахла она сырыми орехами и крымскими яблоками, влечет к ее прикосновениям, влажным и горячим губам. Но Паша рядом, в ней нет загадки, она проста и естественна. А вот Серафима...

Тонька влюбился, придав незнакомке Серафиме образ тургеневской Зинаиды. Тонька только что прочитал «Первую любовь» и был как оглушенный. Ему открылся мир иной и

---

[157] Письмо от 23.07.1931 // Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 241.

захотелось преобразить обыденность: и садик показался жалким, и яблоньки драными, и гимназическая курточка измызганной, и в глаза бросались кучки сора и навоза, разбитые ящики, серые сараи. Какая грубость и бедность жизни! Если бы это увидела Зинаида! Думая о Зинаиде, он призывал «в мечтах кого-то» и нашел «кого-то» — Серафиму — за щелястым забором, среди жильцов соседа Серафима застила ему весь мир. Каштановые волосы, вязаная белая кофточка жерсей, а это слово особенно волновало, вишневая бархатная шапочка... Начинается роман в письмах, вернее, в записочках.

Однако Серафима искушена в любви, чего не подозревает Тонька. Его обожание она принимает за страстность и, в свою очередь, возбуждает в нем предчувствие сладкого греха. И вот уже в акушерке Серафиме он не только видит идеал, но и вакханку. Наконец, вероломная Серафима назначает Тоньке свидание накануне Николина дня: после всенощной, в Нескучном саду, у Чертова оврага. От всенощной — к Чертову оврагу. В церковном звоне Тонька чувствовал томление, его занимали мысли о пути к разврату, церковная служба обернулась служением Серафиме, в церкви он только и видел, что ее платье, ее каштановые волосы, цепочку на ее полной шее. Но!.. Но в Чертовом овраге он хотел говорить о любви, а она тормошила его, впивалась в его губы, кричала прямо в уши, от нее духами пахло «до тошноты» — и за мгновение до грехопадения Тонька, почувствовав дурную страстность Серафимы, испытывая озноб, увидел нечто: «Она повернулась ко мне лицом, и я увидел глаза... Я увидел только один глаз... страшный! Я увидел темные, кровяные веки, напухшие, без ресниц, и неподвижный, стеклянный глаз!».

Невероятная ситуация, но Шмелев ее придумывает и осознанно вводит в коллизию романа. Так в Чертовом овраге была разрушена Тонькина вера в идеал. На него навалилась бо-

лезнь, его мучили бредовые видения: срывающееся с неба солнце, вся в белом Серафима тянет его в овраг, его преследует черный бык с кроваво зияющим глазом. Воспоминания о Серафиме будили острое ощущение стыдного и грязного. По Шмелеву, близкое грехопадение Тонички равнозначно смерти, а спасение от греха есть спасение от смерти.

Возвращение Тонички к жизни связано с горничной Пашей, в ней была естественность и подлинная нежность. Она, а не Серафима, стала для Тонички истинным идеалом. Паша стала богомолкой, послушницей, она ушла в монастырь отмаливать и себя, и Тоничку.

С одной стороны — живая, естественная девушка, с другой — пошлая женщина. Конечно, эта ситуация — отзвук «Митиной любви», которую Шмелев, всегда признававший силу таланта Бунина, считал самым крупным достижением в литературе за 1925 год. Но был ли Шмелев ведом «Ми́тиной любовью»? Нет, он спорил с Буниным. Вообще их отношения более напоминали полемику, чем согласие, — меж ними все рождало споры и к размышлению влекло, — пока, в тридцатых, не переросли в неприязнь.

Жизнь Мити, в отличие от многих других героев Бунина, исчерпывается любовью. Огромный чувственный мир, в котором есть теплая ночь, тишина земли, простота деревни, сладостный дождь, молодые бабы, запах лошадиного пота, белоногая горничная Параша, мягкая листва на яблонях, томный взгляд Соньки и запах ее ситцевой юбки, свелся к запаху Катиной перчатки. Если Тонька романтичен, то Митя — романтик, его натуру, его мысли подавляла одна, но пламенная страсть, за которой последовало самоубийство.

Навязывая реальной Кате какой-то идеальный образ — как Татьяна Ларина Онегину, Софья Молчалину или Ольга Обломову, — Митя впадает в жуткую рефлексию: и желает Катю, и бежит от нее. А тут еще интимное свидание с Аленкой — ну, просто потому что так надо, пора расстаться с

невинностью... Прагматизм, продуманность никогда не приводят бунинских героев к хорошему, всегда толкают их в пропасть. Ее «скорее, что ли», его смятая пятирублевка — и вожделение опошлено. После письма Кати, в котором она сообщала о своей неверности, в мире все стало так гадко, так мрачно, как не могло быть в преисподней, за могилой, и Митя выстрелил в себя с наслаждением.

И вот тут Шмелев не согласился с Буниным. Он не мог, не хотел воспевать инстинкт — Бунин это делал мастерски. Дело не в том, кто прав. Дело в том, что они — разные.

Тонькина любовь не исчерпала всех радостей мира, Тонька не был оставлен один на один со своей бедой. В доме появился огромный Степан в белой рубахе из деревенской холстины, «светлый мужик»; от него исходила жизненная сила, Тоньке нравилась его ласковая речь: он говорит, «славно поет молитву», тургеневские «Ася» и «Дворянское гнездо» пробудили тоску по Паше. Появились новые жильцы, а главное — девочка-подросток с умными, синеватыми глазами, с голоском, от которого у Тонички «насторожилось сердце».

Бунин — художник не судящий, а в «Истории любовной» очевидна брезгливость Шмелева к растленной натуре. Таков Шмелев. Для него, например, чеховская Душечка во сто крат возвышенней Джоконды — лисы похотливой, как он писал о ней Бредиус-Субботиной. И какая загадка в Джоконде?.. Она просто «г р я з н о в а т а, с а л ь н о в а т а , и... потновата», и эти растянутые «сластуни-губки», и рот, «ниточки», такой «долгий лисий», и раскосость лисья[158]. Обладательница стеклянного глаза была сродни лисе грязноватой-сальноватой.

Шмелев ввел в сюжет историю малосильного Костюшки и его пышнотелой, в розовых кудряшках молодой. Костюш-

[158] Письмо от 16.12.1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 337.

ка уходит на богомолье, а у молодой и его отца, еще крепкого старика, случился грех: «Слово — *грех* — явилось для меня живым и страшным», — говорит Тонька. Грязь греха ощутил Тонька и в тупомордом быке, когда он горбом становился над стадом. Шмелевская непримиримость и назидательность прозвучала в рассуждениях Тоньки о том, что есть две силы — чистота и грех, и это как две жизни. В анкете 1925 года «Русские писатели о современной русской литературе и о себе» Шмелев высказывался как против «животности», изображения «дурной плоти», так и против словесной дерзости и «буерачности речи». Буерачности и животности в «Истории любовной» не было.

Итак, шмелевский роман не только о любви, он и о грехе, об устоях, о смыслах мира, о том, чего нельзя. И настолько очевидны были аллюзии с рассказами Бунина, что, не ссылаясь на конкретное произведение Бунина, Ильин, строгий моралист, предпочел Бунину «Историю любовную», потому что увидел в ней мысль, философические мотивы, растворенные в образах[159].

Синеглазая девочка — это Ольга Александровна. А Паша? Кто эта Паша? Имя ее было — Даша. Воспоминания о ней выразились в «Истории любовной».

Даша была няней Сережи. У белокурой Паши глаза были, как незабудки, — худенькая, живая и умная Даша тоже была голубоглазой блондинкой. Она была сиротой и появилась в доме Шмелевых, как говорится, с улицы: четырнадцатилетняя крестьянка приехала в Москву из деревни со станции Лопасня и прижилась в их доме. Она чтила Ольгу Александровну, которая обучила ее грамоте, и была влюблена в Ивана Сергеевича. Ей было позволено шить за общим столом, она с интересом вслушивалась в речи господ, иногда ее бра-

[159] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 214.

ли с собой в театр. Шмелев крестил ее дочку, первого сына она назвала Иваном, второго — Сергеем. Она очень плакала, когда Шмелевы уезжали из России. Уже после смерти Ольги Александровны Иван Сергеевич получил от Даши письма, в котором она спрашивала, правда ли, что Ольга Александровна больна, и просила позволения приехать к ним — помочь и Ольге Александровне и ему. Шмелев не ответил.

Историю — тоже любовную — отношений няни и известного писателя можно восстановить по фрагментам писем Шмелева к Бредиус-Субботиной.

6 декабря 1941 года:

Сереже был год. Надо было няню, помимо прислуги «за все». Оля хотела молоденькую. Я — не помню. М.б. — тоже. Сейчас — если бы случилось чудо, — взял бы «Арину Родионовну». Чушь, когда хотят к ребенку молодую. Конечно, есть «за это». Но больше — «за подлинную н я н ю». Язык!! Мудрость. Спокойствие. Ровность. Темп. Конечно, если старая няня — достойная этого имени. И всегда — с Господом. И — нет «помыслов». Чистота, «физика» уступает «духу», душе. *Взгляд*, огромное значение, — добрые глаза «ба-бушки». М я г к о с т ь, как бы — «шлепанки». Поэтическая сторона — у к л а д л и в о с т ь. *Молитва!! Спокойствие чистого духа* старой няни — сообщатся младенцу.

Сама жизнь так хочет. Мать — основа. Но — широкая «п о д о с н о в а» — бабушка, ее замена — старая няня. Меньше — всякого риска! Мудрость — во всем (опытность) передается младенцу. Медлительное стучание сердца старой няни... — важно для младенца. Я понял это на нашем опыте, при чудесных качествах Даши; Сережечка рос в тревожных темпах. В страстных темпах и — взглядах. Ее (Даши) взгляды (глаза) старались найти м е н я (да! это я потом понял). Хорошо. Прислуга встретила на улице «девочку», в платьишке. Приглянулась. Оля сказала — приведи. Явилась «Дашутка», служила в семье трактирщика-соседа. Сирота. Крестьянка Серпуховского уезда, Московской губернии. Брат где-то в

Таганроге, сапожником..! Жизнь кидала. Оле понравилась Даша. Взяла. Пришла с маленьким узелком. 14 лет. Блондинка, светло-голубые глаза, прямой нос, лицо продолговатое (родинка у рта), благородного типа, худенькая, стройная. Рост средний, совсем средний — так и остался, т.е. был меньше, росла. Но всегда — тощая. Очень живая. Масса напевов, прибауток, загадок, «крылатых словечек», — жила у бабушки (померла) до 13 л., по-слуху набилась. Очень быстро схватывала *все*. Умная. Приятный голос, жидковатый, — девичьим остался на всю жизнь. Сережечку сразу полюбила. И — он. И Оля. Я... — вне сего был. Строгий. Хмурый, — с женщинами, — все равно какие. Меня сначала всегда боялась: очень серьезен. М.б. это — самозащита? Такое было и у мальчика. Оля после говорила: «Я тебя *не* знала больше года знакомства: ты был какой-то натянутый». Это, должно быть, от смущения: весь напрягался, как мой Женька. Но всегда *льнул* (в себе) к *женскому*. Тосковал без женского. Понятно: вырос между женщин (прислуга, сестры, подруги их, кормилица, всегда приходило много женщин)[160].

Воспоминания о Даше нахлынули на Шмелева, и через два дня он вновь обратился к сюжету об искушении.

8 декабря 1941 года:

На девочку я, конечно, не обращал внимания. Приятно было слушать, как она напевала свои песенки засыпавшему мальчику. Всегда живая, быстрая, веселая. Всегда напевала что-то. Хорошо играла с Сережей в игрушки, сама забавлялась. Вся была довольна. Вечерами я часто читал Оле вслух классиков, Пушкина особенно. Уложив Сережу, Даша слушала у притолоки. Оля позволила ей шить за об-

[160] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 319—320. *Женька* — в романе «История любовная» друг Тонички, прототип — друг И.С. Шмелева капитан Евгений Евгеньевич Пиуновский (?—1914). См.: *Черников А.П.* Лики жизни: Калужские страницы творческой биографии И.С. Шмелева. Калуга, 2002. С. 42.

щим столом, в столовой, и слушать. Она многого не понимала, но слушала жадно. Я всегда хорошо читал, — «как на театре», — говорила Даша, — мы ее брали иногда, в ложу, а Сережа оставался с прислугой. Балет кружил Даше голову. Раз я ее застал, как она танцевала на «пуан», приподняв юбчонку. Ноги у ней были стройные. Ей было уже 15—16 л. Оля решила учить ее грамоте (Д<аша> не умела читать!). Скоро выучилась. Жадно вбирала грамоту, — превосходная память, сметка. Оля решила готовить ее на народную учительницу. Та была рада. Я внес метод в обучение. Сам заинтересовался. Я уже окончил Университет, отбывал воинскую повинность, на прапорщика запаса. Летом жили в Петровско-Разумовском, близко лагеря. Впервые узнал Д<ашино> чувство ко мне. Раз возвращался бором на велосипеде из лагеря на дачу. Близ дачи встретила раз меня Д<аша> с Сережей и… краснея, подала мне букетик «первой земляники»: «для Вас, барин, набирали с Сережечкой». Стал находить у себя на столе цветы. Иногда сам учил ее — рассказывал из русской истории. «И все-то, все-то Вы, барин, знаете! и как хорошо сказываете!» И всегда — краснела. Чисто одевалась, всегда вышитый фартучек, на груди шиповник или жасмин, как делала Оля. Моя адвокатура. Первая «казенная» защита в Окружной <палате>. Оля пошла слушать меня, и Д<аша> упросила взять и ее. Она увидела меня во фраке — очень ей понравилось. <…> Я — весь — блеск. Помню: Даша смотрела, как на божество. <…> Спрыснули у Чуева успех — кофе с кулебякой. Д<аша> не сводила глаз с меня, — помню — пролила кофе на платье. И впервые — дома, вечером, — когда я встретился с ней в коридоре, она вдруг — «ах, как красиво вы, барин, говорили… заслушались все… и фрак очень красиво… очень было жалко вора, бледный был… и вы его оправили… он Богу будет за вас молиться». — «А ты поняла?» — «Все поняла… Вас-то да не понять, умней всех!»[161]

[161] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 322—323.

15 декабря 1941 года:

Перед отъездом во Владимир Оля спросила Дашу: «поедешь с нами?» — Та в этом услыхала: «м.б. не поедешь». Заплакала, в истерике: «хотите меня оставить! зачем же так приучили меня к себе? Или это барин меня не хочет?» — и в страхе поглядела на меня. Я сказал — «нет, хочу». Вся засияла и весь день игралась, пела, Сережу тормошила, душила поцелуями, как бы с ума сошла. Да, был еще случай. Мы жили под Серпуховом, у монастыря, в бору. Я увлекся стрельбой по ястребам. Они унесли мою любимку — белую курочку, выведенную мной в инкубаторе. Я их набил м.б. больше сотни. Помню, охотился. На опушке бора приметил Дашу с Сережей. Она лежала на спине, раскинувшись. Ее ноги, в черных чулках, были совсем открыты — д о в е р х а — т е л а: так задралась у ней юбчонка. Услыхав мои шаги, прикрылась... и запела: «Охотник — охотник... не убивай нас, мы не волки, — мы заиньки... погладь нас!» — И Сережечка повторил — «погладь нас, мы... з а и н ь к и...» Я поцеловал его и... погладил Дашу, чуть поласкал по щечке. Что было!! Она схватила мою руку и стала целовать, безумно. Я смутился. Я видел ноги... — и погладил — ноги, слыша их. Она — сомлела, вся ослабла. Не знаю, что бы случилось, если бы не было мальчика. Это было первое искушение. В тот же вечер она была как пьяная. А я — все забыл — п р о ш л о.

Во Владимире началось самое страшное. Мы с Олей и Сережечкой уехали в Москву к моей матери — на именины (10 окт., Евлампии). Сереженька заболел брюшным тифом. Мы задержались, мучились. Незадолго до этого, весной, он болел ползучим воспалением легких. Тиф был очень опасный. Мог умереть. Ночи не спали. Тянулось с месяц, эта длинная, медленно повышавшаяся и понижавшаяся t°. Кризис. Пошло на поправку. Самое опасное, когда необходима <сложная> диета. Меня вызвали депешей во Владимир — съезд податных инспекторов. Я уехал. Оля — в Москве, при Сереже. Помню — мое появление в домике, под Клязьмой: будто усадебка. Даша встретила... «а барыня, а Сережечка?» Она зна-

ла, что пошло на поправку. Она была сама не своя: о д н и – м.б. на 1—2 недели! Молодые, мне — 29 лет, ей — 21. Вполне созревшая, красивая девушка. Я увидел взгляд ее — смущенный — и счастливый — и робкий. Ужинали — вдвоем. Мы всегда сажали с собой. Она ухитрилась приготовить необыкновенный ужин: достала рябчиков (я люблю их, знала), сделала блинчики с творогом (люблю), суп перловый из гусиных потрохов… — разварной налим (помню! она все знала, что я люблю). Подала рюмку хинной <…> — я налил и ей выпить. Но она и без нее *была пьяна*. Поужинали, почти в молчании. Она все время убегала за чем-то… — все спрашивала — «а когда же Сережечка?» Ночь. Снег и метель (ноябрь). Я сел к печке с книгой, в качалке. Она убирала со стола. Мне было неспокойно. Она… — была в новом платье, в косах. Бегала, и от нее шел ветерок. Пахло — резедой. Да, я чувствовал по ее косившим, убегавшим взглядам, робким и тревожным, что она ждет, г о т о в а. Я… ты понимаешь, Оля… я давно не знал женщины, м.б. больше 6 недель… я был возбужден. Был момент, когда я чуть не протянул к ней руку, когда она близко пробегала, вея ветерком и резедой. Но… заставил себя думать о мальчике, об Оле, которая там, страдает (не думал о Даше! она мне верила!!) — и удержался. Ушел в спальню. Заперся. Ночь была ужасная. Даша долго стучала тарелками. До утра не спал. Утром она встретила меня… горячими пирожками к кофе. И ее косы были положены на темени, это ей шло[162].

Даша узнаваема в «Истории любовной». Так, Иван Сергеевич находил на своем столе букетики цветов — Паша принесла Тоне подснежники; или Даша одевалась чисто, носила вышитый фартучек — Паша была опрятна, надевала белое накрахмаленное платье, носила фартучек. Или эпизод, в котором описано, как Паша надела новую кофточку, и Тонька «из-за двери видел, как она вертелась перед зеркалами в зале, обтягивала бока и все хихикала:

[162] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 333—334.

— Ба-атюшки, груди-то как видать... ма-тушки, страм глядеть!..

Она увидела, что я подглядываю, а в доме никого не было, — и стала вертеться пуще и охорашиваться, как глупая.

— А что, хорошенькая я стала, правда?.. Блондиночка какая!.. — сказала она, вертясь, и выпятилась, как пьяная.

Я смутился и убежал, а Паша запрыгала и засмеялась».

В письме к Бредиус-Субботиной 8 декабря1941 года описана подобная ситуация:

> Это было в <1>902 году. Мне было 25 лет. Даше 17—18. Она стала красивой девушкой. Раз я ее застал в зале перед зеркалом, она любовалась, какая у ней грудь, подпирая ее ладонями. (Это дано чуть в "Истории любовной".) Увидев меня, она вскрикнула — и побежала, с расстегнутой кофточкой. Меня это смутило, *впервые*[163].

Тоничка — это сам автор. Автобиографичность героя Шмелев признавал:

> Там я «росток» всего себя. Там я и добрый, и «злой». <...> Там и мечтатель, и выдумщик, и нежный, и дитя, и искра, и искренний, и любящий, и страстный, и жалеющий, и плакса, и за собой следящий, и немного «играющий», — но не притворяющийся, а — просто — игрунок. Там и горячка, и порох, и ревнивец до помрачения, до исступления, до наскока на рожон — сцена с кучером! — и философ, и требующий идеала-совершенства, и смысла жизни, и тянущийся к «тайне», и взыскующий женской ласки и отдачи всего себя — ей... и отталкивающийся от грязи, до... болезни! До потери сознания»[164].

[163] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. С. 324.

[164] Письмо к О.А. Бредиус-Субботиной от 16.02.1942 // *Там же*. С. 502.

Но, запечатлев в романе личный интимный опыт, Шмелев отразил чувственный мир человека вообще — знакомца и незнакомца. М. Вишняк в книге «“Современные записки:” Воспоминания редактора» описал случай: увлеченный фабулой, некий читатель приходил в редакцию «Современных записок» и просил ознакомиться с гранками или с версткой романа до появления очередного журнального номера в печати. Фрагменты, в которых описывались томления мальчика, оказались настолько узнаваемыми читателями, что Бальмонт откровенно признался автору в письме от 25 февраля 1927 года: «История любовная» заставила его пережить собственные четырнадцать лет и любовь к «служаночке, полупольке»[165] — шестнадцатилетней Марии Гриневской; как Тонька и Серафима обменивались письмами сквозь щель в заборе, так юный Бальмонт и его избранница просовывали друг другу записочки сквозь щелку стены.

Впрочем, «История любовная» вызывала и неприязнь. И не только у критиков, с которыми у Шмелева вообще сложились драматические отношения, не только у редакторов, с которыми они были не менее драматическими, например с тем же Вишняком, полагавшим, что роман — вещь малохудожественная. Не каждый мог психологически принять эту своеобразную исповедь. Надежда Тэффи писала Вере Николаевне Буниной в конце сентября 1927 года: «Огорчил меня Шмелев описанием пробуждения своей весны под сенью сохнущих на веревке панталон дивной бельфам акушерки»[166]. Действительно, в тексте есть эпизод: герой смотрит на висящее на веревке белье — чулочки, кружевную рубашечку и проч. О причинах сарказма Тэффи остается только гадать. Просто огорчил. Возможно, моралистичностью. Возможно, сказались разногласия эстетического характера.

---

[165] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 102.

[166] Диаспора. I. Париж; СПб., 2001. С. 378.

VII. *Неистовый Шмелев*
Монархист с демократическим оттенком
Народ — свинья собачья или богоносец?
Нужна ли народу узда?

В 1920 годы вышло в свет несколько сборников рассказов Шмелева. Хотя Бальмонт и писал о нем в 1927 году: «Как художник-психолог, он, конечно, фаталист и знал, что от Судьбы не уйдешь»[167], но тот, веря в судьбу и Божий промысел, все же фаталистом толстовского типа не был и полагал, что у русского эмигранта есть своя высокая миссия, в соответствии с которой он должен активно вмешиваться в ход событий. Многие его рассказы политически актуальны, в них он — враг большевизма.

В эмиграции Шмелев попал в интеллектуальную среду, которая не могла не сказаться на его убеждениях. Причем собственные убеждения были для него непреложными истинами, и отстаивал он их темпераментно, неистово, даже в мелочах, в случайных обмолвках своих оппонентов мог усмотреть угрозу для общего эмигрантского дела.

Еще в пору «Среды» и «Книгоиздательства писателей в Москве» состоявший с ним в «Среде» А.С. Серафимович называл его неистовым Роландом[168], а сам Шмелев писал

---

[167] *Бальмонт К.* Оссегор // Сегодня. 1927. № 18. 23 янв. С. 4.

[168] Письмо А.С. Серафимовича к А. Кипену от 12.04.1915 // *Серафимович А.С.* Собр.соч.: В 7 т. М., 1960. Т. 7. С. 498.

Горькому 1 марта 1910 года: «Хочется вызвать из себя клокочущее»[169]. В.Н. Бунина усмотрела связь шмелевской пылкости с определенной традицией, увидела в его возбуждении пророка сходство с «породой Горького, Андреева»[170]. К. Чуковский в рецензии на «Человека из ресторана» отметил: «Он сумел так страстно, так взволнованно и напряженно полюбить тех бедных людей...»[171]. Да Шмелев и сам в 1921 году в письме к Вересаеву из Алушты обмолвился о том, что писал «Человека из ресторана» страстно. Страстным писателем его считал и Амфитеатров.

Георгий Гребенщиков вспоминал о Шмелеве начала 1920-х: «Неказист он был на вид, не высок, не дороден, а сух; к тому же сутул, лицо даже неправильно, но сильно, выразительно. Взгляд решительный, прямой, зоркий; жесты широкие. Сиповатый голос басил, когда надо, вопил тенором, когда убеждал кого-либо или утверждал прямоту и правду»[172]. Ремизов в «Мышкиной дудочке» писал о горячности Шмелева: «"Такие события, — говорил Шмелев всегда взбудораженный, он следил за газетами, принимая к сердцу и правдошное и утку, — а негде высказаться!"»[173]. В придуманной Ремизовым как протест против диктатуры большевиков, против военного коммунизма Обезьяньей Великой и Вольной палате - основанном свободолюбивыми обезьянами сообществе-мифе, членами которого были свободолюбивые «служаки», «кавалеры», «князья» (А. Ахматова, А. Белый, М. Горький, Е. Замятин, В. Розанов, Ф. Сологуб и многие другие), — Шмелев значился как благочинный обезвелволпал митрофорный, но благочинность его воинственна: он был с палицей!

[169] Переписка М. Горького. Т. 1. С. 414.

[170] Устами Буниных. Т. 2. С. 114—115.

[171] *Чуковский К.* Обзоры литературной жизни. С. 408.

[172] *Гребенщиков Г.* Как много в этом слове // Памяти Ивана Сергеевича Шмелева. Мюнхен, 1956. С. 58.

[173] *Ремизов А.М.* Мышкина дудочка. С. 130.

Гадали, откуда в нем такая страстность. Писали о его старообрядческой непримиримости. Например, Иван Александрович Ильин в статье 1947 года «Иван Сергеевич Шмелев» высказал такое предположение: в произведениях писателя горит кровь его предков-старообрядцев, участников религиозных диспутов, знатоков веры и начетчиков писания. Георгий Адамович, Шмелеву человек чужой, тоже размышлял об источнике этой страстности и решил: от Достоевского.

Но сам Шмелев, выступая с речью «Душа Родины» на вечере «Миссия русской эмиграции» в феврале 1924 года, утверждал, что страстность — свойство русской души. В 1928 году он написал обращение «К родной молодежи», и в нем так выразил эту же мысль: «Русская душа — жаждущая душа, ищущая *дела*, подвига, душа стремительная и страстная». Время не изменило его мнения о национальных свойствах души, и в статье 1945 года «Творчество А.П. Чехова» он подчеркнул: «При склонности к созерцательности, русская душа — страстная, мятущаяся от “светлого Града” — к Аду, душа художника и юрода, смиренника и дерзателя, подвижника и грешника».

Но страстность — и черта характера Шмелева, и источник его вдохновения. Есть страсть — есть текст, нет ее — и текст не задается, и по этому поводу Бальмонт заметил: «Шмелев производит на меня впечатление — в хорошем смысле — одержимого. Что-то глубоко его пронзило, и, пока он одержим этой пронзительностью, он находит сильные слова и обра́зы. Но вот одержимость покидает его, и он становится мелководным, слова становятся ненужными и бесцветными. Отсутствует некий внутренний стержень»[174]. Шмелев и сам это понимал, Бредиус-Субботиной он высказал такую сентенцию: «Творят в искусстве лишь с т р а с т н ы е — *я*. Как и в подвижничестве»[175].

---

[174] *Бальмонт К.* Золотая птица // *Бальмонт К.* Автобиографическая проза. М., 2001. С. 345—346.

[175] Письмо от 22.08.1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. С. 123.

Растерянность и подавленность, которые переживал Шмелев в Берлине, в Париже быстро оставили его. Его эмигрантская жизнь довольно быстро обрела смысл, и, поскольку он был человеком цельным, у него сформировался свой свод ценностей. Но это вовсе не означает, что его не мучили сомнения. Вдруг появлявшееся чувство бесцельности существования, бесстрастности бытия порождало тоску, которую он не мог скрыть и которую ему было трудно подавить без внешней помощи — без влияния книг, без писем единомышленников.

Порой, напротив, ему остро недоставало этой бесцельности бытия, его страстная душа ждала отдыха. Бальмонт в декабре 1926 года посвятил Шмелеву стихотворение «В преддверии», которое отправил ему по почте. Вскоре, однако, он засомневался, дошло ли оно до адресата, и в следующем письме к Шмелеву поспешил во всем обвинить почтальона. Один из образов бальмонтовского стихотворения — лесная синичка. Шмелев «синичку» получил и в декабре написал в ответ шуточную «трагическую идиллию» «Чудо Орфея, или Погибший почтальон»:

<...>
Вы полагали, что Синичку
Сожрал бездушный почтальон?
Нет, не дерзнул на это он,
Доставил радостную птичку...
Хотя бывает с ним изъян:
На дню он раз пятнадцать пьян.
Причалив с здоровенной мухой,
Синичку сунул в руку мне...
Спасибо, дорогой, за честь,
За дар отшельника-поэта.
Ах, если бы Синичка эта
Могла бы на плечо мне сесть
И посвистать осенним свистом

Об Океане золотистом
Под капбретонскою луной,
О боре, сумрачном, иглистом,
О ландском небе сине-чистом,
Об «алюэт», о пустыре,
Об одиноком фонаре,
О хризантемах зимне-пышных,
О золотых слезах мимоз,
— Пока их не хватил мороз, —
О днях бесцельных, никудышных..! <...>[176]

Но ностальгия по дням бесцельным не так уж характерна для Шмелева. Привычнее были горячность и целеустремленность. Он решил, что для русского интеллигента есть два достойных пути, и оба они отвечают гражданской позиции Шмелева. Об этом его рассказ «Чертов балаган» (1926). Один герой рассказа — покидающий Россию капитан, начальник сражавшегося в Крыму против новой власти отряда, другой — оставшийся в России профессор, не желающий способствовать духовному оскудению народа и страны даже ценой собственных унижений.

С 1923 года Шмелев состоял членом Русского национального комитета, которым руководил А.В. Карташев. Он включился в работу «Союза русских инвалидов». Как Бунин и Куприн, был почетным членом Общества русских студентов для изучения и упрочения славянской культуры. И хотя в минуты отчаяния он называл свою жизнь во Франции призрачной, его деятельность в эмигрантской среде была реальной. Он хлопотал о денежных пожертвованиях для воевавших в Первой мировой и в Гражданской войнах, на страницах журнала «Литература и жизнь» (1928, № 1) он призывал создать Зарубежный литературный фонд для оказания материальной помощи литераторам, для содей-

[176] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 102.

ствия страхованию их собственности, он участвовал в благотворительных изданиях.

У Шмелева были друзья, были идеологические противники и были враги. Не французы, которые относились к эмигрантам с сочувствием и не считали их «понаехавшими тут». Как писал Куприн, «прошел уже почти год, как я живу в Париже, присматриваюсь и прислушиваюсь и все-таки не нахожу того недоброжелательного отношения к русским ни в прессе, ни в публике, о котором предшествовала молва; думаю, его и вовсе нет»[177]: у рантье и лавочников хранятся бумаги русского займа, за Брест-Литовск винят не вообще русских, а большевиков, все интересуются судьбой русского государя и его семьи, с добром вспоминают об Александре III, парижская торговля на плаву за счет русских, и им предоставляют широкий кредит… Противников и врагов русские беженцы обретали в своей же среде. Поводом служили разногласия — политические и религиозные, а также литературные амбиции.

Как до революции, так и в эмиграции интеллигенты раскололись на правых и левых. Шмелев — правый, он монархист. 29 июня 1923 года В.Н. Бунина сделала запись относительно одной грасской дискуссии: если Мережковский высказался за религиозный фашизм, Бунин за сильную военную власть, то Шмелев — белый, «монархист-консерватор с демократическим оттенком, но против четыреххвостки»[178], то есть против тайного, пропорционального, прямого, общего голосования. Основой демократии Шмелев полагал народоправство. Но он был реалистом и понимал, что культура масс низка, а выдвинутые из масс вожди не всегда безупречны. Демократия, по Шмелеву, вырождается в

[177] *Куприн А.И.* Русские в Париже // *Куприн А.И.* Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста. 1919—1934 / Сост. О.С. Фигурновой. М., 2006. С. 277.

[178] Устами Буниных. Т. 2. С. 113.

управление кучки. Свои мысли о перспективах демократии и монархии в России он изложил в статье 1924 года «Пути мертвые и живые». Он утверждал: стыдно бояться слова «правый», и если «нужно искать правды, и если правду сейчас видишь в национализме, то борись за нее, ничего не боясь»[179]. Он раздражался на программы и выпады левых. Левым он сам мог бы сказать так, как Карташев ответил Гиппиус, упрекнувшей его в правизне: «А вы говорите левые пошлости»[180]. Все, что исходило от левых, было, по мнению Шмелева, пошлым и безответственным.

Оставаясь формально вне партий, «выше республиканизма, монархизма, демократизма», и осуждая столкновения правых и левых: «Умирает мать, а дети спорят, в какой шляпе гулять ей пристало! Не любовь тут, а самовлюбленность! Каждый хочет своим средством ее спасти, пальцем не шевельнув...»[181], он отдавал предпочтение национальным и монархическим изданиям. Печатался в славянофильски настроенной «России и славянстве», в монархической «Русской газете», в национальной газете «Возрождение», в патриотическом «Русском инвалиде». Национальная направленность творчества Шмелева известна. Бальмонт посвятил ему стихотворение, начинающееся строками: «Ты русский — именем и кровью, / Ты русский — смехом и тоской»[182]. Прозу Шмелева публиковали и в пытавшихся, правда не всегда удачно, сохранить хотя бы внешний нейтралитет «Современных записках». Его рассказы принимали и в других эмигрантских центрах, например в рижском журнале «Перезвоны». Причем Б. Зайцев, приглашая в 1925 году Шмелева к сотрудничеству с «Перезвонами», помимо размера гонорара

---

[179] Устами Буниных. Т. 2. С. 122.

[180] *Там же.* С. 122.

[181] Из письма И.С. Шмелева к М.В. Вишняку от 14.10.1925 // *Вишняк М.В.* «Современные записки». С. 132.

[182] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 103.

сообщал и о позиции журнала: «наклон вправо» и «журнал ярко национальный»[183].

Он был желанным автором в берлинском журнале «Русский колокол», который издавал профессор И.А. Ильин. Этот журнал просуществовал недолго, с 1927-го по 1930-й. Он был выразителем национальных и патриотических ценностей, философии воли, идеологии государственности. В редакционной заметке второго номера говорилось о необходимости для России религиозно обновленной национальной интеллигенции, мыслящей государственно. Как автор журнала, Шмелев, оказался в компании с В.П. Рябушинским, Н.С. Арсеньевым, П.Н. Красновым, графом Г.А. Шереметевым, князем Н.Б. Щербатовым и другими харизматическими в эмигрантской среде фигурами.

Ильину Шмелев был чрезвычайно интересен. Как отметила В.Н. Бунина, Шмелев пленил Ильина философскими темами своих произведений; например, в «Неупиваемой чаше» это философия творчества, а в «Это было» — проблемы войны[184]. Шмелев отдал Ильину свою статью «Как нам быть» уже для первого номера журнала. В «Русском колоколе» не печатались художественные произведения, не было отдела критики, но на его страницах обсуждались вопросы эстетики, что отвечало интересам Шмелева. В статьях Ильина «Кризис современного искусства» (№ 2), «Музыка Метнера» (№ 7) и других речь шла о бессилии безрелигиозного искусства, о том, что и А. Блок, и А. Белый, и Вяч. Иванов вели к религиозному растлению, о том, что модернизм в литературе и музыке есть упоение вседозволенностью и идеализацией греха, о том, что большевистское искусство — от В. Мейерхольда до В. Шершеневича и В. Маяковского — лишь довершило разложение культуры, и столь принципиаль-

[183] *Зайцев Б.* Письма. 1923—1971 // *Зайцев Б.* Собр. соч. Т. 11. С. 21—22.
[184] Устами Буниных. Т. 2. С. 169.

ная точка зрения была близка Шмелеву. Все более, не без влияния Ильина, он становился полемистом, а его творчество обретало публицистические черты.

Причем Шмелев вовсе не стремился к написанию статей. Он будто боялся, что тем самым исказится его художественная манера. Он считал, что в основе публицистики — вспышка, после которой трудно настроиться. Ему легче было роман написать. В работе над статьей — ему казалось — нет свободы, не включается воображение. Он придумывал все новые и новые причины, по которым ему не следует становиться публицистом. Например, нет соответствующей для публицистики библиотеки: в Капбретоне только Библия и три книги Пушкина, а надо бы почитать Герцена, в котором есть и порок и совестливость… Вообще, прежде чем взяться за написание статей, надо разобраться, надо осмыслить: вот есть Герцен, а «еще язва есть — это Белинский!»[185] , и ему Шмелев противопоставлял Пушкина… Так, отговаривая себя от написания статей, он сам загорался, в нем пробуждался азарт спорщика. Ильин же внушал Шмелеву: язык публицистики полон «пропусков, умолчаний и пауз»[186], но он имеет власть над читателем! Вопреки сомнениям Шмелев все-таки поддерживал издательские начинания Ильина. Он был зачарован Ильиным.

Национальные и государственные устремления Шмелева отличает его отношение к народу. Он терпеть не мог снобов, особенно тех, кто видел в народе лишь варвара. Он считал, что именно народ играет первостепенную роль в государственном строительстве России. Даже после пережитого в России он не уставал повторять в письмах, при встречах, в статьях, например в «Душе Родины» (1924), мысль о

[185] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 47.
[186] *Там же*. С. 48.

том, что будущее молодого и сильного русского народа — только с Христом.

Даже с человеком совершенно ему чуждым, З.Н. Гиппиус, он в 1923 году делился соображениями о своей вере в огромные возможности, скрытые в народе. Это он писал женщине, поэтессе, которая так страстно желала революционных потрясений и которая, увидев их, — знал ли он? — в 1917 году предрекала: «И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, / Народ, не уважающий святынь!» («Веселье»). Шмелев, наблюдая в России разгул народной страсти, в эмиграции писал о великом терпении народа, даже о его инертности и в берлинском письме уверял Бунина: «Россия страна особливая, и ее народ может еще долго-долго сжиматься, обуваться в лапти и есть траву»[187]. Бунин, уже в Грассе высказывая Шмелеву свои надежды на военную власть в России, аргументировал ее необходимость тем, что только она «может восстановить порядок, усмирить разбушевавшегося скота»[188]. В апреле 1921 года он в дневнике записал цитату из «Капитанской дочки» о полудиких народах, которые постоянно готовы к возмущению и не признают ни законов, ни гражданской жизни, и решил, что эта характеристика подходит ко всему русскому народу. Но он же в эмиграции написал рассказы, в которых человек из народа показан талантливым, добрым, мудрым... необъяснимо для него, Бунина, мудрым.

Народ интеллигенцию испугал. Обиженному интеллигенту легче было увидеть в народе ущербность и дремучую силу, чем понять его возмущение. Например, много сделавший для начинающего писателя Шмелева Горький — не столько обиженный, сколько испугавшийся — выпустил в 1922 году в Берлине брошюру «О русском крестьянстве», по

---

[187] Устами Буниных. Т. 2. С. 100.

[188] *Там же*. С. 113.

сравнению с которой его «Две души», возмутившие в свое время Шмелева, — легкое ворчанье. Она была задумана в 1921 году. Находясь за рубежом, Горький писал Ленину 22 ноября 1921 года: «Собираюсь написать книжечку о русском народе, сиречь — о мужичке нашем, о том чужом дяде, на которого работаете Вы и который постепенно поглощает остатки революционной энергии русского рабочего. Книжечка, конечно, явится апологией советской власти — она одна только и могла поднять на ноги свинцовую массу русской деревни, и одно это вполне оправдывает все ее грехи — вольные и невольные»[189]. О «чужом дяде» и «свинцовой массе» и была написана берлинская «книжечка». В интерпретации Горького полудикий русский народ, не способный подчиниться власти — власти большевиков — жестокий зверь, которому нужна узда репрессий. Карательные меры против деревень, таким образом, оправдывались натурой самого крестьянина — патологически жестокого, скорого чинить расправу над большевиками. Каратели — не мучители народа, а благородные люди, расчищающие Авгиевы конюшни. Горький писал о русском крестьянстве как об исторически обреченном на вымирание сословии — и так ему и надо: «...как евреи, выведенные Моисеем из рабства Египетского, вымрут полудикие, глупые, тяжелые русские люди русских сел и деревень...»[190]. Художнику В. Каррику автор «книжечки» высказал мнение о том, что «не очень обидел мужика»: «Суть только в том, что за время революции мужик сожрал интеллигенцию и рабочий класс, т.е. — сожрал-то не только он, но — он остался хозяином страны и скоро покажет себя очень сурово-скупым, узким, не верующим ни во что человеком. В таком виде он, конечно, долго не

---

[189] Неизвестный Горький (К 125-летию со дня рождения). М., 1994. Вып. 3. С. 40.

[190] *Горький М.* О русском крестьянстве // Огонек. 1991. № 49. С. 12.

проживет, но все же — временно — создаст весьма тяжелые условия жизни»[191].

С Горьким спорили. В частности Лев Карсавин. В том же году в Петербурге вышла его работа «Восток, Запад и русская идея», в которой об исторической судьбе русского народа говорилось совершенно иначе: «Ожидает или не ожидает нас, русских, великое будущее (я-то, в противоположность компетентному мнению русского писателя А.М. Пешкова, полагаю, что да и что надо его созидать), русский народ велик не тем, что он е щ е совершит и о чем мы ничего знать не можем, а тем, что он у ж е сделал...»[192]. С.П. Мельгунов в книге «Красный террор в России. 1918—1923» (1923) сделал акцент на неприемлемость аргументов Горького в пользу оправдания репрессий. Известный публицист А. Яблоновский, уличая Горького в лжесвидетельстве, свою статью назвал «Адвокат дьявола» (1922). По-своему отреагировал на выступление Горького Куприн: «Когда говорят "русский народ", я всегда думаю — "русский крестьянин". Да и как же иначе думать, если мужик всегда составлял восемьдесят процентов российского народонаселения. Я, право, не знаю, кто он, этот изумительный народ. Богоносец ли, по Достоевскому, или свинья собачья, по Горькому. Я знаю только, что я ему бесконечно много должен; ел его хлеб, писал и думал на его чудесном языке и за все это не дал ему ни соринки»[193]. Наконец, Р. Роллан в письме Горькому от 12 октября 1922 года, возражая ему и, по сути, заступаясь за русских, заметил: для того чтобы побудить в народах Запада ту же жестокость, которую автор брошюры обличает в русском крестьянстве, требуется не так уж много.

[191] *Хьетсо Г.* Максим Горький: Судьба писателя. М., 1997. С. 209.

[192] *Карсавин Л.П.* Сочинения. М., 1993. С. 164.

[193] *Куприн А.И.* Слагаемое // *Куприн А.И.* Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста. 1919—1934. С. 398.

В эмиграции Шмелев писал о народе много. В рассказе «Russia» иностранец говорит: русскому народу, этому азиату, рабу, язычнику, нужна узда. Горьковская точка зрения узнаваема. И не только его. Шмелев полемизировал со сложившейся о русских, о славянах европоцентристской позицией. Например, Х. Ортега-и-Гассет в «Мыслях о романе» (1930) выскажется как об аксиоме о хаотичной природе славянских народов, что отличает их от романо-германцев, «ясных, определенных и безмятежных»[194].

После революции в среде эмигрантов мысли о великой, мессианской роли русских уже не были столь популярны, как во времена славянофилов, Ф. Достоевского, Ф. Тютчева, Л. Толстого. А. Хомяков надеялся, что Россия встанет во главе всемирного просвещения; Н. Данилевский верил, что славянам и грекам суждено быть богоизбранными; В. Соловьев, вслед за Достоевским, писал о всеединстве русских. Об этом помнили, но реалистичнее выглядела другая концепция — евразийская, к которой Шмелев, не будучи евразийцем, относился одобрительно: он полагал, что евразийство — симптом осознания национальной «поруганности и ущемленности». Это видно из его «Ответа на анкету о революции» 1927 года. Отвечающей действительности казалась и точка зрения предвосхитившего евразийцев К. Леонтьева: Россия с ее азиатскими владениями — особый государственный мир, не нашедший еще своего «стиля культурной государственности»[195]. Евразиец Карсавин в унисон Леонтьеву писал: «Проблема "Россия — Европа" через проблему "Россия — Азия" расширяется в идею России — Евразии, как особого культурного мира и особого континента»[196]. Утратила популяр-

[194] *Ортега-и-Гассет Х.* Эстетика. Философия культуры / Сост. В.Е. Багно. М., 1991. С. 273.

[195] *Леонтьев К.* Восток, Россия и славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872—1891). М., 1996. С. 370.

[196] *Карсавин Л.П.* Сочинения. С. 458.

ность и идея жертвенности России, ее сторожевой миссии во благо Европы — идея В. Ключевского. Споры о предназначении России велись, но очевидно, что ее столица уже не Третий Рим. И Шмелев с этим согласился, написав рассказ «Москва в позоре» (1925). Москву он противопоставил избежавшему позор Китежу: «...почему же в пожарах не сгорела, отдалась, как раба, издевке?!»

Русский человек в изображении Шмелева добр и терпелив, его судьба трагична. Он противопоставил Советскую власть и народ. Например, в рассказе «Про одну старуху» (1924). Старуха Марфа Трофимовна — одна из множества, «в каждой губернии таких старух найдется». Ее сын, злодей и пьяница, примкнул к революционерам, а она, чтобы прокормить больную невестку и внуков, отправилась по железной дороге менять ситец, ведро патоки и сапоги на муку. Так она оказывается среди прочих мешочников, и этот народ-мешочник хулит власть: «Народу сколько загублено через их...», каратели, экспроприаторы «облютели», «совесть продали», они — «палачи», «коршунье». Мытарства старухи заканчиваются трагедией: в экспроприаторе, отнимавшем у мешочников продукты, она узнает сына; тот видит уцепившуюся за мешки мать, слышит ее звериный рев — и убивает себя; в дороге измученная старуха умирает. Рассказ «В ударном порядке» (1925) — об истории, произошедшей в совхозе «Либкнехтово»: заболел породистый жеребец, и все, имеющие какое-то отношение к этому жеребцу, боятся расстрела. В рассказе «На пеньках» (1924) новых идеологов Шмелев назвал «блудниками слова и шулерами мысли».

Красота, благородство, поэтичность, духовная сила человека из народа, в котором нет ни капли непротивления злу, — в «Письме молодого казака» (1925). Девятое, и, по-видимому, такое же безответное, как предыдущие восемь, письмо эмигранта-казака к родителям на Дон передает его одиночество,

бесприютность и раскрывает трагедию оставшихся в России казаков, обреченных на «казнь расстрела». Шмелев, еще в раннем творчестве овладевший искусством сказа, насыщает язык этой миниатюры диалектизмами, свойственными фольклору постоянными эпитетами, повторяющимися отрицаниями при глаголах, былинным и плачевым ритмом, вроде: «Зачем вы молчите не говорите, как в земле лежите? Аль уж и Тихий Дон не текет, и ветер не несет, летняя птица не прокричит? Не может этого быть, сердце мое не чует». Казак за кровь, за коня, за родителей «ответа стребует»: «Чую-знаю, идет срок мой, ждет меня конь мой, древо на пику выросло». Но в русском есть гибельные для него куражливость, чрезмертность, азарт, великое хотение. Такой раненный в грудь и попавший в немецкий плен гвардии солдат Иван из рассказа «Чужой крови» (1918—1923). Он сильный, работящий, душевно бодрый человек, «в работу втянулся, говорил чужой речью, <...> пел немецкие песни, ловко умел ругаться и даже заходил в кирху». Страстность Ивана удивляет немецкого хозяина: на спор с Фрицем он взваливает на себя тридцать пудов парниковой земли и в результате умирает от кровоизлияния в легкие. Фриц говорит: Иван не знает меры.

Нужна ли узда для чрезмерности, для русского хотения? По Шмелеву, нужна, но она — в религии, в семейных устоях. Устои отличают народ от буйной черни, свобода от устоев оглушает народ. Касаясь мартовских событий 1917 года, Шмелев полагал, что «в хмельном от революции марте все было пьяно, тревожно-бесшабашно, беспланно, безудержно» и податливый народ с «тупым удивлением» внимал «людям в пиджачках, в мягких шляпах, в каскетках и в инородческих треухах». Кто ославил народ и кто виноват в разгуле черни? Ответ однозначен: интеллигенция. Виноваты Маркс, Энгельс, Либкнехт, Адлер, Плеханов, Чхеидзе, Чернов, Церетели, Рамишвили, Ленин, Троцкий, Радек, Люксембург, Цеткин, Ван-

дервельде, Бела Кун и проч. Увы, — и в отчаянии, и с сарказмом писал Шмелев в своих статьях — народ не взял в учителя Менделеева, Пирогова, Данилевского, Соловьева, Достоевского, Аксакова, Ключевского, Толстого, Чехова. Как опоэтизировал грядущих гуннов Брюсов, и как жутко Шмелеву, видевшему их! В 1927 году он написал рассказ «Гунны» — о наступлении красных на Крым. Ведь «двадцать миллионов подняли: свет покорять!» — и народ соблазнился; среди новых гуннов попадались каторжные лица, кавалеристы были дикого вида, встречались сибирские — мохнатые, как медведи, и маленького рост. И все они решили: «А теперь с цельным светом расправляться будем... и установим рижим, как гу-мны!..».

Обмороченный гунн — дикий и наивный в своей доверчивости, а крестьянство — многострадальное и покоренное. В современной истории России Шмелев видел великую эпопею.

Понятнее поражение, если свести национальный характер к полярности, к максимализму, как это делал Бердяев: «русские постоянно находятся в рабстве», но русский дух «устремлен к последнему и окончательному, к абсолютному во всем»; «добыть себе относительную общественную свободу русским трудно не потому только, что в русской природе есть пассивность и подавленность, но и потому, что русский дух жаждет абсолютной Божественной свободы»[197]. Другие, напротив, в национальном характере хотели видеть не столько причины своего поражения, сколько залог будущей победы над большевизмом. В 1923 году, в Риме, Б. Вышеславцев выступил с докладом «Русский национальный характер», он уверял, что, исходя из сказок, русские боятся бедности, труда, горя, а потому большевизм с его законничеством, бюрократизмом, комиссариатами несовместим с

[197] *Бердяев Н.* Душа России // Судьба России. М., 1990. С. 32.

национальным характером. Для социализма, как он считал, больше подходят лондонские и парижские предместья. Н. Лосский, С. Булгаков говорили о религиозности как первооснове русского характера: при всей темноте и непросвещенности народа, его идеал — Христос, а норма жизни — христианское подвижничество. Так или иначе интеллигенция думала, писала, говорила о национальном характере, и ее споры — своего рода попытка объяснить и преодолеть национальный позор.

В Париже ли, в Капбретоне, во время воскресных богословско-философских обсуждений Шмелев слушал, но не спорил, он во время такого рода собраний был, как вспоминал Вишняк, пассивен. Его путь — другой, творческий. Он меньше судил о народе, а больше вслушивался и всматривался в народ. Он называл себя «малой мошкой русской»[198], но и у «мошки» есть предназначение; 22 января 1927 года он написал И. Ильину:

> Я — русский человек и русский писатель. И я стараюсь прислушиваться к правде русской, т.е. к необманывающему, к совестному голосу духа народного, которым творится жизнь. Я принял от народа, сколько мог, — и что понял — стараюсь воссоздать чувствами[199].

Такую связь его с народом Бальмонт объяснял преданностью «исконной русской жизни», по сути устоям, «крепкому земному духу», а также «устремленностью русской души к праведному, к Божьему»[200].

---

[198] Переписка двух Иванов (1922—1934). С. 19.

[199] *Там же.* С. 15.

[200] *Бальмонт К.* И.С. Шмелев (Ко дню его 60-летия) // Последние новости. 1933. 5 окт. Цит. по: *Куприяновский П.В., Молчанова Н.А.* Поэт с утренней душой: Жизнь, творчество, судьба Константина Бальмонта. М., 2003. С. 406—407.

VIII. *И.А. Ильин «О сопротивлении злу силою» «Ибо еще побредем, Марковна...» Шмелев о молодых эмигрантах Интеллигентщина и интеллигенция*

Ильин жил в Германии, Шмелев — во Франции, но Ильин был первым другом, помощником, наставником писателя. Он хлопотал о его материальном благополучии, опекал его в битвах с недругами, направлял его политическую мысль, окормлял духовно. Ильин был моложе Шмелева на десять лет. Он закончил Первую московскую гимназию, в которую перешел в 1898 году. Шмелев поступил в эту же гимназию на четырнадцать лет ранее. В молодости Ильин был эсдеком. Он очень нуждался, жил переводами, и хотя страстно любил и музыку и Художественный театр, концерты и театр были под запретом, потому что экономить приходилось на всем. Достаток пришел позже: после окончания университета он был оставлен на кафедре философии права. За сочинение о Канте ему присвоили звание кандидата. С 1912 года Ильин доцент Московского университета, его специализация — философия права. С 1918 года он доктор наук, профессор. На защите докторской диссертации по Гегелю ему оппонировали блистательные Е.Н. Трубецкой и П.И. Новгородцев. Но его интересовала чистая философия, в какой-то момент он «возненавидел и право, и профессора по ка-

федре — Новгородцева, и сотоварищей»[201], как вспоминала двоюродная сестра его супруги Е. Герцык.

Он не принимал Ницше и увлекался Кантом, позднее Гегелем, «процеженным сквозь Гуссерля»[202]. Откровением стало знакомство с З. Фрейдом: Ильин жил в Вене, встречался с ним, много беседовал. У сестер Герцык он познакомился с видными гуманитариями своего времени — с М. Волошиным, Н. Бердяевым, Вяч. Ивановым, но уже тогда проявил к ним настороженность: в их интеллектуальных и образных пристрастиях ему виделось сексуальное влечение! В эмиграции обнаружилось, что Бердяев — его идейный противник, а по отношению к идейным противникам он был не просто насторожен, а бескомпромиссен.

Ильин собран, последователен, целеустремлен, духовно тверд. В его аскетической выдержке Е. Герцык усматривала даже что-то нерусское. Она писала: «По матери — немецкой крови, светлоглазый, рыжеватой масти, высокий и тонкий, Иван Ильин — тип германца. И как бывает порой с русскими немцами, у него была ревнивая любовь к русской стихии — неразделенная любовь»[203]. Ильин говорил по-московски, влюблялся в пейзажи Нестерова, с которым был близко знаком. В 1922 году Нестеров написал портрет Ильина и назвал картину «Мыслитель». Из композиторов ему был близок Н. Метнер. В 1934 году в лекции о Мережковском он поставит в один ряд творчество Шмелева и Метнера: «…кто ныне имеет открытое духовное око для творчества Шмелева в литературе и Метнера в музыке — для творчества, которое создаст навеки незабываемые течения в истории русского искусства?»[204]

---

[201] *Герцык Е.* Воспоминания. С. 177.

[202] *Там же.*

[203] *Там же.* С. 178.

[204] *Ильин И.А.* Творчество Мережковского // *Ильин И.А.* Одинокий художник. М., 1993. С. 136.

После революции Ильина арестовывали шесть раз (только в 1918 году трижды), в 1922-м приговорили к расстрелу по статье 58, но приговор заменили высылкой из Советской России. В Европу он уехал на «философском» пароходе.

Ильины осели в Берлине. Умная и молчаливая супруга Ильина Наталия Николаевна, урожденная Вокач, «всю жизнь делила симпатии мужа, немножко ироничная к его горячности», а он «благоговел перед ее мудрым спокойствием»[205]. В Берлине в 1923 году Ильин стал одним из основателей Русского научного института, читал лекции, вел семинары, писал статьи, книги, в которых выступал не только как мыслитель, но и как человек страстный. Ильин полагал, что мышление без сердца цинично и что болезнь современника заключена в противоречии его ума и сердца. Философия Ильина предметна, в ней нет абстрактности, отвлеченности его противников. Ильин — мыслитель ответственный, и со страстной непримиримостью он полемизировал с теми философами и политиками, в выступлениях которых подозревал безответственное отношение к России и русскому.

Шмелева и Ильина сближала антилиберальная направленность и отстаивание сильной государственности. В 1924 году в статье «Русское дело» Шмелев определил суть эмигрантского существования, цель общих усилий: Россия должна строиться и собираться. При этом в своих публикациях и письмах он, как Ильин, высказывался против социализма, тоталитарной, по сути рабовладельческой, системы, а также против национал-социализма.

Ильин усматривал суть национального сознания в национальной духовности, но в отличие от других толкователей русского характера, он выдвинул идею единства православия и воли, полагая, что именно они основополагающие в вос-

---

[205] *Герцык Е.* Воспоминания. С. 177.

питании нового поколения русских. В 1925 году он издал книгу «О сопротивлении злу силою», которую поддержал Шмелев и которая в эмигрантских кругах вызвала полемику. По сути, Шмелев в споре Ильина с Толстым принял сторону Ильина. Возможно, уже тогда в сознание Шмелева закрались сомнения относительно некоторых философских сентенций Толстого.

Толстой непротивление злу полагал первейшей сутью христианства. Как он записал в дневнике 20 января1908 года, «неследование закону непротивления пагубно тем, что уничтожает ту одну религию, которую исповедуют люди христианского мира»[206]. По Толстому, не надо бороться с преступниками, ведь бессмысленно бороться с бурями, с морозом; нужно просто делать свое дело, а преступника надо исправлять одного — себя. От насилия насилием избавиться нельзя. Он же полагал, что любовь к Богу узнается по любви к врагам: «Их-то нужнее всего любить для того, чтобы были те благие последствия, которые дает любовь»[207].

В книге «О сопротивлении злу силою» Ильин заявил о философской слепоте Толстого и тем эпатировал интеллектуальную элиту эмиграции. Он считал, что суть учения Толстого сводится не к философии, а к морали, что моралью же подменен религиозный опыт. Мораль судит всякое религиозное содержание и подавляет эстетику; так, в «Воскресении» художественная образность уступила место нравоучительному резонерству.

Ильин выступил и против расширительного толкования толстовского учения, тем самым, по сути, указал современным мыслителям на их ошибку: Толстой не призывал к полному несопротивлению злу, его идея состоит в том, «что борьба со злом необходима, но что ее целиком следует перенести во

[206] *Толстой Л.Н.* Философский дневник. С. 341.

[207] Запись от 13.02.1908 // *Там же*. С. 349.

внутренний мир человека...»[208]. Под злом Ильин понимал тяготение человека к разнузданию в себе зверя. Всякая зрелая религия, как он утверждал, учит человека борьбе со злом.

Сентиментальной иллюзией Ильин называл веру в то, что зло в злодее побеждено тогда, когда злодей прощен. Он разъяснял свое, истинное, как он полагал, понимание слов Евангелия «не противиться злому» (Мф. 5, 39): эти слова означают кроткое перенесение личных обид. Например: «Кто ударит *тебя* в правую щеку *твою*» (Мф. 5, 39, Лк. 6, 28) — Ильин выделял ключевые в евангельском тексте слова. Еще аргументы: «взять у *тебя* рубашку» (Мф. 5, 40, 42, Лк. 6, 29, 38); «Просящему у *тебя*», «взявшего *твое*» (Лк. 6, 30). Страстно доказывая свою правоту, прибегая к фигурам ораторской речи, Ильин писал: «Истолковывать этот призыв к кротости и щедрости в личных делах как призыв к безвольному созерцанию насилий и несправедливостей или к подчинению злодеям в вопросах добра и духа было бы противосмысленно и противоестественно. Разве предать слабого злодею — значит проявить кротость? Или человек волен подставлять нападающему и *чужую* щеку? Разве щедрость не распространяется только на свое, личное? Или растративший общественное достояние и отдавший своего брата в рабство тоже проявил "щедрость"? Или предоставлять злодеям свободу надругиваться над храмами, насаждать безбожие и губить родину — значит быть кротким и щедрым? И Христос призывал к *такой* кротости и *такой* щедрости, которые равносильны лицемерной праведности и соучастию со злодеями? Учение Апостолов и Отцов Церкви выдвинуло, конечно, совершенно иное понимание. "Божии слуги" нуждаются в мече и "ненапрасно носят его" (Римл. XIII, 4); они — гроза злодеям. И именно в духе этого понимания учил

[208] *Ильин И.* Путь к очевидности. М., 1993. С. 12.

св. Феодосий Печерский, говоря: "...живите мирно не только с друзьями, но и с врагами; однако только со своими врагами, а не с врагами Божьими"»[209]. Конечно, рассуждал Ильин, Христос учил любви, Он не пожелал для себя обороны мечом («все, взявшие меч, мечом погибнут». Мф. 26, 52), но «ни разу, ни одним словом не осудил он меча. Ни в смысле организованной государственности, для коей меч является последней санкцией, ни в смысле воинского звания и дела»[210]. Таким образом, государственность — идеал и Ильина, и Шмелева — немыслима без сопротивления злу силою.

Не всякое применение силы, по Ильину, есть насилие, при этом физическое понуждение должно осуществляться как необходимость, когда иные меры бессильны. В то же время борьба со злом, но ведомая злым и понуждаемая волей ко злу, не есть сопротивление злу, а есть служение злу. Ильин оправдывал физическое пресечение зла — такое пресечение, которое является религиозной и патриотической обязанностью человека и не является противодуховным, противолюбовным. Борьба со злом, по Ильину, есть проявление мироприемлющей любви. Ильин пришел к выводу о том, что любовь в толстовском учении подменена жалостливым состраданием. Толстого он рассматривал как сентиментального моралиста, любовь которого эгоистична: «Сентиментальный человек не уходит в то, что любит, и не отождествляется с любимым, не забывает себя»[211], сентиментальная любовь разъединяет людей.

Ильин, таким образом, не видел никакого противоречия между православным сознанием и волевой натурой. Он выступил против укоренившейся в русской мысли традиции проповедовать «наивно-идиллический взгляд на человеческое

[209] *Ильин И.* Путь к очевидности. С. 81.

[210] *Там же.* С. 123.

[211] *Там же.* С. 50.

существо», в то время как «черные бездны истории и души обходились и замалчивались»[212]. Согласно такой традиции героические натуры показывались злодеями, а ипохондрики, лишенные воли, гражданских обязанностей, патриотически мертвые показывались как добродетели. Размышляя над статьями Толстого, Ильин писал о толстовском учении как о разновидности государственного и патриотического нигилизма.

Борьбу со злом Ильин рассматривал как героический акт. Сопротивляющийся оказывается в нравственно-трагическом состоянии, и выход из него доступен только сильным людям. Сильный человек «не бежит от конфликта в мнимо-добродетельную пассивность», он испытывает «духовное напряжение, которое необходимо для открытого и выдержанного *приятия* возможной *вины*»[213]. Таким образом, меченосец решается ради борьбы с врагом Божьего дела на неправедный путь, на духовный компромисс.

Работа «О сопротивлении злу силою» стала поводом для полемики в философских и политических кругах, и без того размежевавшихся. В частности, Н. Бердяев в 1926 году в четвертом номере журнала «Путь» выступил с резкой антиильинской статьей «Кошмар злого добра». Статья Гиппиус 1926 года «Меч и крест», опубликованная в «Современных записках», говорит о ее нескрываемом раздражении: от манеры Ильина «веет чем-то мертвенно-злым», Ильин — «*проповедник* силы-насилия», «Ильин занимается борьбой... с Толстым»[214] и тому подобное.

Споры вокруг толстовского непротивления велись и в предреволюционную, и в революционную пору, но в эмиграции они обрели конкретный и практический смысл: по сути, Ильин выступил как идеолог силового сопротивления большевиз-

[212] *Ильин И.* Путь к очевидности. С. 8.

[213] *Там же.* С. 122.

[214] *Гиппиус З.Н.* Неизвестная проза: В 3 т. / Под ред. А.Н. Николюкина. СПб., 2002. Т. 2. С. 182, 188.

му. Уже в 1896 году В. Розанов написал «Еще о гр. Л.Н. Толстом и его учении о несопротивлении злу». Поводом к статье послужило письмо Толстого к Кросби, известное как «Письмо Л.Н. Толстого к американцу о непротивлении. Женева. 1896». Слова Спасителя о непротивлении злу Розанов не рассматривал как завет «главный, универсальный, все собою покрывающий»[215]. Для Розанова эти слова — лишь «увещание», Толстой же «поработил все Евангелие одной строке в нем»[216]. Подтверждение своего прочтения Евангелия Розанов видел в таком действии Христа, как изгнание торгующих из храма. При этом он настаивал: христианская любовь есть не просто любовь, а любовь деятельная. Споря с Вл. Соловьевым, автором статьи «Судьба Пушкина» (1897), в которой утверждалось, что поэт погубил себя своим гневом, Розанов в статье «Христианство пассивно или активно?» (1897) страстно настаивал: «безнервное», пассивное христианство «оледеняет» человека[217]. Пассивному христианству Соловьева он противополагал святое негодование. Яркий мыслитель С.Л. Франк уже после революции в «De profundis» (1918) также обратился к вопросу о христианстве и непротивлении. Он писал о том, что религиозное сознание не училось бороться, «все лучшие силы русского духа стали уходить на страдание и страдательность, на пассивность и бездейственную мечтательность»[218].

Настаивая на том, что непротивление есть ликвидация русской государственности, Ильин обрушивал свое негодование на несогласных.

Мысли о сопротивлении злу силою не были Шмелеву внушены Ильиным. Он их разделял, поскольку и раньше полагал, что враг должен быть наказан. Например, уже в «Лике

---

[215] *Розанов В.В.* Собр. соч.: О писательстве и писателях. С. 12.

[216] *Там же.*

[217] *Розанов В.В.* Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 188.

[218] Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 496.

скрытом» Шеметов убивал «очень» и тем самым вколачивал гвозди в крест врага: «Я так говорю: вы, мои организованные противники, особенно постарались для "мяса"… ну, и получай гвоздь! А моя Россия, мой бедный народ… он меньше всех виноват в этой "мясной" вакханалии… И я стараюсь, чтобы моим выпало на долю меньше гвоздей. И мой аппетит пока в этом мне не отказывает. И я гвозжу с упоением!» Логика Шмелева, прочитавшего «О сопротивлении злу силою», была такова: направленный против зла меч, осиянный крестом, сам является крестом, и кто этого не понимает и не принимает — «рабы умствований»[219]. Ильин опубликовал в первом номере «Русского колокола» (1927) статью Шмелева «Как нам быть? (Из писем о России)», в которой писатель, отвечая на письма молодежи, выступил в защиту идеи и практики сопротивления злу силою и упрекал интеллигенцию, которая рассматривала зло только как философскую категорию и порицала «сопротивление злу мечом». В статье «Как нам быть?» содержится вопрос: «Как они смеют <…> осуждать меч на Сатану, меч — Крест, когда они ни меча не держали, ни ран от него не получали, ни Сатаны не видели и даже верят в него, как в "философскую категорию", а Крест для них только условный символ?!»

Шмелев был убежденным приверженцем идеи воли. В убийстве В. Воровского он видел справедливое возмездие. Он разделял позиции созданной в 1924 году Лиги Теодора Обера, защитника убийцы Воровского на судебном процессе в Лозанне, ее задачу бороться с III Интернационалом. Шмелев публиковался в военных «Русском инвалиде» и «Добровольце». В судьбе Л.Г. Корнилова, для Шмелева — казака-рыцаря, в светлых вождях М.В. Алексееве и А.И. Деникине, в усилиях П.Н. Врангеля удержать распад, в русской гордости А.В. Колчака, в целом в Белой армии, в Ледяном походе,

[219] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 15.

который Шмелев называл и голгофой, и великой мистерией, ему виделась душа России, ее подлинная, волевая, сущность. Он верил в то, что скоро у советских вождей выбьют стяги, — так он писал М. Вишняку 26 июня 1926 года.

Конечно, он был одним из многих, стоявших на позиции вооруженного сопротивления. Например, М. Арцыбашев в «Записках писателя» (1925, 1927) считал, что прощение равно примирению, что «без ненависти к злу невозможна любовь к добру»[220]. Но если Шмелев, как и Ильин, не видел противоречия между евангельскими истинами и сопротивлением злу насилием, то Арцыбашев просто-напросто, не задумываясь о глубинах толкования Священного Писания, заявлял: ему «нет никакого дела до того, что на этот счет сказано в Евангелии!»; он верил в союзников по борьбе: «Я знаю, что мир еще населен не бесплотными праведниками, живыми людьми, в душах которых должны жить и любовь и ненависть»[221]. Как Шмелев, Арцыбашев нападал на ту часть интеллигенции, которую он называл «беспочвенными мечтателями-идеалистами» и которая живет «в сфере отвлеченностей», не понимает народа «и человеческую природу вообще», которая показала свою растерянность при первых ударах революции: «Они говорили, говорили, говорили — и в конце концов проговорили и революцию, и родину, и самих себя»[222]. Моральное и интеллектуальное поражение интеллигенции Серебряного века было очевидно и для Шмелева, и для многих других.

Связанный с Б. Савинковым, Арцыбашев в своей активной борьбе со злом был максималистом. Он писал о Савинкове как талантливом организаторе, в распоряжение которого он отдавал себя: «Я не поехал, подобно многим, в мир-

---

[220] *Арцыбашев М.* Записки писателя // Литература русского зарубежья: Антология. М., 1991. Т. 2. С. 435.

[221] *Там же.* С. 435.

[222] *Там же.* С. 436.

ную, сытую Прагу, куда звали меня чехи, а предпочел присоединиться к боевой организации и остался в голодной для русских Варшаве...», но «гибель Савинкова все оборвала»[223]. Тут Шмелев расходился с Арцыбашевым и его союзниками — с теми, кто возлагал надежды на боевые группы. В деятельности террористических организациях Шмелев опасался провокаций со стороны Советов. Отношение к Савинкову в эмиграции неоднозначно. Для многих он вовсе не герой. Бунин, например, усматривал в его выступлениях о терроризме хвастовство, а в его любви к мужику лукавство («А насчет “мужика” совсем другое говорил прошлым летом! — “Пора Михрютку в ежовые рукавицы взять!”»[224]).

Как выразитель идеологии воли, Шмелев не принимал экзистенциализма и отрицательно относился к литераторам-экзистенциалистам, коих было много. Экзистенциалисты, по Шмелеву, — это упадочники, а в его произведениях сильно жизнеутверждение. Читатели писали ему о том, что рядом с Евангелием держат и его «Лето Господне» и читают эту книгу во время уныния. Шмелев же хранил письма читателей как источник душевной силы и помощи. Себе он часто говорил слова Аввакума, мысленно обращаясь к Ольге Александровне: «Ибо еще побредем, Марковна...»

Шмелев огромные надежды в борьбе за Россию возлагал на молодежь. Потому и публицистику, и художественные произведения подчинял задаче воспитания молодежи. В переписке Шмелева и Бальмонта встречается образ некоего русского юноши, который изменит ход событий, как в 1914 году изменил мир восемнадцатилетний серб. Его радовали начинания по созданию всякого рода учебных заведений для русских детей, лагерей бойскаутов. Воспитание там основыва-

---

[223] *Арцыбашев М.* Записки писателя. С. 442.

[224] *Бунин И.А.* Дневник. Запись от 6/19 апреля 1921 г. // Собр.соч. Т. 7. С. 398.

лось на патриотизме, православии, воле. По Шмелеву, одна из целей «русского дела» — воспитание созидателей-практиков, руководителей, деятелей, в том числе национально-хозяйственной и национально-мыслящей интеллигенции. Эмигранты, по Шмелеву, — это охранители, они должны сберечь подлинное, национальное, противостоять интернациональной вере большевиков; эмигранты — это люди большого духовного напряжения, щит, которым народ оберегает свое.

Он отдавал отчет в том, что вся государственная система Советов направлена на воспитание нового поколения большевиков, и он призывал Ильина воспитывать новую интеллигенцию, молодых борцов — и работников, и водителей. Шмелев желал, чтобы молодежь читала книгу С. Франка «Крушение кумиров» (1924). В 1924 году он написал статью с таким же названием, и в ней уверял читателя, что книга Франка — зеркало, в котором видишь душу русской интеллигенции. Франк нашел Живого Бога! Франк был близок ему своей мыслью о том, сколь огромные жертвы были принесены на алтарь революционного и прогрессивного мнения. Франк называл травимых прогрессивным мнением национальных гениев, к которым относил А. Григорьева, Ф. Достоевского, Н. Лескова, К. Леонтьева. Шмелев дополнил этот перечень Н. Гоголем, А. Фетом, Ф. Тютчевым, Л. Толстым, А.Чеховым. Франк писал о духовном варварстве культурно утонченных народов, их порочности при внешней благопристойности, и Шмелев сам мог бы подписаться под этой мыслью. Шмелев призывал молодежь читать евразийцев, «Философию неравенства» (1923) Бердяева, работы Струве, потому что в них был поиск истины.

Наконец, в статье «Русское дело» Шмелев писал о необходимости создать «партию национального склада и практического закала», которая не должна иметь ничего общего с фа-

шизмом («И это не фашизм будет, а русская духовная дружина»)[225]. Об этом же — публиковавшиеся в 1925—1926 годах в «Возрождении» «Письма о фашизме» Ильина: фашизм — реакция на государственную, общественную дезорганизованность, поиск волевого решения, но Белое движение гораздо глубже! Шмелев полагал, что надо создать особый Орден — Союз русских строителей, русских каменщиков — ревнителей, но ни в коем случае не масонов, поскольку волевая идея должна быть пропитана национальным пафосом. В шмелевских проектах не было ничего узконационалистического. Например, он считал, что национальное политическое ядро будущей России должно быть вне политических устремлений и с представителями «всех племен».

Сам интеллигент, Шмелев в эмиграции упрекал и уличал интеллигенцию в религиозной безответственности и политической наивности, о чем его «Душа Родины» и другие статьи. Да, рассуждал Шмелев, народ не постигает родину так, как постигает ее человек просвещенный, есть среди интеллигенции творчески одаренные личности, они родину могут чуять и выражать, но есть и отщепенцы духа, вот они-то и сунули топор в руки народу, грезившему о земном рае. Моральная порочность интеллигенции в том, что она «не жевавши сглотала все философии и религии, царапалась на стремнины Ницше и сверзлась в марксистскую трясину». Он был безжалостен к Маниловым-либералам, увидевшим в революции освобождение народа, был саркастичен к интеллигенции, которая не смогла противостоять провокаторам — опирающимся на вражеские деньги «людям зеленого возраста», распространителям вражеских директив, идей мировой революции. Увы, революция не выдвину-

[225] Письмо к И. Ильину от 24.09.1927 // Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 66.

ла людей с государственной волей, и, при прекраснодушии интеллигенции, к власти пришла шайка.

Он считал, что интеллигент должен быть почвенным, иначе он — носитель интеллигентщины, русско-интернациональной хронической болезни. Умствованию интеллигентщины он противопоставлял инстинктивное творчество народа.

Среди интеллигенции были те, кто будил в Шмелеве гнев, кого он определял в интеллигентщину. Причиной его миллиона терзаний были новые оракулы века. Его антагонистами стали В. Ходасевич, С. Маковский, Г. Адамович. Он давал крайне уничижительные оценки своему грасскому знакомцу Мережковскому, в его эмигрантских книгах видел претензии нового мессии. Мережковский, действительно полагая, что особенность времени заключена в «смертельной схватке», «в столкновении великой религиозной истины с великой религиозной ложью»[226], провозгласил: чтобы спастись, чтобы вступить в царство Духа, в Третий Завет, надо познать Христа, образ которого церковь истолковывает формально. И черты Христа, и образ Святой Троицы он увидел в языческих культах — и там искал истины христианства. Это возмутило Шмелева. «Уж сейчас говорит — или намекает — у Иудеев — Бог-Отец, у христиан — Бог-Сын… у — ? — М<ережковско>го? Дух Святый! Куда метит-то!..»[227], — иронизировал он в письме к Ильину. Еще в 1916 году Бердяев обращал внимание на претенциозность Мережковского: «Многое в нем оставляет такое впечатление, что вот-вот он примет причастие из собственных рук»[228] — и отмечал нежелание Мережковского познавать, писал о бедности и схематизме его философской и религиозной мысли: «Философскими понятиями, философскими терминами он принужден пользо-

[226] *Мережковский Д.* Тайна Трех. М., 1999. С. 6.

[227] Письмо от 21.11.1932 // Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 349.

[228] *Бердяев Н.* Новое христианство // Мережковский: pro et contra. М.:Изд-во Русского Христианского гуманитарного института. СПб., 2001. С. 344.

ваться, но совершенно безответственно»[229]. Об оторванности Мережковского от почвы, в целом от реальности размышлял Бальмонт: «Мережковский — книгочей, письменный человек. Мало кто из современных художников не книгочей. Это свойство нашей эпохи, само по себе не хорошее и не плохое, в зависимости от других сопутствующих черт художника»[230]. Бальмонт же писал Шмелеву 27 декабря 1927 года о том, что не переносит Мережковского: эти «мертвые лошадиные челюсти из конюшни, именуемой схоластика»[231]… Но еще более Бальмонт не выносил З.Н. Гиппиус — причудницу большого света, как сказал бы Пушкин. Бальмонт сказал — «Зинку Мазаную». Он писал Шмелеву: «Вся — *из злобы, подковыки, мыслительного кумовства, местничества, нечисть дьявольская*, дрянь бесполая. У меня к ним такое же отвращение, как к скопцам»[232]. Не терпел ее и Ильин. В.Н. Бунина записала по этому поводу: «Гиппиус он ненавидит страстно. Растлители. В этом они со Шмелевым сойдутся крепко»[233]. Действительно, сошлись. Шмелев не признавал богоискательства Мережковского и Гиппиус, подозревал ее в редакционных интригах против себя. Возможно, потому если уж писал к ней, то подчеркнуто изысканным языком. Он не письмо писал, а словесный этюд создавал. Например: «Сегодня, в понедельник, мы бродили одни в лесах, пили мэдок на повалившемся дереве, слушали унылое посвистывание синиц, захаживали в пустынные шале, где бывало, — у Мопассана и Жида, — Колетты и Виолетты с месье Полем или Анатолем “забывали все в мире” за паштетом, рагу из кролика, бисквитами под шаб-

---

[229] *Бердяев Н.* Новое христианство. С. 334.

[230] *Бальмонт К.* Золотая птица // *Бальмонт К.* Автобиографическая проза. С. 345.

[231] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 104.

[232] *Там же.*

[233] Устами Буниных. Т. 2. С. 169.

ли...»[234] и т.п. Она любезно отмечала эту «изумительную легкость письма»[235]. Презрительно, если не брезгливо, Шмелев относился к А. Белому, и все потому же — безответственный «всего-искатель». Даже в 1934 году, после смерти Белого, Шмелев писал о нем: «Бормотун-шаман и искренний, до слез, пакостничек, “всего-искатель”, чистейший выродок-выкидыш интеллигентщины, порождение развратницы-аристократки и полусумасшедшего математика, м.б. очень тонкого-чудака-математика. <...> Но этот выкидыш, с цыплячьим пухом на кочерыжке, зло и верно изобразил многих представителей плесени подлой нашей! И Мережковских...»[236]. В СССР вышли воспоминания Белого «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933). Их Шмелев и имел в виду, но после смерти Белого, в 1935 и 1937 году вышла третья часть — «Начало века», а там Белый излил сарказм на Ильина, обозвав его патриотизм и монархические взгляды черносотенством. Бедный Белый. Какую острую неприязнь он вызывал не только у Шмелева, но, еще до революции, у Ильина! Впрочем, взаимно: «...молодой, одержимый, бледный, как скелет, Иван Александрович Ильин, гегельянец, впоследствии воинственный черносотенец, — возненавидел меня с первой встречи: ни за что, ни про что; бывают такие вполне инстинктивные антипатии; Ильина при виде меня передергивало; сардоническая улыбка змеилась на тонких и мертвых устах его; с нарочитою, исступленною сухостью, бегая глазками мимо меня, он мне кланялся; наше знакомство определялось отнюдь не словами, а тем, как молчали мы, исподлобья метая взгляды друг в друга»[237].

[234] Письмо от 15.10.1923: Иван Шмелев: отражения в зеркале писем. Из французского архива писателя. С. 123.

[235] Письмо З. Гиппиус И. Шмелеву от 28.10.1923 / *Там же*. С. 127.

[236] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 482.

[237] *Белый А*. Между двух революций. М., 1990. С. 279.

И в 1920-х, и в 1930-х Шмелев зло писал о ложных представлениях выразителей интеллигентщины о России: она для них бутафорская, страна купчин, пуховых перин, кваса, и пошло это от «грязно-чахоточного бельишка Белинско-Доброл-Писаре-Черныш<евского> <...>, от их прокуренных туберкулезных душонок-легких, от всей их злой и злобствующей чахлости-дохлости... Ото всех этих "социалистов" с чесноком...»[238]. Парадокс, но спорившие с Белинским, Добролюбовым, Писаревым, Чернышевским символисты и философы Серебряного века оказались, по Шмелеву, продолжателями их общественных позиций, их отношения к национальным и религиозным устоям.

После критики «О сопротивлении злу силою» Бердяев стал для Ильина и Шмелева человеком умствующим, надмирным, не понимающим задач эмиграции. И это притом, что Бердяев сам был крайне ироничен по отношению к «умственной элите», которую называл «навозом»[239]. Но разногласия начались и до появления книги Ильина.

Философская мысль в эмиграции развивалась в контексте ожесточенной полемики. В конце 1922 года по инициативе П. Струве в Берлине, на квартире Бердяевых, состоялось совещание высланных из России философов. Обсуждалось состояние Белого движения. Были там, помимо Струве и Бердяева, С. Франк, И. Ильин, А. Изгоев, единомышленники Струве В. Шульгин, Г. Ландау, И. Биккерман. Бердяев резко упрекал сторонников Белого движения в безбожии, материализме, недооценке духовных источников большевизма. Он высказался против насильственной борьбы с большевизмом, выразив свою надежду на медленный путь религиозного покаяния русского народа. Естественно, Ильин отстаивал путь насильствен-

---

[238] Письмо от 11.05.1935 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 64.

[239] *Бердяева Л.* Профессия: жена философа. М., 2002. С. 173.

ного сопротивления большевизму и всецело поддерживал Белое движение. Иные, чем у Бердяева, были и позиции Струве, который считал себя западником и националистом, видел причины революции в извращенном воспитании интеллигенции, в деморализующей народ проповеди интеллигентских идей, в войне, в консерватизме и неразумности самодержавной власти. Задачами эмиграции он считал воспитание масс в национальном духе и не исключал эволюционного пути России.

Близость взглядов Ильина и Струве, с одной стороны, и разногласия с Бердяевым — с другой, привели Ильина и Шмелева к союзу со Струве и к антагонизму с Бердяевым. Все это повлияло на судьбу произведений Шмелева и отразилось на идеологических битвах журналов, газет и издательств.

Разлад был воспринят Бердяевым как «чуть ли не скандал»[240]. Позже, в 1927 году, в разделе «Дневник политика» газеты «Россия» был помещен резкий отклик Струве[241] на статью Бердяева «Вопль русской церкви», опубликованную в «Последних новостях» 13 ноября 1927 года. В газете «Россия и славянство», выходившей при участии Струве, 2 февраля 1929 года появилась статья без подписи «О Бердяеве и "бердяевщине"» — как реакция на статью Бердяева «Обскурантизм», появившуюся в 1928 году в «Пути» — журнале, который редактировал сам Бердяев. Примечательным было и столкновение Бердяева с Карташевым, духовно близким Шмелеву. В воспоминаниях Л. Бердяевой приводятся слова Бердяева: «Затем история с Карташевым, кот<орый> в одном публичном собрании в Париже заявил, что все мы, высланные из России, *не высланы, а подосланы* с целью разложения эмиграции»[242].

[240] *Бердяева Л.* Профессия: жена философа. С. 173.

[241] *Струве П.Б.* Церковность и политика? (О «бердяевщине») // Россия. 1927. 17 сент. № 4.

[242] *Бердяева Л.* Профессия: жена философа. С. 173.

В Бердяеве видели кого-то вроде соглашателя. Для Мережковского Бердяев и вовсе был чуть ли не большевиком.

Не меньшие разногласия вызывали вопросы религиозного содержания. Например, в «Возрождении» шла критика теософического характера христианства в интерпретации Бердяева. Ильин гневался по поводу непродуманной мысли о Боге, «канкана с подложной Софией»[243] у последователей В. Соловьева, он был возмущен тем, что у П. Флоренского, Л. Карсавина, С. Булгакова София стала предметом философии. В любомудрии философов-эмигрантов он видел лишь самолюбование и «блуд салонный»[244], называл этот «блуд» бердяевщиной, карсавинщиной, степуновщиной. Слова «набердявили», «бердявят» частые в переписке Шмелева и Ильина. Но заметим, что Бердяев, левый, относился «довольно равнодушно» к оценкам, данным писателями не левого лагеря[245].

Прозаики, писавшие на темы, возводимые философами в абсолюты, естественно, следили за этими битвами и либо принимали ту или иную сторону, либо принципиально отстранялись от тех и других. Для Шмелева истина была в работах Ильина, он принимал его позиции — правые, охранительные. Зайцев же, напротив, с сочувствием относился к философским исканиям Бердяева и в рецензии на книгу Бердяева «Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли» (1926) писал: «Консервативно-охранительное вообще чуждо Бердяеву. Напрасно его считают “правым”. Это неверно. Бердяев потому уже не может охранять, что он слишком для этого трепетен и нервен, в нем есть напор, устремление, он гораздо больше и охотнее глядит вперед, чем назад. Консервативны “созерцательные люди”. Бердяев не созерцательный, а динамичный. При этом он не очень любит быт,

---

[243] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 35.

[244] *Там же.*

[245] *Бердяева Л.* Профессия: жена философа. С. 146.

склад <…>, недостаточно любит и замечает живое, плотское, а также и природу, он погружен в идеи, а в идеях тоже прельщает его не неподвижное, а устремляющееся»[246]. А Ремизов в повести «Учитель музыки: Каторжная идиллия» (1949) вывел Бердяева в образе философа Быкова, назвав его философию мистическим бродяжничеством. Когда он принялся писать в той же повести непосредственно о Бердяеве, то изобразил и философские группки — они то распадались, то возникали, в непосредственном восприятии Ремизова принимая скорее черты суеты, чем решающего судьбу мира союза: «Бердяев при зарождении русского марксизма шел в паре со Струве — "Струве-Бердяев", потом с "Вех" с Булгаковым — "Бердяев-Булгаков", а тут в Париже вошло в поговорку: "Шестов-Бердяев". И оба они очень хорошие сердечные люди и друг с другом большие приятели, а какая противоположность: пойдешь за Шестовым, не поспеешь к Бердяеву, погонишься за Бердяевым, упустишь Шестова»[247]. Действительно, предисловие к первой книге Бердяева было написано П.Б. Струве — одним из лидеров марксистского движения в конце 1890-х годах, позже от марксизма Струве пришел к идеализму, как и Бердяев, в 1909 году Бердяев стал участником «Вех», объединивших философов, а среди них и Струве, и Булгакова, и Гершензона, против революционной интеллигенции. П. Паскаль, участник бердяевских «воскресений», вспоминал: «Верхом наслаждения для большинства слушателей была дуэль Бердяев — Шестов»[248].

За сменой знамен и лозунгов философов писатели наблюдали как бы из партера, но их реакция на битву титанов порой была довольно ироничной. Во всяком случае, у Шмелева.

[246] *Зайцев Б.* Константин Леонтьев // *Зайцев Б.* Собр. соч. Т. 9. С. 94.

[247] *Ремизов А.* Учитель музыки: Каторжная идиллия // *Ремизов А.М.* Собр. соч. Т. 9. С 299—300.

[248] Цит. по: *Бердяев Н.*, *Шестов Л.* Переписка и воспоминания / Публикация Н. Барановой-Шестовой // Континент. Париж, 1981. № 30. С. 308.

Об иллюзиях интеллигенции он написал не один рассказ. Например, посвященную Ильину «Прогулку» (1927). В ней описаны собирающиеся по пятницам философствующие интеллигенты, которые в революционную пору отказались от сопротивления злу силою: «Отвергая принципиально борьбу насилием, непоколебимо веря, что истина победит сама, они стали терпеть и ждать». В «Прогулке» явно посрамлялась «бердяевщина». Ирония Шмелева перерастала в сарказм, и его рассказы начинали походить на памфлеты. Был в рассказе Укропов, работающий над трудом «Категории Бесконечного: Добро и Зло»; был там мечтающий уехать за границу знаток Кватроченто и Чинквеченто Лишин — он бродил по церквам, крестился и отдавался на волю Бога: «Как Господь!..»; был легко опрощавшийся и утирающий лицо кудрями Вадя; был Поппер, для которого чекисты суть «призрачность самой жизни, когда грани реального как бы стерты», а «разгул меча» обращает «к вечности» В «Блаженных» (1926) Шмелев показал такое же надмирное существование интеллигенции после революции — бывшего педагога, анархиста и земского деятеля, и бывшей барыни, когда-то социал-демократки. Теперь они так же страстно открывали для себя Бога, как раньше верили в анархизм и социализм, но при этом принимали революционные перемены, видели их духовным оком.

Конечно, шмелевский сарказм раздражал. Хорошим тоном стало хулить Шмелева. Тэффи писала Буниной: «Да, знаете, в Шмелеве я разочаровалась. Читала его рассказ "Два Ивана". Это обнаженная схема всего его творчества последних лет. "Часть первая: сами жрут, а нам не дают. Часть вторая: впрочем, им и самим жрать нечего". Ску-у-ушно!»[249] В том, о чем писал Шмелев, действительно, веселья не было. Не было и философического умствования, изящной художе-

[249] Диаспора. I. Новые материалы. Париж; СПб., 2001. С. 371.

ственности. В «Двух Иванах» (1924) мечтатель с «народнической закваской» осел в Крыму, учительствовал, женился, революцию принял как благовест, как Пасху, работал во благо советской России, писал доклады и инструкции — и все же, испытав лишения, понял: «Страшная жизнь пошла...» Причем, ругая левых за политические иллюзии, Шмелев был критичен и к своей ранней романтичности, и его профессор из рассказа «На пеньках» (1924) говорит: «Когда-то и я шумел, покуда не натолкнулся, не “ушибся об самого себя”, покуда не потерял все, все, покуда не пробудился, чтобы понять самое простое...».

С 4 по 11 апреля 1926 года в Париже прошел Зарубежный съезд, а его следствием стал еще больший раскол интеллигенции на два лагеря — Патриотический и Центральный.

Сам порой впадавший в отчаяние, Шмелев писал о спасительной для интеллигента силе мысли. Мысль, воля, вера — вот что нужно эмигранту. В рассказе «Въезд в Париж» (1925) он показал бывшего студента, бывшего полковника, ныне бродягу, который с сорока франками в кармане «вступил в Париж без узелка, походно, во всем, что на себе осталось», и ему, все видевшему, «теперь ничего не страшно». Шмелев полгода жил у океана, но в миниатюре «Океан» (1925) создал зловещий образ океана, символ «пустоты, бескрайности мертвого бытия» — ему враждебна мысль, но «оцепеневшая мысль проснулась и вскрыла бившееся во мне, живое». Шмелев всегда опасался бездумности, мыслительного оцепенения. Позже, в 1933 году, он Ильину написал: «Сидел, гром слушал водяной, и жизнь свою разбирал... — и потом вроде как петушком прошелся, в мыслях, перед океаном-то! Он шумит себе, а я храбрюсь. И сказал ему, глупому: “Ты — океан, а я — Иван, но жребий нам обоим дан. Тебе — греметь, а мне — скорбеть..? Но я могу порой и петь, Могу тебя до недр объять, и мертвый голос твой понять. А ты?

Твой жребий, твой удел?.. Лишь вечный грохот мертвых дел, Прилив, отлив — твой вечный ход, Игра пустая мертвых вод". И убежал я от него, от маятника вселенского, мне чужого»[250].

В Крыму мысль заставляла Шмелева сопротивляться смерти, напоминала: ты не мясо. Мысль в Европе говорила ему: ты, может, и тростник, но мыслящий. В рассказе «На пеньках» Шмелев обратился к теме человека — мыслящего тростника. Его герой, Феогност Александрович Мельшаев, профессор, член-корреспондент двух европейских Академий, автор ученых трудов, член Общества изучения памятников культуры, историк философии, до революции читал лекции в Институте археологии и Университете, производил раскопки умерших цивилизаций. После революции прошло шесть лет, и он сам стал экспонатом погибающей цивилизации, «некой эманацией», от него воняет супом из воблиных глазков, прокислой бараниной, он читает лекции в дырявых шерстяных чулках покойной жены и рваных калошах, на нем зеленые штаны-диагональ, которые он выменял у околоточного, его чесучовый пиджак стирали последний раз в июле семнадцатого, грязь с рук он соскабливает стеклышком. Голод унижает — и ему трудно противостоять инстинктам, и ему так хочется нашарить в мешке баранью лопатку и грызть ее, и грызть… нет, сосать… выпали передние зубы, и он будет сосать эту лопатку! Профессора уплотнили, и в его квартире жили новые: повар из столовки, «куцие девки» в кепках и с портфелями, к ним ходили восточные люди, и в квартире стоял визг. Сын дворника, советский начальник, производил у профессора обыск. Профессор понял, что он в теперешнем своем состоянии — пустышка, nihil.

Прошлая жизнь все еще пробивала его сознание своими образами — Греции, молодого вина, пожелтевшего мрамора

[250] Диаспора. I. Новые материалы. С. 404.

и почерневшей бронзы, купленных у пьяного грека древних костяных дощечек, девушек, и в каждой виделась Сафо. Душу его укрепляли стоики и Диоген. В трех верстах от обычного железнодорожного полустанка, у болота, на вырубке, на пеньках, он вдруг пережил острое возмущение против себя нынешнего: «Хоть и “тростник” я, но мыслящий!». И через год он уже сидел на берегу Атлантического океана: «Я нашел в себе уснувшую силу сопротивления, воли, сметки и ненависти».

Символический смысл придан в рассказе византийскому тысячелетнему костяному триптиху, которым когда-то владел Феогност Александрович. «Это было творение глубочайшей мысли», триптих Веры, Рождества, Воскресения. В нем была выражена идея неумирающего искания духа. На левой створе изображены волхвы с жезлами магов, «Бог в небесах держит Звезду в Деснице», на главном створе изображено снятие со Креста, жезлы уронены, «в небе не видно Бога», на правом створе — Великое Воскресенье, волхвы воздали руки с жезлами, в лучах звезды изображены три ипостаси Божьи. Придут волхвы! Примечательно, что Ильин в январском письме 1930 года поставил этот рассказ рядом с «Солнцем мертвых». Но Ильин услышал в нем тему, Шмелевым не выраженную явно, для Шмелева сугубо интимную: «...иск Творцу — разве человек виноват, что где-то есть» сын дворника, которому теперь все можно[251] . Профессор, по Ильину, «Божие бремя несет, на Голгофу со-путствует»[252] . Итак, Божья помощь, с одной стороны, и иск Богу — с другой... Шмелев был рад такой оценке и такому пониманию рассказа. Он признавался, что сам недоумевал, как написал «На пеньках»: просто «вывалилось», «страшно тяжело мне»[253] .

[251] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 163.

[252] *Там же*.

[253] *Там же*. С. 164—165.

Он получил восторженное письмо от Т. Манна, которого особенно привлекли в рассказе маленькие волхвы, раскрывающие дали. Манн потрясен его страданиями, его «тоской об ушедшем мире»[254].

Сохраняя в своей жизни московские привычки, Шмелев не стремился к восприятию западного образа жизни. Он жил в Европе, внутренне противостоя ей и соглашаясь с О. Шпенглером, автором «Заката Европы»: европейская цивилизация обречена. В российских катаклизмах он винил не только большевиков, не только интеллигенцию, но и Европу. По сути, европейскую интеллигенцию. Как евразийцы считали, что революция — итог европеизации России со времен Петра, так Шмелев был уверен в том, что все, случившееся с Россией, — результат европейской мысли и европейской, демократической, культуры. Когда же революция ввергла страну в голод, смуту, репрессии, Европа, — возмущался он, — проявляет равнодушие. Да, она бьет набат по поводу Сакко и Ванцетти, но она не видит трагедии русских!

В рассказе «На пеньках» говорится о том, что в Европе то же ощущение тления, что и в революционной России. Рассказчик в европейской толпе чувствует «тяжкий дух конюшни, стойла, едкий угар бензина, пота человечьего, цилиндры-будки эти, ноги там топчутся, и шляпы в ямках...»; европейский уклад — это «как в стаде», когда «все одинаково». В Европе тот же воблин дух, что и в большевистской России. В то время как в ученом собрании идет обсуждение экспедиции в Месопотамию, раскопок погибших цивилизаций, рассказчик думает о цивилизации погибающей и представляет себе знаменитого и благополучного египтолога в жениной кофте и штанах из парусины, с мешком, в котором египтолог несет макрель — академический паек; он воображает, как

[254] Письмо от 13.03.1932 // «Мосты». 1962. № 9. С. 333.

профессор Дуайон топит печь в разбитом госпитале, как знаменитого Бертело ведут по Елисейским Полям два апаша с винтовками. И все потому, что «человеческое дерево упало».

Скепсис по отношению к европейскому миропорядку характеризует русского эмигранта первой «волны», будь он почвенник или западник. Шмелев не одинок в своем отторжении европейской культуры. Так, прожив всего месяц в Ревеле, Бальмонт испытал разочарование в Европе: «Я узнал там, что Европа наших дней — не та свободная благочестивая Европа, которую я знал целую, достаточно долгую, жизнь, а исполненная духа вражды, подозрений, перегородок, преград, равнодушная, бездушная пустыня, без духовной жизни, без вольного гения...»[255] Европеец В. Ходасевич, поэт-неоклассицист, в Европе начал писать сюрреалистические стихи, в них картины Европы аномальны, в духе Босха или Дали; в его «Европейской ночи» (1922—1927) Европа — мир изуродованный, человеку в нем скверно: «Уродики, уродища, уроды», «Все высвистано, прособачено», «Вдруг с отвращеньем узнаю / Отрубленную, неживую, / Ночную голову мою». Еще один европеец, недруг Шмелева, Г. Иванов, переживал в Европе состояние упадка: «Слышишь, как растет трава, / Как джаз-банд гремит в Париже — / И мутнеющая голова / Опускается все ниже. <...> Так и надо — навсегда уснуть, / Больше ничего не надо». Мережковский предрекал Европе трагическую судьбу Атлантиды, но гибель придет не через потоп, а через огонь. Иванов, Ходасевич, Мережковский Шмелеву отнюдь не близкие люди, но закат Европы, гримасы Европы — их общая тема.

Ощущение конца Европы долго не покидало Шмелева. И в начале 1920-х годов, и в 1929-м ему виделся этот конец. Европа представлялась ему кладбищем, и возродиться ей суждено через страдания, смерть, потоп, наконец. Ильину он

---

[255] *Бальмонт К.* Автобиографическая проза. С. 325.

написал 6 ноября 1929 года о страшном будущем Европы, и — странно — эти предсказания так похожи на пророчества нелюбимого Мережковского: «Все звери с цепей сорвутся. Европе *нужен* потоп-огонь. И он будет. И должно потом прийти очищение. Сны мои, что ли, (иногда дрожь во мне, до чего я чувствую ярко “потоп” грядущий!), с тоски ли это, или от боли за наше испепеленное... — не знаю: я верю так легко, что не пройдет и четверти века, как от европ<ейской> “культуры” и подметок не останется. Эта “культура” явственно и нагло льет в себя самое *яд* губящий. Идет полное расслабление и испарение силы духовной, и дикарь уже тянется (белый пока), чтобы уступить желтому — или совокупиться с ним»[256].

Он писал это в благополучной Европе, спасаясь от чудовищной русской судьбы, окруженный доброжелательными французами. Конечно, европейский мир томил его и своей печалью, и своей энергией. Но вероятнее всего, в стабильном и в целом безмятежном бытии Европы он чуял надвигающуюся войну.

После смерти Шмелева А. Карташев написал статью «Певец Святой Руси (Памяти И.С. Шмелева)» (1950). В ней он утверждал: Шмелев в религии — «сама благополучная простота», он прошел мимо предъявляемых Церкви вопросов «религиозно-философствующих трагиков», «он знал только простую, цельную, единую и неделимую, традиционную бытовую русскую православную церковность. Церковность уставную, *статическую* и — Боже сохрани! — *не динамическую*»[257]. В такой приверженности Шмелева традиционной Церкви Карташев даже увидел старообрядческую психологию.

---

[256] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 157.

[257] *Карташев А.* Певец Святой Руси (Памяти И.С. Шмелева) // Центральный Пушкинский комитет в Париже (1935—1937): В 2 т. М., 2000. Т. 2. С. 448.

В эмиграции Шмелев преодолел свою еще в юношестве проявившуюся отстраненность от Церкви. Он верил в Бога, правда, иногда испытывая сомнения и муки богооставленности. И если Бунин верил «в бессмертие сознания, но не своего я»[258] (это запись Веры Николаевны после ее с ним разговора о загробной жизни), то Шмелев все-таки доверял и доверялся ортодоксальным истинам. Он никогда не претендовал на абсолютные знания о божественности мира и в минуту откровения признался, что в своих произведениях «лишь кусочками строил своего Бога, — и мозаичен Он, и не ясен до чистоты»[259].

С годами он все более искал в Церкви утешение и успокоение, что, однако, не исключало и критицизма. И направлен он был на церковную интеллигенцию. В «Душе Родины», например, Шмелев писал: от Церкви уходил Дух Живой, она ослабела, она «правила оболочку, а не душу», не оплодотворяла душу, оказавшись порабощенной властью, — и случилась революция... да, на Церкви лежит вина перед народом, который не получил от нее духовной помощи и прельстился революцией, метнулся к аду...

Шмелев доверял далеко не каждому священнику, в иных видел просто карьеристов. В Церкви он никогда не принимал лоска, разбитые сапоги сельского простака-батюшки были ему милей лакированых ботинок отца Георгия (Спасского). Отец Георгий был не только знающим человеком, но и светским. Митрополит Евлогий отзывался о нем как об одаренном, литературно образованном, «довольно светском» «типе священника нового склада»[260]. У Шмелева сложилось настороженное отношение и к Евлогию, у Ильина — попросту пренебрежительное, и все потому что митрополит высказы-

---

[258] Устами Буниных. Т. 2. С. 108.

[259] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 34.

[260] Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. М., 1994. С. 380.

вал идеи невмешательства Церкви в политику. Нет, говорил Шмелев, против зла должен быть направлен меч, осиянный крестом, Церковь должна занять открытую антибольшевистскую, антисоветскую позицию. Например, Евлогий в 1927 году в письме к митрополиту Сергию (Страгородскому) писал, что его забота — только исключительно религиозно-нравственное воспитание паствы, и в том же году митрополит Сергий опубликовал «Послание к пастырям и пастве», призвав верующих к лояльности по отношению к Советской власти; с 1934 года Сергий станет митрополитом Московским и Коломенским, с 1943-го — патриархом Московским и всея Руси. И эту точку зрения Евлогия разделили Бердяев, Франк, Булгаков. В 1930 году Ильин уверял Шмелева, что каждый его рассказ — молитва, которая и Евлогию не снилась. В своей неприязни к митрополиту Ильин был постоянен, он и в 1945 году писал Шмелеву о своем презрении к Евлогию, браня его и отца Василия (Зеньковского) «масонами проклятыми»[261]. Если Шмелеву снился сон про Евлогия, он, не ожидая ничего хорошего, задавался вопросом: к чему бы? Или иронизировал: к юбилею с кулебякой. Принципиальность Шмелева можно объяснить рядом причин, в том числе и тем, что он знал о репрессиях Советской власти против священнослужителей, например заявлял о том, что в СССР пытаются сгноить и разложить Церковь.

У него есть рассказ «Свет Разума» (1926), в котором как раз речь шла о том, что местного батюшку «бесы в Ялту стащили». Однако после ареста батюшки ясный и смешливый дьякон ревностно исполнял церковную службу и проповедовал: «И свет во тьме светит, и тьма его не объя!», укреплял веру в Свет Разума, справлял Рождество. Шмелев указал на врагов Церкви: бес-каратель и отрицающий видимую церковь интеллигент — новый христианин, которого дьякон

[261] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 365.

уличает не только в ереси, но и в политической недальновидности, поскольку в революцию «интеллигентики, высуня язык, бегали, уж так-то рады, что светопреставление началось...». Собственно, в рассказе и происходит посрамление «мудрецов» Светом Разума. Рассказ вышел в свет в «Современных записках» в православное Рождество, 7 января, и был хорошо встречен.

Шмелев в философских тонкостях не разбирался. Но знал, что в основе философии русского возрождения должна быть идея Бога, что без Бога невозможно творить философию русского бытия, невозможно дать поколению новые идеалы. Размышляя о революции, об эмигрантском исходе, русском Апокалипсисе, он пришел к мысли о необходимости создания катехизиса. Ильину он, автор «Солнца мертвых», писал о том, что у России должно быть и свое Евангелие. Заметим, что идея эта не так уж нова. Например, В. Хлебников еще в 1913 году в статье «О расширении пределов русской словесности» рассуждал о русской Библии, из которой пока существует лишь несколько глав: «Вадим», «Руслан и Людмила», «Боярин Орша», «Полтава». А В.В. Розанов в маленькой статье «О Лермонтове» (1916) утверждал, что поэт дал бы в русских тонах нечто вроде «Песни Песней», «Экклезиаста», «Книги Царств», что он уже начал выводить «золотое наше Евангельице», «Евангельице русской литературы», наконец, «Священную книгу России»[262].

Известен сарказм Бунина по отношению к вере старой интеллигенции в особую роль России, несущей миру свет: «Отсюда и все эти Блоки!»[263] Шмелев же в эмиграции лишь утвердился в мысли о том, что на России — блистание Божества. У русского народа, считал Шмелев, должна быть своя священная история; такой истории нет ни у кого, кроме

[262] *Розанов В.В.* Собр. соч.: О писательстве и писателях. С. 642, 643.
[263] *Бунин И.А.* Собр. соч. Т. 7. С. 397.

еврейского народа; два народа были даны миру, и один народ дал миру Христа, лишившись Его, другой должен Христа «пронести и воплотить»[264]. Послереволюционное десятилетие России — не Голгофа ли, и в сем акте не замешан ли «сок народа I-го, у которого была свящ. Ист<ория>?!»[265]. И С. Булгаков выделял эти два народы из всех иных: в России и Израиле он видел «средоточие всего совершающегося в мире, к ним более всего влечет уразумление пророчества. Страшные и роковые судьбы обоих народов, каждая по-своему знаменует их исключительное значение и в жизни всего человечества, и именно теперь, больше, чем когда-либо, становятся они в центре мировой истории...»[266] Шмелев в осуществлении замысла полагался на Ильина, только на Ильина. Но Ильин сознавал свои малые для столь колоссальной задачи силы: он держался лишь за краешек Божией ризы, но держался всем существом своим...

---

[264] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 40.

[265] *Там же.*

[266] *Булгаков С.* Автобиографические заметки. Париж, 1991. С. 56.

IX. *Раскол в «Возрождении»* *Конфликт с С. Маковским* *Разрыв с «Возрождением»*

Душевное самочувствие Шмелева, его материальное существование зависело от отношений с ведущими газетами и журналами. Вольно или невольно он оказывался в центре общественных битв и подвергался крайне некорректным нападкам со стороны недоброжелателей.

В Париже, как писал Куприн, газеты читались с неимоверным рвением: «Хлеб, вино и газета составляют насущные потребности одинаковой важности. От министра до каменщика, до кондуктора из метро — каждый парижанин покупает утром “свою газету” <...> Газета обладает здесь страшной движущей силой»[267]. Это же относится и к русской среде. Русские газеты и журналы — духовный хлеб эмигранта. Они формировали общественное мнение и влияли на творческие судьбы писателей, которым приходилось либо принимать точку зрения редакции, либо бранить ее. Редактор мог быть доброжелательным помощником, мог быть диктатором, мог быть агрессивным критиком. Редактор — источник терзаний литераторов.

---

[267] *Куприн А.И.* Русские в Париже. С. 276.

Взглядам Шмелева отвечала умеренно-консервативная направленность «Возрождения». Он активно публиковался на страницах этой газеты и как прозаик, и как публицист. В «Возрождении» он стал своим человеком. Наступление нового, 1926 года он встречал в замечательном содружестве актива газеты. На ужине были близкие ему Иван Алексеевич Бунин и Николай Карлович Кульман. Угощал Абрам Осипович Гукасов (Гукасянц).

«Возрождение» и было создано нефтепромышленником и меценатом Гукасовым, выходцем из Азербайджана, образованным человеком, обучавшимся в Москве и Лейпциге. Возможно, в щедрости Гукасова сказались его политические амбиции. По его приглашению главным редактором стал историк, философ и публицист Петр Бернгардович Струве, который впоследствии писал: «Я руководствовался соображениями чисто политическими. Мне нечего было составлять себе литературную или политическую карьеру. Я не был ни безработен, ни заинтересован в оставлении научной работы <...>. С большим сожалением об упускаемой академической возможности, но вполне сознательно я решил посвятить свои силы, умение и опыт — созданию большого национального органа в русском Зарубежье»[268]. Прежде всего Струве привлек к сотрудничеству Бунина, вслед за ним в газету пришел Шмелев с циклом публицистических рассказов «Сидя на берегу». Он не давал газете политически острых, аналитиче-ских статей и этим, может быть, не вполне соответствовал ее политическим и полемическим задачам, но Струве писал Бунину: «Его вещи очень быстро печатаются, хотя они не принадлежат ни к злободневной, ни к занимательной литературе. Это доказывает, что мы очень дорожим его

[268] Гуверовский архив. Кор. 27, ф. 14. Цит. по: *Казнина О.А.* Начало газеты «Возрождение»: 1925—1927 // Литература русского Зарубежья. 1920—1940. Отв. ред. Ю.А. Азаров. М., 2004. С. 59.

сотрудничеством»[269]. Дали свое согласие печататься на страницах «Возрождения» А. Куприн, А. Амфитеатров, И. Лукаш, А. Яблоновский, Н. Тэффи и многие другие.

Газета соответствовала монархическим, охранительным настроениям эмиграции, выражала идеи Белого движения, пропагандировала общенациональную идею сильной и свободной России, религиозную мысль и была полемически настроена по отношению к либералам, республиканско-демократическому крылу эмиграции, в частности ее органу — газете Павла Николаевича Милюкова «Последние новости». Благодаря усилиям газеты и на основе ее программы 4 апреля 1926 года в Париже был созван Всемирный русский съезд зарубежья, собравший патриотические силы эмиграции.

Среди идеологов «Возрождения» были Ильин и политик, в прошлом представитель правого крыла нескольких Государственных Дум Василий Витальевич Шульгин. Ясны причины отказа сотрудничать с «Возрождением» Мережковского, который написал Струве 19 июня 1925 года: «Ваша воля к центру (“либерально-консервативному”) мне очень по душе. Весь вопрос в том, откуда идти к центру, слева или справа. Но и расхождение в этом не было бы “противопоказанием”, если бы не два имени в Вашей газете: Ильин и Шульгин. Вы, должно быть, не знаете, что Шульгин не очень давно, в газете Филиппова, написал обо мне такую гнусность (что я “основатель комсомола”!), что мне после этого невозможно сотрудничать рядом с ним. А Ильин типичный “крайний”, русский максималист. Его теория “теократического самодержавия” (“православный меч”) мне глубоко враждебна и кажется вредной, помогающей большевикам. Я ведь всю жизнь свою употребил, и не раскаиваюсь в этом, даже

[269] Из истории русской зарубежной литературы. Переписка И.А. Бунина и П.Б. Струве // Записки Русской Академической группы в США. 1968. Т. 2. С. 72—73.

после того, что случилось (а безмерную преступность того, что случилось, и нашу ответственность я сознаю так же, как и Вы), всю жизнь я употребил на то, чтобы доказать, что связь православия с самодержавием (царь — наместник Христа, папа — кесарь) нечестива. А Ильин, после страшного опыта, наивно и безответственно ("евразийски" невежественно и дико) опять утверждает эту связь»[270]. Был получен отказ и от Бердяева, который заподозрил небрежность в самом стиле приглашения: «Согласитесь, что характер приглашения не свидетельствует о слишком большом желании видеть меня в числе сотрудников. Совершенно ясно, что я по своему образу мыслей не подхожу для газеты и газета не подходит для меня. Вы это и подтвердили, пригласив меня за один день до выхода Вашей газеты официальным циркуляром. Но я нисколько бы не обиделся, если бы Вы меня совсем не пригласили. Это ведь вопрос идейный, а не личный. У меня с направлением "Возрождения" есть очень существенные идейные расхождения. Для Вас они должны быть вполне ясны, если Вы читали мою книгу "Новое средневековье". Разница между нами совсем не в том, что я будто бы проповедую аполитичность и пассивность. Я просто совсем не верю в реальность Вашей политики и Вашей активности и считаю ее вредной для духовного состояния русской эмиграции, поддерживающей в ней жизнь фантазмами и призраками, а косвенно вредной и для русских в России, которыми я особенно дорожу. Я хотел бы другого рода политики и другого рода активности, которые преодолеют большевизм на деле. Политически мне ближе других евразийцы, они более реальны и более пореволюционны, хотя религиозно-культурно я довольно радикально расхожусь с ними»[271]. Отметим,

---

[270] *Казнина О.А.* Начало газеты «Возрождение»: 1925—1927. С. 62—64. *В газете Филиппова* — «Русская газета» (Париж).

[271] Мосты. 1959. № 3. С. 385 // *Там же*. С. 64.

что «Возрождение» вело наступление на евразийство. Среди отказавшихся от приглашения Струве был и Дон-Аминадо (А.П. Шполянский) — он печатался в «Последних новостях».

Литературная тематика придавала «Возрождению» общекультурный характер. Среди ее разделов — «Поэзия», «Заметки писателя», «Хроника европейской литературы». На страницах газеты обсуждались вопросы о чистоте русского языка, о молодой поэзии, русской классике, современной русской философии, мемуаристике. Струве стремился привлечь к работе широкие круги интеллигенции и намеревался усилить позиции газеты в литературной жизни русского зарубежья.

Но мирное существование внутри редакции было довольно недолгим. Дело в том, что Гукасова, фактического владельца «Возрождения», далеко не во всем устраивали позиции главного редактора, он обвинил Струве в снобистском характере газеты, в ее высокомерном тоне и кружковщине, вмешивался в редакционную политику, не согласовывая публикацию или задержку тех или иных материалов с главным редактором. Сторонникам Струве пресекли доступ к советским газетам, лишив их тем самым ценного материала. Задерживались его собственные статьи. Правой рукой Гукасова в редакции стал Юлий Федорович Семенов, с 1924 года генеральный секретарь Русского национального комитета, с 1926 года председатель Русского зарубежного съезда в Париже. По инициативе Гукасова газета все более приобретала острое политическое содержание. Струве, опасаясь провокаций, пытался сдерживать политическую эскалацию. Наконец, Гукасов предложил Струве положение почетного сотрудника и высокое жалование. Он же 16 августа написал ему письмо, в котором отказывался от его сотрудничества в «Возрождении». 17 августа 1927 года Струве покинул газету. На следующий день в «Письме в редакцию» он объявил о своем отказе от поста главного редактора и разрыве с газетой. Пост главного редактора занял Семенов. Вслед за Струве разорвали отно-

шения с газетой Ильин, Бунин, Кирилл Иосифович Зайцев — впоследствии архимандрит Константин, профессор Кульман, Шульгин, Глеб Петрович Струве и другие — всего, как сообщили «Последние новости», двадцать три ведущих сотрудника. Шмелев остался. Причем без колебаний.

Раскол в «Возрождении» тяжело сказался на физическом состоянии Шмелева, 26 августа он пережил четырехчасовой приступ сердечной болезни, его мучило удушье; 9 сентября приступ повторился. В первых числах октября его скрутила невралгия: задыхающийся, он не в состоянии был спать, работать и, сидя в подушках, писал лишь неотложные деловые письма.

Шмелев искренне не понимал решительного ухода Ильина. Ильин же негодовал, полагая, что Струве не сам покинул газету, а Гукасов его выставил. Шмелев закрыл глаза на перемены в составе редакции и мотивировал свою позицию сверхзадачей газеты — она, как национальный орган, нужна читателям: нельзя так легко швыряться тем, что дорого! неловко перед читателями — лучшей частью эмиграции! нельзя жертвовать сущностью ради принципа, честолюбия, гордыни! ради, наконец, сочувствия Струве! В работах самого Струве его не устраивала «теоретизация» и «словесное извержение», он полагал его кандидатуру в принципе не подходящей на роль «ядра» и вообще не видел в нем той живой силы, которая была бы способна развить волевую идею. В то же время Шмелев ценил поступок Гукасова, отдавшего на создание и функционирование газеты миллион... Кроме того, по глубокому убеждению Шмелева, в результате оттока ведущих сил эмиграции «Возрождение» оказывается интеллектуально и творчески обескровленным, что на руку Милюкову. «Возрождение» было необходимо Шмелеву как орган влияния на молодую эмиграцию. Он уверял Ильина в том, что не материальные интересы — за двадцать семь месяцев работы на газету он в среднем зарабатывал 420 франков в

месяц, он получал один из самых престижных гонораров (фиксированные 1500 франков в месяц были у Бунина, но это исключительная ситуация) — побудили его остаться, а борьба за идею. Одну из своих самых ярких статей «Душа России» он опубликовал 27 ноября — уже в обновленном «Возрождении».

Отказ Ильина сотрудничать с «Возрождением» премного удручил Шмелева. Он был крайне огорчен и разрывом Бунина с «Возрождением». Узнав об уходе П.Б. Струве, Бунин отправил в редакцию письмо о своем нежелании сотрудничать с газетой. Этот поступок, как думал Шмелев, лишь воодушевит политических противников. Раскол в газете стал темой домашних бесед у Буниных, обсуждалось и письмо Шмелева Бунину — в нем он объяснял мотивы, по которым остался в газете: необходимо сохранить ее национальную направленность и поступиться личными счетами. По свидетельству Галины Кузнецовой, Вера Николаевна «очень возмущалась этим письмом, находя его лицемерным, горячась, бранила Шмелева»[272]. Сама же Кузнецова приняла точку зрения Шмелева: «Я понимаю все сложности, по которым ушел И.А., но ведь газета действительно остается без лучших сотрудников и погибнет, вероятно, как национальный орган»[273]. Такие же аргументы против ухода из газеты Бунину высказал и Амфитеатров.

Распространилась версия и о масонском факторе в расколе редакции. В авторском указателе к книге Н. Берберовой «Курсив мой» (1969) говорится о принадлежности большинства сотрудников «Возрождения» к правой масонской ложе, в то время как сотрудники враждебных «Последних новостей» принадлежали к левой масонской ложе. В прошлом белогвардеец, участник Ледяного похода, а в эмиграции писатель Р. Гуль в мемуарах «Я унес Россию: Апология эмиг-

---

[272] *Кузнецова Г.* Грасский дневник. М., 1995. С. 40.

[273] *Там же.*

рации» сообщал о сотрудничестве с «Возрождением» видного масона Л. Любимова. О влиянии масонства в «Возрождении» писал и Ильин в письме к Шмелеву от 22 августа 1927 года: «Вот главное. Вот уже полгода, как редакция Возрождения, в качестве общественно-литературной “высоты” — штурмуется русским зарубежным *масонством*. Ныне высота эта *взята* ими. Это не гипотеза, а результат моих лично проведенных расследований. Взята она на почве пакостной и лжи и интриги. По-видимому, масонский фартук надели и на Гукасова, большого честолюбца и человека-покупателя. <…> За масонство же Семенова ручаюсь совершенно»[274]. Возражая Шмелеву, пытавшемуся внушить Ильину мысль о необходимости национальной газеты, он писал: национальная газета, действительно, нужна, но нет надобности в «масонской симуляции националистической демагогии»[275]. В июне 1930-го он прислал Шмелеву письмо с эпиграммой на «Возрождение»:

Вот масонская тюрьма
Под надзором злого франта…
Малокровие ума,
Худосочие таланта… [276]

Шмелев поначалу в масонство «Возрождения» не верил и называл «масонскую» версию то манией, то позолоченной пилюлей для ушедших, не исключал и инсинуации врагов. Однако позже, в 1930-м, согласился с Ильиным.

Любопытно свидетельство 1992 года Игоря Чиннова, вступившего в масонскую ложу в 1948 году:

«Среди членов Учредительного собрания и Временного правительства масонов было очень много. Среди них —

[274] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 53.
[275] *Там же*. С. 54.
[276] *Там же*. С. 176.

известные люди, такие как Керенский, Милюков, Гучков и др. Многие потом оказались в Париже. Когда я в Париже вступил в масонский орден, я был на низких ступенях и потому не могу сказать, что происходило на собраниях масонов 18 градуса или 33 градуса.

В Париже существовала полурусская-полуфранцузская ложа, которая называлась ложа "Великого Востока". Она продолжает существовать и сейчас, и в ней представлены в основном бизнесмены. А французская ложа, в которой был и я, принадлежала к ложам "Великого Шотландского Устава". И там было много русских интеллектуалов, помимо бизнесменов. Были писатели, поэты. Большинство "парижских" поэтов состояло в этих ложах. Сергей Маковский, Георгий Адамович, Антонин Ладинский. И когда потом, при немцах, были обнародованы списки парижских и русских масонов, парижская общественность была поражена. Оказалось, что среди масонов — цвет русской интеллигенции. По этому признаку — принадлежности к "цвету русской интеллигенции" — потом набирали тех, кто должен был заменить выбывших по каким-то причинам людей»[277]. Среди вольных каменщиков Чиннов назвал также Михаила Осоргина, издавшего в 1937 году свой роман "Вольный каменщик", графа Дмитрия Александровича Шереметева, бывшего посла Временного правительства в Париже Василия Алексеевича Маклакова.

Вскоре после раскола под редакцией Струве начала издаваться новая парижская еженедельная газета «Россия» (1927—1928), куда перешли покинувшие «Возрождение» сотрудники. О «Возрождении» он писал Бунину 10 декабря 1927 года: «"Возрождение", конечно, превратилось в торговое заведение, то есть "парламент мнений", сиречь "сво-

---

[277] *Чиннов И.* О вольных каменщиках // Письма запрещенных людей. По материалам архива И.В. Чиннова. М., 2003. С. 64—65.

бодную трибуну". Это даже не смена вех, а нечто худшее»[278].

В «Возрождении» усилилась роль В. Ходасевича, который пришел в литературный отдел газеты еще в феврале 1927 года. Эстетические разногласия Шмелева и Ходасевича очевидны, но своей принадлежностью к редакции он во многом способствовали авторитету газеты. Осенью того же года в газете появился Мережковский, вслед за ним — Гиппиус, которая публиковала там статьи под псевдонимом «Антон Крайний». Позже, 26 октября 1928 года, Гиппиус в письме к Ходасевичу пожелала, чтобы «Возрождение» лопнуло. Ходасевич ответил ей 4 декабря 1928 года, и в его письме было искреннее недоумение: почему тысячи людей, читателей газеты, не сутенеров и не проституток, а живущих каторжным трудом, надо выдать под водительство «Последних новостей»?

Появление в газете Мережковского и Гиппиус не обрадовало Шмелева. 19 декабря 1927 года в письме Амфитеатрову он признался в том, что не ожидал их влияния в редакционной политике «Возрождения», однако если они будут полезны газете, он «готов тянуть»[279]. С другой стороны, по приглашению С. Маковского, заведующего литературно-художественным отделом с 1926 года, стал сотрудничать в газете духовно близкий Шмелеву Б. Зайцев, который так охарактеризовал реакцию общественности на свое согласие: «Евреи и Осоргин недовольны, правые — неструвисты приветствуют, струвисты будут ругать, в общем разноголосица...»[280]

---

[278] Из истории русской зарубежной литературы. Переписка И.А. Бунина и П.Б. Струве. С. 91.

[279] Письмо И.С. Шмелева А.В. Амфитеатрову от 19.12.1927 // Слово. 1992. № 11/12. С. 61.

[280] Письмо Б. Зайцева И. Бунину от 03.10.1927 // *Зайцев Б.* Письма. 1923—1971. С. 56.

Шмелев старался сохранить лояльность по отношению к обновленной газете, публиковал там и художественную прозу, и статьи. Однако его отношения с Маковским были крайне сложными и со временем переросли в ожесточенное противостояние. Поэт, искусствовед, критик, издатель-редактор знаменитого журнала «Аполлон», Маковский сформировался эстетически, да и этически, под влиянием культуры Серебряного века. Как вспоминал о нем Чиннов: «Сановный, осанистый, благожелательный — настоящее “превосходительство”. Самый породистый среди масонов — а там были такие именитые люди, как Шереметев, Вяземский. Но человек скорее не добрый, эгоистичный, черствый, бывал и сварлив. Но зато — обворожительная улыбка, изящество»[281].

Позиции Маковского в литературной критике были весомыми. Насколько он был объективен как ключевая фигура в редакции, судить трудно. Однако как не вспомнить о случившемся в «Аполлоне» осенью 1909 года анекдоте — об истории с Черубиной де Габриак: сначала отказал молодой поэтессе Елизавете Дмитриевой в публикации ее стихов, потом, став жертвой волошинского розыгрыша, заочно, по письмам, увлекся некой Черубиной и ее стихами, не подозревая мистификации; стихотворения покорившей его Черубины де Габриак, то есть отвергнутой им Дмитриевой, были высоко оценены и И. Анненским, и Вяч. Ивановым, и М. Кузминым. И в стихах Черубины, и в ее письмах редактору, и в самой мистификации М.Волошина пародировалось эстетство «Аполлона». Шмелеву Маковский был неприятен, он подозревал в нем страсть к менторству. В отношении Маковского к Шмелеву проявлялся явный снобизм.

22 декабря 1927 года в «Возрождении» была опубликована статья Шмелева «Русский Колокол», изрядно сокращенная — было изъято до тридцати строк — и исправленная без

[281] Письма запрещенных людей. По материалам архива И.В. Чиннова. С. 69.

ведома автора. Шмелев подозревал в таком небывалом вмешательстве в его текст либо Ходасевича, либо Маковского. Щепетильность ситуации заключалась в том, что статья была посвящена второму номеру журнала рассорившегося с «Возрождением» Ильина. Она была написана, как большинство публицистических работ Шмелева, страстно и с подтекстом, в котором продолжалась его полемика и с Бердяевым, и с социалистами. Он горячо поддерживал «Русский Колокол» и в усилиях Ильина видел путь к Новому Иерусалиму. Он как-то дал журнал Бальмонту и потом искренне радовался его восхищению. Статьи «Русского Колокола» казались ему настолько значительными, что свои собственные труды виделись ему ничтожными: так… лепет, беллетристика…

Возмущенный Шмелев поспешил в редакцию, стал объясняться с Семеновым и Гукасовым, которому даже заявил о своем намерении покинуть «Возрождение», если подобный случай повторится. Гукасов, как показалось Шмелеву, пришел в недоумение, искренним было и удивление Семенова. Однако вслед за этим инцидентом последовал другой: в течение месяца Маковский терял и держал его статью «Анри Барбюс и Российская Корона», в которой содержались отнюдь не парламентские по форме упреки выказывавшим свой интерес к Советам Г. Уэллсу, Р. Роллану и А. Барбюсу. Статья все-таки была напечатана 21 января 1928 года.

Маковский же не принял к публикации написанный в августе 1928 года рассказ Шмелева «Панорама», причем по невнятной причине: Шмелев передал Буниным слова Маковского о том, что печатать «Панораму», «давать такой мрак читателям»[282] ему не позволяет его редакторская совесть. Это был рассказ о репрессиях особистов среди крымских жителей. Панорама — название дачи, из окна которой от-

[282] Устами Буниных. Т. 2. С. 198.

крывались крымские пейзажи: море, кипарисы, белеющие дачки, виноградники. С приходом красных обитатели Панорамы были загнаны в жуткие условия: в доме жила корова, в комнаты распространялось зловоние, окно заколочено, исчезли коллекция редких фотографий и библиотека, был отобран паек. Шмелев ради изображения мерзостей крымского обитания ввел в повествование в целом не свойственные его манере натуралистические подробности. Произведение это было написано жестко. Одна из героинь, Лидия Аркадьевна, рассказывает хозяевам Панорамы, как экспроприаторы забирали бриллианты: малюток «Лидусю и Марочку стукали головками… требовали золота… папу били… мамочку, больную… сдернули с постели…». К тому же Шмелев показал не только жестокость красных и бессилие интеллигенции, но и моральное падение «бывших». В письме Ильину он так объяснял свою идею: «…я хватил по… интеллигенции, типа болтунов и прохвостов»[283]. Возможно, поэтому Маковский увидел в произведении не просто мрак, а мрак двусторонний, вернул текст Шмелеву и сказал, что после прочтения ничего не мог делать и вообще был как убитый. Однако «Панорама», вопреки сопротивлению Маковского, была опубликована в «Возрождении» 7 октября 1928 года.

О причинах недоброжелательного отношения Маковского к себе Шмелев не имел никаких убедительных предположений, но допускал (это видно из его писем к Ильину), что источник конфликта — в художественной манере его прозы: он не писал афонским или прованским маслом, не писал в стиле «Аполлона» или Ходасевича, он не был «фиолетчиком»… По-видимому, имелось в виду брюсовское: «Фиолетовые руки / На эмалевой стене / Полусонно чертят звуки / В звонкозвучной тишине» («Творчество», 1895); возможно, вспомнились северянинские фиоли или фиалы Бальмонта, или

[283] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 102.

фиолетовые грозы Волошина, его же лиловая душа февральской фиалки.

К концу года противостояние писателя и редактора достигло апогея. 17 ноября 1928 года Шмелев написал Амфитеатрову о невозможности компромисса и неизбежности выбора: «Возрождение» — либо национальная газета, со своей линией, либо «кормежная лавка для ловких скотов»[284], а тремя днями позже, 21 ноября, высказал Ильину свои соображения о том, что дух Маковского «гноит» газету[285]. Отношения к Маковскому он так и не изменит: позже, в 1933 году, он все еще полагал, что аура Маковского и «отвратительна», и «мрачно-омерзительна»[286]. В конце года на собрании Союза русских писателей и журналистов Шмелев, будучи вице-председателем, выступил против Маковского, обвинил его в нанесении обид писателям.

14 декабря 1928 года Шмелев дал бой Маковскому. Это произошло во время обеда для десяти персон, устроенного Гукасовым. В эмоционально беспристрастном «Камер-фурьерском журнале» Ходасевича содержится запись: «Обед "Возрожд<ения>" (Шмелев (!), Яблоновский, Куприн, Зайцев, Тэффи, Гукасов, Семенов, Ренников, Бобринский, Маковский)»[287]. Именно так — с восклицательным знаком. Исключительный факт для ровного тона «журнала». В том, что кульминационное объяснение неизбежно, Шмелев был уверен. Высказать открыто свое недовольство позицией Маковского, вступиться за себя и других, в частности за Амфитеатрова и Чирикова, Шмелев решил еще в ноябре, обед для актива «Возрождения» он посчитал удобным для этого случаем.

---

[284] Письмо И.С. Шмелева А.В. Амфитеатрову от 17.11.1928 // Слово. 1992. № 11/12. С. 64.

[285] Письмо И. Ильину от 21.11.1928 // Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 113.

[286] Письмо И. Ильину от 8.08.1933 // *Там же*. С. 401.

[287] *Ходасевич В.* Камер-фурьерский журнал. М., 2002. С. 133.

Нельзя сказать, что сорокаминутное выступление Шмелева о притеснениях писателей было воспринято так, как ему хотелось бы. Правда, Гукасов и Семенов признали некорректность редакции в отношениях с писателем, сочувственно восприняли его речь Куприн и один из ведущих сотрудников газеты Яблоновский.

Маковский передал Буниным свою версию: «Шмелев неистовствовал, кричал о кружковщине и неуважении к писательскому званию. Всем было неловко. Ни Тэффи, ни Зайцев, ни Яблоновский его не поддержали, только Куприн пробормотал что-то несвязное о “Куполе Св. Исакия”»[288]. Маковский был раздосадован еще и тем, что Шмелев своим выступлением открыл Гукасову «карты, о которых ему не нужно было знать»[289]. Ходасевич, ранее высказавшийся в пользу «Истории любовной» и намеревавшийся писать о ней статью, теперь заговорил о неудачном конце этого произведения. Зайцев в отношениях Шмелева с Маковским увидел лишь личный фактор и, по сути, высказался против Шмелева, чем крайне его удручил. Зайцев писал Бунину 25 декабря 1928 года о том, что в результате нажил в лице Шмелева врага, что Шмелев ему надоел. Очевидно, имелся в виду воинственный настрой обиженного писателя. После обеда оба обменялись письмами. Шмелев упрекал Зайцева в нежелании вступиться за товарищей, Зайцев сожалел о том, что говорил со Шмелевым «не спокойно, а в нервном тоне», и высказался о неправильной форме поведения Шмелева: чтобы редакция начала печатать материалы, за которые заступался Шмелев, в частности Лодыженского, Чирикова, Сургучева, Амфитеатрова, ее необходимо переубедить: «*В бою*, в тоне нападения и ультиматумов этого достичь нельзя»[290]. В пись-

---

[288] Устами Буниных. Т. 2. С. 189.

[289] *Там же.*

[290] *Там же.* С. 67—68.

ме Зайцев признал странным случай с «Панорамой», как признал неблагоприятной общую ситуацию в редакции: материально стеснили и его, и Мережковского, и Вейдле, и Муратова. Более того, рассуждая о двух путях разрешения отношений, то есть о революции в духе Струве или уступках, он не исключал для себя вероятности покинуть газету. Конфликт Шмелева и Зайцева коренился, по-видимому, в различии их темпераментов. Один — неистовый, другой — терпимый. Как писал о Зайцеве литературный критик А. Бахрах: «Он был глубоко религиозен, религиозен по-церковному, но был искренне терпим, и, как мне кажется, жила в нем религия сердца, скорее чем религия ума или чувства. <…> Литературные вкусы Зайцева были шире, чем у многих его сверстников»[291].

Наступление на Маковского желаемых результатов не принесло. Например, в 1929 году Маковский шесть недель продержал статью Шмелева о книге очерков героя Первой мировой войны, кавалера ордена Св. Георгия капитана К.С. Попова «Гг. Офицеры» (1929). Шмелев скандалил у Гукасова, но редакция все же посчитала статью тенденциозной и претенциозной. Шмелев передал ее в еженедельную газету «Россия и славянство». 8 июня в «России и славянстве» было напечатано письмо Шмелева, в котором он объявил о своем разрыве с «Возрождением»:

> Многоуважаемый г. Редактор,
>
> Благоволите напечатать следующее мое обращение к моим читателям и к русской зарубежной общественности:
>
> «За последние полтора года моей работы в газете “Возрождение” я не раз испытал от заведующего лит. частью г. Маковского ничем не объяснимое насилие и “строгую цензуру” над моими статьями, причем не всегда мог добиться дос-

[291] *Бахрах А.* Бунин в халате. По памяти, по записям. М., 2005. С. 384.

тойной поддержки от редакции и издательства. Продолжая во многом разделять национально-патриотическое направление газеты, я все же прекращаю свою работу в ней, чтобы оберечь свободу писателя от насилия, а писательское свое лицо — от искажения.

Прошу русские зарубежные издания не отказать мне в напечатании этого заявления».

С совершенным уважением к Вам.

Капбретон, Ланды
29 мая 1929.

Сотрудничество с «аполлончиками» и эстетами-богоискателями, как отзывался писатель о своем окружении в «Возрождении», закончилось. На следующий же день, 9 июня, откликнулся Бальмонт: «Очень огорчил нас Ваш малый вопль по поводу этой помойки, “Возрождения”, где Вы столько намучились»[292]. Разорвал все отношения с газетой и Амфитеатров, который писал Бунину 15 мая 1929 года: «В “Возрождении” меня нет потому, что я оттуда ушел. Следовало это сделать еще прошлою осенью, но тогда меня просили подождать Шмелев и Братство русской правды, и я напрасно послушался. Нельзя. Уж очень бесцеремонно распоясались Маковский, Ходасевич и прочие, “ультра-фиолетовые”, как звал эту публику покойный Арцыбашев. Дошло до форменной цензуры статей, выкрадывавшей мнения автора и подменявшей их своими собственными»[293].

Шмелев вернулся в «Возрождение» лишь в 1934 году — только после того, как оттуда ушел Маковский. Позже в предисловии к изданию мемуарного сборника «На Парнасе “Серебряного века”» (1962) Маковский назвал многих писате-

[292] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 111.
[293] Цит. по: *Казнина О.А.* Начало газеты «Возрождение»: 1925—1927. С. 90—91.

лей эмиграции продолжателями «русского дела»[294], верными национальному долгу людьми. Среди перечисленных — а это Бунин, Мережковский, Г. Иванов, Ходасевич и другие — оказался и Шмелева.

Благоприятно сложились отношения Шмелева с «Россией и славянством» — преемницей «России» Струве. «Россия» закрылась 10 марта 1928 года из-за отсутствия средств, и с 1 декабря, на деньги, полученные Струве от чешского правительства, начала выходить еженедельная газета «Россия и славянство». Кандидатура Струве на пост главного редактора любой газеты не могла удовлетворить З.Н. Гиппиус, и она старалась убедить сербского лингвиста профессора Александра Белича, принимавшего горячее участие в добывании денег на русские издания, предпочесть Струве кого-нибудь другого. В письме к Ходасевичу от 12 декабря 1928 года она сетовала: Белич не признает ничьих влияний… Ходасевич интриг Гиппиус не одобрял, и в более раннем письме, от 4 декабря того же года, советовал ей оставить Струве в покое и не испытывать удовлетворения от того, что его деятельность прервана, административно задавлена.

Писателю были близки усилия газеты по распространению национально-освободительных идей, объединению славянского мира и веры в сильную Россию. Отвечало настроениям Шмелева и негативное отношение газеты к религиозным воззрениям Бердяева, и критическая оценка распространенной в литературной и общественной жизни психологии лишнего человека, и ориентация на созидательные, волевые идеи классиков, Пушкина прежде всего, Достоевского как автора «Бесов» и «Дневника писателя», Лескова как выразителя почвы и христианской культуры. Высшим проявлением жизнеспособности, творческой силы газета полагала произведения Бунина и Шмелева. Особенно были оценены произ-

[294] *Маковский С.* Портреты современников. М., 2000. С. 257.

ведения Шмелева 1930-х годов: «Богомолье», «Лето Господне», «Родное». Критическим было восприятие творчества Алданова, с которым у Шмелева впоследствии отношения необычайно обострились; в «России и славянстве» сложилось мнение об Алданове как писателе, не укорененном в отечественной почве и выразителе скепсиса. Справедливости ради следует отметить, что в 1929 году газета все-таки приветствовала выход в свет романа Алданова «Ключ». Полемические отношения существовали между «Россией и славянством», прежде всего К. Зайцевым, и автором работ о немецких романтиках, о театре Ф. Степуном, который мировоззренчески был антитетичен Шмелеву: Степун в своих философских воззрениях опирался на романтизм, полагая его актуальным для русской ситуации, Шмелев же ввел в свой лексикон словечко «степуновщина», которое означало самолюбование и любомудрие.

X. *«Последние новости» против Шмелева Выпад Г. Иванова Г. Адамович о патриотической «соляночке» Шмелева и прочем*

Если отношения Шмелева и редакции «Возрождения» после раскола можно считать натянутыми и даже тяжелыми, что вполне объяснимо эстетическими пристрастиями Маковского и страстным восприятием конфликтных ситуаций Шмелевым, то отношения Шмелева и «Последних новостей» были враждебными, и причина была гораздо более существенной, она коренилась не только в эстетических разногласиях, но и в идеологии. Он полемизировал — и страстно! — с деятелями из Временного правительства, например с публицистом и историком, в прошлом одним из организаторов партии кадетов, министром иностранных дел Временного правительства Павлом Николаевичем Милюковым, с 1921 года главным редактором «Последних новостей». Оказавшись в эмиграции, Милюков был настроен против вооруженной борьбы с Советами, настаивал на отмежевании от монархических групп и реставраторских программ.

Газета стала органом Республиканско-демократического объединения, соответственно политическая программа редакции заключалась в следующем: демократическая республика, федерация, собственность крестьян на земли помещиков. Освобождение России от большевиков в «Последних

новостях» связывали не с деятельностью эмиграции, а с антибольшевистски настроенными группами в самой России. Как писал генерал А. Деникин, «“Последние новости” изъяли вовсе из своего лексикона понятие “национальный”, подменив его презрительным “националистический”. Как партия Милюкова, так и его газета огульно поносили русское прошлое, осуждали в целом Белое движение и, главное, относились с каким-то полупризнанием к Советской власти»[295]. На пражское выступление Милюкова 17 апреля 1924 года по национальному вопросу Шмелев ответил фельетоном в «Русской газете», Куприн иронически, порой пародийно писал в своих статьях о взглядах Милюкова на революцию, Шульгин в 1924 году обрушился с критикой на предложенный Милюковым план республиканской армии... Для них главный редактор «Последних новостей» — разрушитель.

Как леворадикальная газета, «Последние новости» вели полемику с «Возрождением» и, конечно, нападали на Шмелева. Но и после ухода Шмелева из «Возрождения» он и редакция «Последних новостей» остались антагонистами.

Ивана Сергеевича задевало то, что газета замалчивала о таких произведениях, как «Солнце мертвых» и «Про одну старуху» — будто и нет их. Его глубоко оскорбила и ранила статья поэта, до революции эгофутуриста и затем акмеиста, Георгия Иванова, появившаяся в «Последних новостях» 15 декабря 1927 года. В рецензии на тридцать третий номер «Современных записок» Иванов резко отозвался об опубликованной в них части «Истории любовной». Зло, разнузданно, в менторской манере Иванов писал:

> «История любовная» И.С. Шмелева продолжается. <...> Похоже на то, что редакция «Современных записок» думает заменить отсутствующего, за окончанием «Заговора», Ал-

[295] Цит. по: *Грей М.* Мой отец генерал Деникин. М., 2003. С. 258.

данова тройными порциями Шмелева. Вряд ли, однако, найдется у «Современных записок» хоть один читатель, который был бы такой заменой польщен. Шмелев, конечно, писатель «с заслугами». Нельзя не признать, что в его прежних, «довоенных» еще, произведениях, нашумевшем «Человеке из ресторана» хотя бы было «что-то», какая-то «свежесть» или подобие ее. В «Истории любовной» нет ничего, кроме беспокойного, «вертлявого» языка, стремящегося стенографически записывать «жизнь», и, как всякая механическая запись, — мертвого во всей своей «живости». Содержание — любовные переживания гимназиста — ничтожно. Впрочем, «отложим суждения до окончания романа», как говорят рецензенты[296].

Противопоставление Шмелеву Алданова, постоянного автора «Последних новостей», само по себе нелепо — столь различны их творческие манеры и видение мира. Болезненность удара усугублялась тем, что в том же номере Иванов выступил с хвалебной оценкой повести Бунина «Божье Древо». Что же… приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага…

Шмелев был растерян, он не понимал причин агрессивности Иванова. Он даже заподозрил в появлении этой статьи интригу Гиппиус. Он писал Ильину 17 декабря: «Что это? Сознательная, наглая ложь… Но весь тон!.. Я понимаю, что это “галочье”, а как моя прабабка говаривала — “… галки и на Кресты марают!”, но я не крест, я слабый человек… Это не заставит меня опустить руки, какая-то галка, но как это грязью оседает в душе и мутит!»[297]

Сочувствовавший Шмелеву Бальмонт отправил в редакцию возмущенное открытое письмо, но это не имело никаких последствий. Георгий Иванов в оценках Бальмонта — Смердяков и посредственный поэт:

[296] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 106.
[297] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 78—79.

С негодованием прочитал я в № «Последних Новостей», от 15 декабря, предельно-наглые слова посредственного стихотворца и развязного журналиста г. Георгия Иванова. Можно лишь огорченно подивиться, что редакция газеты, стремящейся быть средоточием зарубежной русской интеллигенции, гостеприимно дает место хулиганским выходкам маленького литературного Смердякова. Литературный заика, умеющий только построить кривляющиеся фразочки в кавычках, поносительно говорить о языке заслуженнейшего и одареннейшего писателя Ивана Сергеевича Шмелева, который как раз из всех современных русских писателей обладает наиболее богатым и своеобразным русским языком. Этот нагличающий журналист, пытаясь быть уничтожительным (в руках детский пистолет из шоколата), ни словом не упоминает хотя бы о том, что Шмелев написал «Неупиваемую чашу», стоящую вровень с наилучшими повестями Тургенева, Толстого и Достоевского и оцененную в Норвегии и в Италии, в Швеции и в ряде других стран, привыкших относиться уважительно к художественному таланту и душевной чистоте. Если рецензент не читал «Неупиваемой чаши», — он невежда. Если он читал ее и не понял, — быть может, врачи посоветуют ему сделать трепанацию черепа. Рецензент развязно утверждает, что ни один читатель «Современных записок» не польщен тем, что на страницах этого журнала не было видно Алданова и усиленно печатают Шмелева. Это утверждение есть простая ложь. Вот я такой читатель, а со мною сейчас целый ряд читателей, которые так же, как я, в негодовании, что уважаемая газета унижает себя, давая место изношенному бормотанию, литературному комсомольству и облыжным утверждениям.

Впрочем, я не знаю, что хуже, брани или хвалы в писаниях некоторых литературных кривоустов. Не знаю, задет ли этой грубостью И.С. Шмелев, — думаю, что в душе он лишь огорчен человеческим унижением, — не своим, конечно, его нет, — но на месте И.А. Бунина, кажется, еще менее можно быть довольным расхваливаниями сноба: Баратынский в язвительных строках говорит, что некоторые хвалители берутся за ка-

дило, чтобы, им окуривая одного, ударить другого. Почтенное занятие. Но уважаемая редакция газеты — более ответственна в столь прискорбном явлении, чем бессознательный литератор, гомеопатически одаренный.

Капбретон. *К. Бальмонт*. 1927. 17 дек<абря>[298].

За день до этого Бальмонт отправил письмо Шмелеву, в котором были слова утешения:

Милый, родной Иван Сергеевич, оба Ваши большие письма получил, и за каждое Ваше ласковое слово мы все кланяемся Вам в пояс. Счастье для нас знать, что Вы есть на свете и что Вы — такой. Уже давно мы задыхались от ползучей человечины, вроде совсем непобедоносных газетных Георгиев, Бобчинских-Добчинских, а Вы для нас — как *Свете Тихий*»[299].

Через одиннадцать дней, 27 декабря1927 года, он отправил Шмелеву еще одно письмо, в котором так старательно залечивал душевную рану писателя:

Мой дорогой друг Иван Сергеевич.

Мы были взволнованы радостно Вашим взволнованно братским письмом. Но не стоит, правда, ни летом Вам, ни зимой мне волноваться так, из-за другого. Да, мы не выйдем никогда из этих волнений, если будем так близко принимать к сердцу проявления низкой звериности и — хуже — дрянной животности, в той человеческой трясине, которая нас окружает. Их, этих гадов, мы не переделаем, а себя надсадим. Ну, правда, все-таки образумить их несколько и заставить посдер-

[298] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 106.

[299] Цит. по: *Бонгард-Левин Г.М.* «Мой друг! Мой брат! Мой друг в пустыне!» (Константин Бальмонт и Иван Шмелев) // *Бонгард-Левин Г.М.* Из «Русской мысли». СПб., 2002. С. 88.

жаться мы сумеем, и Вы, и я, не завися друг от друга и ни в чем не сговариваясь. Для нас наше светлое и божеское в нашем человеческом, достаточное ручательство, что наши глаза не лгали друг другу, когда наши глаза и голоса менялись приветами и радостью жизни в свете и правде[300].

Шмелев и Иванов были схожи в своей непримиримости к большевизму. В остальном они друг другу далеки.

Был замечательный Игорь Чиннов, один из самых ярких поэтов русского зарубежья. Иванов был его покровителем: по его рекомендации двадцатидвухлетний Чиннов послал свои первые стихи в «Числа», журнал молодой литературной эмиграции. В интервью Чиннов, как и Бальмонт, назвал Иванова снобом: «Георгий Иванов всегда был снобом и эстетом и им остался»[301]. Шмелев таковым не был, потому судьба последнее время постоянно его сталкивала то с одним снобом, то с другим. Снобизм, возможно, подпитывался тем, что в 1927 году Иванов начал публиковаться в «Современных записках», самом влиятельном журнале русской эмиграции. Он и Ирина Одоевцева оставили Россию в октябре 1922-го, и вот в 1927 году, наконец, «Современные записки».

Чиннов высказал еще одно наблюдение: «Иванов всегда писал не то что женственно, но и не мужественно»[302]. Классический язык Шмелева — мужской, его взгляд на мир — мужественный. Обругав Иванова Смердяковым, Бальмонт будто предчувствовал, как в его поэзии вскоре разовьется острый скепсис, появится эпатирующий цинизм, безверие в человека, мир, искусство. Для него жизнь — гибельный акт. Не принимавший экзистенциалистских рефлексий, Шмелев называл Иванова упадочником. В мужественной шмелевской прозе не было ни

---

[300] Цит. по: *Бонгард-Левин Г.М.* «Мой друг! Мой брат! Мой друг в пустыне!» (Константин Бальмонт и Иван Шмелев). С. 92.

[301] *Чиннов И.* Собр. соч.: В 2 т. М., 2002. Т. 2. С. 150.

[302] *Там же.*

рефлексии, ни нытья. Сноб, упадочник, модернист, который еще и пишет не мужественно, — уже этого достаточно, чтобы понять, какими они были друг другу посторонними.

Конечно, Иванов не был «литературным заикой». Да, к доэмигрантскому Иванову относились снисходительно, Ходасевич вообще назвал его раннюю поэзию художественной промышленностью, а Блок в 1919 году, хотя и отозвался о нем как о самом талантливом среди молодых, подметил: у него есть такие страшные стихи ни о чем! Также двойственно отнеслись к нему и Гумилев, и Кузмин. И в 1922 году о нем писали, в частности К. Мочульский, как о создателе очаровательных и незначительных стихов. Только после 1931 года, после выхода его книги «Розы», критики полюбили его за подлинность. При всем том Иванов, возможно, — самый талантливый поэт эмиграции, и Мережковский справедливо одну из своих книг надписал ему со словами «Лучшему поэту современности». Его манерные выпады вроде «Хорошо, что нет Царя. / Хорошо, что нет России. / Хорошо, что Бога нет» скрывали настоящую боль. Даже в его заявлениях о том, что он по ту сторону Добра и Зла, были и растерянность, и самозащита, и игра — маска циника, которую он не хотел снимать, а может быть, потом уже и не мог. Справедливо написал о нем поэт и литературовед Владимир Марков: «Георгием Ивановым возмущались, его пробовали оправдать, объяснить, им восхищались, но, кажется, никто не писал, как и за что он любит его стихи. В самом деле, за что любить этого бывшего молодого петербургского сноба, “объевшегося рифмами всезнайку”, избалованного ранним признанием “лучших кругов”— в безвоздушной эмиграции вдруг ощутившего бессмыслицу, пустоту, дырку (жизни, искусства ли) и не в очень приятной форме доложившего об этом читателю? Но это в лично-поэтическом, внешнем плане. Если же обратиться к “стихов виноградному мясу”, то где еще сейчас найдешь

эту простоту и вместе неуловимость, это чувство современности в сочетании с ароматом недавнего прошлого, эту смесь едкости и красоты?»[303]

На закате жизни его ждала богадельня — приют для стариков, в те годы он уже производил впечатление «почти безумца», как вспоминала Н. Берберова, он напоминал «картонный силуэт господина из “Балаганчика”», и «в его присутствии многим делалось не по себе, когда, изгибаясь в талии — котелок, перчатки, палка, платочек в боковом кармане, монокль, узкий галстучек, легкий запах аптеки, пробор до затылка, — изгибаясь. Едва касаясь губами женских рук, он появлялся, тягуче произносил слова, шепелявя теперь уже не от природы (у него был прирожденный дефект речи), а от отсутствия зубов»[304].

Можно предположить и иной источник сарказма Иванова в отношении к Шмелеву. Иванов — лирик, поглощенный собой. В эмиграции в Шмелеве проявился несвойственный Иванову пророческий, серафический пафос, традиционный в литературе XIX века. Уже поздний Иванов спародирует: «И внемлет арфе Серафима / В священном ужасе петух» («Голубизна чужого моря...», 1955), соединив пушкинского пророка и некрасовский петушиный бой пророков с толпой.

Шмелев и Иванов — два полюса эмигрантской литературы. Таковыми они были и в восприятии современников. Игоря Северянина вдохновило «Солнце мертвых», которое стало реминисцентным фоном для его медальона «Шмелев» (1927): «И солнце в безучастном небосводе / Светило умирающим живым», «Глумливое светило солнце мертвых». В «Солнце мертвых» он почувствовал библейскую суть, в строке «в каждом смерть была окне» слышится Екклесиа-

---

[303] *Марков В.* О поэзии Георгия Иванова // Письма запрещенных людей: По материалам архива И.В. Чиннова. С. 255.

[304] *Берберова Н.* Курсив мой. М., 1996. С. 532.

стом сказанное о смерти: прах возвращается в землю, а дух — к Богу, «и помрачатся смотрящие в окно» (12 : 4). В медальоне же «Георгий Иванов» (1926) Северянин написал: «Коварный паж и вечный эпигон», в пере которого «вдосталь гноя» — и обмокнуто оно «не в собственную кровь». Пикантность медальона в том, что ранний Иванов находился под влиянием Северянина, и его сборник «Отплытие на о. Цитеру» (1912) — дань северянинскому авторитету.

Возможно, раздражение Иванова вызвано и причинами глубоко личного, творчески-личного, характера. Лирика Иванова, опубликованная в год выхода рецензии, достаточно анемична. Парадокс, но в его стихах прозвучали мотивы и шмелевской прозы, но перо он окунал, действительно, «не в собственную кровь», вообще не в кровь: «И кому страшна о смерти весть, / Та, что в этой нежности есть?» («Даль грустна, ясна, холодна, темна...»), или «Все какое-то русское — / (Улыбнись и нажми!) / Это облако узкое, / Словно лодка с детьми» («Синеватое облако...»), или «И шумело только о любви моей / Голубое море, словно соловей» («Не было измены. Только тишина...»), или «На голос бессмысленно-сладкого пенья, / Как Байрон за бледным огнем, / Сквозь полночь и розы, о, без сожаленья... / — И ты позабудешь о нем» («Как в Греции Байрон, о, без сожаленья...»).

7 января 1928 года в «Возрождении» вышел рассказ Шмелева «Наше Рождество», впоследствии составивший главу в «Лете Господнем» — вершинном произведении писателя. По сути, с «Нашего Рождества» началась работа над «Летом Господним». Рассказ о русском Рождестве автор предназначал мальчику Иву Жантийому — своему крестнику, сыну Юлии Кутыриной. Однако написание рассказа и подготовка публикации совпали с переживаниями Шмелева по поводу выходки Иванова, он писал Ильину: «Сегодня на заре осияло... — рассказ есть для рус<ского> рожд<е-

ственского> №! Ну, *теперь*, вне связи с рассказом, я накладу Геор. Иванову <...> На-кла-ду!»[305]

Иванов — не единственный недруг Шмелева из «Последних новостей». Не меньшие терзания ему доставлял постоянный автор газеты Георгий Адамович, оказавшийся в эмиграции с 1923 года. Поэтические книги Адамовича не принесли ему всеобщей славы, они не были исключительными или блистательными, хотя и отвечали русской стихотворной культуре. В эмиграции он издал всего два поэтических сборника, в 1939 и 1967 годах. Статьи, публиковавшиеся с 1923 года в «Звене», не сделали из Адамовича лидера критиков. Авторитет ведущего критика он заработал в «Последних новостях», а также печатаясь в «Современных записках». Он же был главным оппонентом поэта и критика из «Возрождения» — Владислава Ходасевича. За их битвой следила молодежь, «старики» же писали по-своему и куда больше обращали внимание не на разногласия критиков, а на их судный глас, который был весьма громок и авторитарен. Марина Цветаева в письме Игорю Северянину обращала его внимание на доминирование в русской критике определенного голоса: «...там-то о стихах пишет Адамович и никто более, там-то другой “ович” и никто более, и так далее»[306]. По сути, это подтверждал Шмелев в письме Ильину: «...и вот, злой волей Зла-Рока, правят в газетах “бал” — Овичи и Евичи...»[307].

Как и Иванов, Адамович эстетически и этически Шмелеву чужд. Адамович — вдохновитель Парижской ноты, Иванов — талантливый выразитель этой ноты, тональность

[305] Письмо И. Ильину от 05.01.1928 // Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 85.

[306] Письмо от 28.02.1931 // *Цветаева М.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1995. Т. 7. С. 421.

[307] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 82.

которой замечательный поэт молодого поколения эмиграции Юрий Иваск определил так: «...тоска и порывы Анненского»[308]. Поэты этой Парижской ноты собирались в кафе «Ла Болле» в начале Латинского квартала и с настроением тотального одиночества читали стихи — по кругу, потом обменивались мнениями — по кругу; они объединились вокруг Адамовича — вокруг «Звена» и «Последних новостей». Словарь Парижской ноты прост, ее интонации приглушенные, она вся в намеках и недоговоренностях, вся в печалях. Адамович — это Христофор Мортус из «Дара» (1937—1938) Владимира Набокова; и этот Мортус, ехидная пародия на Адамовича, пишет о том, какой должна быть поэзия: «Наша литература... сделалась проще, суше, — за счет искусства, может быть, но зато... зазвучала такой печалью, такой музыкой, таким “безнадежным небесным очарованием”, что, право, не стоит жалеть о “скучных песнях земли”»[309]. В языке Шмелева нет «очарования», он насыщен образностью, традиционен, таким языком хорошо изображать, а не намекать. Шмелев любил Бальзака «за изобразительность человеческих страстей, Диккенса — за сострадание, Флобера — за мастерство, Гете — за глубину лиризма, Киплинга — за “рассказ”» («Ответ на анкету об отдыхе», 1930). Адамович не любил Шмелева за «рассказ», за изобразительность, бытописательство, за явное «мыслить и страдать». Адамович был ментором, он писал «отлично-благородно», раздавал всем сестрам по серьгам, и дай ему волю, он всех бы научил ходить по одной половице.

Бунин считал Адамовича лучшим критиком эмиграции, но и он негативно отнесся к его статье «О французской “inquiétude” и русской тревоге», опубликованной в «Последних

[308] *Иваск Ю.* Поэзия «старой» эмиграции // Русская литература в эмиграции / Под ред. Н.П. Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 46.

[309] *Набоков В.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 3. С. 271.

новостях» (1928. 13 дек.). В ней Адамович писал об отсталости русской литературы, об исчерпанности толстовской традиции, которую он видел, в частности, в прозе Бунина. Критик, размышляя о русских и французских литературных «тревогах» (“inquiétude”!), отметив отход французской литературы от «бытовизма», объявил внешнюю изобразительность, описательность вчерашним днем. Вслед за статьей Адамовича в «Последних новостях» появилась ироничная статья Бунина «На поучение молодым писателям» (1928. 20 дек.), в которой он показал всю узость сентенций Адамовича: «Произведения эти могут быть для Адамовича скучны, могут быть отчасти однообразны, — как всюду и всегда однообразны произведения известного времени, будь то время романтическое, символическое, “декадентское” или какое другое, но ведь это уж другой вопрос...»[310]. Модную нелюбовь писателей и критиков к изобразительности Бунин объяснял их несостоятельностью в мастерстве изобразительности! Бунин ставил Адамовича на место.

Как и Иванов, Адамович посчитал «Историю любовную» неудачной, вернее, малоудачной, он противопоставил Шмелеву Алданова и Бунина, писал о несовершенстве стиля «Истории любовной»: «Читателя он утомляет, и порой читатель ропщет. Слишком витиевато, слишком узорчато и беспокойно. Каждая фраза говорком. И утомленному всей этой тревожной, как бы “страдальческой” стилистикой сознанию хочется легкости, бедности, стройности — бунинской или алдановской»; он видел в стиле Шмелева надуманность и нарочитость, а самого писателя назвал «не вполне развившимся художником», «неправильно развившимся»[311]. Однако Адамович в статьях о Шмелеве непременно смягчал удары и делал ни к чему не обязывающие комплименты: большой и

[310] *Бунин И.А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 460.

[311] *Адамович Г.* Шмелев. — Ирина Одоевцева. — Довид Кнут // *Адамович Г.* Литературные беседы: В 2 т. СПб., 1998. Т. 2. С. 344—345.

подлинный талант и проч. Свою рецензию он поместил в «Звене» (№ 6. 1928) — литературном приложении «Последних новостей». Ранее в «Звене» (№ 5. 1927) он опубликовал рецензию на книгу Шмелева «Про одну старуху». Все включенные в сборник рассказы («Про одну старуху», «Голуби», «Два Ивана», «Марево», «В ударном порядке», «Свечка», «Орел», «Чудесный билет», «Письмо молодого казака») Адамович расценил как дань «достоевщине»: Шмелев воспринял от Достоевского «страдальческую стихию», «ядовитую усмешечку», «гневный взрыв красноречия», «сомнительный анекдотец», «неумолимую скорбь» и этим наследием «упивается»[312]. Противопоставление укорененного в быте Шмелева и безбытного Достоевского стало общим местом в эмигрантской критике. Адамович, правда, отдал должное рассказу «Про одну старуху» и не поскупился на похвалы, но одновременно обронил несколько фраз об однотонности и плоскости повествования в «Голубях»: это не дает рассказу стать искусством!

Критика Адамовича идет от субъективных ощущений, она импрессионистична и не вполне мужественна. В ней нет убедительных аргументов, она капризна, по-женски требовательна. Собственно, критика Адамовича была родственна своенравной критике З.Н. Гиппиус. Не критике, а капризу: вот в «Современных записках» появился «Въезд в Париж», а вслед ему в «Звене» разносилось от Гиппиус что-то о «досадной жестокости фактуры и какой-то тайной горечи, художественно не претворенной»[313]. Адамович указывал Шмелеву на его «ошибку» в развязке «Про одну старуху»: «Слишком под занавес, слишком мелодраматично»[314]. Почему?.. В эпизоде встречи стару-

---

[312] *Адамович Г.* Вячеслав Аверьянов. — Новая книга Шмелева // *Там же.* С. 291—292.

[313] *Гиппиус З.* Неизвестная проза: В 3 т. Т. 2 / Под ред. А.Н. Николюкина. СПб., 2002. С. 134.

[314] *Адамович Г.* Вячеслав Аверьянов. — Новая книга Шмелева. С. 292.

хи с сыном-экспроприатором критик увидел лубок, желание дать подобие легенды. Почему?..

При этом восприятие Адамовичем творчества Шмелева, как правило, не совпадало с мнением большинства. О той же книге Зайцев, например, писал Шмелеву: «“Старуху” я помню еще в чтении Вашем — отличная вещь, крепко и ярко, да и вообще вся книга очень удачная»[315]. Ильин отозвался об этом рассказе, как о «эпосе строжайшем»: «художественный лаконизм — до настоящего спартанства доведенный; и какая мировая трагедия!»[316]. Ю. Айхенвальд в опубликованной в «Руле» в 1927 году рецензии размышлял о том, как в этом рассказе передана картина русского ужаса, и его наивный реализм подрывает доверие к формальному методу в литературоведении.

Отношение к Шмелеву не изменилось и в 1930-е годы. Рецензируя в «Последних новостях» (1934. 24 мая) его роман «Няня из Москвы» (1934), Адамович, при в целом положительном отзыве, указывал на очевидный, с его точки зрения, потолок творческих возможностей писателя; в следующем году критик, оценивая тот же роман, назвал Шмелева настоящим художником (1935. 21 февр.); в 1936-м писал об узком и реакционном идеале Шмелева, о его творчестве — как о примере опровинциалившейся русской литературы, а о шмелевском патриотизме — как о декоративном и умаляющем человека (1936. 30 янв.). Вопросы реакционности и антиевропеизма Шмелева Адамович затронул и в рецензии на «Пути небесные» (1936—1937), источник реакционности он разглядел в религиозности писателя, тесно связанной с условно-национальным и бытовым укладом (1937. 13 мая).

---

[315] Письмо Б. Зайцева И. Шмелеву от 26.11.1927 // *Зайцев Б.* Письма. 1923—1971. С. 56.

[316] Переписка двух Иванов (1927—1934). С.59.

Для выпадов против Шмелева Адамович использовал и «Современные записки». В № 49 журнала за 1932 год появилась его рецензия на книгу Шмелева «Родное» (1931), в которой весь состав сборника, и в частности «Росстани», был оценен в поучающем тоне. Особым раздражителем для Адамовича стало почвенничество Шмелева: тема России представлена у Шмелева провинциально, а свойственный прозе Шмелева патриотизм — та струна, на которой в эмиграции играть легко. Шмелев был возмущен и статьей Адамовича, и позицией «Современных записок», потому и писал их редактору М. Вишняку:

> 49 кн<ижку> «С<овременных> з<аписок>» получил — и узнал, что «Росстани» мои — рассказ о «благополучии разбогатевших банщиков», что «все это сейчас мертво», что все это «патриотизм», «струна, на которой играть легко», и вообще — «соляночка на сковороде». Весь тон рецензии игриво-глумливый и безответственный... По-видимому, редакция признала, что подобное допустимо? Допустимо до оскорбительного намека, что писатель занимается «игрой» на «легкой» струне? Оправдываться, что «не играю», доказывать, что «Родное» на соляночку не похоже — безнадежно: труд писателя сам себя защитит. Долг редакции — оградить писателя от обидного обращения с его трудом. Не впервой берут меня и в прицел, и рикошетом... Я привык и уже не вскипаю... Ни я, ни «Росстани» не повинны, что рецензенту оказался недоступным внутренний лик произведения. Но долг редакции — воздержать такого рецензента хотя бы от игриво глумливых выражений. И это долг не только по отношению к произведениям сотрудника, но и вообще к лит<ературному> произв<едению>. <...> Простительно, что рецензент не внял, что «Росстани» мои — вечная тема о жизни и смерти... Непростительны шуточки о «патриотизме», «легкой струне», «соляночке»... Какое швырянье словами[317].

[317] *Вишняк М.* «Современные записки». С. 135.

Рецензии Адамовича стали основой для главы о Шмелеве в его эссеистской книге «Одиночество и свобода» (1955). Вновь подняв вопрос о причинах провинциализма русской литературы и утрате ею мирового значения, уверяя, что современной русской литературе нечего сказать, он в «Одиночестве и свободе» вновь утверждал: «У Шмелева — одного из самых даровитых новых русских писателей — в этом смысле что-то не ладится»[318], Шмелев «был очень даровит»[319], он страстен, что редко для литературы того времени, он патриот, но идеал его «узок и реакционен»; Адамовича «пугает» то, что и трактир у Шмелева — тема, «часть его идеала»[320]; конечно, и у Блока есть «что-то очень схожее», например:

И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне...
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне! —

но где у Блока боль, там у Шмелева «полное удовлетворение»... и вообще талант Шмелева — «больной»[321].

Адамович как критик творчества Шмелева имел и противников, например в лице Ильина, и союзников, в том числе в лице Юрия Терапиано, который в книге «Литературная жизнь русского Парижа» писал об упомянутой главе из «Одиночества и свободы» как об «очень точно определяющей достоинства и недостатки» Шмелева, в частности его «ограниченное и реакционное мировоззрение, мешающее ему видеть подлинную Россию вместо ложно-русской, декоративно-бытовой»[322]. Г. Струве в вышедшей через шесть лет после смерти

[318] *Адамович Г.* Одиночество и свобода. М., 1996. С. 33.
[319] *Там же.*
[320] *Там же.* С. 35
[321] *Там же.* С. 36.
[322] *Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа (1924—1974). Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 158—159.

Шмелева книге «Русская литература в изгнании» вслед за Адамовичем упомянул о достоевщине в «наиболее слабых романах Шмелева», о провинциальности, о доле «“руссопетского” антиевропеизма и антикультурности» его творчества[323].

Тон критики Адамовича был судящим. Писатели конечно же зависели от критиков. И не только психологически. Существовала и определенная финансовая зависимость от мнения ведущих критиков влиятельных газет: они во многом создавали образ писателя для издательских кругов, благотворительных фондов, в целом для общественности. Шмелев — не единственный, против кого высказывался Адамович, и не единственный обладатель «больного» таланта. И в эмигрантской поэзии Цветаевой критик увидел «болезни вкуса и мысли»[324]. Он был желчен в своей оценке Цветаевой: по поводу ее «Мóлодца» полагал, что «если бы русский народ изъяснялся так, иностранцы были бы правы, утверждая, что все русские — полупомешанные»[325], в цикле ее стихов о Блоке он услышал «истерический лепет»[326]. Сомнительные с точки зрения эстетических критериев характеристики прозвучали и в следующем высказывании: «…и даже такие современные стихотворцы, как Пастернак или Цветаева, мнимоширококрылые, горделиво претендующие на полет и свободу, в действительности спотыкаются на каждом шагу»[327]. Впрочем, и Волошин «истинным поэтом не был»[328]. Клюев,

---

[323] *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Париж, 1984. С. 96—97.

[324] *Адамович Г.* Литературные заметки // Последние новости. 1931. 16 апреля. С. 2.

[325] *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. № 129. С. 2.

[326] *Адамович Г.* Сумерки Блока // Новое русское слово. 1952. 10 авг. № 14715. С. 8.

[327] *Адамович Г.* Памяти Поплавского // Последние новости. 1935. 17 окт. № 5320. С. 2.

[328] *Адамович Г.* «Современные записки». Кн. 52. Часть литературная // Последние новости. 1933. 1 июня. № 4453. С. 3.

«из которого сделали Гомера», «весь фальшив»; «ну, Гумилев — еще туда-сюда»; «раздувают Есенина, поэта маленького и вялого», хотя у него «есть одно удивительно свойство, за которое многое ему простится: он ничего не выдумывает»; «даже у Блока, который во всех смыслах больше Есенина, по сравнению с ним много типографской краски и готовых слов»[329].

Возможно, причина неприязни к тем, кого критиковал Адамович, была не только эстетического или идеологического свойства, но и коренилась в самой природе творчества. У обаятельного, аристократичного, владевшего ораторским искусством Адамовича, как полагал Чиннов, мастерство поэта было «менее явственно, чем у Цветаевой или Ходасевича»[330], он приуменьшал роль мастерства, полагая, что простыми словами можно сказать о главном, что и составило содержание его Парижской ноты. Потому он уничижительно отзывался о Цветаевой, как писал Чиннов, «невыносимой» своим «демонстративным титанизмом», «вечным криком с отбиванием чуть ли не каждого слога», но — «драгоценной»: «Но как отрицать силу и новизну ее ритмов?»[331].

Литературная борьба эмиграции — тема и семейных бесед, и писем, и мемуаров, и художественной прозы. Н. Тэффи, которую Шмелев то разочаровывал, то огорчал, Тэффи, сотрудничавшая и с «Последними новостями», и с «Возрождением», в маленьком рассказе «Городок» (1927) пародийно описала жизнь эмигрантов: все «ненавидели друг друга», собирались «больше под лозунгом русского борща», посрамляли сподвижников в мемуарах, желали получать даром газету, которая «крепилась, не давалась и жила»[332]. Имелись в

[329] Письма запрещенных людей. По материалам архива И.В. Чиннова. С. 124—125.

[330] *Чиннов И.* Вспоминая Адамовича // *Чиннов И.* Собр. соч. Т. 2. С. 111.

[331] *Там же.* С. 114.

[332] *Тэффи Н.* Городок // Мы: Женская проза русской эмиграции. СПб., 2003. С. 122—123.

виду «Последние новости». Шмелеву отзывы Адамовича давали повод для не меньшей язвительности. В письмах он называл его то Гадомовичем, то Адамовичем-содомовичем. Его недруги — это «моли», «полячки», «циники», «гадкие людишки»...

Конечно Шмелев хотел быть понятым и принятым критикой. Трудно строить свои отношения с редакциями, равняясь на Пушкина: равнодушно принимать клевету и оставаться спокойным, когда кто-то в детской резвости колеблет твой треножник... У него были свои представления об идеальном критике. В 1931 году, в связи с тридцатилетием литературной деятельности Петра Пильского, ведущего критика литературно-художественного отдела в газете «Сегодня», Шмелев в «России и славянстве» писал о нем как о зорком ценителе и толкователе, служителе русской культуры. В статье на смерть Юлия Айхенвальда, опубликованной в декабре 1928 года в «Возрождении» и «Руле», он с добротой отозвался о критике: «Чуткий, он учил обхождению со словом, с душой и трудом писателя», писал о его любви к России, видел в нем человека, ориентировавшегося на идеалы правды как на единственно верный критерий.

Айхенвальд, ведущий критик берлинской газеты «Руль», погиб трагически (попал под трамвай). Он был для Шмелева примером честной и умной критики в противовес критике тенденциозной и травящей. Автор «Силуэтов русских писателей» (1923), статей о европейской литературе, противник формальной школы и социологической критики, Айхенвальд сформулировал свой критический принцип — «принципиального импрессионизма», в основе которого лежал отказ от претензий на научность, сочетание эстетического восприятия текста и психологического восприятия автора, поддержание старой иерархии литературных

ценностей. Он, конечно, бывал и суров, и нелицеприятен. Так, он указал Ремизову на пошлось в «Кукхе» (1923). Но о Шмелеве Айхенвальд писал исключительно комплиментарно, как, впрочем, и о Бунине, Набокове, Ходасевиче, выделяя их из общей писательской среды, подчеркивая их талант. Рецензии Айхенвальда укрепляли Шмелева душевно, и свою статью о нем он назвал «Жестокая утрата».

Айхенвальд поддержал Шмелева еще в начале его творческого пути. Он, тогда редактор литературного отдела «Русской мысли», положительно отозвался о его «Распаде», сообщив ему, что повесть одобрена при обсуждении в Обществе любителей российской словесности и что «Русская мысль» готова к дальнейшему с ним сотрудничеству.

Ильин не разделял шмелевского, столь почтительного отношения к критику, его раздражала мысль Айхенвальда о том, что пророчества классиков о великом будущем России — лишь фантазии; Ильин горячился: Айхенвальд допускал издевки над пророчествами Федора Достоевского, участвовал в травле «Русского колокола», вел к непротивленчеству, к ликвидации русской государственности... к тому же он примкнул к Бердяеву и выступил против книги Ильина «О сопротивлении злу силою».

Действительно, Айхенвальд в 1926 году поместил в «Руле» свою статью «Злое добро». Кого он вел? — спрашивал Ильин и сам отвечал в письме к Шмелеву:

> У него был здесь в Берлине кружок из пятнадцати антинационально настроенных еврейчиков. Их он «вел» к импрессионистическому смакованию *бывшей* литературы *бывшей* России. Помню, как в прошлом году я по ошибке вошел в *его* аудиторию и хотел начать свою лекцию; в ужасе я увидел перед собою — изумленно вытаращившуюся на меня

толпу евреев, человек в 20, которые и объяснили мне мою ошибку[333].

И Ильин, и его супруга, Наталия Николаевна, читали статью Шмелева с тяжелым чувством. Ильин уверял Шмелева: смерть Айхенвальда вовсе не национальная потеря, а «*форточка для свежего воздуха*»[334]. С Айхенвальдом его не примирила даже его литературная одаренность, а ее Ильин признавал. Шмелев защищал Айхенвальда и возражал Ильину. Это был редкий случай несогласия в их отношениях.

---

[333] Письмо конца декабря 1928 г. // Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 115.

[334] *Там же*. С. 116.

XI. *Труды и дни*
Шмелев и «Современные записки»
А. Деникин предупреждает о покушении
Шмелев — бывший человек

Итак, Шмелев нажил себе врагов. По крайней мере, недругов. В это же время к нему было проявлено внимание в СССР: в 1928 году до него дошли сведения о том, что, нарушая его авторские права, в Советской России сняли фильм по «Человеку из ресторана». При этом отступили от текста, вывели тему проклятого буржуазного прошлого. Купюры и интерпретация сюжета послужили пропагандистским целям. Шмелев возмутился и выступил в печати. На помощь бросился П. Пильский, он высказался в январском номере «Сегодня» за 1928 год против советского «Человека из ресторана», назвав его агитационным подлогом. Фильм, к ужасу Шмелева, показывали и в Латвии, и в Германии, демонстрировали его и в одном из парижских кинотеатров. Верный Бальмонт защищал своего друга в печати, попутно обрушив свое негодование и на Горького: «Пешков-Горький говорит, что в России советской печатают избранные произведения Бунина, Куприна, Шмелева. Прелестно. Как *перепечатывают* (ибо *перепечатывают, а не печатают*, это две вещи разные) — с согласия авторов или нет? Нет, и Горький это знает. Но об этом молчит. Платят авторам за труд их? Нет. Горький это знает, но об этом не говорит. В каком виде пере-

печатывают? Из благородного романа Шмелева "Человек из ресторана", кстати, переведенного на все главнейшие европейские языки, бесчестные коммунисты состряпали пропагандистскую коммунистическую фильму, извратив содержание романа в корне и сделав из правды грязную ложь — под именем Шмелева. И Шмелев об этом писал, кричал, протестовал. И Пешков-Горький, все это зная, об этом молчит. Какая беспардонная низость!»[335] Статья вышла в «Возрождении», в 1928 году, и была реакцией поэта на недоброжелательное отношение Горького к эмиграции, лично к Бальмонту, которое обострилось после писем Бальмонта и Бунина 1927 и 1928 годов к К. Гамсуну, Р. Роллану, А. де Шатобриану о жизни в СССР.

Иван Сергеевич плохо разбирался в том, что происходило в культурной жизни СССР, советскую литературу почти не знал, но считал, что оставшиеся там писатели обречены на творческую и физическую несвободу. 16 ноября 1929 года в Париже на собрании, посвященном поминовению павших в борьбе с большевиками, Шмелев говорил о том, что литература, художественное слово — тоже жертва. Он говорил о сомкнутых устах писателей в Советской России, о расцвете похабщины. Вспоминал погибших: Н. Гумилева, А. Блока, скончавшегося в немоте Ф. Сологуба, Л. Каннегисера, С. Есенина, А. Соболя, журналиста В. Севского. Жертвой революционных потрясений он полагал и Л. Андреева. Шмелев крайне неприязненно отнесся к книге В. Познера «Panorama de la littérature russe contemporane» («Панорама современной русской литературы», 1929), в которой он усмотрел желание автора предложить иностранцам творчество Горького и вынести русскую зарубежную литературу за скобки. Так, противопоставляя себя Советам, он вольно или невольно обращал

[335] *Бальмонт К.* Мещанин Пешков, по псевдониму: Горький // *Бальмонт К.* Автобиографическая проза. С. 547.

свой взор к Горькому — когда-то помощнику, покровителю, теперь — недругу.

Шмелев, естественно, был вне литературы СССР. Но он оставался в русской литературе. И как бы он ни отворачивался от Советов, как бы он ни возмущался позицией Горького, тот его продолжал ценить. В 1928 году в России вышло справочно-библиографическое издание Академии художественных наук «Писатели современной эпохи», в котором Шмелев не был упомянут, впрочем, как и Бунин, Куприн, Мережковский, другие эмигранты. Любопытно, что этот факт вызвал удивление Горького, он выразил свой укор составителям в статье «О двух книгах» (1928). Не замечать уехавших на Запад писателей в 1920-е годы было пока еще трудно. Например, Д. Горбов, один из ведущих критиков «Красной нови», в 1926 году высказал мысль о том, что эмигрантская литература не так уж плоха, во всяком случае не уступает лучшему, что создали до эмиграции Бунин, Ремизов, Зайцев, Шмелев, Мережковский, Гиппиус, то есть в «более безопасной обстановке, чем та, в которой они пишут теперь»[336].

Конечно, теперешнее положение Шмелева было куда безопаснее крымского. Он благодарил Бога за то, что оказался здесь, а не там. Там осталась его семья, которая продолжала биться за свое существование. Удивительно, что в Париж приходили весточки из Москвы. В 1928 году он получил известие от матери о внезапной смерти брата Николая, который после отъезда Ивана Сергеевича жил на его алуштинской даче в совершеннейшей нищете.

Шмелев бился над разрешением неразрешимых вопросов, он старательно искал высший смысл в том, что произошло с его семьей и с русским народом, он убеждал себя, что на Россию свыше ниспослано испытание во спасение,

---

[336] *Горбов Д.А.* Новая красота и живучее безобразие // Красная новь. 1926. № 7. С. 240.

ради того чтобы через великое окаянство и великую помойку найти Слово. Некое Слово... Так он себя успокаивал, но не всегда в это верил... То он объяснял все Промыслом, то вдруг, уподобляясь нелюбимым упадочникам, приходил к мысли о победе зла: человек огажен, из национального человека в России делают общечеловека, нечто вроде робота; договорятся Ленины-Сталины-Дзержинские, и наступит мировое рабство, а спецы-помощники найдутся... Сотрудничество интеллигенции с Советами он называл сверхподлым и осуждал советских ученых А.И. Абрикосова, Е.И. Марциновского, С.Ф. Ольденбурга, А.И. Ферсмана.

Он был недоверчив ко всему, что касалось Советов. Он даже не верил невозвращенцам — тем советским, которые оставались на Западе. Невозвращенец с 1929 года, бывший советник посольства в Париже Григорий Зиновьевич Беседовский стал редактором парижского журнала «Борьба», а Шмелев сомневался: не Азеф ли?..

Ему хотелось, чтобы там не нарушали его прав, не использовали его текстов. Ему хотелось, чтобы здесь не препятствовали его публикациям. Ему хотелось превозмочь свои спазмы и колики, укрыться от газетных и журнальных передряг в некой тиши. Ему чрезвычайно хотелось испытать это состояние тиши — и писать. 16 февраля 1929 года он посетил Буниных, и вот каким его увидела Вера Николаевна: «Похудел. Стал тише. О себе говорил в более спокойных тонах»[337]. У него появилось новое увлечение — радио, неслыханное удовольствие. Своих знакомых он «угощал» им. 21 февраля 1929 года в гостях у Шмелевых были Бунины, и все слушали по радио вечерню из Лондона — и Бунины решили тоже завести радио.

В марте 1929 года Шмелев перенес тяжелейший грипп, потом заболела Ольга Александровна. Со своим жаром он

[337] Устами Буниных. Т. 2. С. 198.

старательно, педантично боролся компрессами из отпаренной льняной муки и сухой горчицы. Дождавшись мая, они перебрались на побережье Атлантического океана — в Капбретон, в русскую колонию. Как написал Шмелев Ильину, там были генералы и скауты, профессора и поэты, доктора и балерины, там можно было создать и генеральный штаб, и академию изящной словесности!..

В 1928 году Шмелевы, не по своей воле, сменили дачу: «Жаворонок» с выгодой для хозяина дома был сдан другим, что явилось для них полной неожиданностью. Это печальное известие они получили от Бальмонта. Пожаловавшись другу на то, что Сергей Рахманинов прислал ему «какой-то грош» за переведенные им «Колокольчики и Колокола» Э. По, положенные композитором на музыку, он перешел к следующей неприятности:

> Во-вторых, и это мне еще обиднее — много обиднее, — Ваш «Жаворонок» приказал для мосьё Шмелева долго жить. Боров же оказался совершенно диким животным. Часа три тому назад я с Ел<еной> К<онстантиновной> шел мимо его дома, и на улице мы встретились. Видя его, мы решили, что Ел<ена> К<онстантиновна> его спросит, писал ли он Вам. Она спросила и сообщила, что Вы хотели бы взять опять «Жаворонка», но что «Жоану» Вы никоим образом не хотите. Он сказал, что «Жаворонка» Вы получить никак не можете. Я не выдержал и тоном изумленным спросил: «Как? Ведь Шмелев же у Вас жил несколько сезонов». У него сделалось очень подлое лицо (Ел<ена> К<онстантиновна> говорит, что ей хотелось дать ему «в пыск», что по-польски значит — «в рожу»), и он ответил: «Мне мосьё Ш<мелев> ничего не сказал, уезжая». Я махнул рукой и пошел по дороге дальше, Ел<ена> К<онстантиновна>, неторопливо с ним идя, продолжала говорить ненужности, что как же да что же, я обернулся и сказал: «Пойдем. Говорить бесполезно». Как он вскинется! «Как, бесполезно? Бесполезно? Это невежливо!» Я уже уходил, вернулся и, подойдя вплоть, сказал: «Я сказал не Вам свою фра-

зу, а своей даме». — «Нет, мне!» — «Нет, это неправда!» — «Это правда!» И я пошел прочь с Ел<еной> К<онстантиновной>, которая, во время обмена этими красноречивыми репликами, произносимыми и им и мной все возвышающимся голосом, два раза сказала: «Фраза о бесполезности разговора была сказана мне». Вдогонку сей изверг изрыгнул мне какие-то проклятия, которых я не разобрал, лишь расслышав, что он, в некотором роде, гневом выпил со мной брудершафт. О, подлая животина! Он был так же гнусен, как когда он гнался по двору за своей «фефёлой». Вот, не осудите. Хотели Вам услугу оказать, а вышло черт знает что. По-моему, если Вы не теряете еще надежды получить «Жаворонок», дипломатической перепиской напишите ему — как будто Вы ничего не знаете о нашем словесном столкновении. Но надежды, по-видимости, нет никакой, он был очень категоричен и наглой категоричностью хотел скрыть свое явное сознание некрасивой неправоты.

Я поистине чувствую себя сейчас, за Вас, ограбленным. Я бы хотел, чтоб он подох сегодня ночью и ровно в полночь был в Преисподней.

Не решитесь ли Вы приехать сюда и заблаговременно присмотреть себе виллу? Один, вдвоем, втроем, Вы всегда можете рассчитывать, что «Малый Коттэдж» достаточно вместителен, и Ваш приезд будет не бременем, а высокой нам всем радостью. Приезжайте на недельку! Верьте, нервы Ваши и дело только выиграют. Я в Бордо съездил, погулял недельку, послушал музыку и, вернувшись, тотчас двумя статьями и рядом стихов покрыл путевые траты. Так будет и с Вами. Ведь в Вашей душе места живого нет, друг! Ваши письма — кровавая рана терзаемая сердца. А мы бы Вас тут похолили»[338].

В Капбретоне Шмелев в компании профессора Кульмана, сын которого впоследствии стал духовником писателя, ло-

[338] Письмо от 20.02.1928 // Встреча: К. Бальмонт и И. Шмелев. С. 109. *Боров* — владелец «Жаворонка». *Елена Константиновна* Цветковская — жена К. Бальмонта. *Малый Коттэдж* — дача Бальмонта.

вил окуней, угрей, пескарей — ему нравилась тишь лесного уголка у реки, почти, как ему казалось, русской. Он коптил кефаль, с Кульманами и Бальмонтом пек кулебяку с вязигой, собирал в капбретонском лесу рыжики, грузди, набирал их в лукошко и приносил как закуску впрок для друзей. Все ходили друг к другу в гости — на водку, приготовленную по своему рецепту. Он выращивал подсолнухи и каждому из них давал имя знакомого писателя. Шмелев окреп и радовался тому, что хвори отступили. В конце октября 1929 года Иван Сергеевич и Ольга Александровна вернулись в Севр, а в апреле 1930-го они уже опять были в Капбретоне.

В целом 1929 и 1930 годы проходили в трудах. Он, будучи вместе с Борисом Зайцевым и Куприным в составе редакционного комитета газеты «Русский инвалид», хлопотал о публикациях. Ежемесячно газета издавалась с 1930 года, а до этого, с 1924-го по 1929-й, вышло в свет пять спецвыпусков. Ее основной целью была помощь ветеранам. Так она продолжила традицию «Русского инвалида», созданного по инициативе императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I, ради помощи инвалидам войны 1812 года. Ее идейным вдохновителем стал А.И. Деникин, в статье «Искание родины», опубликованной в газете, призывавший эмигрантов к единению. Ключевую позицию в редакции занимал П.Н. Краснов. Шмелев ревностно относился как к содержанию газеты, так и к самим публикациям. К тому, например, что изъяли из статьи И. Лукаша имя Ильина как участника «Русского инвалида», но в ней нашлось место автору «Последних новостей», которым был Дон-Аминадо. Изъяли материал трижды раненного Л. Зурова, которого Шмелев пригласил к сотрудничеству по инициативе Куприна. Он возмущен: Зурова — а он Божьей милостью талант! — изъяли, а А.П. Шполянского, то бишь Дон-Аминадо, числят участником «Русского инвалида»! Шмелев горячился. Ведь в Париже,

по сути, не было близкой ему газеты — такой, в которой понимали бы, что ругать Советы — занятие бессмысленное, поскольку суть большевиков всем и без того ясна, что программой должно быть воспитание читателя через постижение им современности и родного.

Главные силы уходили, конечно, не на газету. Вопреки отзывам недоброжелателей и просто снобов, в 1929 году вышла в свет его новая книга «Въезд в Париж», о которой не отозвались ни «Возрождение», ни «Последние новости». Комплиментарная статья появилась в газете «Сегодня» за 15 декабря. Ее автором был Пильский, называлась она «Иван Шмелев: О новой книге Шмелева “Въезд в Париж”».

По собственному признанию Шмелева, писать он хотел до муки. В 1927—1929 годах работал над новым романом «Солдаты». Наброски к нему появлялись и ранее — еще в 1924-м и 1926-м. Но в мае 1929 года Шмелев уехал в Капбретон и там полностью отдался этому замыслу, причем оставил работу над очерками о русском благочестии, которые впоследствии составили «Лето Господне». Бросил, потому что печатать их было негде. Так он сам объяснял решение посвятить время и силы «Солдатам». Возможно, на желание Шмелева написать роман о военных повлияли его хлопоты, связанные с «Русским инвалидом», и в целом с его участием в судьбе инвалидов. Несомненно, к работе над романом его побудила и судьба сына.

Шмелев уверял себя в том, что он должен, даже обязан написать этот роман, но он понимал, что тема эта слишком необъятная, что ей может соответствовать лишь эпопея. Он изображал армейский быт и армейское бытие, в котором были и репетиции парада, и предчувствия близкого выхода в лагеря, и запах солдатского варева... Шмелев не был военным человеком, поэтому каждую главу он читал Деникину, который указывал ему на неточности военного характера.

Супруга Деникина, Ксения Васильевна, вспоминала: «Так, его пехотные офицеры носили саблю или палаш; командир полка являлся на бал с револьвером у пояса, а штык висел прикрепленный к седлу кавалериста...»[339]

Но темой армии содержание романа не исчерпывалось, Шмелев писал вообще о солдатах родины — о тех, кто понимает необходимость вернуться к наследию Хомякова, Аксакова, Самарина, Достоевского, Леонтьева. По-видимому, Шмелев хотел дать в романе современных носителей национальной идеи. Мораль этого, так и не написанного, произведения заключалась в следующем: надо, чтобы все были верными солдатами России. Национально мыслящей интеллигенции он противопоставил интеллигенцию иную — «гнилье», «сексуалистов», картавящих молодых поэтов, морфинистов. Антимодернистские настроения писателя, его ирония по поводу эстетствующих, непочвенников, фиолетчиков — все это должно было найти свое отражение в романе.

Шмелев не был удовлетворен своей летней, 1929 года, работой над романом. Как он признался Ильину, в то лето он писал мало. Тем не менее «Солдаты» начали публиковаться уже в 1930 году в «Современных записках» (№ 41, 42).

Произведение — вернее, его появившаяся в печати часть — было встречено крайне недоброжелательно. На Шмелева обрушился поток ругани. В берлинской газете «Руль» от 21 мая 1930 года была высказана мысль о том, что «Солдаты» написаны скорее проповедником, чем художником. Федор Степун, заведующий в «Современных записках» отделом беллетристики, писал Бунину в марте 1930-го о романе уничижительно, впрочем, как и о писательских способностях Шмелева в целом: «...машет почем зря, одна фраза попадает в точку, а вто-

---

[339] *Деникина К.* Иван Сергеевич Шмелев // Памяти Ивана Сергеевича Шмелева. С. 26.

рая эту же точку к черту сшибает»[340]. Появились две отрицательные рецензии в «Воле России» и «Последних новостях», и в них роман называли реакционным и охранительным.

Вадим Руднев 2 мая писал своему соредактору по «Современным запискам» Марку Вишняку о черносотенном духе романа:

> Положительно в *ужасе* (за журнал) от шмелевских «Солдат». Виноваты кругом мы сами: после «Любовной истории» давали себе слово не брать у Шмелева ничего вслепую, не читая, — вот, на тебе, соблазнились. Вещь и с точки зрения художественной до крайности слабая (в линии последовательных уже *двух* плохих романов — свидетельствует о роковом декадансе Шмелева), но по своему черносотенному духу, с привкусом еще какой-то небывалой у нас в журнале полицейщины черносотенной (сцена ареста нелегального, напр<имер>), — положительно пахнет, нестерпима...
>
> Что делать? Как избежать еще неведомых для нас сюрпризов, которые таит в себе еще этот лубочный роман (для «Петроградской газеты») в духе пресловутого Кузьмы Крючкова только на любовно-полицейском фоне. Не вижу иного выхода, — кроме честно и прямо обращенного от редакции письма к Шмелеву, с изложением нашего огорчения. Понимаю, что это грозит нам в известной мере (легко с «Современными записками» уже не рвут!) даже разрывом, постоянным или временным. Готов и на это, чтобы освободить журнал от *двусмысленного* положения»[341].

Напротив, историк, критик Александр Александрович Кизеветтер, сотрудник «Современных записок», уверял Вишняка, что крик о бездарности романа — вздор, что «вещь

[340] С двух берегов: Русская литература XX века в России и за рубежом. М., 2002. С. 97.

[341] *Вишняк М.* «Современные записки». С. 131.

очень талантливая», что роман неугоден, так как хорошим тоном считалось «обливать военных презрением»[342].

У «Солдат» были и сочувствующие. Так, Шмелеву передали, как горячо поддержал его Василий Алексеевич Маклаков, автор трудов по истории русской общественной мысли.

Анализируя в 1957 году книгу Вишняка « "Современные записки": Воспоминания редактора», причины травли «Солдат» попробовал выявить сотрудник «Возрождения» Владимир Рудинский. Среди них он назвал монархические настроения Шмелева и его православие, «исконное, кондовое, наполняющее жизнь и само по себе являющееся политической программой, какое для левой интеллигенции неприемлемо решительно никак»[343]. Рудинский писал: «Отсюда явная враждебность к нему Вишняка, вероятно изначальная, но до времени скрывавшаяся под маской дружбы. <...> Религиозность Шмелева прямо-таки шокировала, раздражала Вишняка»; и далее:

> Все в Шмелеве ему не нравилось: его творчество «аффектировано», в письмах он «многоречив и велеречив», в своих «писаниях» он «злоупотребляет педалью». Тут надо коснуться другого пункта. Вишняк считал себя абсолютно компетентным изрекать неоспоримые суждения о писателях и их произведениях, даже если бы они шли вразрез с мнением публики и критики. <...> Тут совершенно ясно, что художественная сторона роли не играла. Важно было то, что Шмелев *осмелился* защитить историческую Россию против революции. *Этого* ему простить не могли. Шмелеву не дали закончить роман. <...> Мудрено ли, что после соответствующей обработки он свалился больной с неврозом сердца! За это время редакция «Записок» оборвала «Солдат» и поспешно начала печатать его же «Няню из Москвы». <...> Как много обещал

[342] Новый журнал. 1988. № 172—173. С. 515—516.

[343] *Рудинский К.* Поучительный опыт: Книга М. Вишняка о «Современных записках» // Возрождение. 1957. № 7. С. 100.

этот роман! Как не вспомнить острое, волнующе впечатление от него еще в начале жизни в эмигрантском Париже и горькое разочарование, когда нам сказали, что продолжения романа нет... И посейчас это разочарование нет-нет, да и шевельнется в сердце. Именно *такой* роман — художественная правда о революции, о ее кознях, необходим нам сейчас и вдвойне будет необходим будущей России[344].

Взяв под защиту роман, Рудинский писал «о своеобразном расизме»[345] редакции «Современных записок» по отношению к Шмелеву. Он указал верные причины недоброжелательного отношения редакции к автору. Дело в том, что сформировавшие журнал Н.Д. Авксентьев, М.В. Вишняк, А.И. Гуковский, В.В. Руднев, И.И. Фондаминский (Бунаков) — эсеры[346]. Публикация «Солдат» могла скомпрометировать журнал в глазах партии. Отсюда страх Руднева.

Вишняк в своих воспоминаниях признавал, что Шмелев был необходим журналу, испытывавшему нужду в беллетристических произведениях, — он классик, и редакция поощряла его отдавать им все написанное, но снобистский тон воспоминаний, их скрытая ирония говорят о лукавом отно-

[344] *Рудинский К.* Поучительный опыт: Книга М. Вишняка о «Современных записках». С. 101.

[345] *Там же.*

[346] Как сообщают исследователи истории «Современных записок», журнал: «был основан как периодический орган партии, члены которой не предполагали отказываться от идеалов своего революционного прошлого, что так или иначе наложило отпечаток на всю его историю. В Праге Керенскому на самом высоком уровне пообещали финансовую поддержку и содействие в издательской деятельности — было даже заключено официальное соглашение, которое подписал министр иностранных дел Э. Бенеш. Это финансирование, как и другие мероприятия чешской "акции" по отношению к эмигрантам, осуществлялось из средств вывезенной из России чехословацкими легионерами части государственной золотой казны, которая находилась у адмирала Колчака. Известно, что партия эсеров имела к этому непосредственное отношение». См.: *Михайлов О.Н., Азаров Ю.А.* Журнал «Современные записки»: литературный памятник русского зарубежья // Литература русского зарубежья. М., 2004. С. 6.

шении редактора к писателю: «...автор “Человека из ресторана” принадлежал, как-никак, к русским “классикам”»... как-никак... а «История любовная» пользовалась интересом у читателей, но «вещь малохудожественная»... романы Шмелева далеко не лучшее из того, что он написал, но «автор высоко расценивал все свои произведения, измеряя творческое достижение успехом произведения у читателя»... он корректен в деловых отношениях, но был уязвлен публиковавшимися о нем в «Современных записках» отзывами или молчанием на выход его книг[347]. Вишняк приводил фрагмент письма Шмелева:

> И что за горевой писатель И<ван> Ш<мелев>?! Когда появляется новая книжка И<вана> Б<унина>, Б<ориса> З<айцева> и др., — о них даются рецензии. Ну, как же это так? Правда, друзей у меня мало в левых кругах, но... «Amicus Plato»... Эх, надо бы мне левшой родиться!.. Впрочем, Господня воля, которой Вы, впрочем, не признаете. А посему протягиваю Вам правую руку (несмотря ни на что!) в надежде, что... и т.д.., имею честь быть все тем же (а кем, Вы знаете) Иваном Шмелевым![348]

И далее развивается коварная история — о книге Шмелева «Родное» для «Современных записок» пишет рецензию именно Адамович, пишет в снисходительном тоне о его заслугах беллетриста и о патриотической соляночке «Росстаней»... Шмелев в гневном письме Вишняку потребовал, чтобы в журнале больше не появлялись рецензии о нем, а Вишняк в своих воспоминаниях не без усмешки и с осознанием неоспоримости своей точки зрения отметил: писатель «для вящего нашего посрамления» прислал ему «ряд вырезок из

[347] *Вишняк М.* «Современные записки». С. 130, 129.

[348] *Там же.* С. 134. *«Amicus Plato»...*— «Платон мне друг»... («Платон мне друг, но истина дороже»).

газет, в которых видные ученые и литературные критики отзывались более чем хвалебно о его писаниях»[349].

Вокруг Шмелева явно разворачивалась недостойная возня. Редактор прикрывался сентенциями о свободе слова рецензента, но по сути погряз в интриге.

Против Шмелева в редакции было направлено и перо З.Н. Гиппиус, которая писала о нем, «слишком русском» — так что «ложка стоит, а глотать — иной раз и подавишься», потому как «чувства меры не имеет никакого»: «По-русски безмерное — святое — бурление души заставляет его забывать и о писательском целомудрии, которое в иные времена смыкает уста художника. Кипит в сердце, через край хлещет, как тут думать о мере!»[350] Слишком русский — это плохо или хорошо? Ответ был найден давно. В ранней работе Мережковского «Грядущий Хам» (1906) говорилось о беде русской интеллигенции — и беда эта «не в том, что она недостаточно, а в том, что она *слишком русская*, только русская»; в союзники был взят классик: «Когда Достоевский в глубине русского искал “всечеловеческого”, всемирного, он чуял и хотел предупредить эту опасность»[351]. Мережковский словно не видел, что Достоевский не только искал, но и нашел эту «всемирность» и именно как проявление «русского».

Письма от Руднева не потребовалось: автор сам забрал роман, объяснив свое решение нездоровьем. Первого июля 1930 года Шмелеву вспомнилось: в 1895-м, первого июля, он развернул «Русское обозрение» и увидел на его страницах свой первый рассказ. Это было за две недели до его свадьбы. И, вспомнив, заплакал — от боли за все, что произошло.

[349] *Вишняк М.* «Современные записки». С. 134.

[350] *Антон Крайний.* Литературная запись. Полет в Европу // Современные записки. 1924. № 18. С. 131.

[351] *Мережковский Д.С.* В тихом омуте. М., 1991. С. 371.

Подошла Ольга Александровна, поцеловала его в голову, и он увидел, что и в ней — эта боль. Тяжело, так тяжело…

Он уверял себя, что «Солдаты» им не брошены, а лишь отставлены. Он говорил себе, что для «Солдат» нужна сила, а силы нет даже физической: лечился почти три месяца, сделал сорок инъекций мышьяка. Вообще он испытал странное состояние — и хотел писать, и не мог, чувствовал, что не готов.

Неурядицы и обиды плодились. Борис Зайцев собирает подписи под коллективным письмом писателей по поводу полемики о Маяковском (великий он поэт — или похабник?..), а Шмелева обходит… Итальянцы издали три книги Шмелева — и даже не прислали их… Не отпускала тревога. Она появилась еще в начале 1930 года. А именно — 8 февраля.

В этот день он как-то вдруг решил, что будет следующим за генералом Кутеповым, похищенным агентами ОГПУ. За три-четыре дня до этого в Севре его посетил Деникин и посоветовал быть осторожным, например не ходить одному. Деникин уверял, что располагает некими сведениями… Можно лишь предполагать об источнике сведений. Очевидно, это Александр Павлович Кутепов, руководивший Русским общевойсковым союзом (РОВСом), после смерти Врангеля. Кутепов через своего агента вел опасную информационную игру с советским посольством. В ноябре 1929 года состоялся разговор Деникина и Кутепова. Деникин вспоминал: «То, что мне рассказал затем мой собеседник, потрясло меня. Номер телефона одного из агентов с точностью до одной цифры совпадал с номером советского посольства, но случалось, что телефонисты ошибались. Совсем недавно произошло следующее недоразумение: агент получил сообщение по-русски, предназначенное для одного из членов посольства. Продолжая игру, он притворился, что он и есть этот человек. Ему назначили свидание в определенном месте и в определенное время с целью передать ему чемодан (!). Кутепов поручил это дело своему брату; тому передали пакет. Документы,

содержавшиеся в нем, в настоящее время расшифровываются, некоторые уже были раскодированы. Они представляли большой интерес: речь шла о советских шпионах, работающих под видом белоэмигрантов»[352]. Деникин заподозрил в этой истории провокацию. Во всяком случае, Кутепов был похищен через два месяца. Возможно, сопоставление неких фактов, переданных Кутеповым, побудило Деникина предупредить Шмелева об опасности.

Потом Иван Сергеевич понял, что уклонился от расправы только благодаря чьим-то молитвам, высшему заступничеству.

Что-то словно выдавливало Шмелева из нормальной жизни. Пред ним будто представал некто, говорящий ему: «Вы, Иван Сергеевич, не наш, Вы чужой… Вы, Иван Сергеевич, — отработанный материал…. и романы Ваши, да и рассказы Ваши — малохудожественны… и сейчас уже так не пишут…» В июле 1930 года в «Последних новостях» вышли «Листки из дневника. Бывшие люди» Милюкова, и там Шмелев и Бунин были названы бывшими людьми.

В печати твердили о новых художественных школах, рядом с которыми старики не выживут. Никак не выживут. Собственно, их литературные похороны начались давно. Еще в 1924 году Марк Слоним выступил в «Воле России» со статьей «Живая литература и мертвые критики», в которой констатировал: в эмиграции нет нового художественного течения, даже старые русские беллетристы захирели. И вот в 1931 году в том же журнале появилась статья того же Слонима «Заметки об эмигрантской литературе», в которой автор заявлял о конце русской литературы — она свелась лишь к воспоминаниям. Он нападал на писателей старшего поколения, в том числе на Шмелева, Зайцева, Куприна, Мереж-

[352] Цит. по: *Грей М.* Мой отец генерал Деникин. С. 259—260.

ковского, Бальмонта, — они-де не станут руководителями новой художественной школы.

Но никто и не претендовал на эту роль.

Рядом со Шмелевым выросло племя молодое, незнакомое, племя прозаиков, которое его не очень-то интересовало. Василий Яновский, писатель из новых, позже вспоминал о той пропасти, которая образовалась между стариками и молодыми: «Знаю, что и Куприн, Шмелев или Зайцев тоже не считали наши творения достойными внимания, что шепотом и высказывали неоднократно. Во всяком случае, они никого не поддерживали»[353]. Из новых Шмелев выделял Леонида Зурова, писателя бунинской школы, высоко ценил его талант и многого от него ожидал. Но в целом молодые не были ему интересны. Набокова-Сирина, конечно, читал, но не принимал его «ребусов»: ни он, ни прочие ничего не дадут России!.. у Сирина нет Бога во храме, а есть только мускулы!.. В письме к Ильину от 5 августа 1935 года Шмелев писал, что отравился набоковским «Приглашением на казнь»: «Что этт-о?! Наелся тухлятины. А это… “мальчик (с бородой) ножки кривит”. Ребусит, “устрашает буржуа”, с<укин> с<ын>, ибо ни гроша за душой. Все надумывает. Это – словесн<ое> рукоблудие. <…> Весь — ломака, весь — без души, весь — сноб вонький. Это позор для нас, по-зор и — похабнейший»[354].

В одном из писем Бунину Зайцев, явно не расположенный замечать, как множатся литературные силы, обмолвился о «маленьком нашем писательском племени», а Шмелеву сетовал на то, что надо бы утешить русскую словесность, ей «туго», «хам все плотнее наступает», а писатели живут разбросанно, да «и осталось нас кучка»[355].

---

[353] *Яновский В.С.* Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 80.

[354] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 87.

[355] Письма Б. Зайцева И. Бунину от 6.08.1932 и И. Шмелеву от 11.10.1933 // *Зайцев Б.* Письма. 1923—1971. С. 78, 83.

Зайцев же в 1931 году ответил Слониму статьей «Дела литературные». Он указал Слониму на его демагогию. Ясно, что Слоним, писал Зайцев, «не любит, просто терпеть не может нас — это его право», но верно ли, что эмигрантская литература сплошь состоит из воспоминаний? Эта струя сильна, но далеко не единственная. «Литература эмиграции выросла на почве христианской культуры. <...> Божий мир полон, глубок, трагичен, грозен, иногда непонятен, но он не есть пошлость и не есть плоскость», не есть «ни *царство термитов*, ни скотный двор»[356]. Очевидно, имелась в виду книга М. Метерлинка «Жизнь термитов», в которой К. Мочульский («Звено». 1927. 27 февр.) проницательно увидел в образе муравейника подобие системного и плоского социального устройства, в жертву которому принесена личность.

Литературная ситуация складывалась не в пользу традиционных литературных форм. «Современные записки», как и «Последние новости», одергивали Шмелева, противопоставляли ему Марка Алданова, но и о писателях противоположного стана критики отзывались нелестно, и евразиец Дмитрий Святополк-Мирский в 1929 году заметил об Алданове: «ни с какой натяжкой его нельзя назвать большим романистом (да никто и не называет)»[357].

Как результат литературной ситуации 1920—1930-х годов появилась в 1937 году книга Владимира Вейдле «Умирание искусства», и в ней справедливо говорилось о кардинальных изменениях в европейском романе: стало неинтересно создавать живых людей, на смену беллетристике в романе возобладали философия и идеология. В статье «Мысли о романе» (1930) Х. Ортега-и-Гассет просто заявлял о том, что Баль-

[356] *Зайцев Б.* Дела литературные // *Зайцев Б.* Собр. соч.: Дни. С. 121.

[357] *Святополк-Мирский Д.П.* Заметки об эмигрантской литературе // *Святополк-Мирский Д.П.* Поэты и Россия: Статьи, рецензии, портреты, некрологи / Сост. В.В. Перхин. СПб., 2002. С. 149

зак невыносим, его произведения — «худосочный подмалевок», он рассказывает о жизни, а ее надо «представлять во плоти»[358]. Для него единственная возможность писать по-новому — идти за Прустом, Джойсом. Вейдле называет свой пример для подражания — это Белый, но и Пруст, и Джойс, которые в своих произведениях отражают реальность собственного «я», вспышки своего сознания; в их окружении он видел Набокова. Ремизов в 1931 году, отвечая на вопросы анкеты «Новой газеты», говорил о появлении в русской литературе писателей с европейской закваской, что естественно для эмигранта — эта закваска впитывается через язык, через литературу в оригинале.

Но ни Шмелева, ни Бунина, ни Зайцева не удивить представлением жизни «во плоти», созданием ее образа через собственное восприятие — так они писали уже в 1900—1910-х годах, в таком видении мира и заключался неореализм. Пруст повлиял на новую русскую прозу, но не на стариков. Его роман «По направлению к Свану» вышел в 1913 году — когда создавались рассказы русских неореалистов. При явном сходстве повествования Пруста и «Росстаней», «Пугливой тишины», Шмелев считал — и это видно из его ответов на анкету 1930 года, — что увлечение Прустом модное, случайное, «наша дорога столбовая, незачем уходить в аллейки для прогулок». Кроме того, он не без основания считал, что на манеру Пруста оказал влияние не кто иной, как Л.Н. Толстой. Например, он сравнивал эпизоды смерти бабушки у Пруста и Андрея Болконского, Ивана Ильича. Не без основания, потому что в призывах описывать не жизнь, а впечатления, восприятия, действительно, звучала толстовская мысль: человеку все дается его «способностью восприятия впечатлений»[359]. И не случайно Вересаев в «Живой жизни» обратил

---

[358] *Ортега-и-Гассет Х.* Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 250.

[359] *Толстой Л.Н.* Философский дневник. С. 340. Запись от 13.01.1908.

внимание на близость эстетических установок Толстого и Бергсона, считавшего, что интеллект не в состоянии понять жизнь, а интуиции это под силу. Да и Розанов («Л.Н. Толстой», 1908) писал о живом впечатлении в произведениях Толстого, о том, что у него предметы живут, как хотят, не подчиняются его воле.

Старики могли писать так, как начала делать это Европа. Они так и писали. Но они еще и хотели сохранить русскую ментальность. Потому Зайцев и сказал в «Делах литературных»: «Дело не в одном новом жизнеощущении (Пруста или Джойса). Дело в некотором отходе от стихии русской речи — отходе естественном и неосудимом. Нельзя впитывать то, чего вокруг нет. Впитывается иноземное. <...> И при всем том, ослабление, даже порча самого русского языка»[360]. Потому И. Ильин, выступивший в 1927 году со статьей «Кризис современного искусства», считал, что проблема культуры — в разложении ее «подпочвенных основ»[361] и оскудении духа.

Старикам было под силу в так называемой новой, сугубо интимной и импрессионистской, манере передать ощущение русского мира. Шмелев это блистательно сделал и в «Богомолье» (1930—1931), и в «Лете Господнем» (1933—1944).

[360] *Зайцев Б.* Дела литературные. С. 123.

[361] *Ильин И.* Кризис современного искусства // ЭОН. Альманах старой и новой культуры. IV. М., 1996. С. 9.

17-2280

XII. *«Богомолье»* *Вокруг Нобелевской премии* *О Германии и будущем Европы*

Господи, пособи! Так Шмелев говорил, когда писал «Богомолье». Не раз при этом появлялось желание уйти на Афон, научиться молиться. Когда молился, становилось легче. Молился, как умел. «Богомолье» — его молитва. «Богомольем» он спасался от мрака дней.

Наслаждаясь капбретонской природой, вдыхая пропитанный смолой воздух, взирая на небо и океан, представляя и ощущая первозданность мира, Шмелев сознавал собственную чужеродность на галльском празднике жизни. Как-то в сентябре 1929 года он, радуясь великолепию природы, вдруг остро почувствовал боль потери: неужели все утратили?.. Он ловил пескарей, а думал о том, как сами русские превратились в пескарей, оказались на крючках и пескарят по всему миру. Запад не был ему духовно родным. «Воздуху мне нет, я чужой здесь, в этой страшной шумом Европе. Она меня еще больше дырявит, отбивает от моего. Хоть в пустыню беги — на Афон — ищи Бога, мира, покоя души»[362], — высказал он близкому ему человеку, журналисту и критику Владимиру Феофиловичу Зеелеру в письме от 10 февраля 1930 года.

[362] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 95.

Ностальгия побудила писать об устоях и о детском. В июле того же года признался себе в том, что через «Богомолье» хотел найти себя забытого, найти пропавшее.

В 1929-м, узнав о разрушении часовни Иверской Божией Матери, ужаснулся бездействию народа, тому, как разложились в нем подпочвенные основы. Он задавал себе вопрос о природе молчания народа — и не винил мужика, представлял себе трагическую судьбу крестьянства в Советской России, но был непримирим к рабочим, поддержавшим, как он полагал, Советскую власть. В письме к Ильину от 20 августа 1929 года Шмелев говорил о том, что родину съедает сифилитический насморк; с ним же в письме от 5 января 1930 года делился жуткими предчувствиями: «откроется картина мирового рабства», материя «закандалит», толпу можно держать «одним пулеметом», «капралы с палками найдутся», «брюхоползы» найдутся[363].

6 августа 1929 года он получил письмо от Бальмонта:

Дорогой Иван Сергеевич,

Есть многое, что Вы и я, мы чувствуем тождественно. Все эти дни, после прочтения чудовищной вести о Иверской Божьей Матери, я в пронзенности, но и в презрении к тем единокровным, что так просто сносят все, что с ними делают. Ваши восклицания — мои восклицания. Ваш гнев — мой гнев. Тут нужны Радковичи и Захарченки. Тут нужны кинжал, револьвер и динамит.

Красующийся мавзолей Извергу и ушедшая от Москвы Она, Благословенная, — да что же осталось в этом опоганенном месте, если у людей выкололи глаза и вместо них вставили им дьявольские глазелки!

Будет гром. Будет молния. Будет гроза... <...>

Ваш *К. Бальмонт*[364].

[363] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 165.

[364] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 113.

Разрушение святыни побуждало к мысли о сопротивлении злу силою, для чего нужны были Г. Радкович и М. Захарченко — участники РОВСа. Шмелев был далек от РОВСа. Он делал то, что умел. Участь часовни обострила тоску о прошедшем — он обратился к теме устоев русской жизни.

Шмелев полагал, что если когда и написал что путное, так это «Богомолье». Пока работал, испытывал растерянность: где издавать? Публиковать в общем-то было негде. Из «Возрождения» ушел, а «Россия и славянство» не может печатать его часто — ведь параллельно он писал очерки для «Лета Господня». Да и платят там мало: 300 строк по одному франку за строку, а свыше 300 — бесплатно. Но и этот гонорар выплачивался нерегулярно, с большими задолженностями. А еще удивляло и рождало сомнение вот что: «Россия и славянство» думает, издавать или нет Шмелева, в то время как об «Ангеле смерти» (1927) Ирины Одоевцевой пишет как о явлении. И все-таки впервые, в 1930—1931 годах, «Богомолье» было опубликовано на страницах «России и славянства». Потом, в 1935-м, оно издано в Белграде, в «Русской библиотеке», а второе, отдельное, издание осуществлено в 1948-м в Париже. После убийства югославского короля Александра I Шмелев посвятил книгу его памяти.

«Богомолье» эмиграцию захватило. Оно стало культовым, как впоследствии и очерки «Лета Господня», произведением эмигрантов. Оба текста связаны между собой, первая глава «Богомолья» предназначалась для «Лета Господня». Вдова Бальмонта через неделю после смерти поэта рассказала, что за четыре дня до кончины он попросил ее почитать ему «Богомолье»: то была тяга к вечному, родному, как она говорила. Шмелеву рассказывали о том, как Вас.И. Немирович-Данченко в последние дни перед кончиной читал «Богомолье». За несколько дней до смерти митрополит Антоний (Храповицкий) пожелал, чтобы ему читали «Богомолье».

Шмелев верил в то, что «Богомолье» будет жить в русской литературе, что оно останется особым и неповторимым фрагментом в его жизни. «Богомолье» написано талантливо.

В этой повести выразилась родовая культура Шмелева. 27 января 1923 года Бунин, разговаривая со Шмелевым о поэтах, высказал мнение о том, что особое значение в творчестве имеет наследственность. Вера Николаевна вспоминала: Шмелев поначалу был задет, но Бунин объяснил, что имеет в виду духовность в наследстве. Бунин сказал: «Вот и ваш талант объясняется, м.б., тем, что предки ваши были староверами, жили духовно, боролись из-за веры. Тут уже начинается культура»; Шмелев, согласившись, «говорил, что он думал о влиянии на литературу церкви, духовных служб, что они играли в жизни писателей большую роль»[365]. В «Богомолье» проявился духовный смысл жизни обитателей Замоскворечья.

«Богомолье» — повесть о родном, и оно явило глубину христианской традиции в литературе, с одной стороны, с другой — изначальную, естественную тягу человека к духовному пониманию мира. Работа была радостной, но проходила трудно. Шмелев сообщал Ильину, что надо для «Богомолья» написать четыре очерка, но самочувствие скверное: пьет фосфаты, бромистое, а работа продвигается еле-еле. Когда принялся писать первый очерк, растревожился. Он понимал, перед какими трудностями стоит: решил дать образ России, крещеного народа, а потому и хотел, чтобы получилось нечто вроде поэмы, эпоса, сказанья.

Шмелев писал «Богомолье», словно обратившись в ребенка. Сколько раз он признавался себе в том, что не может постичь веры через ученость. Он читал православных учителей, религиозных философов и просто философов, но все же был ведом религиозной интуицией. Так верят дети. Так и

[365] Устами Буниных. Т. 2. С. 107.

Шмелев верил в детстве. Русская жизнь в повести передана через ощущения мальчика. В доэмигрантском рассказе «Лихорадка» (1915) герой говорил о Боге «детском, добреньком». Вот так наивно и просто Шмелеву и сейчас захотелось верить в промысел, в доброго Бога. Вспоминая, как читал Бальмонту «Богомолье», писал: «...приоткрываю детство, вызываю»[366]. Книга написана от лица мальчика Вани. Ваня, конечно, образ автобиографический. Узнаваемы и другие персонажи.

Рассказывается о паломничестве по большой Переяславской дороге в Троице-Сергиеву лавру Вани, его домашнего наставника — старого плотника Горкина, бараночника Феди, кучера Антипушки, толстой банщицы Домны Панферовны и ее внучки Анюты — тихой девочки-куколки. Время действия — предположительно лето 1879 года. Паломники, помимо Троице-Сергиевой лавры, посещают и близлежащие святыни, например Черниговский скит.

Шмелев ненавязчиво, тонко дал почувствовать тихий восторг мальчика от ощущения того, что мир — единый для него и для Преподобного Сергия. Преподобный — Ваня это знает — будет рад тому, что паломники отправятся в путь на лошадке Кривой: ведь Преподобный хозяйствовал лошадками. «Господи, и Кривая с нами! Я забираюсь в денник, к Кривой, проползаю под ее брюхом, а она только фыркает: привыкла. Спрашиваю ее в зрячий глаз, рада ли, что пойдет с нами к Преподобному». Ласковый мир наполнен родными запахами. Люди тоже родные. Мальчик доверчив и к Богу, и к отцу, и к Горкину.

Паломники встречают богомольцев, слушают истории о чуде. Эта наиреальнейшая жизнь вообще чудесна. Ване за десять верст до Лавры привиделась розово-золотая троиц-

[366] Цит. по: *Кутырина Ю.А.* Из переписки К.Д. Бальмонта и И.С. Шмелева // Возрождение. 1960. № 108. С. 38.

кая колоколенка. Чудесной была случайная встреча в Сергиевом Посаде с Аксеновым, который вместе со своим отцом мастерил ту самую тележку, на которой ехали паломники: «Вас сам Преподобный ко мне привел». И такое наслаждение оттого, что человек ведом Преподобным!

И отец Варнава такой родной. В черниговской церкви он благословил Ваню кипарисовым крестиком: «...вижу я светлое, ласковое лицо, целую крестик, который он прикладывает к моим губам, целую бледную руку, прижимаюсь губами к ней». Варнава (1831—1906), знаменитый старец Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры, значителен для русского мира, в нем видели духовную близость с Серафимом Саровским, к нему за утешением стекался народ со всей России, он был духовным водителем К. Леонтьева, похороненного на территории скита, до 1890-х под влиянием старца был В. Соловьев...У Шмелева Варнава — ласковый, утешитель: «...кажется мне, что из глаз его светит свет. Вижу его серенькую бородку, острую шапочку-скуфейку, светлое, доброе лицо, подрясник, закапанный густо воском. Мне хорошо от ласки, глаза мои наливаются слезами, и я, не помня себя, трогаю пальцем воск, царапаю ноготком подрясник». Шмелев показал крещеный народ в поиске утешения. Множество людей идет к мощам Сергия, к Варнаве.

И повседневность за стенами Лавры тоже пронизана духовным. Вот бараночник Федя, кудрявый и румяный богатырь, красавец, характер — лен. Он на клиросе поет ладно, он богомольный. Его отец три дома на баранках нажил, а Федя собрался в обитель — но Варнава не благословляет его идти в монастырь: «баранки лучше пеки с детятками!», «в миру хорошие-то нужней!..» Эта мысль дорога Шмелеву. Возможно, он укрепился в ней еще в пору своего увлечения Толстым, поучавшим: в отречении от жизни нет жизни. В «Богомолье» есть образ земного, такого плотяного, такого мирского дьякона от Спаса в Наливках. Он «веселый, красный,

из бани словно, в летнем подряснике нараспашку, волосы копной, и на нем ребятишки виснут, жуют оладушки», он предлагает паломникам перцовки. А в троицких блинных палатках «везде-то едят-едят»! Такая неразрывность быта и духа!

Человек слаб. Горкин говорит, что дитя рождается с ангельской душой, а потом обгрязняется, душа его становится черная, вонючая, до смрада. На Домну Панферовну «бес накатил», она кричит на своих попутчиков, Горкин ссорится с трактирщиком, попадаются мошенники-нищие, в Троицком соборе народ давится («Господи, и с детями еще тут... куды еще тут с детями! Мужчину вон задавили, выволокли без памяти... куды ж с детями?!»), встречаются по пути охальники, дурные и опустившиеся. Но лавра — «банька духовная».

Удивительно, что тогда же, в 1930-м, Куприн написал рассказ «У Троице-Сергия» — тоже о паломничестве ребенка в Троице-Сергиеву лавру, тоже о детском постижении крещеной России, о двуипостасности русского мира, христианского и повседневного, бытового. Мирской Посад — это домишки-скворечники, толстые румяные посадские вдовы, извозчичьи сани, косматые жеребцы... Такой же мещанский Посад и в «Богомолье»: веселые домики, как дачки, улицы в траве, по заборам крапива, в окошках — герани и фуксии, кисейные занавеси, клетки с чижами и канарейками, на березах скворечники; мотают головами лошади, «от колясок чудесно пахнет»; девчонки суют «тарелки с земляникой, кошелки грибов березовых». У Куприна есть угощающий паломников чаем отец Леонид — земной, родной, как дьякон от Спаса-в-Наливках. Куприн передавал свои детские ощущения от дырявого холщового веретья, в которое облачался Преподобный Сергий в годины бедствий, от раки Преподобного, от пахнущей миром холодной парчи, к которой прикоснуться было жутковато и доверчиво, от паникадила и огня восковых свечей. И у Шмелева читаем: «Мне страшно. Бледный палец высокого монаха, с черными горошинами четок,

указывает мне прошитый крестик из сетчатой золотой парчи на розовом покрове. Я целую, чувствую губами твердое что-то, сладковато пахнущее миром. Я знаю, что здесь Преподобный Сергий, великий угодник Божий».

Оба в ощущениях передали сердечную, не умствующую веру. Детскую веру. И народную. Шмелев точно знал, что такого Горкина никто, кроме него, не создаст! Горкин неповторим! Он простодушен, умен, чист. И Куприн также верил — наивно, как веруют плотники, солдаты, деревенские бабы, пчеловоды; он сам так писал о своей вере в рецензии на книгу Д. Мережковского «Иисус Неизвестный» (1932—1934). Шмелев сообщил Ильину 6 августа 1932 года, что хочет дать к «Богомолью» эпиграф «О, вы, напоминающие о Господе, — не умолкайте» (Ис., 62, 6) — это о Горкине: «Мой Горкин глупенький этим и жив только был, сам того не разумея. А ныне “напоминающих”... ой, как мало! Впрочем, вон Мережковский все понимает, все “Лицо” ищет, и удачно устроился, в соавторстве т<ак> с<казать> со Св. Духом — прости мне, Господи! Чешет из Писания, шепчет-лепечет, переписывает, закручивает-гадает, и так, и эдак, ан и превеликия книги получаются. Но Пифия сия, как жучок книгоед, — сам только питается-развлекается, да книги портит»[367].

Ивана Сергеевича ждало великое изумление — Мережковские «Богомолье» приняли. Десять лет они не переписывались со Шмелевым, но в 1935 году он послал Гиппиус просьбу предоставить материалы для публикации в опекаемые им издания, и 29 марта получил от нее письмо:

Дорогой Иван Сергеевич,

Я только что хотела писать вам, когда получилось ваше письмо. Конечно, мы оба, с радостью, дадим вам что-нибудь

[367] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 290.

подходящее, пошлем по указанному адресу и очень благодарны Вам за добрые строки. Но я хотела написать Вам раньше по поводу Вашего «Богомолья». Непередаваемым благоуханием России исполнена эта книга. Ее могла создать только такая душа, как Ваша, такая глубокая и проникновенная Любовь, как Ваша. Мало знать, помнить, понимать, со всем этим надо еще *любить*. Теперь, когда мы знаем, что не только «гордый взор иноплеменный» нашего «не поймет и не оценит», но и соплеменники уже перестают глубину правды нашей чувствовать — Ваша книга — истинное сокровище. Не могу Вам рассказать, какие живые чувства пробудила она в сердце, да не только в моем, а в сердце каждого из моих друзей, кому мне пожелалось дать ее прочесть.

Хотя это не только «литература», а больше, — я жалею, что теперь не прежние для меня времена, и я не имею места, где могла бы написать об этой книге. Конечно, ее нельзя пересказывать, но отметить ее драгоценность, истинность лика России, который она дает, — для этого я, вероятно, могла бы найти нужные слова. Поэтому сегодня так особенно и сетую я, что негде больше сказать о том, о чем хочется… и, может быть, необходимо.

Крепко жму Вашу руку, примите мой сердечный, искренний привет и сердечную благодарность за всю эту прелесть Вашего «Богомолья».

Низкий поклон от нас обоих.

Ваша З. Гиппиус-Мережковская[368].

Конечно, «Богомолье» Шмелев Мережковским не подарил, они получили книгу из белградского издательства. Письмо Гиппиус его поразило и — обрадовало. Он признался Ильину 30 марта 1935 года: «…не могу не пройтись эдаким кубарьком враскачку»[369]. Письмо Гиппиус он воспринял как

[368] Иван Шмелев: Отражения в зеркале писем. Из французского архива писателя С. 127.

[369] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 38.

свою победу: если уж ее «Богомолье» так впечатлило, то оно точно «омолит» и «обогомолит»[370] других. Ильин был столь же удивлен письму Гиппиус, как и тронут: «Молодец, старушенция. И честно так обратилась. А фараон — промолчал? Невесте поручил?»[371] Фараон — это Мережковский.

Алданов, который также не числился в сочувствующих Шмелеву и которого Шмелев считал писателем без любви и страсти, писателем для культурных обывателей, учеником приготовительной школы Л. Толстого, признался ему: «Какая превосходная в чисто-художественном отношении книга! Ваше мастерство поразительно, — пишу Вам только для того, чтобы Вам это сказать и сердечно поблагодарить за доставленное мне наслаждение»[372].

Тем более радушно было воспринято «Богомолье» близкими. Н. Кульман в рецензии на белградское издание отметил: «Купеческую среду русский читатель знал почти исключительно по Островскому, она представлялась ему “темным царством” с грубостью нравов, жестоким произволом, лицемерным благочестием, отлично уживавшимся с самой преступной греховностью», а изображенный Шмелевым мир если и «не отличался высоким образованием, то был внутренне культурен, нравственно здоров, национально стоек»; язык книги – «безыскусственная простота, точность, ясность, музыкальность», ритм спокойный, величавый, гармонирующий с содержанием; В «Богомолье» «все гармония, все у места, нет ничего лишнего»[373]. П. Пильский подчеркивал в стиле «Богомолья» традиции «Жития протопопа Аввакума» («Сегодня». 1935. 14 марта). Зайцев «плакал-читал»[374]. И не только он. Бальмонт писал Шмелеву 8 марта 1931 года: «А сей-

[370] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 38.
[371] Письмо И. Шмелеву от 5.04.1935 // *Там же.* С. 41.
[372] Цит. по письму И. Шмелева к И. Ильину от 18.07.1935 // *Там же.* С. 83.
[373] «Современные записки». 1935. № 57. С. 465—466.
[374] Письмо И. Шмелева И. Ильину от 15.04.1935 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 44.

час я читал Елене, с волнением, Ваше “Богомолье” и не скрою, что раза два голос пресекся и слезы, которых не стыдно, — и все же немного стыдно, — брызнули из глаз. От парня больного и, как день, открытых, простых и святых слов Горкина. Федю Вашего поцеловать хочется. В Шуе, в Гумнищах, в Москве на реке-Москве был я, читая эти строки. “Молодец!” — невольно воскликнул я, прерывая чтение, и в ладонях обеих рук я почувствовал утоление радости от того, что Федя сбросил в воду окаянных охульников и досыта искупал их чертовские хари. Душа отдохнула»; Бальмонт понял, почувствовал и грусть Шмелева «от того, что застыдившийся своего, — уже преображенного, но еще не подкрепленного рукоположением Старшего, — лика, Федя как бы уже ушел, прекрасно и угадчиво до предельности, до пронзительной остроты»; Бальмонт эту линию считал лучшей в повести, а если и не лучшей, то *«хлебным квасом»*, и в конечном итоге решил, что лучшее в «Богомолье» — «все, каждая подробность, переселяющая в картину и делающая взрослого ребенком»; Шмелев же — «исконно русской души», «вздымает над сатанинским маревом»[375].

В 1935 году в «Возрождении» появилась статья Ильина «Святая Русь. “Богомолье” Шмелева», и в ней «Богомолье» было названо исповедническим произведением. Теперь интеллигенция перестанет произносить «Святая Русь» с иронией, а она Святая не потому, что в ней нет грешников и порока, а потому, что есть жажда праведности; Шмелев показал не идиллическую Русь, а настоящую, подлинную; в его повествовании «все просто, как сама Россия, как русская душа, как русский быт»; наконец он писал: «*Так* о России не говорил еще никто. Но живая *субстанция Руси* — всегда была именно такова. Ее прозревали Пушкин и Тютчев. Ее осязал в своих неосуществленных замыслах Достоевский.

[375] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 116.

Ее показывал в своих кратких простонародных рассказах Лев Толстой. Ее проникновенно исповедовал Лесков. Раз или два, целомудренно и робко, ее коснулся Чехов. Ее знал, как никто, незабвенный Иван Егорович Забелин. О ней всю жизнь нежно и строго мечтал Нестеров. Ее ведал Мусоргский. Из нее пропел свою серафическую всенощную Рахманинов. Ее показали и оправдали наши священномученики и исповедники в неизжитую еще нами, революционную эпоху. И ныне ее, как никто доселе, провел Шмелев...»[376]

Успех был абсолютный, но Шмелева оскорбило то, что Адамович сопоставлял «Богомолье» с произведениями М. Осоргина. По его мнению, полярность позиций его и Осоргина в описании России очевидна. По сути, обида Шмелева проистекала от насущного для эмигрантских споров вопроса о том, какая Россия подлинная: та, что описана Шмелевым, или — Осоргиным, канонизировавшим, романтизировавшим террористов. Для непримиримого Шмелева Осоргин — «хам из хамов, гад из гадов», он роется в архивных «фактиках» и наполняет их «ядом пошлости»: «...все, что только было грязного и уродливого когда-то, в хронике дней-годов, он, гад, ставит под увелич<ительное> стекло, добавляет выдумкой, ехидничает и подносит: вот — “былая Россия!”»; в творчестве Осоргина он усмотрел «злую болезнь», «клевету», «пляску на костях мучеников», даже «продолжение большевизма»[377].

В творческой судьбе Шмелева начался новый этап. Он писал о благородстве русской породы, как говорится в гоголевских «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847); но если Гоголь все же отказался от второго тома «Мертвых душ», в которых благородство это изображалось, посчитав, что том этот приведет человека к хвастовству, а

[376] *Ильин И.* Одинокий художник: Статьи. Речи. Лекции. М., 1993. С. 126.
[377] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 65, 66.

хвастовство так и бросит его прямо в руки к черту, то Шмелев, напротив, посчитал, что подобная «Богомолью» проза приведет читателя к Богу и напомнит ему о родном.

Все более обращаясь к духовным началам русского человека, Шмелев определил для себя истину: в миру хорошие нужней. Не стараясь найти покой за церковными стенами, оставаясь в миру, он со страстностью писал о русском и родовом. В 1931 году в Белграде вышел сборник его рассказов «Родное. Про нашу Россию», и в них говорилось о том, что у старой интеллигенции был инстинкт к родному, потому и росло государство.

Шмелев по силе таланта, по своей востребованности у читателей стал одной из ключевых фигур в русском рассеянии.

В 1931 году его имя появилось в русском проекте Нобелевской премии. До этого на Нобелевскую премию претендовали Бунин и Мережковский. Отношения Бунина и Шмелева осложнились.

Решившийся на выдвижение Шмелев предчувствовал бунинский сарказм и писал по этому поводу Ильину: «И смешно мне, Бунин, пожал<уй>, горделиво скажет: куда конь с копытом... — “на скачках”»[378]. Он и сам сомневался: стоит ли? куда в калашный ряд? Галина Кузнецова вспоминала, как уязвлен был Бунин решением Шмелева, его это «почти оскорбило»: «Да ведь это смехотворно!»[379] Он раздражался: в Нобелевском комитете «пресерьезно думают, что даже, например, Шмелев замечательный писатель»[380]. Раздражение Бунина усиливалось и тревогой о здоровье наследника Нобеля, его внука Э. Нобеля: кровоизлияние в мозг и возможная смерть могли помешать осуществлению проекта.

---

[378] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 191.

[379] *Кузнецова Г.* Грасский дневник. С. 210.

[380] *Бонгард-Левин Г.М.* Четыре письма И.А. Бунина М.И. Ростовцеву // Скифский роман. М., 1997. С. 300.

Страстность Шмелева известна. Но эмигранты хорошо знали и о нетерпимости Бунина. Куприн как-то заметил: «Бунина я люблю как огромного писателя. Люблю в нем нашу незабываемую молодость. Люблю в нем внутреннего человека. Но не люблю такого, каким он хочет казаться, к своей собственной невыгоде»[381]. Шмелев также очень высоко ценил талант Бунина. Реакция Мережковского Шмелева не заботила. Мережковский для него, судя по письмам к Ильину, не более чем смесь поддельного Скрябина, пифии и зазывателя паноптикума, компилятор, в текстах которого есть и Евангелие, и ассирийская клинопись, и половой вопрос, и Ломброзо и прочее — и все это сдобрено кубиками Магги, все это как чашка бульона за две минуты — и за все это хорошо платят! Но каким бы ни было его отношение к Мережковскому, он понимал, что состязаться и с ним, и с Буниным сложно.

Шмелев решил заявить о себе как о кандидате на Нобелевскую премию, когда был уже известным не только среди русских эмигрантов, но и во всей Европе. Его книги издавались не только на русском («на языке, тебе невнятном», как сказано Пушкиным), но и для возвышенных галлов, и для англичан, немцев, шведов, испанцев, чехов... К январю 1931 года вышло двадцать восемь изданий его произведений на двенадцати языках, недавно был подписан договор с американским издательством на публикацию «Истории любовной», еще шесть книг в различных иностранных издательствах находились в стадии подготовки.

7 марта 1931 года в «России и славянстве» появилась статья Кульмана «Шмелев в переводах на иностранные языки».

---

[381] Письмо А.И. Куприна писателю Б. Лазаревскому от 11.07.1925 / Русская Прага, русская Ницца, русский Париж. Из дневника Бориса Лазаревского / Публ. С. Шумихина // Диаспора. I. С. 694.

Нобелевская премия не падает с неба, авторитетное мнение нужно готовить, нужно хлопотать. Шмелев отправил четыре книги своих произведений и письмо в Швецию профессору Лундского университета, слависту Зигурду Агреллу, который ранее представлял к Нобелевской премии Бунина и Мережковского. Агрелл не ответил. Шмелев, не без оснований, объяснял его молчание конкуренцией с Буниным: раз Бунина выдвигали, его — задвигали. Он отправил письмо и свою книгу Сельме Лагерлеф — лауреату Нобелевской премии 1909 года. Он написал письмо своему хорошему знакомому, ценившему его писательский талант, — профессору и ректору Лейденского университета Николаю ван Вейку. Они переписывались с 1926 года.

В 1926 году в Амстердаме вышла переведенная на голландский язык книга Шмелева, в состав которой вошли «Про одну старуху» и «На пеньках», предисловие к ней написал Н. ван Вейк; в том же году голландский славист издал книгу по истории русской литературы, в которой Шмелев был представлен как крупный русский писатель. Тогда столь высокая оценка несколько смутила писателя, что видно из его письма к А.И. Деникину от 11 декабря 1926 года:

> Здравствуйте, дорогой Антон Иванович!
>
> <...> Я теперь — голландский писатель. Моя «голландка» пишет мне, что издательство заключило с ней небольшой договор. Но зато читает лекции в Лейдене и Амстердаме проф. van Wejk и в предисловии отнес к... классикам, поставив мое глупое имя рядом с вершинами России. Я написал ему вежливый протест. Нельзя так! Это — для меня — и лестно, и — честно говорю — стыдно изрядно. *Не написано* еще самое ядро. Нет — «леса»[382].

---

[382] Цит. по: *Бонгард-Левин Г.М.* «Сто мельниц мелют: “Ам! Стер! Дам!”» // *Бонгард-Левин Г.М.* Из «Русской мысли». СПб., 2002. С. 113. *Моя «голландка»* — переводчица А.Я. Козлова.

Теперь «ядро» написано, был и «лес». Н. ван Вейку, включившему произведения Шмелева в учебную программу Лейденского и Амстердамского университетов, принадлежала инициатива по выдвижению писателя. Отвечая на письмо Шмелева, он сообщал ему 3 января 1931 года, что читает о нем лекции, а из советских — о Есенине. В другом январском (от 12 января того же года) письме он сожалел, что среди Нобелевских лауреатов нет русских писателей, и уверял, что никому более охотно ее не дал бы, как Шмелеву.

В феврале 1931 года Н. ван Вейк послал в Нобелевский комитет письмо-выдвижение на Ивана Сергеевича Шмелева:

> Я, нижеподписавшийся ординарный профессор славянских языков Лейденского университета, имею честь предложить Шведской Академии в качестве кандидата на присуждение Нобелевской премии в области литературы за 1931 г. русского писателя Ивана Шмелева. Я делаю это на основании многолетнего изучения русской литературы. Классическая русская литература XIX в. пользуется мировой славой главным образом потому, что она, как никакая другая, проникнута духом человеколюбия, и потому, что великие русские писатели, благодаря своему таланту, смогли передать этот дух читателям всех национальностей и внушить им сопереживание собственному гуманному чувству. Этот дух и сейчас еще жив в современной русской литературе, и, по моему мнению, Иван Шмелев является истинным и одареннейшим продолжателем русских традиций XIX в.
>
> Подлинно русская тема независимого разночинца, восстающего против общественного порядка из-за унижения, которому подвергся его отец, была затронута Шмелевым в романе «Человек из ресторана» еще до мировой войны, но эта книга не была забыта, и как раз в последние годы во многих странах были предприняты попытки перевести ее с русского языка.

18-2280

Особое очарование несет в себе написанная во время войны повесть (ее можно было бы назвать и небольшим романом) «Неупиваемая чаша». Здесь описана трагедия талантливого крестьянского сына, ставшего художником. В образах святых, которые он пишет, так сильно выражены тоска его глубокой души и несбывшиеся надежды жизни, что один из них становится чудотворным, утешает и исцеляет приходящих к нему несчастных паломников.

После войны среди прочих сочинений появляются «Солнце мертвых», «Про одну старуху», «Каменный век», ярко показывающие людские страдания, принесенные большевизмом.

В последующие годы Шмелев создал несколько романов, описывающих общественную жизнь периода, предшествовавшего русской революции («История любовная», «Солдаты»); эти романы также превосходны, благодаря, главным образом, их психологизму; их можно поставить рядом с классическими романами, например И.С. Тургенева.

Шмелев родился в 1873 г. В первый период большевизма он был еще в России, затем эмигрировал, последние годы живет в Севре (под Парижем). В течение этого последнего периода его своеобразие как писателя получает с каждым годом все больше признание у растущей аудитории читателей, как русских, так и других стран. К этому письму я прилагаю отпечатанный по-русски список произведений Шмелева; в нем указаны и переводы на другие языки (английский, французский, немецкий, голландский, шведский, испанский, венгерский, чешский, сербохорватский, итальянский).

Я приведу здесь лишь переводы на английский, французский, немецкий и шведский языки.

Английский: «Однажды ночью», «Солнце мертвых», «Неупиваемая чаша».

Французский: «Человек из ресторана», «Солнце мертвых», «Неупиваемая чаша».

Немецкий: «Солнце мертвых», «Человек из ресторана», «Неупиваемая чаша», «Любовь в Крыму», «Однажды ночью», «Светлая страница».

Шведский: «Человек из ресторана».

Н. ван Вейк,
профессор славянских языков
Лейденского университета[383]

Поддерживал кандидатуру Шмелева и Томас Манн, лауреат Нобелевской премии 1929 года, что давало ему право номинации. С Манном вели переговоры и по поводу Бунина. В частности, Алданов. 10 января он сообщил Бунину, что Манн любезен, но уклончив, ему трудно сделать выбор между Буниным и Шмелевым. 18 января Шмелев писал Ильину о восторженном письме к нему Манна по поводу повести «Под горами» в немецком переводе. Манн высоко отзывался о Шмелеве еще в 1925 году: в декабре был опубликован его обзор[384] переведенных на немецкий язык произведений европейской литературы, особенно значительным среди русских писателей он полагал Шмелева, его «Солнце мертвых», была отмечена и «Митина любовь» Бунина.

Как бы там ни было, в написанном по просьбе Нобелевского комитета отзыве влиятельного слависта из Копенгагенского университета Антона Карлгрена, поклонника Бунина, о творчестве Шмелева содержались весьма скупые оценки, его дарование представлялось прежде всего как отвечающее политическим задачам. Кроме того, февральское письмо-номинация Н. ван Вейка в пользу Шмелева по формаль-

[383] Цит. по: *Бонгард-Левин Г.М.* Кто вправе увенчать? // Наше наследие. 2001. № 59—60. С. 144. О выдвижении И.С. Шмелева на Нобелевскую премию см. также: *Юнггрен М.* Русские писатели в борьбе за Нобелевскую премию // На рубеже веков. Российско-скандинавский литературный диалог на рубеже веков / Сост. М.М. Одесская. М., 2001. С. 5—15.

[384] *Mann T.* Katalog // Frankfurter Zeitung. 1925. 13 dec.

ным обстоятельствам не учитывалось, поскольку срок представлений закончился в конце января.

Премия 1931 года не досталась ни Бунину, ни Шмелеву, ни Мережковскому. Бунин уверял, что «дело даже не в деньгах», что пропало дело всей его жизни, что премия заставила бы мир оборотиться к нему лицом, переводить его тексты на все языки[385]. Тем временем в доме Буниных раздражение против Шмелева нарастало, что и выразилось в тоне «Грасского дневника» Кузнецовой. 23 октября она написала о нем крайне пренебрежительно: вслух читали «Беглеца» Чехова, и как это полезно — читать Чехова и Толстого о России! но не Шмелева! Буквально так: «Уверена, что Шмелев, который разводит о ней такую патоку, если бы хоть раз вздумал перечесть Чехова, постеснялся бы потом взяться за перо. Его потонувшая в блинах, пирогах Россия — ужасна»[386]. Кузнецова, кроме блинов и пирогов, в прозе конкурента больше ничего не увидела или не захотела увидеть.

Когда в том же году Шмелев прочитал только что написанный для «Богомолья» очерк «У Троицы» Кульманам и Бальмонту, те взволновались, и профессор сказал автору, что он сам не знает, что написал... Его супруга, почитательница, впрочем, как и сам Кульман, Бунина, промолвила: получить премию должен Шмелев! А супруга Бальмонта сказала Ольге Александровне: «Конечно, премию долж<ен> получить Ш<меле>в, а не... Бальмонт!»[387]. С тем, что Нобелевскую премию должен получить Шмелев, согласился и Кульман.

Шмелева поддержал Ильин, в Германии он читал о нем лекции. Понимая, что сроки крайне ограничены, что Агрелл и Карлгрен уже остановили свой выбор не на Шмелеве, он решил развернуть прошмелевскую кампанию в следующем году.

---

[385] *Кузнецова Г.* Грасский дневник. С. 221. Запись от 9 окт. 1931 г.

[386] *Там же.* С. 225.

[387] Из письма И. Шмелева к И. Ильину от 21.10.1931 // Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 229, 233.

1931 год завершался для Шмелевых по поговорке «Все слава Богу»: налоги были заплачены, уголь закупили, за квартиру заплатили, миланское издательство взяло «Неупиваемую чашу» и прислало 320 франков, переводчица из Швейцарии прислала ящик яблок… Но мучили боли в желудке, прочие хвори, которые мешали всему… и колоть дрова, и спать на левом боку... Пришел 1932 год, и возобновилась борьба. И ее участники — опять Бунин, Шмелев, Мережковский.

13 января 1932 года Н. ван Вейк вновь отправил в Шведскую Академию представление на Шмелева. Еще в 1931 году Шмелева выдвинул на премию 1932-го Манн. В его письме к членам Шведской Академии от 23 января о Шмелеве говорилось следующее:

> <…> Я счел возможным также предположить, что если Комитету может быть угодно когда-нибудь присудить премию русскому писателю, то в этом случае мне хотелось бы назвать имя Ивана Шмелева. То политическое обстоятельство, что он принадлежит к парижским эмигрантам как решительный противник большевизма, можно оставить в стороне или учесть в том, по крайней мере, смысле, что он живет во французской столице в большой нужде.Его литературные заслуги, по моему убеждению, столь значительны, что он предстает достойным кандидатом на присуждение премии. Из его произведений, которые произвели сильнейшее впечатление на меня и, смею думать, на мировую читающую публику, назову роман «Человек из ресторана» и потрясающую поэму «Солнце мертвых», в которой Шмелев выразил свое восприятие революции. Но и ранние его новеллы, написанные до катастрофы (например, «Неупиваемая чаша» и «Любовь в Крыму»), достойны пера Тургенева и определенным образом свидетельствуют в его пользу[388].

[388] *Бонгард-Левин Г.М.* Кто вправе увенчивать?С. 148.

Но… Но Манн выдвинул не только Шмелева! Он предлагал двух номинантов — Шмелева и Германа Гессе.

В то же время в печати все чаще стало появляться имя Мережковского, что вызывало обеспокоенность Бунина. Но Шмелев был опасен им обоим. По мнению современных исследователей, Мережковский и Бунин предприняли против Шмелева некоторые шаги: активно использовалась пресса. В частности, Степун и Адамович в публикациях критически отзывались о творчестве Шмелева. Таким образом, обнаруживается еще одно объяснение уничижительной критики в адрес Шмелева. Бунин же вообще ставил прозу Шмелева ниже романа Степуна «Николай Переслегин», опубликованного в «Современных записках» в 1929 году. Роман в форме писем философа Переслегина к возлюбленной Наташе построен на любовной интриге. Критики отмечали длинноты, в целом неудачную, неубедительную эпистолярную форму повествования. К. Зайцев писал об отсутствии у Степуна дара художника и творческой силы («Россия и славянство». 1929. 1 июня). Причем, и Зайцев, и Адамович — а его отзыв был опубликован в «Последних новостях» (1929. 29 августа) — сошлись в том, что идея романа Степуна — вне совести, вне сердца. Впрочем, Бунин ехидно заметил члену редколлегии «Современных записок» И.И. Фондаминскому: «Жаль, что некому написать об этой книге. Нет критиков равного уровня. Это не о Шмелеве или Федине писать»[389].

Шмелев подозревал, что против него ведется кампания, о чем он написал Ильину, указав имена Мережковского, Гиппиус и Бунина как инициаторов общественного мнения. Однако в 1932 году премия была присуждена Дж. Голсуорси. Шмелев, надо сказать, был рад тому, что она не досталась Мережковскому.

[389] Устами Буниных. Т. 2. С. 272.

Противостояние продолжилось и в последующие годы. В начале тридцатых против Шмелева велась откровенная атака со стороны левых радикалов из «Последних новостей» и «Современных записок». В его защиту был опубликован ряд статей Ильина в «Возрождении»: «Искусство и вкус толпы. Ивану Сергеевичу Шмелеву» (1933. 3 января); «Искусство Шмелева. Творчество Шмелева» (1933. 28 июля, 4 августа); «Святая Русь. “Богомолье” Шмелева» (1935. 2 мая); «Православная Русь. “Лето Господне. Праздники” И.С. Шмелева» (1935. 18 апреля). В берлинской лекции 1934 года «Мережковский — художник», прочитанной в Русском научном институте, Ильин говорил: «Что же означает всеевропейская популярность Мережковского? Ведь Мережковский считался самым серьезным кандидатом на премию Нобеля. Но чего же стоит тогда европейская слава? Ведь она сама есть большой туман. Она, по-видимому, родится от отсутствия религиозной и художественной очевидности»[390].

Но что такое европейская литературная слава по сравнению с тем, что надвигалось на Европу в 1930-е годы?.. В 1932-м Шмелевы жили материально очень стесненно, они не могли тратить на еду более 10—15 франков в день. Но ни нужда, ни поражение в нобелевской истории, ни оскорбительные статьи не шли ни в какое сравнение с политической опасностью, нависшей над Европой.

Шмелев почувствовал, что в жизни этой спокойной, благополучной и приютившей его Европы будет срыв. Он связывал свои предчувствия с Германией. Он полагал, что приближается новое время, что будет смертельная схватка между двумя социальными мирами, что лидируют умеющие брать власть коммунисты и националисты, что новое время означает наступление казарменного существования и гибель

[390] *Ильин И.* Мережковский — художник // Мережковский: pro et contra. С. 388.

культуры. Он все более утверждался в своем неверии в демократию.

Противопоставить надвигающейся грозе можно, по мысли Шмелева, толстовское самосовершенствование и евангельское «царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21). Все более Шмелев искал утешение в молитве. В марте 1933 года к нему пришел иеромонах Савва, сын П. Струве, из монастыря Прикарпатской Руси. Он принес ему частицу мощей св. Пантелеймона. Вместе они отслужили молебен перед подаренной Шмелеву Ильиным иконой Сиенской Божией Матери. И эта совместная молитва вселила в сердце Шмелева радость. Радостью так хотелось превозмочь тревоги.

Эти тревоги были навязчивы, но пока еще довольно смутны. Хотелось верить в то, что мир, пройдя испытания, все-таки найдет гармонию между личностью и массой, что Германию, после того как она переживет потрясения, ждет великолепное будущее... Но Ильину он все же посоветовал оставить Германию, сменить место жительства. Ведь современность развивается как великая трагикомедия, в которой обнаруживается и Божье, и скотское в человеке, и уже не большевик есть первейшая опасность, а другой: «Все больше вижу — носителей разложения, не большевиков. Нет, это — второстепенное и производное, — а... расу, *племя*, и не все племя, а какое-то межчеловеческое новое племя, какие-то “отбросы”, и вовсе не какой-то класс-“пролетариат”, а “межчеловеческий пролетариат”»[391].

В 1933 году его тревоги оправдались. В сентябре 1933-го Ильин, сообщив Шмелеву о том, что в Германии за перепиской следят, попросил его в письмах к нему не писать о политике либо излагать мысли аллегорически.

Одно радовало — вышла книга «Лето Господне».

---

[391] Письмо И. Ильину от 6.07.1932 // Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 285.

XIII. *«Лето Господне»*

В 1933 году Шмелев получил из белградского издательства «Русская библиотека» два экземпляра книги «Лето Господне. Праздники», которую он посвятил Наталии Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным. Но он был чрезвычайно огорчен тем, что ее не оказалось на книжном складе «Возрождения», что ее вообще нет в Париже. Он так рассердился, что в какой-то момент даже не захотел отдавать в Белград «Богомолье».

Составившие книгу главы появлялись в периодике начиная с 1928 года, и между первыми и окончательными вариантами есть разночтения. В 1933 году история создания книги не закончилась. Шмелев все писал и писал новые главы, отвлекаясь на работу над другими произведениями. Он возвратился к «Лету Господню» в декабре 1936-го — январе 1937 года, с января по апрель 1938-го в «Возрождении» увидели свет еще несколько глав, в 1939-м появились другие главы, в том числе посвященный Кульману «Егорьев день», а 5 января 1940-го — «Рождество»... публиковались фрагменты и в 1940-е годы. В окончательном варианте книга вышла в парижском издательстве «ИМКА-Пресс» в 1948 году, и ее полное название — «Лето Господне. Праздники — Радости — Скорби».

«Лето Господне» написано в неореалистической традиции, лиризм и быт слились в поток образов и впечатлений.

В такой же манере созданы «Росстани» и «Пугливая тишина». К такому ощущению жизни призывала и европейская философия — созданная Эдмундом Гуссерлем феноменология. Впрочем, не только европейская — среди видных феноменологов были и представители русской мысли, Густав Шпет и Алексей Лосев. И русские неореалисты, и феноменологи обратились к собственным восприятиям феноменов мира. Как Гуссерль писал, «субъект нигде и никогда не выходит за рамки взаимосвязей своего переживания»[392]. Так, обратившись к прежней форме повествования, Шмелев-художник, сам, по-видимому, того не осознавая, отвечал новым европейским литературным критериям, хотя написал и по духу, и по стилю откровенно русское произведение.

В нем не было тяжелого психологизма, отвечавшего традиции Достоевского, как не было психологических упражнений по Фрейду, от следования которому его предостерегал Ильин. В 1935 году Шмелев принялся читать Фрейда, но увидел у него лишь жонглерство. «Лето Господне», произведение об устоях, о родовом, в каком-то смысле о домостроевском, написано акварельно, легко. И этот блистательный парадокс, столь неожиданный, непривычный, поражал впечатление читателя.

Герой — мальчик Ваня из Замоскворечья. Ему является мир, как сказано в Великом каноне св. Андрея Критского — текущее естество времени. И хотя В. Вересаеву Шмелев писал в ноябре 1921 года о том, что ему для творчества нужно не текучее состояние мира, а уже выявивший себя уклад, в «Лете Господнем» уклад только открывался мальчику, и Шмелев передал сиюминутность его узнавания, для Вани — его текучесть. Воспринявший Гегеля через Гуссерля Ильин писал Шмелеву: «Это не холодная воображаемость Тургенева; не го-

---

[392] *Гуссерль Э.* Идея феноменологии // Фауст и Заратустра. СПб., 2001. С. 163.

рячая воображенность Толстого; не “лирическая” анатомия наблюденностей у Чехова; не глубокозримые камеи дивного Пушкина и столь же дивного Лермонтова. Это *зримость блаженствующего сердца, поющего благодарную песнь и нежно улыбающегося сквозь слезы.* К этому приближался *мигами* С.Т. Аксаков. Этой атмосферой умел дышать чудесный Лесков; *изредка пытался так* улыбнуться Чехов...»[393]

Ваня ласковый патриархальный мир чувствует и восхищается им: «Радостное до слез бьется в моей душе и светит», «радостная молитвочка»; утро «в холодочке»; в церкви все думают о яблочках, и Господь посмотрит на яблочки и скажет: «ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки!»; в церкви читается веселая молитва; постная еда не сама по себе описана, а через восторг Вани, и этот восторг, а не бытовая деталь, становится предметом изображения: «А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то “коливо”! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой!»

Как это родственно языку Бунина! Не случайно Шмелев посвятил ему в 1925 году, еще до раздора, рассказ «Russie», в котором говорится: «...я лежал, прищурясь, прислушивался к стукам и вспоминал наше лето, тихое наше небо. И они приходили, как живые, — и запахи, и звуки». Но и Бунин писал о себе: «Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду — и так остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!»[394], он долго припоминал Гиппиус ее словечко в его адрес — «описатель». Ни Шмелев в «Лете Господнем», ни Бунин не описывали, они воссоздавали.

---

[393] Письмо от 30.05.1948 // Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 335.

[394] *Бунин И.* Дневники // *Бунин И.А.* Собр. соч. Т. 7. С. 403.

От великана Антона пахнет полушубком, баней, пробками, медом, огурцами; у капусты на постном рынке запах «кислый и воньким», у огурцов — «укропный, хренный»; в доме пахнет мастикой, пасхой, ветчиной; ласковая рука отца пахнет деревянным маслом, сапоги — полями и седлом, отец пахнет лошадью и сеном, а на Покров — икрою, калачом, самоварным паром, флердоранжем; ночная улица пахнет навозцем; в парусинной палатке пахнет можжевельником; говорится о запахе печеного творога по субботам; от грушовки исходит сладкий дух: «Все берут в горсть и нюхают: ааа… гру-шовка!..»; к нему примешивается вязкий, вялый запах от лопухов, пронзительно-едкий — от крапивы; замятая травка пахнет сухою горечью и яблочным свежим духом. Зайцев писал Шмелеву 16 сентября 1928 года: «Мне *очень*, *очень* понравился Ваш "Яблочный Спас", так сильно, верно и чувственно написано — прелесть!»[395]

И запахи, и розовые, золотистые тона «Лета Господня», все это дивование бытом — во славу мира. Ване открывается горний ангелов полет и как пустыня внемлет Богу через земные удовольствия: в субботу третьей недели Поста выпекают рассыпчатые вкусные кресты, как пекла еще прабабушка; ощущение Рождества начинается тогда, когда подвозят мороженых свиней; на праздник Донской из богадельни привозят Марковну — она будет печь «райские прямо пироги, в сто листиков». Так и в бунинской «Жизни Арсеньева» (1927): радость бытия — через детский восторг от «черной, тугой, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом»[396] ваксы, от сапожек с сафьяновым ободком на голенищах, от ременной плеточки со свистком в рукоятке. «С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого сафьяна, и этой упругой, гибкой ременной плеточки!»[397]

---

[395] *Зайцев Б.* Письма 1923—1971. С. 62.
[396] *Бунин И.А.* Собр. соч. Т. 5. С. 29.
[397] *Там же.*

Радостное отношение Вани к намоленным огурцам или квашеной капусте, мысль его о том, что на том свете едят вкусную постную еду, — о том, что православная вера веселая, просветляющая унынье. Так и Горкин говорит. Позже, в 1941 году он написал Бредиус-Субботиной: «И верно, — что Православие наше — яркое. Больше — в Православии кульминационный пункт — Праздники-то! — “Воскресение”! Радость, восторг, пенье во-всю, до душевного опьянения… а потому и — благо-лепие, святое торжество, священное зрели-ще… культ, богатейший, в цветах-огнях-звуках… в блеске “неба”, в дарах земли. В с е — подавай, празднуем, священно пируем, голосим, — вызваниваем — трезвоним… — отсюда и красота церковной стройки, красоты монастырского пейзажа, песнопений, глубин церковно-мистерийного, в с е г о. А куцые монахи “нарочито” — невнятики, мелочь. Чужд православию аскетизм грязи, бывали уклоны… но аскетизм подвижников — не самоцель, а лишь трамплин для высоченнейшего скачка ввысь!»[398]

В 1929 году Иван Сергеевич сказал Буниным, что о матери писать не может, «а об отце — бесконечно»[399]. Отцом Шмелев восхищался всю свою жизнь. Ему нравилось в нем даже то, о чем он не счел возможным упомянуть в «Лете Господнем» и что никак не способствовало утверждению устоев в шмелевском доме. Он писал о нем Бредиус-Субботиной: «Отец любил женщин. *О-чень*. До — романов. Были — на стороне. Притягивал: был живой, фантазер, “молодчик”. Любил хорошо одеваться, — франтил. После него остался большой “гардероб”. Много шляп и прочего»[400]. Сергей Иванович был пылким в работе и в любви. Он был тружеником,

---

[398] Письмо от 18.02.1942 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 502.

[399] Устами Буниных. Т. 2. С. 199.

[400] Письмо от 6.12.1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 320.

созидателем, он был истинным выразителем национального характера, о котором так усиленно размышляла русская эмиграция. Образ обожаемого отца появляется в первой же главе.

Описанная в конце произведения смерть отца — источник скорби Вани, источник глубокой печали и постаревшего Шмелева, писавшего Ильину 13 апреля 1939 года: «Подхожу в своем “Лете Госп<однем> к печальным событиям, и трудно кончать”»[401]. Горкин поучает мальчика: прими смерть как Божью волю и «не смей на Господа роптать!». И тот внимает словам Горкина сердцем, верит, что у каждого есть ангел, что Христос — везде, что Господь отца сопричтет к праведникам. Главы о болезни и смерти отца были для него самыми тяжкими, и он радовался тому, что нашел заключительный аккорд, что произведение он завершил осиявшим его светом. Он поведал об этом в письме к Ильину от 4 апреля 1945 года: «И воспел: “Ныне отпущаеши...”»[402]. «Лето Господне», действительно, заканчивается молитвой:

...Свя-ты-ый... Без-сме-э-эртный...
По-ми - - - - - и - - - луй...
На - - - - - а - - - ас...

Даже религиозные реалии Шмелев передал через быт. Обивка гроба в гробовой и посудной лавке Базыкина напоминает оборочку на кондитерских пирогах. Шмелев хотел быть предельно точным в деталях, особенно в описании церковных обрядов. Он обращался за помощью к Карташеву, читал ему фрагменты, тот давал ему нужную литературу. Церковная утварь описывается с детским интересом и тайным восторгом. Например, для захворавшего отца привозят сундучок с мощами св. Пантелеймона — фрагмент, написанный, по-видимому, под впечатлением от визита о. Саввы,

[401] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 270.
[402] *Там же.* С. 306.

принесшего мощи Целителя; детали даны обстоятельно: сам серебряный сундучок с медными ручками, на крышке сундучка есть темные местечки, мутные стеклышки, отца кропят святой водой — и на пиджаке появились мокрые пятна, отец после окропления вытирает шею, а иеромонахи после совершения обряда пьют чай с горячей кулебякой — и тут же старенький иеромонах дает Ване книгу о житии св. Пантелеймона. И в этом описании столько полноты жизни, столько ее многообразия и такое родство ее прозы и высокой поэзии.

Как показать смерть родного человека и не впасть в бездны мрака? С годами Иван Сергеевич желал смерти как избавления от страданий. Его друг-недруг Иван Алексеевич Бунин, так много написавший о смерти, напротив, боялся ее. Шмелев не понимал, как это Бунин опасается даже дуновения смерти. И иронизировал. Услышав о том, что в квартире над квартирой Буниных лежал скончавшийся и что с узнавшим об этом Буниным случился сердечный приступ и даже вызывали врача, Шмелев отозвался шуткой:

Уж с утра погода злится,
Жмется Бунин в уголок…
А покойник все стучится
Сапогом и в потолок[403].

Слово тоже явлено сознанию ребенка. Шмелев не пишет «я почувствовал», «я увидел»; в слове *Рождество* «чудится <…> крепкий, морозный воздух», сказано: «Самое слово это видится мне голубоватым». Слово наполняется смыслом в момент узнавания Ваней реальности и становится проводником в его отношениях с миром. Непонятное *узы* из «узы разреши» ассоциируется с *узлы* и становится понятным после слов Горкина: «А чтобы душеньке легче изойти из телесе… а то и ей-то больно». Матушка грозит пожаловаться на Ваню

[403] Публ. по: Переписка двух Иванов (1937—1946). С. 435.

о. Виктору, и тот «чего-то наложит». *Наложит* понимается как кара. Оказывается, наложит «питимью», и теперь *питимью* наполняют ощущением: «...это чего, а?.. страшное?..».

Горкин в говенье говорит Ване о том, что из адова пламени грешника «подымут» поминальные молитвы. *Подымут* интуитивно понимается как спасение и рождает страх быть непрощенным: «А все-таки сколько ждать придется, когда подымут...», «чьи же молитвы-то из адова пламени п о д ы м у т? И опять мне делается страшно... только бы поговеть успеть». Так Шмелев показал языковые восприятия мальчика. Поток звуков наполняется смыслом — и все это так личностно, без чьей-то помощи... но так верно, родово. «В д о в а — новое слово, какое-то тяжелое, чужое». Понимал ли сам он, какой неожиданный и яркий рождался текст? Вряд ли он об этом думал. И уж, конечно, он не рассуждал по этому поводу. Лишь в ряде случаев давал разрядку. Отец «у х о д и т», «папашенька будет о т х о д и т ь», «нет никакой надежды: о т х о д и т», «будут читать о т х о д н у ю», «о. Виктор о т х о д н у ю читает», «случилось ужасное... — о т о ш е л», «мне чудится непонятное и страшное: т о т свет, куда о т о ш е л отец». Понятные слова становились многомерными и связывали жизнь земную с вечной.

Шмелев, по сути, не вспоминал. Он создавал образ памяти, ее звуки, запахи, память в «Лете Господнем» — живая, она дышит, боится, таится, смакует, узнает. В такой памяти была непосредственность и ничего не было литературного. К. Мочульский в рецензии на «Лето Господне» писал о «памяти ясновидца»[404], о простоте и точности записей, об отсутствии украшений, живописных метафор, сравнений. Непосредственность — то, что притягивало всех к новому произведению Шмелева, в котором он не поучал и не обличал.

---

[404] *Мочульский К.* Ив. Шмелев. «Лето Господне. Праздники». Русская библиотека. Белград. 1933 // *Мочульский К.* Кризис воображения. Томск, 1999. С. 308.

Ильин 23 ноября 1946 года писал Шмелеву, что в «Лете Господнем» есть два плана: во-первых, художественное созерцание бытия, в котором рождается эпос России; во-вторых, излияние сыновнего сердца, наполненного любовью к отцу, некая автобиографическая лирика.

Сам материал — русская ментальность — захватил читателей. А. Амфитеатров написал Шмелеву восторженное письмо, в котором поставил «Лето Господне» в один ряд с «Детскими годами Багрова-внука» (1858) С.Т. Аксакова. «Лето Господне» внушало надежду. Оно спасало. Бальмонт написал в 1933 году поэтический цикл «Лето Господне»:

Лето также есть Господне,
То, что длится лишь сегодня,
Звон заоблачных звонниц.
Лето света, Воскресенье,
За терзанием прощенья,
Час восстания из тленья,
Час нездешних огневиц.

Были и не принявшие в «Лете Господнем», как и в других произведениях Шмелева, земного, утварного христианства, укорененного в национальном быте. Но справедливо писал Ильин о сродстве хозяйственного и духовного в русских патриархальных семьях. Отметим, что и его оппонент Бердяев, споря в 1916 году с противопоставлявшим дух и плоть Мережковским, размышлял о том, как озабочена Церковь символическим освещением плотской, бытовой жизни, как старцы благословляли семьи, давали хозяйственные советы по устройству материальных дел: «Религиозный материализм, материализация всех религиозных тайн проникает всю церковную метафизику»[405].

[405] *Бердяев Н.* Новое христианство (Д. С. Мережковский) // Мережковский: pro et contra / Сост. А.Н. Николюкин. СПб., 2001. С. 338—339.

19 -2280

XIV.

Пасха 1933 года
Юбилей
Чествование Бунина
Новая квартира
«Няня из Москвы»
Знамение
Французские Альпы

Знаменательной в 1933 году оказалась Пасха. В Великую субботу у Шмелева усилились боли, его одолевала слабость. Вдруг навалилась печаль оттого, что три года не был у заутрени: то болезни, то дача... Он взглянул на Ольгу Александровну и понял, тоже вдруг, как тяжело ей без церкви. Превозмогая боль, он в сопровождении Ольги Александровны в половине девятого вечера отправился из Севра, через весь Париж, к Сергиеву подворью. В метро сидел, скрючившись от боли. Но в храме боли ушли. Заутреню он слушал радостно, исповедался, выстоял всю обедню — и почувствовал, что — приобщился: «...и такой чудесный внутренний свет засиял, такой покой, такую близость к несказанному, *Божиему*, почувствовал я, что не помню — когда так чувствовал! Как бы прикоснулся к Тайне: нет смерти, все отшедшее — *есть*, здесь вот, около... И когда я так чувствовал, вглядываясь сквозь слезы в над-иконостас, ввысь... — это было между Заутр<енней> и обедней... — странное случи-

лось! Я думал о нашем мальчике, отшедшем, о Сережечке нашем… — в душевной тихости думал — нет смерти, *здесь*, с нами он… и все с нами и нет ни “было”, ни “будет”, а — *есть*, вечно *есть*… И вот, сидевший от меня шагах в трех у стены Карташев почему-то поднялся и подойдя ко мне, шепчет!.. — “да ведь это же какая победа сегодня празднуется!.. надо только внять!.. ведь нет смер-ти… все умершие — жи-вы… и нет ни живых, ни мертвых… а все, все — одно… вечное!.. отбитое у смерти, у ада! великим чудом Воскресения Христа!..” Я лишь смысл передаю. Но как это слилось с *моим*, так под-твер-ди-ло мое интимное, что осияло меня! Я же с ним не говорил об этом, и он не мог знать, о чем я думал… — он лишь сбоку сидел, не видал моих глаз, лица… *Передалось!* »[406] — писал он Ильину. Чудо приобщения дало силы и утишило тревогу за судьбу «Няни из Москвы», над которой он тогда работал. Разговляться Шмелевы пошли к Карташевым, в шесть утра сели в метро и в восемь были в Севре. Так проведенная Пасха еще и еще раз укрепила его в мысли о том, что без Церкви ему никак нельзя. Теперь он мечтал дожить до Великого Поста — и отстоять все службы, и жить с Господом.

Пасха прошла, и Шмелев вновь погрузился в трудно одолимую им земную суету. Усталость приходила вдруг, а с ней и чувство беззащитности. Ему казалось, что нет для него того края Господней ризы, ухватившись за который, можно спастись. Он думал, что и воля его иссякала, и душа пуста, и жизнь их с Ольгой Александровной одинокая и даже бесцельная. Но на Троицу, в ливень, получил письмо из Русского Дома в Сент-Женевьев-де-Буа; в письме было свыше пятидесяти подписей, и были в нем слова благодарности от чи-

---

[406] Из письма к И. Ильину от 18.04.1933 // Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 380.

тателей «Богомолья» и «Лета Господня» — очерки вырезались из газет и сохранялись. После Пасхи это были первые радости.

Он испытал некоторое удовлетворение оттого, что наметились изменения в его отношениях с редакцией «Возрождения»: там 28 июля была опубликована статья Ильина «Искусство Шмелева». Иван Сергеевич раскрыл газету, увидел название статьи, но не смог читать и пошел бродить по городу — он разволновался, он отвык читать о себе хорошее, тем более отвык читать о себе в «Возрождении». Кстати, в письме читателей из Русского Дома высказывалось сожаление о том, что Шмелев не публикуется в «Возрождении». После ухода Маковского, вызванного его разногласиями с владельцем газеты, редакция начала предпринимать усилия по возвращению Шмелева. Дважды его посетил ставший после ухода Маковского секретарем редакции Симон Далинский. Их первая встреча состоялась еще в прошлом году. Далинский был предельно корректен, предупредителен, называл разрыв Шмелева с «Возрождением» простым недоразумением и очень желал получить от писателя рассказ для публикации. Шмелев отказал. Но он был признателен редакции за то, что вражды к нему нет. Наступило время перемирия. К тому же он понимал, что издательское дело переживало тяжелый кризис, во многом связанный с обеднением эмиграции, и поддержка «Возрождения» ему нужна для выживания. В 1934 году в газете была опубликована статья Шмелева «Русский лагерь в Капбретоне».

Среди значимых событий 1933 года было еще одно, печальное. Шмелев получил горькую весть от сестры о кончине матери. Мать умерла 8 июня 1933 года восьмидесяти восьми лет и восьми месяцев. Она попыталась в 1932 году связаться с сыном, но посланное ею с оказией письмо он так и не получил. Последние годы Шмелев был лишен всякой возможности помогать семье: его посылки сестра возвра-

щала, боясь репрессий. Еще три года назад она передала ему просьбу ничего им не присылать и писем не писать: оказывается, за него она и мать от властей претерпели достаточно. Потому он сомневался в том, что сестра, влезшая в долги, получит отправленные им деньги в возмещение затрат на похороны. Но он был очень доволен тем, что гроб с телом покойницы внесен в церковь, что похоронили достойно.

3 октября 1933 года Ивану Сергеевичу исполнилось шестьдесят лет. К старению он относился достаточно философски и даже с юмором. Например, писал Ильину:

> Когда Вы получите сие письмецо, я уже буду старичком, почтенным старцем, песочком посыпающим... ибо сего 3. IX стукнет мне сисдесят. Кончилось «пожилых лет», начинается «старость-матушка». И вот я уже прозреваю и каркаю: «не избежать тебе муки вечные, тьмы кромешные, скрежета зубного, червя бесконечного, огня неугасимого... готовят тебе крюки каленые!» — как писано у Мельн<икова>-Печерск<ого>[407].

Юбилей прошел, пришли добрые письма от знакомцев и незнакомцев, благодарности за «Лето Господне», и даже какие-то издатели, благодаря хлопотам поклонника и рецензента Шмелева Ernst'a Wierchert'a, прислали ему 912 франков, и он гадал, аванс это или подарок... Юбилей прошел, навалилась грусть — но Иван Сергеевич послал ее к черту: пусть! плевать! старость так старость. Все пошло своим чередом: что делать с «Няней из Москвы»; где взять сил и денег — спасибо сербам с их 600 франками в месяц; как избавиться от мнительности, которая мешает ему спокойно и здраво принимать удары и обиды: как поменять квартиру; что делать с хворями Ольги Александровны — он называл

[407] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 407.

ее терпеливой рабой-ангелом; что происходит с друзьями: не появляются в газетах материалы Ильина — не повредила ли ему статья о Шмелеве?.. как там Бальмонт?..

За два дня юбилея Бальмонт признался ему:

> Друг, если бы Вас не было, не было бы и самого светлого и ласкового чувства в моей жизни за последние 8—9 лет, не было бы самой верной и крепкой душевной поддержки и опоры, в часы, когда измученная душа готова была переломиться...[408]

Юбилей был отмечен в русской и иностранной печати. Даже в «Последних новостях» в честь Шмелева появилась статья Бальмонта, а в ней слова о том, что Шмелев — самый русский писатель, и эта русскость создала ему большую славу не только в России. После выхода газеты автор статьи написал своему другу:

> Мой милый Иван Сергеевич, мне было так хорошо в это утро, как в юности, когда печатали мои первые стихи. Вот и круговращение времен! Вам 60, мне 66, а мы точно начинающие писатели. Но надо ли огорчаться или ужасаться на это? Не лучше ли радоваться? Ведь все это в точности означает не более не менее, как то, что в лязге и чаде мировой бессмыслицы люди, с которыми мы поневоле соприкасаемся, заскорузли и окоченели, а мы все те же апрельские, утренние, открытые Божьему чуду, когда оно приходит, и, тоскуя, зовем его, когда оно медлит[409].

Это писал человек, измученный недугом, бедностью, тоской по родине, ненужностью издателям, но продолжающий работать, опубликовавший свой перевод «Слова о полку Игореве».

---

[408] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 99.

[409] Цит. по: *Бонгард-Левин Г.М.* «Мой друг! Мой брат! Мой звук в пустыне!». С. 95.

Крайне восприимчивый к хуле и благодарный за ободряющее слово Шмелев прочитал про себя в статье Куприна о том, что он — «один из самых талантливых и любимейших русских писателей» и «его имя, несомненно, века проживет и тленья избежит», что он — «добрый хозяин» и слову своему он тоже хозяин «верный, крепкий и непоколебимый», что «ложь для него отвратительна, как грязь и мусор в чистом доме, и неправда никогда не оскверняет его уст», что все им написанное «дышит хозяйственным трудолюбием, совершенным знанием дела, места и языка» и «богатство его лексикона необыкновенно широко, и слово всегда ему благодарно, послушно»; и вообще «Шмелев теперь — последний и единственный из русских писателей, у которого еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка... Шмелев... коренной прирожденный москвич, с московским говором, с московской независимостью и свободой духа»[410].

Статья была опубликована в журнале профессиональных шоферов «За рулем» в декабре. Иван Сергеевич отозвался на нее 3 января 1934 года:

> Дорогой друг, Александр Иванович.
>
> Сердечно благодарю за Ваш братский привет, — за Вашу ласковую, — одаряющую меня так щедро, — статью в журн<але> «За рулем». Согрела она меня воистину, щедротами сердца Вашего... Давно-давно не встречались мы, и виною сему — единственно — немочи мои и такое, порой черное, подавленное душевное состояние, что и глаза бы не глядели. Ныне это волею Божией смягчилось, перегорело словно, хотя внешние обстоятельства должны бы влиять в обратную сторону... Но внутреннее общение с вами не прерывалось для меня за эти годы: Вы были со мною — Вашим творчеством, незабвенный: всегда любимый — всегда — А. Куприн»[411].

[410] *Куприн А.* Иван Сергеевич Шмелев // *Куприн А.* Хроника событий. С. 555—556.

[411] Цит. по: *Куприна К.А.* Куприн — мой отец. С. 235.

И еще одно событие в его жизни, вернее, в жизни всей эмиграции, на фоне которого декабрьская публикация Куприна в честь Шмелева прозвучала скромно. В 1933 году решением Шведской Академии от 9 ноября Бунину присудили Нобелевскую премию, за которую Шмелев, переживший прессинг недругов и время от времени впадавший в сомнения — достоин ли? — биться перестал. В присланном Бунину официальном решении говорилось, что премию присудили и за талант, и за воссоздание в его прозе типичного русского характера. Шмелев был искренне обрадован — и за Бунина, и за русскую словесность. Торжества прошли и в «Возрождении», и в «Последних новостях». Широкое собрание в честь победителя состоялось в театре «Елисейских Полей». Шмелева не было на чествованиях, но 1 декабря 1933 года в «России и славянстве» он опубликовал свое «Слово на чествовании И.А. Бунина», в котором писал о том, что эта Нобелевская премия — и во славу Бунина, и во славу русской литературы, которая породила победителя; что Бунин кровно и духовно связан с родиной — крестьянскими избами и барскими усадьбами, яблочными садами и ригами, снегом и бездорожьем; что Бунин сумел запечатлеть нетленное. 3 декабря Бунины отбыли в Стокгольм. Талант Бунина Шмелев ценил всегда. Но ему хотелось, чтобы эта премия была воспринята и как факт признания миром духовного богатства русских: через Бунина признается Россия!

Однако литературные и общественные круги довольно болезненно приняли речь Бунина: показалось, что он понял премию как личную победу и вне контекста трагической судьбы России, вне русской литературы. Удивляло и то, что Бунин не отвечал на письменные поздравления, хотя это было невозможно — он получил около восьмисот приветствий! Не ответил он и Шмелеву, который, несколько смущенный, поинтересовался у Деникина, был ли ему ответ, но и тот не получил от лауреата ни письма, ни телеграммы. Бальмонт

по поводу нобелевских событий, суеты вокруг лауреата написал экспромт:

И. А. Б.

Он философских чужд вопросов,
Он любит красоту откосов,
Садов пленительную мглу.
У нас в Москве был Абрикосов,
Его вы ели пастилу?[412]

От Карташева Шмелев узнал о намерении общественности указать Бунину на закрытом собрании в «России и славянстве» на то, что он неправ, что его победу надо все-таки рассматривать как победу русской литературы и в связи с российской трагедией. Готовившуюся акцию Шмелев не одобрял и отнесся к ней как к истерике.

В севрской квартире заканчивался уголь, в спальне температура опускалась до плюс шести градусов. Хворала Ольга Александровна. Она жаловалась на боли в груди, а капбретонские врачи не могли определить причину; лишь вернувшись в Севр, она сделала рентгеновское просвечивание, и было обнаружено расширение аорты. Нужно было искать новую квартиру — здесь Ольге Александровне тяжело подниматься наверх, к тому же стесненное материальное положение вынуждало жить постоянно в одной квартире и отказаться от дачи в Капбретоне.

Переехать удалось в конце года. После долгих поисков благодаря светлейшему князю Петру Петровичу Волконскому была найдена квартира по материальным возможностям Шмелевых, за 5500 франков в год. Они переехали в париж-

[412] Цит. по: *Бонгард-Левин Г.М.* «Мой друг! Мой брат! Мой звук в пустыне!». С. 93.

ский пригород Булонь, поселились в доме на бульваре Республики. Берег Сены, у парадного подъезда остановка трамвая, пятый этаж, лифт, тихие соседи наверху, тепло — в холода семнадцать градусов, окна на юг, вид на Медон, Бельвю, Севр. Кабинет, спальня, столовая, паркетные полы! Шмелевы начинали с нуля; всю свою эмигрантскую жизнь ютясь по чужим углам, они не имели мебели. Денег на нее не было. Ильин, подбадривая друга, ставил в пример себя: в прошлом году сам ходил по аукционам, где покупал мебель за гроши, многое принял в дар — и ничего обидного в сем не нашел. Ивану Сергеевичу тоже в основном мебель дарили: письменный стол, американские кровати, комод с мрамором, обеденный дубовый стол. За 38 франков из вкладных досок стола были сделаны по плану Шмелева книжные полки, и от этих полок было столько радости... Вместо стула — ящик, покрытый ковром. Так преодолели и переезд, а с ним и уныние. Ильин шутил:

Слушай, брат Шмелини,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти — Ильинские статейки о тебе...[413]

В 1932 и 1933 годах Шмелев работал над «Няней из Москвы». Впервые этот роман был опубликован в «Современных записках» в 1934 году (№ 55—57). Отдельные главы печатались в газетах «Сегодня», «Русский инвалид», «Возрождение», «Россия и славянство». Среди читателей роман пользовался успехом. До Шмелева дошли сведения о том, что в библиотеке устанавливается очередь, люди приходят на ночь, некоторые даже в новогоднюю ночь. Сам он был доволен отдельными кусками, но полагал, что в целом написал не

[413] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 417.

«шедевр», а «маленькую “одиссею”»[414]. Первое книжное издание состоялось в 1936 году, всего шестьсот экземпляров. Второе издание — в 1937-м, третье — в 1949-м.

«Няня из Москвы» написана в традициях классического русского реализма, по старинке, с долгим сюжетом, с описанием бытия и быта со стороны, что исключало лиризм, движение авторских интуиций, легкие импрессионистские мазки.

Героиня — русская няня Дарья Степановна Синицына — оказывается в эмиграции, после Америки она попадает в Париж. Свою Дарью Степановну Шмелев «подсмотрел»: ее прототипом стала няня Груша из семейства Ф.Ф. Карпова в Севре. В доме Карпова Шмелевы снимали квартиру.

Груша часто рассказывала всякие истории — ее голос доносился до Шмелева через стену. Вот и Дарья Степановна рассказывает историю любви своей барышни, теперь кинозвезды Катички Вышгородской и ее жениха Васеньки Коврова, белого полковника. Дарья Степановна — и участница событий, и рассказчица: Шмелеву так хотелось побыть в стихии народного языка, насладиться речью, которую уже практически невозможно было услышать. Он, очевидно, испытывал тоску по живому слову, подобно Куприну, которому не хватало пары минут разговора с зарайским извозчиком, тульским банщиком, владимирским плотником, мещерским каменщиком — он иначе писать не мог…

Шмелев — мастер сказа, но писать роман от лица простолюдинки оказалось для него достаточно мучительно. Он сам на себя ворчал: «Руки связал себе, свободы себя лишил, как рассказчика, который волен дополнять и уяснять. Взял такой примитивный аппарат, как старухин язык, — да это же — блоху подковывать молотком кузнечным, — от блохи что останется? И получился — *плач*… “на реках вавилонских”, у 77 дорог. Ску-ли, старуха… выдирайся на бережок,

---

[414] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 12.

спа-сай силой, тебе присущей...»[415] Он опасался монотонности повествования. В октябре 1932 года послал Ильину 137 страниц из написанных 172 и спрашивал, не нудно ли. Текст расползался, Шмелев чувствовал хаотичность композиции, но сам же и оправдывал эту хаотичность: старуха-то путается, а иначе не может рассказывать — душа ее измучена.

Ильин соглашался с тем, что написать роман в форме сказа и дать эпоху через восприятие старушки — весьма дерзкое решение. Прочитав присланные ему страницы, он заметил Шмелеву, что этот замысел «требует необычайно дифференцированного художественного созерцания»[416]. Ильин высказал Шмелеву замечания, которые тот принял с благодарностью. Например, надо сократить мотивы няниных рассказов. Далее: надо привести стиль в соответствие; поначалу нянин стиль несколько комичный, со словесной игрой, а потом он все более становится трагичным и спокойным. Ильин понимал всю сложность замысла: как прислуга, няня сплетничает о господах, и с точки зрения художественной образности этот мотив верен, но с точки зрения художественного предмета она — судья мира, в ней читатель слушает собственную совесть, и потому некоторые детали ее сплетничанья излишни. Шмелев согласился. Сам чувствовал излишнюю болтливость старухи, не один раз переписывал рукопись.

Роман уже был написан, а он все еще сомневался. Он и в 1935 году писал Ильину о том, что «Няня из Москвы» ему «не вдалась», что вышло «не то», что чего-то он «не одолел», что нянин сказ может скрыть неправду жизни, с которой они «никогда не примирятся»[417]. Это он о рассеянии рус-

[415] Письмо И. Ильину от 12.02.1933 // Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 359.

[416] *Там же.* С. 340.

[417] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 20.

ских по свету, их поиске утраченного. Он сомневался в самом выборе героини, ее соответствии романной идее. Но уж очень притягательной была мысль передать бытие через восприятие простой души. Образ няни для Шмелева был символом выброшенной в мир «бедной, сиротливой правды»[418] эмигрантов, через этот образ острее ощущается и мировая пустота.

Как соблюсти в этом образе меру мудрости и наивности?.. Скулежа он избежал в «Человеке из ресторана», но «Няня из Москвы» гораздо объемнее... Не стоило браться... И нянька какая-то бестолковая... Он так устал от старухиной одиссеи. Не было четкого сюжетного плана, он никогда не знал, чем закончится повествование. Он измучился. Но был Кульман, замечательный Кульман, который, услышав начало романа, его ободрил: сильно! эпически-объективно! Был Бальмонт, который слал ему веселые приветы:

Если б только Ваша Няня
Вам пропела «Баю-бай!»
И явила бы в тумане,
В чаре сонных обаяний,
Недосказанных сказаний,
Наш родной далекий край!
Если б только в Вашей пытке
Вы нашли златые слитки,
Где не вечное «Прощай!»,
А свиданье в преизбытке,
Зов: «Скорее приезжай!»

Отношения девушки из привилегированного сословия и простолюдинки стали со времен Пушкина традиционной литературной темой. Няни и дядьки для своих подопечных все равно что чудесные помощники из русских сказок. Катичка

[418] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 20.

в двенадцать лет говорила няне о том, как выйдет замуж, а няню в богадельню не отдаст, похоронит честь честью, «как Иван Царевич... серого волка хоронил...».

Как Толстой, Шмелев в человеке из народа искал истину бытия. Как Толстой, он находил ее в естественности, в простоте отношения к миру, противополагая ее умозрительности интеллигентов. Все, что произошло с семьей Вышгородских, Дарья Степановна приняла как Божье наказание. Вышгородские — либеральная московская интеллигенция, глава семьи — преуспевающий доктор. Его жизнь и жизнь его красивой супруги благополучна — достаток, заграничные путешествия, утехи, «конфеты у них не переводились, и пастила, и печенья всякие, и прянички, и орешки заливные, чего-чего только не было!» Они помогают деньгами революционерам, сами участвуют в революционных собраниях, «чтобы царя сместить». Они грезят о революции, после которой доктор будет главным «над всеми больницами».

Няня не верит словам хозяина о благостном будущем: барину нельзя давать власть, он «своих-то денег не усчитает, а с казенными и совсем пропадет». Она иронична: «А то в ведомостях чего прочитают... голод вот когда по деревням был, или кого строго засудили, за царя... а то и казнили, кто в высоких лиц бонбы швырял. Вон барыня расстроится!.. Салфетку бросит в суп, кулачками себя в грудь... кричит: “звери, звери!.. нельзя терпеть, нельзя жить, нельзя руки сложить! Народ морют, убивают... а мы можем спокойно есть!.. не могу, не могу!..” Барин ей капель, все успокаивал: “не волнуйся, мы это все скоро переменим...все кончится!”» Либералы в романе Шмелева безбожники. В доме худо, как полагает няня, потому что в семье нет Бога.

В романе описан Крым при белых. Со смещения царя, как говорит няня, начался хаос, «всех жуликов-то повыпустили» и в людях не осталось страха. Интервенты в нянином понимании — скупщики, приехавшие в Крым поживиться.

Описаны и эвакуация, и путь в Константинополь. Шмелев ввел в текст картины человеческого унижения и падения. Вот в Константинополе к кораблю с эмигрантами подъезжают на лодках «греки, турки, азияты», и беженцы выменивают у них хлеб и сардинки за офицерские шинели, обручальные кольца, казак за пару папиросок готов отдать нательный крест.

Шмелев задумал так: няня должна на все взирать эпически, она умна и многоопытна, она знает, что Господне дело — без страха. Действительно, с няней и Катичкой происходит чудесное. Например, благодаря Осману они спасаются от большевиков. О татарине Османе она говорит: «Месяцу молится, а верный-то какой. Ведь он в рай попадет, в ра-ай… и спрашивать не будут, какой веры», он «лучше другого православного».

В Катичке есть и своеволие, и преданность, и живучесть, и достоинство, и здравомыслие, и православная вера. В ней Шмелев показал волю к жизни. Она не ноет на чужбине, а устраивает свою судьбу, становится актрисой, как стала ею Ксения Куприна.

Роман был написан, возникла проблема издателя. Еще в 1932 году Иван Сергеевич думал отдать роман в «Современные записки», хотя и сомневался в финансовых возможностях журнала. В 1933-м, все еще работая над романом, он не отказался от намерения предложить роман «Современным запискам», но вновь возникли сомнения в платежеспособности журнала: редакция не торопится выплачивать аванс, нет постоянных подписчиков, розничная продажа — 12 франков… да и большие произведения печатают с купюрами, а от редакционных сокращений Шмелев решительно отказывался. Не понравилась и просьба редакции представить рукопись для ознакомления: редакционный портфель был достаточно полон — приняты к публикации произведения Зайцева,

Алданова, Зурова, велись переговоры с Буниным… Он решил положить роман в стол, забыть про него. Тем временем «Современные записки» слали Шмелеву письма, в которых содержались аргументы в пользу сокращений. Он непримирим: скорее изрежет текст на куски и будет публиковать где-нибудь фрагменты, но из романа Тришкин кафтан не сделает! Да и подойдет ли «Современным запискам» его роман по своей направленности?.. Однако он все же согласился на сокращения и опубликовал «Няню из Москвы» в «Современных записках».

Роман в целом был принят хорошо. М. Алданов, хоть и не был единомышленником Шмелева, писал А. Амфитеатрову, что слышал роман в авторском чтении, и он ему понравился[419]. Одобрительный отзыв о романе Алданов прислал и лично автору. Амфитеатров же в трех статьях анализировал поэтику романа, «диалогического повествования»[420], называл Шмелева лириком, «искренним идилликом», душу его «религиозно-пантеистической»[421], героев — людьми, изливающими евангельский свет, а в тексте романа услышал звуки, «напоминающие вопли ветхозаветных пророков»[422]. П. Пильский писал о московском языке («умели говорить зернисто, кругло, изобретательно»), о нежности автора к прошлому[423].

К слову, Шмелева такие оценки не очень-то удовлетворяли. Ну при чем тут нежность… Как же Пильский не увидел в его романе всего окаянства жизни, оскорбленной души, так… «поиграл перстами»[424]. Ильин и вовсе назвал отзыв Пильского «дреплом»[425]. Николай Метнер прислал Ильину

[419] Письмо 15.02.1936 // Минувшее. Вып. 22. М.; СПб., 1997. С. 589.

[420] Возрождение. 1936. 30 янв.

[421] *Там же.* 1936. 13 февр.

[422] *Там же.* 1936. 14 февр.

[423] Сегодня. 1936. 25 янв.

[424] Письмо И. Ильину от 21.02.1935 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 23.

[425] Письмо И. Шмелеву от 9.03.1935 // *Там же.*

из Лондона письмо, в котором восторгался языком романа и признавался, как близка ему шмелевская няня.

Еще работая над романом, Шмелев знал, что его будут ругать: «ни Гадомовичам и Худосеичам, ни бициллам»[426], то есть Петру Михайловичу Бицилли, исследователю европейского искусства, он не понравится; в 1935 году Иван Сергеевич писал Ильину о том, «к<а>к завтра они — Гадомович и Худосеич — вопьются в Няньку»[427]. Конечно, Адамович откликнулся на роман, он не сомневался в успехе и полагал, что для того есть основания, однако: «Есть быт, есть воля, есть зоркость. Но нет творческого взлета над темой»[428]. Если после журнальной публикации он писал: «Он весь в своем ощущении России, ощущении узком, душном, кровном, ревнивом, жадном, но таком органическом, что изменить его невозможно. Притом Шмелев настоящий художник, каким-то чудом торжествующий над лубочно-кустодиевской оболочкой своих писаний и порой оживляющий ее трагическим дыханием»[429], то в рецензии на отдельное издание разнес «реакционный и узкий» идеал Шмелева, указал на «внутреннюю порочность» шмелевского творчества и декоративность его патриотизма. И вообще литература опровинциалилась! Вот у Пушкина и Толстого ощущение родины глубже, свободнее и «менее назойливо»[430].

Ильин успокаивал Шмелева, 9 марта 1935 года он писал ему: «Отзыв Гадомовича — до скандальности ничтожен и беспомощен. Плюньте, дорогой, не рыагируйте»[431].

«Назойливое» чувство родины не помешало переводу романа на немецкий язык, а вслед за этим последовали хва-

[426] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 345.
[427] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 20.
[428] Последние новости. 1934. 24 мая.
[429] *Там же.* 1935. 21 февр.
[430] *Там же.* 1936. 30 янв.
[431] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 29.

лебные отзывы критиков Германии, Австрии, Швейцарии. Однако вскоре книгу в Германии запретили — она не соответствовала культивировавшемуся немецкому духу. Очевидно, «назойливым» чувством родины.

В начале января 1934 года Шмелевы, по дороге к Кульманам, встретили Бунина — случайно столкнулись с ним в вестибюле. Шмелев увидел его, и сердце наполнилось жалостью, потому что перед ним стоял «обескровленный старичок», и пронзила мысль: «Не умеют русские беречь себя и свое. Жгут — сгорают, дают себя жрать за пустое словцо и жест». Бунин откинулся к стене и, глядя на Ольгу Александровну, спросил: «Нет, что-о-о он обо мне ду-ма-ет?!» Потом посмотрел на Шмелева: «Да, я... свинья, свинья...!»[432] Бунин был пьян. Он обещал заехать через три дня и, действительно, заехал, но не застал Шмелева дома.

Позже Шмелев навестил Веру Николаевну Бунину в отеле Vernet, она позвонила Бунину, который остановился в отеле Majestic, недалеко от Vernet. Шмелев вспоминал: «Пришел, больной, сел — упал в пальто в постель... и сидел, истомленный-больной. И я чуть не заплакал. Мысль: вот, и прошла жизнь почти... не-че-го (ему) больше ждать. Старость его жалко стало. <...> Все — итоги “пира”. Я не думал, что в такие годы можно было так бешено заликовать и продолжать ликовать 2 мес<яца>! Ведь за эти 2 мес<яца> он у себя сжег 2—3 года жизни»[433]. Было жаль Бунина и было неприятно его окружение, прежде всего эта неприязнь относилась к «блудослову», «хи-тря-ге», «плу-уту»[434] Федору Степуну.

Бунин, великолепный и великодушный, ассигновал писателям эмиграции для их материальной поддержки тридцать

---

[432] Цит. по: Письмо И. Шмелева к И. Ильину от 15. 01.1934 // Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 437.

[433] *Там же.*

[434] *Там же.* С. 437—438.

пять тысяч! Шмелеву выделили из этого фонда три тысячи, чему он был, конечно, рад — деньги дали ему возможность расплатиться с долгами и просто передохнуть.

Нуждался он постоянно, потому 10 марта 1934 года состоялось его первое за одиннадцать лет эмиграции литературное чтение ради денег. Читал он первые пять глав «Няни из Москвы» и другие произведения. Аудитория, 500 человек, приняла его благодарно. Ему рукоплескали, его не отпускали с эстрады — и он был счастлив. Помимо необходимого для уплаты долгов гонорара в 3100 франков, он был морально удовлетворен и получил великое утешение. То была победа над обстоятельствами.

Воля к преодолению обстоятельств или ощущение своего безволия — этот выбор был перед ним всю его жизнь, начиная с Крыма. 3 января он жаловался Куприну на свои немощи и «черное, подавленное душевное состояние»[435]. 10 марта испытал душевный подъем, а потом тяжело заболел: анемия, истощение, головокружение. Он пролежал неделю, Ольга Александровна впрыскивала ему мышьяк со стрихнином и фосфором. Он пил лошадиную кровь, но этим только вызвал боли в кишечнике. В мае состоялся осмотр у известного хирурга Du Bouchet, полуфранцуза-полуамериканца, заведующего Американским госпиталем в Найи. Выяснилось, что открылась старая язва. Иван Сергеевич вынужден был лечь в Американский госпиталь, пробыл там пять предоперационных суток, но операции избежал…

С ним произошло чудо. Не последнее и не первое в его жизни. С годами он стал особенно отмечать в своей судьбе помощь небес, высшее заступничество. Заметим, что и помощь Бунина в определенном смысле — нежданное чудо. И сейчас ему было знамение. Еще до отправки в госпиталь он увидел сон о том, как на рентгеновских снимках вместо «Jean

[435] Цит. по: *Куприна К.А.* Куприн — мой отец. С. 235.

Chmeleff pour Dr. Brulé» (Иван Шмелев для др. Брюле) теми же тонкими белыми линиями было начертано по-русски «Св. Серафим». Проснувшись, подумал, что он — под Его кровом. Было такое чувство, будто святой рядом, причем явственно: «Никогда в жизни я так не чувствовал присутствие уже отшедших...». Так написал он в воспоминаниях «Милость преп. Серафима» (1934). Подробно этот случай он описал и Ильину.

С июля Шмелевы, вместе с Ивом, сыном Юлии Александровны Кутыриной, избавляясь от городской духоты, по совету Деникиных, отдыхали в горах Allemont, во французских Альпах. С отъездом помогли Кульманы. После болезни и прочих неурядиц Аллемон был подарком судьбы. Жили неподалеку от Деникиных. Шмелева умиляли русские пейзажи Аллемона, все эти колокольчики и подосиновики, земляника, черника, которую они с Ольгой Александровной сушили для киселей. О родном ему напоминала и метель в горах. Поражало ощущение первозданности. Шмелев даже обзывал себя дураком за то, что десять лет провел в Капбретоне. К тому же жизнь тут на 25% дешевле!

Надо отдыхать, лечиться, преодолевать недуг и душевный упадок. Он внушал себе эту мысль. Он уговаривал себя. Да и письма Карташева о том же: всеми силами, духовными и физическими, надо пережить Сталиных, Молотовых, Кагановичей, всех убийц, всех едящих и пьющих с ними. Надо, но... очень слаб. Однажды во время гулянья его потянуло в пропасть. Произошло это исподволь, во время головокружения. Возможно, сказался сильный астигматизм.

Воздух Булони, куда Шмелевы вернулись осенью, теперь казался невыносимым. Где та земля обетованная?.. Он бы поехал в Югославию, как он говорил — к сербушкам, там у него есть читатели. Но там у него нет близкого человека.

Близкий человек в Германии, но в Германии близкому человеку жить стало опасно. Осенью 1934 года Ильин, профессор Русского научного института в Берлине, был уволен нацистами с работы, поскольку отказался преподавать по их программе. Обвинили его и в том, что он не поддерживал планов об отделении Украины (этому вопросу были посвящены и допросы Ильина в гестапо), что не насаждал идеологии нацистов среди эмиграции, что не вел среди студентов антисемитскую пропаганду. Ильин, действительно, полагал, что антисемитизм вреден и для России, и для эмиграции. После обвинений и таскания по допросам ему, под угрозой концлагеря, запретили вести политическую деятельность.

И ужасное положение Ильина, и убийство в Марселе югославского короля Александра I Карагеоргиевича повергли Шмелева в отчаяние. Вновь он терял силы для сопротивления, вновь рушилась вера, вновь почувствовал опустошенность, вновь решил, что мир брошен, что всё во власти случая и злой человеческой воли. Действительно, на свете счастья нет, но нет и покоя и воли. Он даже не мог читать Евангелие.

Не стремясь, как писал Пушкин, себе присвоить ум чужой, он принялся искать спасение, новые силы и новые жизненные смыслы и у Шекспира, и в мифологии, у Геродота... все-таки лучше мифология, но только не вопросы о жизни и смерти у мыслителей... В ноябре он попросил совета у Ильина: что почитать, чтобы напитало душу? Так и писал: «Лучше Гомера — не знаю. Евангелие — *не могу, сейчас не могу. Хорошую* старую книгу»[436]. Он вспомнил о Гете и перечитал «Фауста», но оказалось, что все наивно, все о малом: «А Фауст — дурак — пустышка! Болтун! А Мефистофель — жалкий “Приготовишка”!»[437]

[436] Переписка двух Иванов (1927—1934). С. 495.
[437] *Там же*. С. 496.

XV. *Младороссы* *Третья сила* *ИМКА* *Труды и дни* *«Старый Валаам»*

Воля Ильина, его здравый смысл, умение расставить все точки над i, умение ободрять — все это укрепляло Шмелева. После тяжело пережитого отчаяния он возвращался к мыслям о своей миссии, о воспитании молодых эмигрантов. Бальмонт как-то высказал надежду на то, что объявится иский русский юноша, который изменит мир. И Шмелеву хотелось в это верить, потому, как он полагал, ради мыслящей молодежи должна быть создана национальная газета, необходимо объединение национальных сил.

Тогда он смотрел в сторону одной газеты, другой и видел, что самыми бессильными в эмиграции оказались охранители, государственники — те, кто стоял на позициях православия, самодержавия и народности. Он негодовал: не можем связать веника! народы, выдумавшие только шашлык и чихирь, и те имеют свой национальный центр! левые ведут свою линию, а среди национально мыслящих — разброд! Он торопил Ильина: «Русский колокол» должен выходить быстрее, ведь при выпуске одного номера в три месяца — это лишь благостные удары, толпой забываемые. В 1930-х годах Шмелев убеждал себя в том, что новый мир будет рождаться в

страшных муках, целое поколение лишится покоя — но хочет ли это новое поколение покоя?.. это поколение ищет бури!

Он наблюдал за брожением молодых сил, но мало что его удовлетворяло. Да и он был лишним в молодежных станах. В 1934 году его внимание привлек один факт. Коммунистами по инициативе журналиста П. Вайян-Кутюрье в зале Мютюалите на пять тысяч мест было устроено собрание, на котором председательствовали писатели Андре Жид и Андре Мальро, советских писателей представлял Илья Эренбург. Обсуждали советскую литературу. По распространившимся среди эмигрантов слухам, собралось десять тысяч, было много молодежи. Во время речи Эренбурга, как сообщалось в «Последних новостях», возникла драка, на эстраду выбежали молодые люди, исполнили «Песнь сибирских партизан», «Варшавянку», «Песнь о вещем Олеге». Они и аплодисменты сорвали, и вызвали смех, поскольку пели на франко-советский лад. По всей видимости, это были младороссы.

Шмелев присматривался к младороссам, издававшим свою «Младоросскую искру». Это было движение эмигрантской молодежи во главе с Александром Львовичем Казем-Беком. Оно возникло в Мюнхене в 1923 году как «Союз молодой России», в 1925-м у него появилось новое название «Союз младороссов». Казем-Бек возглавил его в 1929 году, а в 1934-м Союз стал Младоросской партией, выступавшей за восстановление в России монархии, но — и это настораживало Шмелева — выдвинувшей лозунг «Царь и Советы». Новые идеалы?.. Еще в 1927 году Шмелев написал статью «Как нам быть?», в которой рассуждал о том, что новое поколение ждет новых идеалов, без идеалов оно существовать не сможет в силу специфики национального сознания: «...оно же р у с с к о е поколение!» Но — Советы?..

С начала 1930-х годов у младороссов внешне проявлялись повадки фашизма, национал-большевизма. Молодые

люди носили голубые рубашки, Казем-Бека приветствовали стоя, выстраивались в ряд и выбрасывали правую руку вверх, приветствуя: «Вождь!» И все это на фоне профашистских ультраправых организаций французов. 6 февраля 1934 года в Париже прошла манифестация фашистов, по поводу которой Гиппиус писала: «Уж не говоря о нас, русских пришельцах, — сами французы еще не разобрались, кажется, в смысле событий...»[438]

Шмелев в 1920-е годы, до преследования нацистами Ильина, о фашизме имел самые смутные представления. Тогда ему казалось, что фашизм — это «сугубый национализм, родившийся из крови и ран войны», конвульсивный поиск выхода из тупика. Так он писал в статье 1924 года «Пути мертвые и живые». А в октябрьской 1927 года анкете газеты «Сегодня» он делал прогнозы, с реальностью никак не связанные: после падения большевизма последует личная диктатура, нечто вроде бонапартизма, и Россия пойдет по пути к фашизму, охраняющему державу и противостоящему интернационализму; при этом активные антибольшевистские силы будут состоять из комсомольства, комсомольцы разбудят в советском человеке национальное сознание. Похоже, советские комсомольцы в его понимании — это что-то вроде младороссов. Что же касается российского бонапартизма, тем более фашистского пути России, то эти идеи, конечно, не принадлежали Шмелеву. Они просто витали в воздухе.

Иллюзии 1920-х годов относительно фашизма, невозможность предвидеть его страшное будущее — черта политического сознания эмигрантов. Например, генерал П. Краснов написал в 1921 году роман «За чертополохом»: Советская Россия изолирована от Европы могучими зарослями чертополоха, выросшими на костях русских беженцев; группа

---

[438] *Гиппиус З.* На парижских улицах запахло порохом // *Гиппиус З.Н.* Неизвестная проза. Т. 3. С. 484.

русских эмигрантов и иностранных славистов в 1960 году пробирается через эти заросли в Россию и видит идеальное общественное устройство — возродившуюся страну, которой правит один из потомков Романовых; политическая программа государства опирается на уклад допетровского времени и технический прогресс; союзница России — националистическая Германия; один из членов экспедиции, немецкий профессор, возвращается в диктаторскую Германию, чтобы строить в ней государство, подобное России.

Отношение Шмелева к писательским возможностям Краснова было довольно ироничным. Но дело не в этом. Политическая судьба Германии привлекала к себе эмигрантов тогда, когда Шмелев еще жил в Советской России и был озабочен совсем другими проблемами. Возможно, он только в Европе познакомился с новыми идеями и стал свидетелем их распространения среди русских. Так, гораздо позже «Чертополоха» появилось сочинение идейного лидера младороссов К. Елиты-Вильчковского «О национальной революции» (1936), в котором говорилось об ориентации будущей России на европейский опыт, на страны националистического толка: падение царизма было исторически необходимо, а теперь необходимо победить новую власть и создать новое Русское государство по образцу авторитарной Италии.

Видно, что в своих представлениях о политическом будущем СССР Шмелев был наивен. Что же касается младороссов, то к ним он относился скорее отрицательно. Во-первых, они политически ему не союзники; лозунг в пользу Советов, да и утверждения об исторической обреченности царизма — все это враждебные ему идеи. Во-вторых, он не мог не прислушаться к Карташеву, который хоть и полагал, что Казем-Бек «не без таланта», но в младороссах видел не только «мускулы», но и «дрожжи для будущего гитлеризма»[439]. В-треть-

[439] *Кузнецова Г.* Грасский дневник. С. 279. Сентябрьская запись 1933 г.

их, Шмелеву Казем-Бек был лично неприятен. Когда в 1935 году до него дошли слухи о перестановках в редакции «Возрождения» и каким-то образом возникло имя Казем-Бека, он принялся горячо отговаривать Семенова от этой затеи, старался убедить его в том, что введение в «Возрождение» Казем-Бека станет ударом по русскому делу, что Казем-Бек привнесет в газету недопустимый, даже мерзостный тон. Надо сказать, что интуиция Шмелева в данном случае была верной, а осторожность оправданной. Казем-Бек был сложной политической фигурой с непредсказуемой судьбой. Казем-Бек — православный человек дворянского происхождения, он эмигрировал в 1920 году, обучался в белградском и мюнхенском университетах, в парижской Высшей школе политехнических и социальных наук, с 1944-го преподавал русский язык и литературу в Йельском университете, но... в 1957 году стал возвращенцем, в СССР работал при Московской Патриархии, даже создал жизнеописание Патриарха Алексия I.

В связи с движением младороссов в эмигрантских кругах заговорили не только о будущем, но и о прошлом и вспомнили о К.Н. Леонтьеве. Младороссы опирались на консерватизм Леонтьева, и Г. Иванов поспешил накрепко связать лозунги правых националистических кругов с идеями Леонтьева. В его статье 1932 года «Страх перед жизнью» по сути через запятую идут «Леонтьев», «гитлеровский оратор», «младоросс». Иванова настораживали идеи Леонтьева о сильной власти, о неизбежности принуждения и вреде демократической конституции.

Когда юный Шмелев принес в «Русское обозрение» свой первый рассказ, редактор спросил у него: «Вы, конечно, читали нашего основателя, славного Константина Леонтьева... что-нибудь читали?» Тогда Шмелев Леонтьева не читал. Редактор говорил о величии Леонтьева и о том, что начина-

ющий писатель обязан его читать. В статье «Как нам быть?» Шмелев, обращаясь к молодым, называл Леонтьева среди учителей. Он внушал молодым: ранее историей русских идей интересовались одиночки, а большинство — историей европейской мысли, революционными идеями, теперь необходимо, не вступая в спор с философами, порицающими сопротивление злу силою, встать за Россию по инстинкту и воспринять ее через творцов и собирателей. Он радовался тому, что молодые полюбили не народ только, а, в отличие от левой интеллигенции, всю Россию. Необходимо, опираясь на учителей, убеждал он, создать национальное ядро, то есть сделать то, что не смогла сделать старая интеллигенция.

Он настаивал на принципиальном отличии современного воспитания молодежи от принятого ранее в России. Что он имел в виду? В статье «Мученица Татьяна» (1930) Шмелев обрушился на Университет: за годы обучения он «не услышал внятного слова о просвещении, о русском просвещении <…> о р о д н о м», «не было с и с т е м ы: системы познания России». Итак, Леонтьев был необходим молодой эмиграции, и не следовало от него отказываться только потому, что его взгляды были использованы младороссами.

Но где же, где та взвешенная, разумная молодежная организация, которая объединит национальные силы под знаменем Леонтьева? которая услышит Шмелева?

В начале 1930-х годов появились словосочетания «новые люди», «третья сила», «третья Россия». Их породила пореволюционная идеология, а суть заключалась все в том же: какой будет Россия после поражения большевиков? Негативным откликом на эту «третью силу» стала статья опять же Г. Иванова «О новых русских людях» (1933). Для формирования этой идеологии свою роль сыграли статьи Бердяева в журнале «Утверждения», вокруг которого группировались объединения пореволюционных течений, в том числе и под-

державшие «третью силу». Активистом движения был П.С. Боранцевич. Он закончил советский вуз, пережил романтизм первых революционных лет, перешел границу, не разделяя дальнейшей политики большевиков. В эмиграции он назвал себя и своих последователей «Третьей Россией» и предложил программу создания сильной России, фундамент которой заложили большевики. Зоркий Иванов заметил изменения на политической карте эмиграции: борьбу между собой в эмиграции ранее вели люди одной культуры, однако единые в неприятии большевизма и давшие общий отпор сменовеховцам и евразийцам, а теперь появилась «третья сила».

Шмелев был согласен с Ильиным, автором «Творческой идеи нашего будущего» (1934): новый человек — это тот, кто исповедует любовь к Богу, к отечеству и к национальному вождю. Он даже думал о создании массовой организации вроде монашеских орденов — ордена рыцарства. Ни в какую «третью силу» он не верил и иных «новых русских людей» не признавал. Вообще был крайне недоверчив по отношению к новым образованиям. Его просили написать воззвание в связи с тем, что в Белграде возникла идея создать объединение национально мыслящей молодежи. Шмелев отказался. Он опасался провокационных операций ОГПУ вроде «Треста». Потому и с «третьей силой» ему не по пути, как не по пути с Бердяевым.

Со стороны он наблюдал за развитием христианского движения молодежи — Русским студенческим христианским движением (РСХД). Наблюдал и не доверял. Во главе религиозно настроенной молодежи встал философ и богослов отец Василий Зеньковский. Преследуя цели религиозного воспитания, это объединение по идеологии было интерконфессиональным, что уже порождало в Шмелеве неприязнь. Причем в РСХД не было мира. Консолидации молодых сил препятствовали старики, внося в их движение свои раздоры.

Митрополит Евлогий во всем винил сторонников социалистов: «...замешалась политика, в здоровый организм проник яд политических разногласий... Я обвиняю Бердяева. Он стал заострять политический вопрос, проводить четкую социалистическую линию...»[440] В 1934 году Бердяев высказал своей жене, Лидии Бердяевой, мысль о том, что всюду ложь, что трудно жить это увидевшему. Как Шмелев, он искал укрепления у великих, перечитал в январе 1935-го «Идиота», но решил, что Достоевский не понял психологии нигилистов, а это люди цельные, лишенные раздвоенности и трагизма.

Левое крыло движения следовало лозунгам Бердяева, а также его союзницы — матери Марии (Е. Скобцовой). В прошлом эсерка, в эмиграции она была социально активной, много и по-христиански помогла нуждающимся, выражая свои огромные душевные силы и в монашестве, и в литературе. Как написал о ней поэт и впоследствии филолог Илья Голенищев-Кутузов: «Так схима не спасет Скобцову / От поэтических грехов» («На иеромонаха Шаховского»). Евлогий, противостоявший левым влияниям в РСХД и в то же время ценивший личные качества матери Марии, отозвался о ней: «Необычайная энергия, свободолюбивая широта взглядов, дар инициативы и властность... Приняв монашество, она принесла Христу все свои дарования»[441]. Левые обвинили правых в нежелании понять советскую действительность. Правые упрекали левых: «...вы не учите национализму, вы предаете Россию, вы готовы подать руку гонителям Церкви...»[442]. Раскол вел движение к упадку.

В 1930-е годы разлад религиозных ортодоксов и вольных философов не утихал. Наоборот, усиливался. Например, указом митрополита Сергия С. Булгаков был обвинен в ереси.

---

[440] Митрополит Евлогий. Путь моей жизни. С. 492.

[441] *Там же.* С. 492—493.

[442] *Там же.* С. 492.

В 1935 году Бердяев выступил в защиту Булгакова, опубликовав в «Пути» (№ 49) статью «Дух великого инквизитора (по поводу указа митрополита Сергия, осуждающего богословские взгляды о. С. Булгакова)», в которой отстаивал свободу в богословии. И Московская Патриархия, и Карловацкий Синод осудили взгляды о. Сергия Булгакова, изложенные им в книгах «Купина Неопалимая. Опыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании Богоматери» (1927), «Друг жениха» (1927), «Агнец Божий. О богочеловечестве. Ч. I» (1933). В ответ Булгаков уверял, что признает догматы православия, а его исследования затрагивают лишь богословские истолкования догматов и не противоречат их смыслу.

Разногласия философов с Церковью не новость. Философам-эмигрантам это было знакомо. Так, перед Первой мировой войной Священый Синод осудил Бердяева за статью «Гасители духа» («Русская молва». 1913. 5 авг.), которая была написана в защиту имяславства — учения афонских монахов, признанного Синодом ересью. И вот Бердяев напечатал «Дух Великого Инквизитора», в котором указ против Булгакова расценил не только как спор о Софии, но и как имеющий отношение к проблеме свободы совести, независимой мысли. У Бердяева даже прозвучали слова о религиозном фашизме.

Неприязнь Шмелева вызывали не только политические, но и религиозные взгляды Бердяева. По-видимому, и Бердяев не питал к Шмелеву теплых чувств. Издательство «ИМКА-Пресс» в 1935 году отказало Шмелеву в публикации «Богомолья» отдельным изданием! Пораженный Карташев писал Шмелеву по этому поводу: «А какой срам <...> для Вышеславцева и Бердяева, которые не захотели напечатать Вашего “Богомолья” — в “Имке”»[443]. Бердяев, погло-

[443] Цит. по: Письмо И. Шмелева И. Ильину от 26.04.1935 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 54.

щенный битвой правых и левых, очевидно, не видел целесообразности в издании написанного правым произведения. Даже «Богомолья». Это видно из письма Карташева: «Я этого им никогда не забуду! Что значит пошленький лево-интеллигентский террор: "как бы не показалось им — кому??? — очень правым, черносотенным!" А ведь преле-стно?! И как непроходимо глупо! Лишним комком д....а больше в "истории русской *мысли* и... словесности"!»[444]

Прав, с точки зрения Шмелева, был Карташев, утверждавший, что прежняя интеллигенция не в состоянии покаяться, более того — она бежит за молодежью, а молодежь в идейном и организационном отношении сейчас представляет собой хаос. Как и Евлогий, Карташев упрекал в этом Бердяева[445].

Главная цель эмигрантского бытия Шмелева так и не была достигнута. Не было ни газеты, ни молодежной организации, через которые он мог бы распространять свои взгляды. Он это признавал и утешался тем, что его произведения влияют на умы поверх союзов и движений, что они способствуют приближению конечной цели — возвращению в небольшевистскую Россию. В конце 1934-го — начале 1935 года он получил с Карпат от одного игумена образ преподобного Серафима с надписью «Бытописателю русского благочестия». Образ был написан на старом Афоне, лежал ночь на камне Серафима Преподобного в Сарове, потом попал в Прикарпатскую Русь. Шмелев, Ольга Александровна и Ив сделали кивот («обтачивали-полировали, до испарины»[446]), сами его вызолотили. Вот с этим образом Шмелев полагал вернуться в Россию года через два.

[444] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 54.
[445] Об этом см.: *Кузнецова Г.* Грасский дневник. С. 279.
[446] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 12.

Как и ранее, ему идеологически и духовно близок Ильин. Работы Ильина 1930-х годов, в том числе опубликованная в «Возрождении» «О монархе» (1935), многое Шмелеву открыли, и он столь же страстно, как и в 1920-х, стоял за консерватизм, государственность и ругал политический либерализм, нестрогость философскую и суету эстетствования. Все более, вчитываясь в труды Ильина, Иван Сергеевич размышлял о совести. Ясная, сильная мысль, идеал — все это понятно, все это очевидно, но чтобы воспринять и реализовать идеал, нужна великая душевная простота либо душевная утонченность и гениальность. Бунин ругал Шмелева за самомнение, а в Шмелеве нарастала требовательность к себе, неудовлетворенность сделанным. Уже с позиций нравственного максималиста он размышлял об усовершенствовании человека. И все раздраженней он становился по отношению к противникам. В январе 1935 года Шмелев писал Ильину:

> Все нудно в пар<ижской> эмиграции. Похаживают в гости, бридж, почитывают доклады, Бердяевы разлагают молодежь, все пичкают вчерашним бульонцем жидким, с приправами, во имя имок и муасонов, с прожилкой из юдофильства, с эманацией всеприемлемости б-кой, с пропов<едью> «терпимости» — д<ома> т<ерпимо>сти. Неистребима эта вонь федотовщины, провонявшего либерализма и двухгрошевого вольнодумства, — все вольтеровские подметки продолжают отрыгаться. Ублюдки убогие, все — *те же!!* С нетерпимостью к инакомысл<ию>, к национальному, к родному, к родовому... все с оглядкой на «запад». Истинные мракобесы, ненавижу! И... на сколько тут процентов... подделыванья, выплясыванья ради мзды и «руки дающей»![447]

Отметим, что сам «запад» был не столь уж однозначен, и в 1935 году Гуссерлем был прочитан доклад «Кризис евро-

[447] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 13—14.

пейского человечества и философия», в котором вина за дегуманизацию европейской культуры возлагалась на европейский рационализм. Совсем по Шмелеву.

Шмелевы старались малыми своими силами жить, как жили в России. На Пасху 1935 года Ольга Александровна замесила тесто для куличей и отправилась в Севр, в знакомую ей булочную — там куличи точно не пригорят и пропекутся. В укладе Шмелевых была своя поэзия и своя строгость, их быт был пропитан духом «Лета Господня». Проводившему Ольгу Александровну Шмелеву весело думалось о том, как сладко-сдобно будут пахнуть куличи, как запах распространится в автобусе, как покидающие Севр французы навострят носы, уважительно посмотрят на Ольгу Александровну и вспомнят о своих круасанах. Он радовался тому, что почти год не чувствует язвенных болей, что может выпить полстакана красного вина с водой и даже съесть кусок кулебяки. Одно плохо: тревожили бронхит и высокая температура.

1935 год в материальном отношении ничем не отличался от предыдущих лет. Шмелев боролся с безденежьем, а Ольга Александровна выказывала чудеса бережливости. Выручил аванс за перевод «Няни из Москвы», эту тысячу швейцарских франков он с радостью принял, «ибо наг и бос, и термиты гложут»[448]. Термиты — это лавочники. Его не спасали гонорары в «Возрождении»: за месяц в среднем он получал за свои публикации 400 франков… в то время как Ходасевич — 1800.

Шмелев писал рассказы, работал над новым романом «Пути небесные», выступал с публичными чтениями, которые давали и гонорары, и моральное удовлетворение. Так, 5 мая он выступал в «Союзе Русских Дворян», получил

[448] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 81.

денежное вознаграждение, благодарность и признательность слушателей, среди которых был цвет дворянства, представители Волконских, Гагариных, Самариных, Трубецких, Хомяковых... А благодарность ему была необходима: в такие моменты он верил, что нужен, что живет не напрасно. Он был счастлив тем, что, прочитав им «У Троицы на Посадах» и «Троицын день», утишил их скорби и донес до них образ родного.

Не изменяя порядку, с наступлением тепла Шмелевы решили вновь отправиться во французские Альпы — в Аллемон. Но оказалось, их удобная и дешевая дача была снята Деникиными, предположившими, что Шмелевы проведут лето в Югославии. Это крайне огорчило Шмелева, очень остро воспринимавшего всякие неурядицы, но все-таки ему и Ольге Александровне удалось вырваться из Булони в желанный Аллемон: была найдена дачка в двух километрах от деревни, у ручья. Сам он так описывал свой быт:

> Хожу за молоком в 7 у<тра> на ферму, за версту. Пчелы. Коровы, влекущие ноги, дети в громыхающих ботах — bonjour, m-r! Всего и разговору. Друг, живущий неподалеку, дал мне велос<ипед>, и я могу ездить в городишко за провизией. Здесь л<итр> чуд<есного> молока — 75 с., т.е. 13 пф. Яйца (вот *она* сейчас снесет!) — 3 ф. 75 с. — дюжина — т.е. 65 пф. Мед — 7 фр. кило. Хлеб — сельский. Сыты. Пойду за черникой в горы, вот только «поотойду»[449].

Приходилось в деньгах быть аккуратными, впрочем, как всегда: в день они проживали 12—15 франков, не считая аренды дачи и платы за квартиру.

В августе Иван Сергевич получил поклон от югославского короля. То был ответ на послание Шмелева. Конечно, ему было приятно, очень приятно. Но что вызвало его негодова-

---

[449] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 87.

ние, так это медлительность профессора Александра Белича, сербского лингвиста, который более четырех месяцев продержал у себя его письма королеве Марии, принцу и другим членам королевской семьи, а также предназначавшиеся им три книги «Богомолья». Жизнь Шмелева вообще была обременена всякого рода неурядицами, которые он к тому же воспринимал близко к сердцу, порой видел в них злой умысел, подозревал козни противников. Вот и сейчас закралось подозрение: уж не масон ли? Объяснения профессора (хотел переплести книги и проч.) его не удовлетворили. Вспомнилось, как три года назад Беличем также была задержана книга «Въезд в Париж», посланная Шмелевым королю. Он даже заподозрил Белича в том, что благодаря его усилиям не состоялись белградские чтения, в которых он остро нуждался — гонорарами можно было покрыть накопившиеся расходы. Шмелев поддавался обидам. Возможно, не всегда оправданным. Белич немало способствовал русской эмиграции, он инициировал белградский Зарубежный съезд русских писателей 1928 года, убедил сербов дать деньги на учреждение издательства «Русская библиотека».

Только судьба даст маленькую передышку, только наступит долгожданный покой, только Шмелев вкусит «каплю блага, как на страже уж...». Уж разочарования и обиды не заставляли себя ждать. В конце года был поставлен фильм «Очи черные», для которого использовали материал «Человека из ресторана»: за консультацию Шмелеву было обещано три тысячи франков, однако выплатили только две. Он решил не судиться с режиссером, но сам факт открыл для него новые возможности. Так, он получил предложение для киноверсии «Путей небесных» — но они еще не были написаны... На следующий год одно из кинематографических агентств попросило его дать им за три дня идею — краткое изложение сценария фильма о покорении Кавказа, о Шамиле, ввести в сценарий любовную линию. Переключиться с «Пу-

тей небесных» на кавказский материал было трудно, но подкупала перспектива впоследствии создать свой фильма, по своему замыслу. Обнадеживало и то, что заказчики — русские, по-видимому, предприимчивые: на предыдущий фильм ими было затрачено восемь миллионов. Однако вместо обещанных тридцати тысяч было заплачено две, рухнули и надежды на собственный фильм.

Шмелев в такого рода ситуациях был беспомощен, он никогда не добивался от заказчиков того, что ему обещали. В решении бытовых, финансовых, юридических проблем он, бывший адвокат, был как ребенок.

В августе 1935 года Борис Зайцев был на Валааме и написал очерк «Валаам», который публиковался частями в «Возрождении» с ноября 1935-го по март 1936-го. Из Валаамского монастыря Зайцев привез Шмелеву его же собственную книгу «На скалах Валаама». А осенью 1935 года Шмелев получил письмо от некого читателя, хорошо знавшего и Валаам, и «На скалах Валаама». Письмо — а в нем сообщалось о судьбах описанных Шмелевым людей — укрепило его в мысли о подвижническом пути героев его книги. И поездка Зайцева, и привезенная им книга, на ту пору раритетная, и это письмо побудили Шмелева вернуться к валаамской теме. В 1935 году он написал «Старый Валаам», в котором передал главное, что осталось в его памяти о Валааме, — ощущение света.

Высокая духовная суть веры показана через описание жизни послушников. Шмелев в целом сохранил фактический материал «На скалах Валаама», но сам писатель был уже другим. В давно минувшее он привнес новые ощущения и писал не о религиозной идее послушников, а о глубокой вере монахов, естественно проявляющейся в их быте. Проблема уставного и личностного уже не разрешалась столь однозначно. Теперь Шмелев принимал монастырский устав как

данность, потому что «грех силен» и смущает иноческие души. Грех проникает в обитель с узелками паломников, потому гостинчики, посылки и досматриваются. Значит, так тому и быть.

Как и в книге «На скалах Валаама», он писал о тяжести подчинения уставу, о многотрудном подавлении искушения смирением. Как и раньше, он обращался к вопросу о запрете и воле. Замечателен образ батюшки из Олонецкой глубинки: он прислан на исправление, он уже три года ждет прощения («Ну, провинился, каюсь, пил»), он лишен прихода, разлучен с попадьей и шестью детьми, он тоскует по земному бытию. Или печальный бледный послушник, приговоренный к горькому покаянию, хотя и грех невелик, «так, маленько чего ослушался». Без благословения отца игумена богомольцы друг к другу, как и богомолец к иноку, инок к богомольцу, войти не могут. За соблюдением устава следит монах-дозорщик. Но ласковый отец Антипа непринудительно служит на Валааме, спасаясь крепостью духа, а в высоком, сильном игумене Гаврииле нет борения между его естеством и духом. Иконописец отец Алипий ранее в Академии учился, писал мирское, попал на Валаам, не справился с «борением», «духа не смог смирить», оставил обитель, а затем вернулся„покорился, принял постриг, стал писать только святые лики. Молодой повествователь говорит о том, что Валаам вытравил из художника живую душу. Но ему возражают: Валаам освободил живую душу отца Алипия, он ищет в ликах Свет Господень, нетленное пишет. И Шмелев согласен: «Теперь я знаю: высокое искусство в вечном».

Он освободил текст от натуралистических, неэстетических подробностей вроде чавканья монахов за трапезой и придал образам благостность. Внешняя сторона монастырских служб теперь осмыслена как символ, раскрывающий суть веры, и шире — религиозную культуру, а главное — иное бытие, наполненное высоким смыслом, недоступным молодо-

му Шмелеву, но доступным зрелому. Это бытие выразилось в органичном, непринудительном единении путей земных и небесных, о чем он писал и в «Богомолье», и в «Лете Господнем». Он даже ироничен по отношению к себе, молодому: монахи были духовно гораздо богаче его, несмотря на все его «брошюрки и философии». В речах монахов прозвучала и сквозная тема эмигрантского творчества Шмелева — противопоставление монастырских устоев жизни и не почитающей Бога интеллигенции.

У Шмелева всегда были четкие представления о добре и зле. Но между этими полюсами перед ним простиралось огромное поле нравственных, религиозных, философских вопросов, на которые он не мог ответить. Он был человеком верующим, но и сомневающимся, и ищущим, а не получая ответов, терзался.

К концу года, в ноябре, Иван Сергеевич почувствовал, что душа его испепелилась, что творчество для него не только вдохновение, что в творчестве он ищет спасения, что для него «Богомолье», «Лето Господне», «Пути небесные» — все равно что келья. А раньше, в июне 1935 года, в речи на торжественном собрании по поводу десятилетия «Возрождения» он высказал мысль о двух силах творчества — о воображении и углубленном провидении, интуиции. Очевидно, что этот вывод возник после «Богомолья» и во время написания очерков «Лета Господня», а по «Путям небесным» видно, что провидение, моление стали уже его творческой программой. Правда, и от молитвы приходилось отвлекаться — он вынужден был писать газетные очерки, чтобы заплатить за квартиру.

Когда писал, интуитивно чувствовал, где правда. Когда прерывался, начинал настойчиво, даже порой мучительно для себя искать эту правду. Искать умственно, через знания. Тогда келья была мала, нужна была Тургеневская библиоте-

ка. Просматривал периодику, но из современных произведений его мало что привлекало. Отпадал от современности, бросался к классикам, но получалось по Пушкину — мне скучно, бес… Ильину писал: «Перечитал Шекспира… да что! Шопенгауэра… — о, злой умница — болтушка. Гете не дал ни ч<ерта>. Одиссея, Иллиада… — чуть отвлекся. Платон — из 5 в 10, довольно. Очень томительное жеванье. Аксаков унял. Хочу старых путешественников читать, хочу простоты наивной»[450]. И еще: «Хочу забыться, опять читаю, взял Гофмана, но… мне скучно»[451]. «…Бросаюсь от Вас к Вл. Соловьеву, к Ап. Павлу… — и во мне многое раздирается, многое я не могу *внять*, бунтую-барахтаюсь… Вцепился в “Чтения о богочеловечестве”, Соловьева… Господи, сколько я проглядел или мельком только видел. Хочу “до дна” опуститься, весь “гад подводный ход” видеть, слышать и — добраться духом до “ангелов полета”»[452].

В Соловьеве он всегда признавал великий ум. Кутырина привела еще раннюю, 1925 года, запись Шмелева, и в ней очевидны мысли Соловьева: «Верую, что человек есть орудие — средство преобразить мир, сделать его воистину Ликом Божиим — Видимым Богом. <…> Цель — Красота и Гармония всего сущего»[453]. С именем Соловьева связаны детские воспоминания, например, о приходившем на молебны в гимназию дьяконе храма у Николы в Толмачах: этот дьякон, как рассказывал словесник, постиг Соловьева. Соловьев ему оказался необходим во время работы над «Путями небесными» — романом о борении тлена и вечного, тайного: в его героях проявлялось то, что описал Соловьев, — это когда жизнь входит в неорганическое, когда происходят

[450] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 13.

[451] *Там же*. С. 55.

[452] *Там же*. С. 62.

[453] *Кутырина Ю.* «Пути небесные»: Заметки к третьему ненапечатанному тому // *Шмелев И.* Собр. соч. Т. 5. С. 444.

роды иного человека, но еще не богочеловека. Соловьев для Шмелева — не только образ духовной и интеллектуальной силы, но и скрытых, еще не проявившихся возможностей, а потому современниками не постигнутых. Ильину много позже, 25 ноября 1946 года, он писал: «Подите вот… есть что-то в человеч<еской> душе… требует наполнения… от Кузьмы Пруткова. И недаром он дивертисментил. Он ли один?!. А Вл. Соловьев?.. а — мало ли еще?.. Все — подспудно. А сколько же позапропало! У Пушкина… сколько сгорело, уничтожено им самим»[454].

Шмелев был неистовым не только в политической борьбе, но и в обретении бытийных смыслов. Видно, сколь вдохновенно он их искал. Но находил ли?.. Бросался от одного чужого текста к другому, от одной мысли к другой, но редко удовлетворялся. И уж тем более редко за кем шел в своих произведениях, как чумы, остерегаясь умствования. Искал, искал, а если и находил, то в простоте наивной. В январе 1936 года он написал очерк «У старца Варнавы: К 30-летию со дня его кончины». Вот утешитель и провидец Варнава много знал. Ведь в «Богомолье» был описан действительный случай, происшедший за два месяца до паломничества. Еще не видя мальчика, старец через его мать передал ему благословение-крестик. Шмелеву тогда было лет пять-шесть. Варнава сказал так, как сказал в «Богомолье» при благословении крестом: «А моему… крестик, крестик!» По-видимому, матери был открыт и тайный смысл благословения, она говорила сыну о том, что жизнь его будет тяжелой и что ему надо прибегать к Богу.

---

[454] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 479—480.

XVI.

«Однажды ночью»
Кончина Ольги Александровны
Из Латвии в Берлин
Чудесная помощь
Пушкин — «сущность наша»
Триумф в Праге
Обитель преподобного Иова Почаевского
О назначении творчества
Скитания
Улица Буало
Бегство И.А. Ильина
«Основы борьбы за национальную Россию»
«Куликово Поле»
О.А. Бредиус-Субботина

Провидение старца сбылось в Крыму, и крымская трагедия не отпускала Шмелева до самой его смерти. В 1936 году он написал рассказ «Виноград»: герой живет в приморском городке при новой власти, считает, в мире воцарилось зло. В апреле того же года был написан рассказ «Однажды ночью». Тоже о крымских событиях, но в нем, напротив, сама жизнь, ужасная и унизительная, заставляет героя поверить в добро. Герой этого произведения, доктор, рассказывает случай из практики, в котором есть ответ на вопрос о «русском зверстве», о звере в человеке. Этот вопрос возник перед доктором, «в некотором роде почти народником», членом партии кадетов, после его общения с красивым, сильным парнем Стенькой, рыбачьим сыном. В его русских сероватых глазах были ласковость и задумчивость, но когда они загорались,

в них появлялось «татарско-генуэзское, разбойное». Сюжетная ситуация непростая. Стенька влюблен в дочь доктора, доктор отказал ему от дома («уши ему нарвал, сгоряча»), и месть Стеньки отравила жизнь доктора и его семьи: он разорял их сад, бил стекла в оранжерее, угрожал поджогом. На революционной волне Стенька стал лидером, страстно выступал на митингах. Далее в Крым вернулись добровольцы, Стенька в это самое время заболел сыпным тифом и попал в лазарет; однако доктор его выходил, нашел для него ласковое слово, тем самым пробудив в нем потребность в добре. Стенька стал покровителем семьи своего бывшего врага, приносил корзины с рыбой, после прихода в Крым большевиков оберегал от репрессий. В описании Крыма при большевиках повторились мотивы и образы «Солнца мертвых». Тюрьмам-подвалам, заблудившемуся народу, дикарям под началом бритых людей в галифе, с чужими лицами, холодными глазами Шмелев противопоставил простую человечность, которая была и в Стенькином естестве, и в матросах, защищавших доктора от чека.

Шмелев создал целый цикл рассказов крымской тематики, и судьба дала ему возможность публиковать «Крымские рассказы» в парижском журнале «Иллюстрированная Россия»: 1 марта он согласился стать членом его редакции. В состав редакции входили также И. Бунин, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, что говорило о внепартийности позиций журнала. Появление этих авторов в редакции означало новый этап существования журнала: в каждом номере отныне должны были публиковаться их произведения. Впрочем, это обещание не осуществилось в силу ряда причин.

Таким образом, Шмелев по-прежнему не отказывался от литературно-общественной деятельности и по-прежнему хлопотал за страждущих. В январе 1936 года появилась его маленькая статья «Срок платежа», суть которой сводилась к следующему: в Союзе литераторов и журналистов 460 че-

ловек, и они в большой нужде. Шмелев приглашал читателей на благотворительный бал-концерт. Он читал на благотворительных вечерах для обездоленных — для трудового народа. Росла его популярность среди неимущей эмиграции. Его тронул визит одного из таких читателей, который принес ему для памятной надписи двенадцать его книг. Он читал для бездомных в Аньере — и все билеты были проданы.

24 апреля Шмелев участвовал в юбилейном вечере Бальмонта, посвященном пятидесятилетию литературной деятельности поэта. Вечер был организован Союзом русских литераторов и журналистов в Париже, в частности Шмелевым, Зайцевым, Цветаевой и др., с целью собрать Бальмонту денег на лечебницу. Весной 1935 года его депрессия обернулась тяжелой болезнью, он впадал в бредовые состояния, ему являлись фантастические видения. Добывая деньги на лечение, жена распродала все, что покупалось, в том числе самое ценное для поэта — книги: у Бальмонта, полиглота, была собрана библиотека на двенадцати языках. Е.К. Цветковская писала 6 апреля 1935 года Владимиру Феофиловичу Зеелеру: «Мы в беде великой и нищете полной... У К.Д. нет ни одной рубашки приличной, ни новых туфель, ни пижамы — таким он попал в госпиталь»[455]. Бальмонта удалось поместить в частную лечебницу для психических больных, профессор-эмигрант больше года лечил его бесплатно, но само содержание надо было оплачивать. Сбор от вечера поступил в фонд Бальмонта.

В приветственном слове Шмелев говорил об общем у символиста Бальмонта и «бытовика-прозаика» Шмелева — о родине. Звучали его слова:

> И мы беседуем, читаем. Он — сонеты, песни... все та же полнозвучность, яркость, но... звуки грустны, вдохновенно

[455] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 98—99.

> грустны, тихость в них, молитва. Я — «Богомолье»: приоткрываю детство, вызываю… Мы забывались, вместе шли в далекое Святой дорогой. <…> Мы познали, что мы едины, как ни разнозвучны искания и нахождения наши[456].

Кроме Шмелева, выступили Б. Зайцев, А. Ремизов, читавший любимые Бальмонтом фрагменты из Гоголя, Н. Тэффи, М. Цветаева, журналист С. Поляков-Литовцев. Как вспоминала Тэффи: «На вечере в последнем ряду, забившись в угол, сидела Елена и плакала»[457].

Когда появлялись силы, Шмелев готов был ехать с чтениями и выступлениями не только в Аньер, но и за пределы Франции. Ему предстояло отправиться в Латвию и Эстонию, заехать в Изборск, в Печорский монастырь, часть выступлений посвятить собственному творчеству: Шмелева желали там видеть. Вняв доводам Ильина, он весной 1936 года принял решение отправиться в Ригу, а также остановиться в Берлине, чтобы встретиться с ним. Он думал об этой встрече, мечтал посидеть со своим другом в парке, хотел говорить с ним, говорить… Ильин начал хлопоты, связанные с предстоящим путешествием.

Однако поездку пришлось отложить. Шмелева тревожило здоровье Ольги Александровны, его ставили в тупик разногласия между врачами — Владимиром Давидовичем Аитовым и Сергеем Михеевичем Серовым. Серов нашел у больной склероз аорты либо сосуда около аорты и прописал йод, однако лечение прерывал бронхит. Аитов полагал, что сердце Ольги Александровны совершенно здорово, он

---

[456] Цит. по: *Кутырина Ю.А.* Из переписки К.Д. Бальмонта и И.С. Шмелева (к годовщине кончины К.Д. Бальмонта) // Возрождение. 1960. № 108. Дек. С. 36—37.

[457] *Тэффи Н.* Бальмонт // Возрождение. 1955. № 47. С. 66—67. *Елена* — Е.К. Цветковская, жена К.Д. Бальмонта, переводчица.

отвел подозрения Серова и отменил йодистое лечение. Два дня Ольга Александровна принимала прописанное им средство от спазм, почувствовала ухудшение, и Шмелев вновь обратился к Серову, который решительно отменил рекомендации Аитова. 18 июня доктор Серов был в гостях у Шмелевых, просидели до двенадцати ночи, 19 июня у Ольги Александровны появились боли, 21 июня наступило ухудшение. Она не смогла дойти до рынка из-за болей в груди. Был вызван еще один доктор, И.С. Чекунов, который обнаружил признаки грудной жабы, дал особый, германский, йод и прописал от болей тринитрин.

В такой тревожной ситуации Шмелевы решили все-таки ехать. Доводы такие: в Берлине Ольга Александровна проконсультируется у настоящего доктора, да и отдохнет от домашней работы. Однако 22 июня ей стало значительно хуже, дважды ввели пантопон, позже сестра милосердия впрыснула больной камфару. Скончалась Ольга Александровна 22 июня 1936 года после приступа грудной жабы. За полчаса до смерти она просила племянницу покормить Ивана Сергеевича.

Ее похоронили на Сент-Женевьев-де-Буа.

Шмелев погрузился в страшную рефлексию, его мучило чувство вины перед Ольгой Александровной. Надо было освободить ее от хозяйства, надо было проконсультировать у профессора… Он поддался самоуничижение, в нем нарастала потребность осознать и прочувствовать свою ничтожность:

> Мне, скоту, надо было сдохнуть, а не ей умереть так нежданно, так непонятно *отойти*! Она вся Святая! Вся, вся. А вот я, проклятый, еще влачусь, для чего-то… никчемный, гад ползучий, противно смотреть на себя. Сколько годов провел — в себе — за столом, — а она, тихая, работала, сидела где-то там — если бы все вернуть! Все отдал бы, сжег бы свои

лоскутки, маранья — за один бы день, только бы молча сидеть у ее ног и смотреть, смотреть в глаза ее!»[458]

Одно утешение — могила для двоих. Ему хотелось умереть, и мысли о смерти были навязчивы — он утратил волю жить: «Полное опустошение, тупость, отчаяние. Вчера — выл, зверем выл в пустой квартире. Молитва облегчает, как-то отупляет. Вера — я силой ее тяну, — не поднимает душу. Все — рухнуло»[459], — писал он Ильину. Душа была мрачна, а вера не давала душе утешения. Как и после смерти сына, он не только почувствовал свою богооставленность, но и сам утрачивал веру в Бога. Ильину он признался 13 августа: «Я теряю Бога»[460].

Полное жалости и мистических прозрений письмо прислал Бальмонт, который не был на отпевании — он находился в больнице. Его послание начиналось так: «Мой милый! Родной! Иван Сергеевич! Ваничка! Брат! Лучший мой русский брат! Все сердце к Вам рвется и тоскует!»; и далее Бальмонт описал свой вещий сон — о кончине Ольги Александровны, который он увидел за четыре дня до трагедии и из которого понял все; он принялся молиться: «Мне почудилось в ту ночь — не во сне, наяву — что, когда я с отчаянием молился и стонал, и пел, и вопиял к Богу и Пресвятой Деве Марии, — не прося, а требуя, чтобы ценою каких угодно моих жертв, Ваша избранница воскресла, — мне не почудилось, а я слышал улетающий ее голос: "Я — живу… Я живая… Я воскресла… Благодарю Вас, родной!.. Скажите Ваничке…"»[461]. Искренним горем было пронизано письмо Бориса Зайцева: «Поражен, потрясен, дорогой Иван Сергеевич… и слов у меня никаких даже нет. Просто — плачу над газетой: Боже

[458] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 170.
[459] Письмо И. Шмелева к И. Ильину от 31.07.1936 // *Там же.* С. 153.
[460] *Там же.* С. 154.
[461] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 99.

мой, Боже мой, поддержи вас. Братски обнимаю и молюсь»[462]. Шмелеву сочувствовали, его искренне жалели, и он, возможно, находил каплю утешения в своей благодарности людям. Даже обычные и естественные в такой ситуации слова сочувствия Марка Вишняка были для него, совсем осиротевшего, помощью: «Вы истинно пожалели меня, прониклись моей болью, я это так почувствовал сердцем, — Вы как бы разделили эту боль, приняли на себя, и мне, в слезах, стало легче от этого. Вы мне дали почувствовать, понять сердцем, как человек может светить человеку, освятить человека. Ну, кто я Вам? По обыденным, привычным меркам, — вовсе как бы чужак: и разноверы мы всяческие, и истоки наши — разные, и общением житейским связаны не были… а вот есть у нас общее, — и какое это благо, что есть, есть!.. Все мы — одно. Ваша светлая, говорю, Ваша *святая*, ласка особенно укрепила во мне сознание ужаса раздробленности и одиночества людского. Отсюда — сколько же всяческих уроков и поучений!»[463] Иван Сергеевич мучился тем, что Ольга Александровна не приходила к нему во сне — и Илья Иосифович Фондаминский (тоже из редакции «Современных записок»), в 1935 году переживший смерть жены, успокаивал его, рассказывал о том, как полгода жена не являлась ему во сне, но теперь он видит ее почти каждую ночь. 24 июля в «Последних новостях» появилась посвященная Ольге Александровне статья Веры Николаевны Буниной «Умное сердце».

Поездка в Латвию и встреча с Ильиным были необходимы Шмелеву — сам он не мог и даже не хотел преодолеть свое отчаяние. С Ильиным он свиделся в Берлине в начале октября, по дороге из Латвии во Францию. Можно лишь предположить, что внушал Ильин Шмелеву. Еще до их встречи он писал ему:

[462] *Зайцев Б.* Письма. 1923—1971. С. 96.
[463] *Вишняк М.* «Современные записки». С. 132.

Не кончается наша жизнь здесь. Уходит туда. И «*там»* реальнее здешнего. Это «там» — земному глазу не видно. Есть *особое* внутреннее, нечувственное ви́дение сердца; то самое, которым мы воспринимаем и постигаем все *лучи* Божии и все Его *веяния*. Нам не следует хотеть видеть эти лучи и веяния — земными чувствами; это неверно, это была бы галлюцинация. Но мы должны учиться *видеть сердцем*, — уже здесь, и Господа, и тех светлых, которых Он отозвал к себе»[464].

В первых числах октября Шмелев известил своих знакомых о том, что будет в Берлине по дороге из Прибалтики. Он остановился в дешевом русском пансионе, который ему подыскал Ильин; хозяйка была почитательницей Шмелева. В середине октября по инициативе Правления Союза писателей состоялось его выступление в русско-немецкой гимназии на Гогенштауфенштрассе. Встреча происходила в политически сложное время, вечером берлинцы предпочитали не выходить на улицу. Не исключали, что Шмелев будет читать произведения в пустом зале, но большой зал был переполнен. По воспоминаниям очевидца, на вечер, несмотря на то, что нацисты избивали евреев и похожих на них, пришел, рискуя жизнью, автор книги «Сумерки Европы» Григорий Адольфович Ландау. Шмелев читал фрагменты из «Няни из Москвы», выступление завершилось долгими аплодисментами. За вечером последовал затянувшийся до утра ужин для маленькой компании в небольшом ресторане. Шмелев рассказывал, что с колокольни изборской церкви в бинокль глядел на пушкинские места[465]. Был, конечно, Ильин. Его подарок — розовый куст — Шмелев увез с собой и посадил на могиле Ольги Александровны.

[464] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 158.

[465] *Арбатов З.* «Ноллендорфплатцкафе» // Русский Берлин. М., 2003. С. 181—183.

С одной стороны, поездка в Латвию обострила тоску Ивана Сергеевича. Латвийские пейзажи напомнили ему природу под Серпуховом — тридцать восемь лет назад он и Ольга Александровна жили там на даче, сыну было два с половиной года. С другой стороны, Латвия дала утешение, в Латвии он был одарен вниманием местных писателей и официальных лиц. Ему устраивали бесплатные визы, поездки. Его радовало трудолюбие и культурность латышей, ему нравилась рижская молодежь, в которой он видел учеников Ильина — о нем они говорили как о пророке. Он познакомился со старообрядцами и нашел их удивительными. Провел много встреч, чтений, увидел своих читателей, завел новых друзей.

В Риге Шмелев познакомился с матерью и дочерью Земмеринг — Раисой Гавриловной и Людмилой.Еще в 1935 году, получая от Р. Земмеринг письма, он почувствовал в ней родственную душу. Ее послания он называл трогательными и светлыми. Дальнейшая судьба Латвии заставила Шмелева беспокоиться о судьбе Людмилы, как он называл ее — Милочки.

Поездка в Латвию оказалась благотворной и потому, что Шмелев словно оказался в родной обстановке. Он слушал русские песни сапожников-балалаечников, был на панихиде в древнем соборе, заехал в Изборск, три дня провел в Печорах. По сути, он был на русской земле, включенной в пределы Эстонии, на Псковщине, на побережье Чудского и Псковского озер. Почувствовать подлинную Россию помогли стены Изборска, часовенки, деревеньки, русские песни, глаза детей, о которых Шмелев писал еще в «Солнце мертвых» и о которых рассказал в небольшом очерке о своей поездке «Рубеж» (1940): «...о, эти глаза узнаешь из тысячи глаз!» В Печорах он сошел с поезда и споткнулся о булыжник, которым замостили площадь, и эта случайность воскресила в нем образ русского захолустья. Тут он испытал чувство рубежа, неестественного между двумя русскими территориями. Иль-

ину он писал оттуда о том, что внял России, как никогда: «Господи, я осязаю Русь. И как же она вошла в меня!»[466]

Но о преодолении духовного кризиса после поездки в Латвию, Эстонию, после встреч в Берлине все-таки говорить не приходится. Работа над «Путями небесными» была прервана. К тому же после возвращения в Булонь на него навалился недуг. Доктор Серов тут же приехал к нему, но его не застал (Иван Сергеевич был в гостях у князей Волконских в том же доме), навестил его наутро и занялся лечением. Из-за старых хворей Шмелеву пришлось жить на строгой диете. Он мог позволить себе немногое: свежее яйцо всмятку, кипяченое молоко, мясо, творог, сметану, овсянку на молоке, картофельное пюре. Нельзя было ничего жареного и копченого, а также вина и кофе.

Так складывалась его жизнь, что он чуть ли не каждый год переживал либо духовный кризис, либо физическую немощь, либо глубокие сомнения. И всякий раз он надеялся успокоиться, уходя в книги, обращаясь к чужим мыслям. В 1936-м, после смерти жены, он попытался преодолеть сомнения точно таким же образом, как и прежде, но выбор авторов для чтения был все-таки иным. По наитию искал он утешение в «Явлении Христа» Г. Чемберлена, в трудах протестантского теолога Э. Пресансэ, в «Основании веры» А. Бальфура, британского философа и политика; он обращался к трудам православного богослова, протоиерея Т.И. Буткевича, прочитал книгу архиепископа херсонского Иннокентия (И. А. Борисова) «Последние дни Христа». Наконец, решил перечитать Писание.

Душевные терзания не оставили его и в 1937 году. 10 января он написал: «...шатается во мне *все*, ищу Бога, хочу укрепиться, зацепиться»[467]. Ему страшно трудно, в нем нет прочного мира, и он называет себя неучем.

---

[466] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 159.

[467] *Там же.* С. 168.

А 21 января, днем, ему приснилась — явилась? — Ольга Александровна, она посмотрела ему в глаза и рассказала, как монахини поведали ей о том, что ему определяется тяжелое, трудное. Зачем она сказала ему об этом? Лучше бы умереть… И Ольга Александровна сказала: да, лучше…

Мрачные предчувствия усугубились болезнью. Иван Сергеевич проболел с 23 февраля по 7 марта. Он боролся с недугом один, в большой квартире, сам себя кормил, сам ставил себе горчичники, сам менял ночью белье. Его, конечно, навещали друзья. Каждый день заходил доктор Серов, опасавшийся воспаления легких. Он был окружен заботой, но в дни болезни в который раз остро пережил свое одиночество. Страшное одиночество. Ему жаль, что рядом нет кровной родни… если бы от сына остался внучок… Ив напоминает сына, правда, он наполовину француз... но его любила Ольга Александровна, и Шмелев видел в нем своего наследника.

Еще он понял, что Ольга Александровна по-неземному мудра. Та Ольга Александровна, которая являлась ему. Вот он в апреле ясно ее увидел и, уже проснувшись, легко ощутил, что она и все ушедшие — там, что она о нем помнит и заботится. Вот ему опять снится: где-то он ходит, что-то ищет, выходит на луг и видит Ольгу Александровну в сопровождении двух пожилых дам — знакомых голландок рубенсовского склада, в руках Ольги Александровны его плюшевая шляпа; Иван Сергеевич понимает, что шляпу-то эту он как раз и искал. Уже во сне ему стало легко, а проснувшись, подумал: шляпа — все равно что символ заступничества, шляпа покрывает человека сверху. Это был второй сон, вымоленный Шмелевым: он желал увидеть Ольгу Александровну, хотел получить от нее некий знак — и увидел, и получил. Ильин внушал своему другу мысль о том, что в смерти — в уходе — Ольги Александровны есть определенный смысл, что она поможет Шмелеву открыть в себе особое созерца-

ние — и не только для духовного общения с ней, не только для молитвы, но и для творчества.

Шмелев видел помощь от Ольги Александровны не только во сне, но и, как ему казалось, наяву. 20 марта 1937 года он приехал на ее могилу и встретил на кладбище проживавшего в Русском Доме старика Павла Александровича Васильчикова, который недавно похоронил тридцатисемилетнего сына. Васильчиков рассказал Шмелеву случай, который его потряс. Никогда не бравший в основу произведений рассказанные кем-то истории, он не удержался, и описанный Васильчиковым случай стал основой «Гласа в нощи» — рассказа, раскрывшего нам Шмелева, который страстно желает верить в чудо. Он и эту встречу на кладбище понял как чудесное водительство жены.

Житейским страстям человека, собственному отчаянию Шмелев противопоставил чудесное спасение. Рассказ был опубликован в «Возрождении». В нем говорится о взаимосвязи всего сущего и о таинственном, которое происходит с человеком и которое нельзя объяснить. Герой рассказа, естественник по образованию, Петр Иваныч вынужден был все-таки поверить в то, что «т а м бухгалтерия особая». Петр Иваныч, чревоугодник-эстет, и его знакомый Спирток отправляются в соседнюю Копылевку на кулебяку. Неожиданно из-за взлобка навстречу саночкам высыпает стая зайцев, что было недобрым предзнаменованием: «И что-то в ихнем гоне показалось мне жуткое, зловещее… ч т о - т о их пугануло где-то». Далее события развивались *вдруг*: путников накрывает степной буран, тьма, заметалась поземка, побежали снежные вьюнки, сечет ветер, и героя охватывает мистическое чувство и недоумение, оттого что так и не успел все обдумать и разрешить — о Боге, о бытии, о будущем. Герой потерял не только дорогу, но и чувство времени, его пробирает жуть при мысли о том, что за пределами земного существования — ничто. Он засыпает и во сне слышит благовест, просыпается и

уже наяву слышит колокольный звон. Продрогший возница выволакивает лошадей на край оврага, путники бредут на звуки и оказываются у церкви села Воздвиженки, видят огонек свечи в окне поджидающего их попика Семена. С батюшкой также происходит чудесное: во сне трижды он слышит *глас в нощи*, который велит звонить в колокол сбившимся с дороги путникам. Петр Иваныч после произошедшего понимает неопровержимую истину: «...нет никаких этих т а м и з д е с ь, а в с е — едино все связано, в с е в О д н о м».

Вслед за этим рассказом в «Возрождении» 1 мая был опубликован «Свет вечный. Рассказ землемера», который Шмелев посвятил Ильину. 31 мая 1937 года Ильин написал автору: «Сколь прекрасен Ваш “Свет Вечный”, помещенный в Возрождении! Спасибо за посвящение. Какие слова там, какая собранность! *Очень* хорошо”»[468]. Размышляя о неведомых людям и объединяющих их связях, рассказчик поведал о трагедии, вознесенной над земными страданиями. Герой рассказа — волевой, правильный, религиозно строгий мужик Упоров: «Мужик серьезный, богатырь, глаза воловьи, с голубинкой. Напомнил Александра III — русой бородой, залысиной, всем обликом, спокойствием солидным. Проседь в бороде». Рассказчик — землемер, с астролябией объехавший всю Россию, но узнавший ее только после знаменательной встречи с Упоровым. Знакомство состоялось до войны: землемеру пришлось заночевать в доме Упорова. Следующая встреча произошла весной 1922 года. Оба они, а также сын Упорова Андрей, оказались арестантами. Вина Упорова состояла в том, что он препятствовал изъятию церковных ценностей, поднял мужиков на бунт. Находясь в заключении, герой втолковывал землемеру мысль о том, что всех мужиков все равно не извести: «Котел наш крепкий, всех не изведешь, з а в а р и м. Смоем грех». Тогда землемер и

[468] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 197.

увидел свет в его глазах — это был свет вечный, хотя земная жизнь Упорова и его сына закончилась , «их взяли ночью». Свет вечный в обреченном на гибель человеке — чудо, побеждающее смерть, и эта мысль, несомненно, была внушена ему и не оставлявшей его Ольгой Александровной, и Ильиным, по мнению которого этот рассказ, опубликованный в пасхальном номере, превзошел все другие материалы, составившие выпуск.

Неземная мудрость Ольги Александровны была сродни пушкинской. Так думал Шмелев. Он обратился к Пушкину и именно в нем нашел путь к спасению. Крайне нуждавшийся в мощных духовных толчках, Иван Сергеевич принял юбилейные пушкинские чествования как события личной судьбы, этап собственного духовного поиска и возрождения.

В январе 1937 года в «Добровольце» появилась его статья «Сынам России», посвященная столетию кончины Пушкина — выразителя «русской духовной сущности». Пушкин в условиях эмиграции оказался моральной и этической мерой: он бы, полагал Шмелев, благословил подвиг добровольчества. 11 февраля Шмелев вместе с Карташевым и Мережковским выступил на торжественном заседании Пушкинского комитета. Его речь показала, что пророческая суть Пушкина для него — аксиома, что подлинную свободу он считал высшей ценностью в мировоззренческих позициях поэта. Вслед за Достоевским он говорил о всемирности Пушкина. Он утверждал: Пушкин воспел имперскую Россию и в то же время Пушкин спаян с родным народом. Через десять лет, в 1947 году, писатель, познакомившись с иллюстрациями Александра Николаевича Бенуа к «Медному всаднику», выразил художнику свои ощущения от его работы: тут Пушкин, певец Петра, предъявляет иск Петру от имени народа, потому он национален. Его впечатлила творческая интуиция Бенуа. В речи Шмелева особый, сущностный, смысл обрела

мысль о том, что Пушкин — мерило русского языка, раскрывающего духовные богатства народа, а у духовно бедного народа и язык бедный. Эта речь была доработана для польских казаков и опубликована в варшавском «Русском слове» 22 февраля.

Вчитываясь в Пушкина, Шмелев в хрестоматийных, с детства знакомых стихах находил ответы на свои проклятые вопросы. Так, 14 марта 1937 года он написал Ильину о Пушкине и о своих исканиях истины:

> Он — сложный. Но он — *сущность* наша. Но… не могу установить, — что это — и в чем главное, у него: «*и милость к падшим призывал*»? Ведь тут ключ к сущности нашей культуры: милосердие, сострадание к человеку, к душе человека, — ведь это в гл<авном> русле нашей духовности и душевности, это основа нашей культуры, святая свят<ых>, от истоков, от Слова Божия. Это, несомн<енно>, у П<ушкина> *есть*, но я не могу нащупать. Есть в Медн<ом> Вс<аднике>… — вижу. Но где еще? Боюсь, что я не осилю[469].

Шмелев просил переслать для него речь Ильина о Пушкине, произнесенную в Риге, и через Ильина надеялся «осилить» философский и пророческий потенциал великого поэта. Но и Ильин не может Пушкина воспринять как свод ясных пророчеств, а речь его о Пушкине — лишь начало, все равно что дверь открыть... И он тоже размышляет, угадывает. Ему, например, думается, что мотив милости к падшим не есть естество Пушкина. Ильин сам ищет помощи в понимании Пушкина, и ему кажется, что проницательней всех поэта чувствовал Гоголь.

В жизни Шмелева наступил такой период, когда многое, им прочитанное, продуманное, пережитое, соизмерялось с

[469] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 174.

Пушкиным. В Прощеное Воскресенье, в самом начале Великого Поста, когда без десяти полночь и за окном буря, он читал покаянный тропарь «Покаяния отверзи ми двери...», он восхищался высотой и выразительностью образов, ощущал ничтожность, бессилие человека, неспособного сотворить, высказать подобное... и опять вспоминал Пушкина. А он мог, а он глубок. Шмелева поражает «Монастырь на Казбеке» (1829):

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..

Стихотворение близко Шмелеву, почти старику, много пережившему. Но как Пушкин — уже в тридцать лет — назвал свою жизнь ущельем?.. и как стремился к небу!... Шмелев потрясен.

Вдохновленный Пушкиным, он молился и просил Господа показать ему хотя бы слабейший отсвет Неба. У него даже возникла мысль уйти в монастырь, но он быстро ее отверг: невозможно искать покоя в монастыре с такой душевной тяжестью. Он еще не готов к монастырскому уединению.

В Пушкине Шмелев ценил «доверие небесам». Прежде увлеченный Толстым, он теперь противопоставляет его Пушкину, опираясь на высказывание В.О. Ключевского о том, что Лев Толстой «вечно искал своего ума и не мог найти

его»[470]. В 1942 году он делится своими мыслями с Бредиус-Субботиной:

> А знаешь, Л. Толстой, при всей гениальности художника-скульптора, был *очень* г л у п? Да. Так говорил В.О. Ключевский. Они не терпели друг друга. И Толстой понимал это, и злился. Отсюда — его философско-моральная отсебятина. Это — не Пушкин-умница![471]

Во время болезни в конце февраля — начале марта Шмелев получил приглашения, во-первых, от Национальной организации из Праги, не удовлетворенной официальными чествованиями Пушкина, и, во-вторых, от комитета Дня русской культуры из Праги. Если первое предложение смутило — не хотел давать повода для раскола, то второе он решил принять. 13 мая он выступал в Праге на Дне русской культуры. В семь вечера в Соборе начался молебен в честь русской культуры. Служили епископ Пражский Сергий, игумен Исаакий — проповедник при владыке Сергии, архиепископ отец Михаил — сын художника Виктора Михайловича Васнецова. В проповеди отца Исаакия прозвучали слова о Шмелеве, русском писателе и преемнике культурных традиций. Шмелев отнесся к сказанному как к своего рода кредиту. В действительности же отец Исаакий отдал дань уважения писателю и свидетельствовал о его авторитете среди общественности. Примечательно, что в том же году вышла книга Михаила Ашенбреннера «Иван Шмелев» (*Aschenbrenner M.* Iwan Schmeljow: Leben und Schaffen des grossen russischen Schriftstellers. Kőnigsberg. Pr. und Berlin, 1937); произведения Шмелева были известны зарубежному читателю, о нем чи-

---

[470] *Ключевский В.О.* Записная книжка (1890-е гг.) // *Ключевский В.О.* Соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1990. С. 401.

[471] Письмо к О.А. Бредиус-Субботиной от 3.02.1942 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 487.

тали лекции, например Ильин в Германии, Г. Струве в Лондоне. Далее торжества переместились в зал, собравший 900 человек.

Шмелева встретили громом оваций. Он говорил не только о Пушкине, но и о Петре, который поднял Россию на дыбы, но и на дыбу. Антипетровское содержание шмелевского слова было направлено против левых сил. Его речь о Пушкине длилась более часа и закончилась рукоплесканиями. Поднявшиеся со своих мест благодарные слушатели были едины — от Владыки до старых эсеров. Речь отметили и монархисты, и демократы, комплиментарно о ней отозвались даже «Последние новости». Иван Сергеевич, вспоминая и анализируя пережитое им тогда, констатировал: «Я был страстен — и взял всю аудиторию»[472].

14 мая состоялись двухчасовые публичные чтения из «Богомолья», «Няни из Москвы», «Лета Господня», 15 мая — публичные чтения для гимназистов, педагогов, публики. Всего за три вечера Шмелева слушали 1800 человек. В те дни он испытал к себе и внимание совершенно для него неожиданное и крайне его удивившее — у него появились поклонницы: от зрелой женщины — она, сильная, стройная, спортивная, мчала его на автомобиле со скоростью 130 километров в час и объяснялась ему в своих чувствах — до четырнадцатилетней девочки, племянницы казачьего генерала, написавшей ему письмо-признание.

Во время болезни Шмелев получил приглашение и от монахов из Подкарпатской Руси погостить у них. В семь часов вечера 17 мая, после пушкинских торжеств в Праге, он на дрогах какого-то случайно встреченного мужика, преодолев таким образом шесть верст, въехал под пение соловья в обитель преподобного Иова Почаевского. Первая представшая его взору картина — сидевшие на длинной скамье перед отходом ко сну иноки. В обители он нашел семнадцатидневное

[472] Письмо к О.А. Бредиус-Субботиной от 15.01.1942 // *Там же.* С. 432.

пристанище, жил в покоях настоятеля — отца Серафима, впоследствии известного как архиепископ Чикагский и Детройтский: после войны монастырь переехал из Чехословакии в Джорданвилль (США). Русь была и узнаваема, и незнакома. Говорили там по-русски, но и не вполне по-русски, а бабы ходили голоногими, одетыми в сотни юбок. Да и в обители пробивался стиль модерн. Тридцать лет назад тут было пустое поле, потому жизнь монашеского братства Шмелев воспринял как подвиг. Ему, писавшему о Валааме, были чрезвычайно интересны монашеские судьбы. Там был монах Иов, в прошлом кавалерист, офицер лейб-гвардии, он принял послушание обойти русское зарубежье и поведать православным о подвижнической деятельности обители. Там был смиренный отец Савва, был тридцатилетний Григорий — инок и искатель, он приносил в келью гостя трапезу. Шмелев подарил обители свой «Старый Валаам», проводил время в беседах с иноками, читал им свои произведения, писал очерки для газеты обители. За время его пребывания там было достаточно много разъездов, он подсчитал — до тысячи километров на автомобилях. Ездил и в Карпатскую Русь, к Румынии — в женскую обитель.

В Париж, после Праги и обители, Шмелев вернулся 12 июня. Активная жизнь (помимо пражских выступлений были три выступления в Ужгороде, выступление по радио, чтение в Мукачеве, он принимал многочисленные делегации), вдохновенное отношения к событиям, восхищение жизнью сменились скорбями, вновь навалилась тоска. С годовщиной смерти Ольги Александровны он, тяжело переживавший свое одиночество, испытал физическую и духовную немощь. Не выдержало сердце — у него определили расширение его верхней части и нервное истощение организма. 29 июля 1937 года Иван Сергеевич пережил кризис, был близок к смерти — наступила остановка сердца. Ильи-

ну он написал потом, что готовился *отойти*. Ему не было страшно умирать, но горько было сознавать, что не готов умереть — не все осуществил, не закончил «Пути небесные», «Лето Господне». Давление упало до семи, двенадцать раз вливали камфару. В тот же день его посетил отец Иоанн Шаховской. Этот визит был принят Шмелевым как чудесное, как провидение: отец Иоанн, стоя на коленях, молился у его постели.

Пытаясь объяснить причины столь тяжкого состояния здоровья, Шмелев впал в крайнюю подозрительность и во всем винил «руку Москвы»: накануне, 25 июля, ему из советской столицы некто привез письмо от сестры, Софьи Сергеевны Любимовой. Что, если его отравили? Что, если это расправа за «Солнце мертвых»? Что, если посланец подсыпал в чай снадобье и тем спровоцировал сердечный приступ? Своими подозрениями он поделился и с Ильиным (письмо от 17 сентября 1937 года), и много позже — с О.А. Бредиус-Субботиной (письмо от 3 сентября 1941 года).

В подозрениях Шмелева не было ничего удивительного — в эмиграции хорошо знали о расправах НКВД. 1937 год в жизни русского Парижа — особый. 22 сентября генерал Н. Скоблин, как полагали в эмиграции, советский агент (и не только советский), сдал в руки большевиков генерала Е. Миллера, заменившего Кутепова на посту председателя Российского общевоинского союза . И Скоблин, и Миллер исчезли и найдены не были. Следующей жертвой должен был стать Деникин. Полиции не удалось задержать Скоблина, но была арестована его супруга, известная певица Надежда Плевицкая, впоследствии обвиненная за соучастие в похищении и приговоренная к двадцати годам каторжных работ. На суде она не признала своей вины. Возможно, Плевицкая — просто жертва обстоятельств. В воспоминаниях Ю. Иваска о М. Цветаевой есть слова: «Марина Ивановна заговорила о деле Плевицкой: защищала ее за верность мужу во всем»[473]. Плевиц-

кая умерла при невыясненных обстоятельствах в тюрьме в 1940 году.

Больного Ивана Сергеевича мучила сильнейшая слабость, он не мог даже поднять связку книг. К тому же он сильно бедствовал, настолько, что решил продать золотые часы — память о матери.

В то же время Шмелев все более воспринимал свое литературное поприще как духовную миссию. Определенную роль в этом сыграло не только пушкинское творчество, но и влияние Ильина, много писавшего о назначении эмигранта, о миссии искусства, о роли русского писателя. В Риге в 1937 году вышла его книга «Основы художества», на которую Шмелев отозвался рецензией. Были намерения закончить ее в обители преподобного Иова, однако всерьез он взялся за работу только после возвращения во Францию. Рецензия вышла 23 июля в «Возрождении» под заголовком «Книга о вечном. Основы художественного творчества проф. И.А. Ильина». Главную тему книги Шмелев определил как вопрос о способности художника услышать божественный глагол.

Ильин писал о духовной смуте в литературе XX века, о религиозных соблазнах в творчестве Александра Блока, Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Владимира Маяковского, Вадима Шершеневича… По сути, Ильин развивал мысли, изложенные им еще в статье 1927 года «Кризис современного искусства». По его мнению, только религия может вывести современное искусство из кризиса. Далеко не все были согласны с жесткими оценками Ильина. Например, Бальмонт, прочитав его статью, писал Шмелеву:

> Он, явно, мало что разумеет в поэзии и музыке, если он говорит такие недопустимые слова о превосходном творче-

[473] *Иваск Ю.* Благородная Цветаева // Письма запрещенных людей. По материалам архива И.В. Чиннова. С. 629.

стве гениального и просветленного Скрябина, чисто-русского и высоко-озаренного Вячеслава Иванова, лучезарного Стравинского, классически-чистого Прокофьева. Кстати, со всеми ними я был близок. Видел их так же близко, как Вас. И ближе еще. И лично я очень огорчен этой статьей. Потом, валить в одну кучу Блока, Белого, Маяковского и Шершеневича, это — просто малограмотно. И желать создать средоточие, а начинать разгоном — нечутко. Пусть он даст сам что-нибудь положительное, а потом уже махает и мечом, и дубиной. Не раньше. Выходит похвальба преждевременная[474].

К слову, Бальмонтом о Скрябине были написаны «Светозвук в природе и световая симфония Скрябина» (1917), «Звуковой зазыв (А.Н. Скрябин)» (1925), о Прокофьеве — «Третий концерт С.С. Прокофьева» (1921). Шмелев же в ильинских «Основах художества», как и в «Кризисе современного искусства», увидел истину о значении творчества и воспринял идеи Ильина как свою собственную творческую программу.

При страстности натуры, при осознании высокой миссии писателя-эмигранта тяжелое физическое состояние еще более угнетало Шмелева, сковывало его искреннее желание «отчизне посвятить души прекрасные порывы». Хвори отныне сопровождали его до смерти, принять это бремя со смирением он не мог.

После возвращения из обители преподобного Иова Шмелев почувствовал, что большая квартира, в которой они жили вместе с Ольгой Александровной, — для него невыносима. Да и средств на нее не хватало, и физических сил. Кроме того, мучили воспоминания, все тяжелее становилась жизнь в одиночестве. Появились мысли переселиться в обитель.

[474] Встреча: Константин Бальмонт и Иван Шмелев. С. 105.

Там он получил бы уход, там — ему так казалось — можно писать крупные вещи, продолжить «Пути небесные». Да, но там нет электричества, ванны, прочих удобств... однако есть баня, есть воздух особый... главное — свет есть... Страшно уезжать далеко от могилы Ольги... но он будет навещать ее два раза в год. В Париже он может писать лишь рассказы, да и то урывками — за месяц не написал ни одной строчки! Быт забирал у него массу времени: «Здесь я сам себе покупал провизию, сам стряпал, сам убирал квартиру, все сам... Этого никто не чтет, ско-лько я сил клал. Часто, возвращаясь домой, вспоминал, — а, ведь, я голодный, и ни-чего у меня нет, надо что-то купить, варить... — нет сил дальше так. Я изорвался. Иногда и стирал, наспех, забыв вовремя отдать прачке»[475], — писал он Ильину. В обители весь день будет — его. Там ему построят домик, будут помогать по хозяйству, там он будет вставать в шесть и ложиться в десять. Там он ни разу не почувствовал себя плохо, и там рядом — русский доктор. Недалеко от монастыря есть почта, телеграф и телефон. Там прохожие друг другу говорят: «Слава Иисусу Христу». Там девки, парни поют песни!.. И существенное — здесь ему надо на все полторы тысячи франков в месяц, а там лишь шестьсот-семьсот. Так он уговаривал себя порвать с Францией. Он решил изменить свою жизнь. Уехать в обитель ему советовали и Карташев, и Ильин.

Шмелев отказался от квартиры и 31 августа 1937 года, до предполагаемого отъезда в Подкарпатскую Русь, переехал к Карташевым, которые через два дня уехали, и Шмелев, никем не стесняемый, остался один в их квартире. Привыкнуть к новому жилью, однако, не смог, как не смог избежать бытовых проблем («...я лежал один, в пыли и неприбранности, двигаясь слабой мушкой за молоком, что-то себе

[475] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 200.

готовя»[476]). 11 сентября 1937 года он в сопровождении Ива, вместе с доктором Серовым отправился на автокаре на юг — в Ментону. Однако жизнь и там сложилась неудачно: шли дожди, два раза он переболел гриппом, мучило стеснение в сердце. Ривьера определенно уступала Крыму. Он переехал в Париж, и там его снова начали мучить головокружения, а в декабре он опять перенес грипп. Сил писать не было.

Шмелев стал скитальцем, нигде не находившим покоя. Вот уж, действительно, жизнь в мире печали и слез. Он перебирался с места на место, спасаясь от невзгод. Он написал в Прагу, прося о визе для поездки в монастырь, куда все-таки намеревался отправиться с наступлением тепла. Пока же, в начале 1938 года, по приглашению переводчицы его произведений Руфи Кандрейя переехал в Швейцарию, где жил в замке-пансионе Haldenstein и где ему был обеспечен полный пансион. Зима была метельной. Привычными стали сытые домики, окорочка в чердачных окошках, готика — учительская, по его ощущениям. Хоть он и ворчал («Не ндравится мне здеся. Церкви нет. Хочу в Обитель на Карп<ат-скую> Р<усь>»[477]), и горы были чужие, и не молилось ему там, и счастья не обрел, но был доволен своей работой. Покинул замок Шмелев 20 апреля. Ему много удалось написать — более семи печатных листов, в том числе достаточно большую часть «Иностранца» — нового романа, который, увы, как и «Солдаты», так и не был завершен.

Этот роман Шмелев задумал еще в 1925 году, работал над ним и в 1927-м. Писал и сомневался, сможет ли одолеть произведение, которое предназначалось не только для русского читателя. Не раз думал, что роман этот бросит, не будет писать.

Но в 1938 году часть «Иностранца» была напечатана в четвертом и пятом номерах «Русских записок». Дело в том,

---

[476] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 211.

[477] Письмо И. Ильину от 18.04.1938 // *Там же.* С. 228.

что П.Н. Милюков предложил Шмелеву дать что-нибудь, рассказ или роман, для издававшегося с 1937 года на средства шанхайской русской эмиграции журнала «Русские записки». Милюков был почитателем Шмелева и, несмотря на политические разногласия, хлопотал о появлении его произведений на страницах эмигрантской печати! Сам он издавал в «Русских записках» свои мемуары «Роковые годы», издателями журнала были члены редколлегии «Современных записок».

Предполагалось, что в романе будет развита тема русской культуры, ее укоренения в Америке и Европе. Герои произведения — солистка русского хора Ирина Хатунцева и ее муж шофер Виктор, бывший филолог, который, тяготясь своей работой, писал труд о Чехове. Это человек с героическим прошлым, в Галиции он был ранен в грудь. Есть в романе портье — бывший лейб-гвардии полковник, с Георгиевским крестом. Есть бывший дипломат, теперь метрдотель в черкеске. Есть полковник Одинецкий, который в Константинополе продавал пирожки, а сейчас выращивал в теплицах землянику, завел тысячу кур.

В мае 1938 года Шмелев едет по приглашению в Прагу на русскую Пасху для чтения своих произведений. Но и там он не обрел покоя, как это видно из его письма к Ксении Васильевне Деникиной, которое он ей отправил из обители 17 июня 1938 года:

> Дорогая Ксения Васильевна,
>
> Рад был письму Вашему, сколько раз собирался писать Вам, да недуги отнимали волю. Да и что писать, когда у меня все — развал. Ну, вот мои странствия. Из Haldenstein'а выехал (с грустью) 20 апреля. В Цюрихе — колебания: в Париж? в Обитель? Пугала дальняя дорога. Лучше бы в Париж поехал! Замучили консулы в Цюрихе: нансеновский паспорт кончился, чехи требовали паспорт силы не менее как на 6 месяцев. После

мытарств (!!) добился «продления». В Прагу приехал в 9 S вечера в Великую Субботу, и не было сил — к Святой Заутрене. Перемогался. Чтение было назначено на 29-е. Заболел за 2 дня гриппом. Доктор в конце концов разрешил, «если уж нельзя иначе». Конечно, нельзя. Поздно отменять (русской газеты нет). Читал (2 S ч.) в $t^0 = 38^0$. Провалялся в отеле дней 10. Через два дня после того, как t^0 — стала нормальной, начались головокружения, как было со мной в Париже в ноябре, когда вернулся после гриппов в Ментоне: тоже головокружения через 2—3 дня после выздоровления, но тогда головокружения продолжались 3 недели, а ныне уже — 1 S месяца. С головокружениями двинулся в Обитель. Что только это было! Приехал разбитый, слег. И вот, 41-й день уже я здесь —полный инвалид. Не могу писать, аппетита нет, лекарств парижских нет. Доктор думает — мало! — прописал — от сердца, укрепляющее, и бром. Нет, плохо. Был припадок сердечной слабости (4—5 июня), причащали, заботились. Доктор измерял давление — 16, 5 (165). Привез лекарства — витаминное, печеночное. Как будто стало лучше. Но сегодня опять головокружения. 28-го решаюсь возвращаться в Париж. Серов нашел мне хорошую комнату. Шоссе de la Muette, близ Булонского леса, около него. А то ведь у меня теперь нет угла.

Что будет дальше — Бог весть. А как я славно работал в Швейцарии! Должно быть, переутомился. Ведь за 2 S месяца написано: свыше 200 писем, 2 статьи, 3 рассказа, да 70 страниц романа! И в молодости так много не писалось. Вот —следствие, расплата. Видно, б л и з и т с я. Ну, что же, — скучно, тяжко мне одному.

А 12—15 был А.В. Карташев. Читал. Отбыл в Братиславу. Погода — после нескольких дней тепла — опять дожди, холодина. Я все время валяюсь. А монахи, навещая, толкуют о приближающемся смертном часе (!!). Вздыхают. Вот это — кли-мат!.. А я… томлюсь… полуверием. Не готов. Ку-да! Так, должно быть, и сникну в полуверах. А когда *пишу* — в е р ю! верую!! Вот подите… Рвусь к дорогой могилке, жду — увидеть, поклониться, подумать. Вся воля к жизни пропала. Чего мне ждать, одинокому?!

А Вы, дорогие, как же так рискнули на…высоте! 1400! Это же какое испытание сердцу?! *<нрзб.>* Напрасно. *Ни один* доктор не послал бы. Напрасно. Не заживайтесь так высоко, спуститесь до 500 м. После — 1400 как же трудно снова привыкать к норме! Для А.И. — очень неполезно.

Ну, Бог да будет с Вами, милые. Желаю Вам здоровья и душевного мира. Сердечный привет Вам и Антону Ивановичу. А в мире-то что делается! И ни проблеска света — для нас.

Ваш всегда Ив. Шмелев.

Нет воли писать. Прилягу. Только бы добраться до Парижа, съездить в St.-Geneviuve.

От Ивика только редкие открытки»[478].

2 июля Шмелев вернулся в Париж и поселился в комнате, которую подобрал ему Сергей Михеевич Серов. Новое жилище располагалось перед магистралью, по которой мчалось множество машин. Город тут явно имел легкие астматика. Под комнатой был большой кабак. Шмелев жаловался Ильину:

Здесь сейчас *пляс* (в Пар<иже> много ведь «*пляс'ов*»), к<а>к с 14-го (память!) пустились — так вот 7 дней и пляшут, — прот<ив> окон «Эстрада», сидят 4 паршив<ых> дудочника и… с 5 веч<ера> до 5 утра. А кабатчик поит пивом сифилит<ическую> молодежь (госпитали знают итоги «плясов»)[479].

Он решил, что последнее отдаст, но найдет себе квартиру. На ночь Шмелев уходил к Серову. Благодаря ему Иван

---

[478] Иван Шмелев: Отражение в зеркале писем. С. 128. *А Вы, дорогие, как же так рискнули на…высоте! 1400!* — Летом Деникины жили во французских Альпах. *А.И.* — Антон Иванович Деникин. *…съездить в St.-Geneviuve* — на кладбище, где похоронена О.А. Шмелева.

[479] *Там же.* С. 230.

Сергеевич смог преодолеть затяжную хворь за две с половиной недели. В его сопровождении он вновь уехал в Ментону, где провел месяц, переживая пустоту и *полуверие* — после обители он еще не был в церкви.

Из Ментоны возвратился 27 сентября, но перемена мест не умалила его отчаяния. Все чаще он мысленно обращается к пушкинскому «Дар напрасный, дар случайный, // Жизнь, зачем ты мне дана?..» (1828) Вспоминал, как писал «Богомолье», — будто ребенком стал, но нет… это он себя перехитрил, оборотень… Шмелев ругал себя за то, что не осталось в нем детской веры. Есть сто четырнадцатый псалом, там сказано: «Хранит Господь простодушных». Ему хотелось верить простодушно. И жить хотелось простодушно, как в раю, как в детстве.

С 15 октября у него появился новый адрес, он переселился на улицу Буало. Наконец-то.

Ни о каком простодушном существовании речи быть не могло. У его друга Ильина обострились проблемы с нацистами, он покинул Германию и отправился в Швейцарию. Чтобы положить конец своим отношениям с германскими властями, Ильину пришлось приложить немало усилий. Политическая полиция притесняла его с 1933 года; в том же году он пережил обыск, арест и запрет заниматься политической деятельностью; в 1934-м ему отказали в праве на работу, в 1937-м последовал арест и вызов в политическую полицию, затем было два допроса в гестапо; в следующем году — вновь вызов в гестапо и запрет на всякие выступления по-русски и по-немецки. На Ильина накапливались доносы со стороны русского национал-социалистического движения — он располагал этими сведениями. В июне 1938 года он получил ряд уведомлений, в одном из которых о нем говорилось как о разоблаченном масоне. Надо было действовать, в июле и августе ему удалось вывезти из Германии все рукописи.

Около 20 сентября 1938 года была арестована его направленная против большевиков и отстаивающая христианскую мысль брошюра «Der Angrift auf die Ostkirche» («Наступление на Восточную церковь»). Вырваться из Германии Ильину удалось во многом благодаря вмешательству Сергея Рахманинова, который по собственной инициативе внес за него денежный залог в четыре тысячи франков.

12 октября 1938 года Шмелев получил от Ильина книжечку «Основы борьбы за национальную Россию», изданную в Нарве. В ней содержались близкие Шмелеву идеи. Ильин писал о своей надежде на духовные силы национальной России, о необходимости учиться русскому национальному самостоянию, поскольку революция есть следствие ослабления инстинкта национального самосохранения. Среди внешних причин русской революции назывались: мировой кризис и навязанная России Европой война; принесенная с Запада «зараза антихристианства»[480]; Россия стала опытным полем для «западноеропейской программы экономического материализма и интернационального коммунизма»[481] и проч. Эта же мысль встречается в письмах Шмелева к Ильину. Высший промысел российского «пропятия» Шмелев видел в том, что Россия как страна сильная, с великим потенциалом, была выбрана для перевоспитания «мировой беспризорщины»[482]; для мира российский опыт стал бы убийственным. Итак, Россия пропята для апостольства, для школы. Среди внутренних причин революции Ильин называл следующие: недостаточный уровень всенародного правосознания, слабая укорененность русского характера в религиозности, волевой самодисциплине, чувстве собственного достоинства; утрата

[480] *Ильин И.* Собр. соч. Т. 9—10. С. 333.
[481] *Там же.* С. 334.
[482] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 357.

Церковью своей независимости от государства и его великодержавного аппарата; неустоявшееся чувство частной собственности в крестьянстве. Ильин указывал и на «предрассудки» интеллигенции: интеллигенция относилась к народу с состраданием, с чувством вины, но она не знала народа, не знала его творческой силы; распространение безбожия; маниловская мечтательность, социальный утопизм, политический максимализм; «сентиментальный либерализм и тяга к анархии»[483], готовность поддерживать всякое противогосударственное начинание; неумение уважать частную собственность и проч.

В «Основах борьбы» говорилось о духовном и историческом единстве России, выраженном в культуре. Ильин размышлял о том, что дало православие России: оно положило в основу существования жизнь сердца, чувство, любовь, в то время как католичество ведет веру от воли к рассудку, протестантизм — от разума к воле; православие дало человеку чувство совести, дух милосердия, братства, жертвенности, служения, терпения, верности, дар молитвы; оно положило в основу веры свободу и искренность, оно дало народу христианское правосознание, то есть волю к миру, справедливости, лояльности, дало чувства достоинства и ответственности; православие положило начало национальному самосознанию, историографии, искусству.

В который раз все, что выходило из-под пера Ильина, духовно укрепляло Шмелева и возвращало ему волю к жизни. Иван Сергеевич решил, что «Основы борьбы» нужны каждому русскому человеку, что в ней развита философия национального сознания, как бы евангелие, как бы катехизис. Он убеждал Ильина в том, что книгу надо перевести для западного читателя, что она по значимости — как «Майн Кампф», но с иным смыслом, просветлена русской гуманностью. На-

[483] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 346.

пример, как и Ильин, Шмелев отвергал шовинизм, черносотенство. Примечательно, что Ильин не поехал в 1938 году на Карловацкий Собор не только потому, что болел, но и потому, что в составе Собора заподозрил и черносотенцев, и агентов Германии. В «Основах борьбы» речь шла о народах России. Шмелев — и это видно в «Солнце мертвых», «Няне из Москвы» и других его произведениях — был христианином, в котором укоренился дух солидарности и милосердия по отношению к другим народам.

Книги Ильина возвращали его и к мыслям об утраченном, о пережитом, о том, как смерть подстерегала человека на его взлете, на пике счастья, о зыбкости земного бытия. В декабре 1938 года он написал «Трапезондский коньяк. Рассказ офицера». Осенью 1916 года на подступах к Анатолии расположилась русская полубатарея, с одним из офицеров которой произошел необычный случай. Отогревая душу и заглушая боль от измены некой девицы трапезондским коньяком, командир Грач решает жениться на девушке чистой, как родник, и приказывает вестовому найти ему такую — чтобы была «само естество», чтобы была прелестна, как красивица с этикетки трапезондского коньяка. Такую вестовой находит в деревне, что была в семи верстах, и в невменяемом состоянии Грач женится на деревенской девочке-турчанке, в которой, протрезвев, видит, действительно, совершенство и воплощение женственности. Со временем она превращается в изящную европеянку. В финале рассказа сообщалось о том, что супруги оставались в Тифлисе до захвата города большевиками, не исключалась смерть Грача и его супруги.

Фашистский режим в Германии Ильин характеризовал как антихристианский шовинизм. И хотя в конце июня ранее запрещенная «Няня из Москвы» была разрешена в Германии и Геббельс, как сообщал Шмелев Ильину, предписал не чинить препятствий ее распространению, преследо-

вания Ильина со стороны германских властей привели Шмелева к мысли о неизбежности краха цивилизации. Он решил, что из цивилизации ушла душа, а Гитлер — антихрист.

Все пристальней он прислушивался к политикам и все более размышлял о моральной ответственности политиков перед человечеством. В сентябре 1938 года Мюнхенским соглашением было закреплено отторжение Судетской области от Чехословакии и передача ее Германии. Шмелев во всем винил само чехословацкое правительство. И все же он считал, что в основе гитлеризма лежит большевизм, что победа над гитлеризмом приведет к победе над большевизмом. Он утверждал, что Гитлер и Сталин — это два идола, друг друга подпирающие и друг друга стремящиеся перехитрить. Шмелев осуждает Германию, он не мог бы жить там, и вину за казарменный уклад в нацистской Германии он возлагал на демократов, которые допустили такой порядок, «развели миазмы за эти 20 лет, терпя и лаская “нужник и бойни”»[484]. Гитлеризм расцвел при попустительстве, и последствия такой политики обрекли мир на катаклизмы!

События 1939 года лишь убедили его в правильности этих размышлений. Конец Чехословакии, вторжение германских войск в Польшу и события двадцатилетней давности в понимании Шмелева связаны и родственны. Он писал Ильину 15 октября 1939 года:

> Помните, как в 19-м ген. Деникин пытался договориться с Пилсудским, ударить вместе на большевиков? Испугались национальной, истинной России... — а мы тогда подходили к Орлу, еще бы одно усилие... — и вот, договорились поляки с красными, — и где теперь Польша?! Белая армия, доброволь-

[484] Письмо к И. Ильину от 8.12.1938 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 247.

цы русские не договаривались с немцами, остались верными долгу и чести, союзникам… — все испили, все потеряли, кроме чести, всеми оставленные… и вот, продолжается, они снова, их дети и меньшие братья бьются во франц<узских> рядах с теми же врагами — немцами и большевиками. Неужели и теперь миру не ясно, где была Правда?!»[485]

В октябрьском письме Шмелева к Деникину звучали те же мотивы:

Грозное время… застает нас вне Родины. Но для нас, в затерянной чужбине, это — как бы проснувшееся продолжение событий 1914—1918 г. Те же союзники и те же враги. Многие из нас не приняли ни Брест-Литовска, ни немецкой опоры, ни рабства — поныне и до конца. Русская эмиграция может гордо, достойно и прямо — смотреть в глаза целому миру. Ныне, как и с 14 года, — свободный русский человек стоит на той же позиции, на правде. Будем верить, что истинная Россия себя найдет… Пора бы уже научиться различать — не с Россией свастика, а с ее насильниками [486].

Вторжение в Польшу Ильин называл гнусной сделкой. С вступлением Красной армии на территорию Прибалтики в 1939 году у Ильина даже появилась надежда на поражение Гитлера. Он уверял Шмелева в том, что Сталин переиграет Гитлера. Вместе с тем в национальную политику Сталина не верил: он может также вести и японскую, и малайскую национальную политику, и католиком может сделаться…

Впрочем, недоверчив он был и к патриотизму новых эмигрантов. Раз человек из СССР, он непременно по своему

---

[485] Письмо к И. Ильину от 8.12.1938 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 277.

[486] Цит. по: *Бонгард-Левин Г.М.* «Мой друг! Мой брат! Мой звук в пустыне!». С. 99.

сознанию или методам борьбы большевик!.. И Шмелев с ним соглашался. Например, отрицательным было отношение к Ивану Солоневичу, яркому публицисту. В письмах к Шмелеву Ильин называл его «продажным агентом», «наемным агентом Геббельса», который живет под Берлином в отнятой у евреев вилле[487]. Шмелев отвечал ему 15 октября 1939 года: приемы Солоневича «грязны», а сам он «какой-то вывихнутый большевик, не без русской (грязной только) соли»[488].

Иван Лукьянович Солоневич вместе со своим братом в 1934 году совершили невероятное — побег из лагеря Беломорско-Балтийского канала. В публицистике он выступил с достаточно незнакомой для эмиграции темой лагерной России, опубликовав в Софии семнадцать статей под общим названием «Россия в концлагере» (1936). Среди названий глав этой книги — «Концентрационные лагеря», «Империя Гулага», «Допросы». Он писал о государстве как внешней силе по отношению к рабочему, к крестьянину, которому в лагере было особенно тяжело: крестьянин был там на положении еще худшем, чем в самые мрачные времена крепостного права. С 1936 года Солоневич издавал в Болгарии газету «Голос России», в которой появлялись критические пассажи в адрес РОВСа, а с 1938 года пропагандировал созданное им и братом движение штабс-капитанов, задуманное в противовес военной организации РОВС: генералам он противопоставил молодых и активных штабс-капитанов. Таким образом, Солоневич по собственной инициативе стал раздражителем для старшего поколения. В его действиях, вернее противодействиях, могли усмотреть цели отнюдь не патриотического характера. Или не только патриотического. В который раз закрадывалась мысль: не провокация ли?

---

[487] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 259, 276.
[488] *Там же.* 279.

3 февраля 1938 года с Солоневичем случилась трагедия — в редакции «Голос России» в результате совершенного на него покушения погибла его жена. Но даже это не смягчило его противников. Ильин высказывался в его адрес крайне резко, полагая братьев «советскими ловчилами», которыми движет лишь личная месть по отношению к коммунистам. Отказывая им в истинном патриотизме, он подозревал в них людей, растленных советской службой. Мотивы статей братьев эпатировали Ильина эксцентричностью. Например, призыв к русским девушкам-эмигранткам ходить на бойню и окунать руки в теплую кровь быка, дабы воспитать в себе воинственность по отношению к большевикам. В найденной в мичиганском архиве Ильина записке говорилось: «...в наше слепое время люди думают: все, что против коммунистов, все хорошо. Но вот поднимается черное на красное, растление справа на растление слева — и мы опять будем задыхаться»[489]. Сопротивление злу силою предполагало разборчивость в средствах. Само противостояние большевизму — это понимал и Шмелев — в 1930-х годах утратило свою прозрачность и однозначность, оно требовало избирательности и осторожности, среди врагов Советов появились новые силы, которым не было доверия.

20 марта 1937 года у могилы Ольги Александровны Шмелев услышал от Васильчикова не только историю, которая легла в основу рассказа «Глас в нощи». Старик рассказал еще об одном событии, Шмелевым также воспринятом как знамение, как дар, «дарок», умершей супруги.

Услышанный от Васильчикова случай подсказал Шмелеву сюжетную линию для его рассказа «Куликово Поле». Однако писал он это произведение очень долго, с 1939-го по 1947 год, все время исправляя, дополняя, казалось бы, завершенные

[489] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 554.

варианты. Писал, чтобы показать очень для себя личное и утешительное: нет границ между з д е с ь и т а м.

Главный герой услышанной от Васильчикова истории — Святой, который вскоре после революции, в имении Юрия Олсуфьева, собирателя древностей, встретил лесного объездчика имения, а теперь совхоза; объездчик передал ему для Олсуфьева найденный старинный крест, и Святой действительно передал крест Олсуфьеву, который тихо жил в Сергиевом Посаде, работал там хранителем музея. Он жил с женой, в девичестве Глебовой, и с их родственницей — племянницей Васильчикова. Наутро старичок-святой исчез бесследно, при этом все двери и окна были заперты изнутри. Васильчикову эту историю рассказали родные. И тут кроется еще одна причина столь длительной работы Шмелева над текстом: он опасался репрессий над участниками событий, потому не торопился писать и тем более публиковать рассказ.

Примечательно, что как раз в 1939 году Шмелев, не будучи математиком, интересовался материалами по теории вероятности. Потому и прибегал к помощи математически одаренного Ивика. Шмелеву была интересна проблема времени как такового, повторяемости явлений, их возвращения. Это было не праздное любопытство, оно имело самое непосредственное отношение к вопросу о смерти: ничто не пропадает... тогда где же тело? отсвет его — в нас... От математики — к Писанию. Он вспомнил из Апокалипсиса: «И времени уже не будет...» (10 : 36). Значит, время там, где материя, для внематериального состояния времени не существует... Не получалось принять чудо на веру, необходимо было объяснение. Размышления о теории вероятности тоже подтолкнули его к «Куликову Полю».

Детали в рассказе Васильчикова и в рассказе Шмелева совпадают. Но в «Куликовом Поле» услышанная на кладбище короткая история дополнена множеством обстоятельств. 7 января 1942 года Шмелев написал Бредиус-Субботиной о

том, что, узнав от Васильчикова о случившемся, он долго вынашивал замысел:

> Я два года таил этот «случай», — он был мне дан в 2—3 словах, — я в с е наполнил сам, т.е. сам как бы «повел следствие», внес, конечно, много из своего личного опыта, — разговор с профессором, «абсурд», и — самое трудное! — я з ы к Преподобного. Сколько я тут положил души — это только я знаю: без п о м о щ и свыше я не мог бы одолеть трудностей»[490].

Примечательно, что произведение Шмелев начал с публицистического вступления об особой истории русского народа. Герой, следователь, рассказывает о том, что читал письмо «умнейшего, глубоко русского мыслителя, национального зиждителя душ», автора направленной против толстовского непротивления книги «о борьбе со злом». Конечно, речь идет об Ильине. Шмелев даже привел выдержку из письма Ильина, в которой говорится об исключительности исторического бремени и духовной мощи русских, зримо умирающих и незримо возрождающихся. Неназванный в рассказе Ильин поставлен Шмелевым в один ряд с такими мыслителями, как Пушкин и Достоевский.

В центре событий — крест, найденный объездчиком Василием Суховым на Куликовом Поле и переданный чудесным старцем бывшему помещику этих мест Средневу, потомку дружинника Дмитрия Донского, его супруге и дочери Олечке, проживавшим в Сергиевом Посаде, по-новому — в Загорске, где искали приюта многие из «бывших». Шмелев помнил, что с городом была в ту пору связана судьба В. Розанова, Л. Тихомирова, С. Булгакова, П. Флоренского, М. Несте-

[490] Письмо к О.А. Бредиус-Субботиной от 16.01.1942 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 440.

рова... Как в пасхальных и рождественских текстах, в шмелевском рассказе важными стали и мотив знамений, и символические совпадения. Старец пришел к Средневым в день празднования восьмой годовщины Октября, когда местные власти призывали граждан проявить революционную сознательность. Революционному настоящему Шмелев противопоставил многовековую историю: старец — это Сергий Радонежский. Знаком нетленности стал не только средневековый крест, но и иконы Рождества Богородицы и Спаса Нерукотворного, на которые помолился Сергий в доме Средневых.

С Сергием в повседневной жизни «бывших» появляется нездешний смысл. Так, при свете лампадки Оля увидела его лик, и «ее потрясло священным ужасом»; во время пребывания старца в доме Средневых все они испытали чувство безмятежного покоя. Старец назвал крест Господним знамением Спасения. Шмелев подразумевал под этим спасением страдание.

Но не только. По мысли Шмелева, крест должен дать Средневым духовную силу: крест суть наследие предков, а предок Среднева пал на Куликовом Поле. Рассказчик, пораженный случившимся, принял явление старца как знамение обетования, благовестие — «то, давнее, благовестие Преподобного Сергия Великому Князю Московскому Димитрию Ивановичу — и через него всей Руси Православной — “ты одо-леешь!” — вернулось и — подтверждается». Шмелев словно еще раз, создавая рассказ, укрепился в мысли о преодолении зла через небесную помощь и тем самым нашел себе утешение — рассказчик произносит: «И теперь — ничего не страшно». Шмелев выразил в этом сюжете и частую в своем творчестве тему — человек Богом не оставлен, человек не одинок.

Шмелев убеждал себя и читателя в сверхматериальном смысле мощей, в реальности и даже видимости духовного

бытия Сергия. Во время работы над текстом — позже, в марте 1947 года, — к Шмелеву зашел племянник князя А.Н. Волконского, по фамилии Расловлев, переводчик на французский язык «Конька-Горбунка». Его сын, офицер, погиб под Бельфором, оставив деду в утешение двух внуков. Шмелева поразило сходство этой истории с описанной им в «Куликовом Поле» историей объездчика: у его героя тоже было двое внучат, их отцов, сыновей объездчика, убили — одного на войне, а другого «комитет бедноты замотал за горячее слово». Вдохновленный замыслом Шмелева, прочитав двенадцатую, последнюю, главу рассказа, Расловлев написал автору письмо, в котором выразил такую мысль: рассказ написан в посрамление тем, кто полагает, что лампаду над ракой Преподобного можно тушить или зажигать по заказу. Шмелев, действительно, писал о том, что неподвластно человеку и что сверх его разумения.

В 1949 году княжна Софья Евгеньевна Трубецкая рассказала Шмелеву, что тех, кому старец принес крест, уже нет в живых: прототипов Оли и Среднева арестовали, Оля умерла в ссылке, Среднев пропал. Крест видела и целовала ее родственница А.М. Осоргина, сестра М.М. Осоргина — регента Сергиева подворья. Таким образом, Трубецкая подтвердила реальность присшедшего. Примечательно, что, еще не зная об этом, Шмелев адресовал произведение читателям из СССР.

У текста «Куликова Поля» не простая история. Шмелев закончил рассказ в феврале 1939 года и переслал его Ильину. Ильин, узнав от Шмелева рассказ Васильчикова о чудесном кресте, признался ему, что чудо это принимает с легкостью. Однако, прочитав присланный машинописный вариант рассказа, он почувствовал, что сам автор как бы не поверил в чудо. Он так и написал Шмелеву: вера в чудо есть только в Оле, но не в авторе, не в следователе, не в Олином отце, а надо принимать приходящее к нам из того мира, не требуя объяснений. Шмелев ответил: «...конечно, Вы правы, да я

же и предупреждал Вас, какое во мне томление и сомнение. <...> Бьюсь в сомнениях, не найду простой веры, детской, горкинской»[491]. Ильин советовал ему читать Феофана Затворника, он убеждал Шмелева в том, что Господь к человеку ближе, чем его сонная артерия.

Шмелев признавался, что в «Куликовом Поле» он тщился найти себя. Думал, что понять рассказ сможет только простая душа или очень тонкая в религиозно-философском смысле. Писал и плакал: он — муха ослабевшая, а в мире в это время нечто совершается...

Первый вариант публиковался в трех номерах «Возрождения» в 1939 году, с января по март. После замечаний Ильина Шмелев возобновил работу, и только в январе 1947 года был готов второй, расширенный, вариант рассказа. Например, уже при работе над этим вариантом он решил ввести в текст слова Ильина из его письма о «Солнце мертвых» от 18 марта 1927 года. Так он хотел не только художественно связать себя с личностью Ильина, но и утвердить в рассказе «русский триптих»: Достоевский, Ключевский, Ильин. Он передал эту цитату из письма своему герою-следователю. Шмелеве не был склонен применять «шаткую и невкусную манеру Рем<изова> — называть живых лиц, здешних, — в худож<ественном> тексте»[492]. В основном авторская правка отвечала ильинским указаниям.

Новый вариант текста Ильин увидел в начале 1947 года. В нем, по его мнению, уже была простота, сердечность веры и убедительность. Но все же до апреля Шмелев дважды переработал и переписал рассказ. Апрельский список рассказа был по счету пятым, а в мае автор сообщил Ильину: «В 10-й раз — ! — и окончательно! — продрал “Кул<иково> Поле”»[493].

[491] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 264.
[492] Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 26, 29.
[493] *Там же*. С. 126.

Шмелев считал, что работа над «Куликовым Полем» была одной из самых светлых в его жизни. Не без удовлетворения он говорил, что в рассказе посмел веру жизнью доказать. Он мечтал издать «Куликово Поле» маленькой книжечкой с заставками, в рамочках.

Вернемся, однако, в 1939 год. Вера Николаевна Бунина записала 13 сентября о сообщении Л. Зурова: Шмелев «в подавленном состоянии, ночные тревоги действуют на него угнетающе»[494]. Возможно, это состояние мучило бы его до конца дней. Возможно, еще долго он переживал бы пустоту жизни, а жизнь так бы и утекла без радости. Если бы не одно обстоятельство.

7 или 8 июня 1939 года Иван Сергеевич проснулся с мольбой, обращенной к Ольге Александровне: он просил ее забрать его к себе. Утром 12 июня он получил письмо из Голландии. От незнакомки. В нем говорилось о том, что Шмелев ведет людей, как Вифлеемская звезда, к ногам Христа, что «Лето Господне» и «Богомолье» подготовляют автора письма и к Посту, и к Пасхе. Его благодарили за духовную помощь и «почву». Письмо было отправлено через «Возрождение». Написала его Ольга Александровна Бредиус-Субботина.

Шмелев был потрясен. Он сразу придал мистический смысл имени и отчеству незнакомки: ее звали, как умершую супругу. Это было чудо. Он одинок, ему шестьдесят шесть лет, Ив уехал на математические спецкурсы, вообще так много пережито и ничего нет сил менять в своей жизни — и вдруг после мольбы к Ольге Александровне он получил послание от... Ольги Александровны...

О.А. Бредиус-Субботина была намного моложе его. Она родилась в 1904 году. Значит, в 1939-м ей было тридцать пять

494 Устами Буниных. Т. 3. С. 34.

лет. Она, как и Шмелев, из семьи православной, почвенной. Ее отец — рыбинский священник, и к нему она относилась благоговейно — как Шмелев к своему отцу. Он служил в Рыбинске восемь лет, умер в Казани, пробыв там полгода, однако хоронила его рыбинская паства — несколько тысяч людей передавали гроб через головы. Радость жизни ушла из семьи вместе со смертью отца — и в этом тоже было сходство ее жизни с жизнью Шмелева.

После окончания гимназии она училась в художественном училище. Содержание ее живописи было религиозным, что не соответствовало времени художественных исканий, «безумному веку безмерного хотенья», как писал Бальмонт («Марло». 1916). Из училища она ушла. В 1922 году ее отчим А.А. Овчинников, ректор Казанского университета, был выслан из России, а в 1923 году вслед за ним в Германию отправилась и его семья. В Германии Ольга Александровна закончила медицинские курсы, работала в госпитале. В 1937 году по любви вышла замуж за голландца А. Бредиуса ван Ретвельда, своего ровесника: он родился в 1903 году. Потом она вместе с мужем уехала в Нидерланды.

Ольга Александровна — посаженая дочь Ильина, с которым она познакомилась в начале 1930-х годов и который духовно направлял ее. В Берлине она училась в Русском научном институте, слушала лекции русских философов. В 1936 году была на лекции Шмелева. Ее брат — ученик Ильина и его издатель.

Шмелев ответил Бредиус-Субботиной, и завязались эпистолярные отношения. Он почувствовал в ней родственную душу. Посылал ей главы из «Лета Господня», «Путей небесных», «Богомолья». «Михайлов день» из «Лета Господня» был посвящен ей. Их письма друг к другу — более тысячи — исповедальны, интеллектуальны, художественны.

Как-то, в 1941 году, Ольга Александровна призналась ему, что при жизни не смогла бы сделать его письма к ней достоя-

нием читателей. Ее возмутило то, что в 1924 году О.Л. Книппер-Чехова опубликовала письма Антона Павловича. Но Шмелев не исключал того, что его переписка с Бредиус-Субботиной будет со временем опубликована и станет достоянием истории русской литератры, своеобразным лирическим романом об одухотворенности человека, и даже «Пути небесные» и «Неупиваемая чаша» покажутся по сравнению с ним пресными.

Письма Ольги Александровны вызвали у него потребность восторгаться. Он считал ее почти идеалом, все более и более восхищаясь ею: она художественно умна, она вообще умна, она светлая, богатая духовно и душевно, простая, близкая...

Конечно, Шмелев по-прежнему тосковал по умершей жене — осенью шестнадцать дней он прожил в Русском Доме в Сент-Женевьев-де-Буа, каждый день посещая ее могилу. Появление в его жизни другой Ольги Александровны он понял как выбор его ушедшей супруги, как ее волю. И обе они религиозны... И письмо от Субботиной он получил тогда, когда ему необходимо было укрепиться в вере. И ведь письмо она это написала в день своего рождения — 9 июня... И в письмах ее — отзвуки шмелевской прозы. И в языке, и в содержании. Как фрагмент из «Лета Господня» звучат строки одного из ее первых писем Шмелеву:

> Мы постились, а в сочельник говели «до Звезды». Мы «славили Христа» в Рождество и Пасху, и для смеха «получали» от папы по рублю «в ручку». Я никогда, до моей смерти, не забуду первого говения и исповеди, этого звона «по-мни» и чмокающей грязи под ногами, — смеси талого снега и навоза на почерневшей мостовой. И шары на углу улицы, и, главное, капели. Почему-то Пост, звон, капели и крик галок, — все это — одно. И как-то трепетно и грустно, и чего-то как будто ждешь, и на душе чудесно. И где это все еще повторится на Божьем свете? А как пахнет в церкви у Плащаницы... Гиа-

цинты, нарциссы, тюльпаны и много азалий, и свечи, и женщины в платочках черных[495].

Он писал ей о созвучности их душ и видел в этом предназначение Божье. Называл ее дружкой, сестрой. У них было единое отношение к России. Он укреплял ее духовно, поучал ее светло принимать все, что дается в жизни, хотя и сам нуждался в этом. Он был мнителен, не мог побороть собственных тревог, но ее наставлял побеждать и мнительность и тревоги. Как и она, он любил в музыке лириков (Шопена, Шуберта, Чайковского), в Римском-Корсакове — классику, в Бородине — степную тоску, в Мусоргском — народность, в Моцарте — простоту и прозрачность.

В начале их эпистолярных отношений он спрашивал Ильина, есть ли в ней что-нибудь общее с Даринькой из «Путей небесных». Он видел в ней лучших персонажей Достоевского, угадывал в ней сочетание обаяния, одаренности, мягкости и неистовства. Ильин, стараясь утишить чувства Шмелева, на возвышенность своего друга отвечал прозаизмами: от Достоевского нет ничего, а от женского тщеславия — достаточно. Много позже, в 1947 году, Ильин даже обмолвится: единая и истинная в жизни Шмелева — Ольга Александровна, умершая супруга.

Шмелев сделал О.А. Бредиус-Субботину своей наследницей, как и свою племянницу, Ю.А. Кутырину, и ее сына И. Жантийома.

Ольга Александровна Бредиус-Субботина умерла 19 августа 1959 года и была похоронена на гаагском кладбище.

---

[495] Письмо от 19.10.1939 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 34.

XVII. *Советско-финляндская война*
В оккупированном Париже
Влюбленный Шмелев
Россия или царство Сталина
«Рождество в Москве»
1943 год

30 ноября 1939 года началась Советско-финляндская война. Военные действия продолжались до 13 марта 1940 года. Шмелев отказался подписать письмо против нападения СССР на Финляндию. Письмо было принесено Алдановым, и отказ Шмелева неприятно его удивил. Возможно, он был даже обижен: он побледнел и удалился, не промолвив ни слова. Протест был опубликован 31 декабря в «Последних новостях». Его подписали И. Бунин, З. Гиппиус, Н. Тэффи, Н. Бердяев, Б. Зайцев, М. Алданов, Д. Мережковский, А. Ремизов, С. Рахманинов, В. Сирин. Размолвка с Алдановым впоследствии рассматривалась Шмелевым как причина дальнейшего враждебного отношения к нему Алданова. Через два дня Шмелева посетил Деникин — с намерением пожать ему руку за этот отказ.

Причина, которой руководствовался Шмелев, — патриотизм. Отождествляя Россию с Советами, журналисты возводили на нее хулу. Так полагал Шмелев. Его оскорбляли публиковавшиеся изображения финских ножей, которыми

вспарывали животы русским солдатам. Политический экстаз по поводу нападения на Финляндию Шмелев воспринял как вакханалию. Причем, и Ольга Александровна Бредиус-Субботина писала ему о том, что никто не желает видеть различия между Россией и СССР, что все рады гибели не Советов, а именно России, что в Голландии делаются сборы в пользу Финляндии, хотя двадцать лет никому не было дела до того, как русский народ истреблялся большевизмом:

> Я считаю, что Финская война — только благоприятная почва для толчка Сталину в спину, но сама по себе она Россию не спасет, т.к. до России никому нет дела. И когда тут злорадствуют, что уже 300 000 русских воинов уничтожено, так радуются не истреблению 300 000 большевиков, а *именно* русских[496].

Шмелев хотел бы видеть в этой войне начало падения сталинского режима. Вину за русские и финские жертвы он возложил на Сталина.

17 мая 1940 года германские войска заняли Брюссель. Девятая французская армия отступала на запад, и к вечеру 18 мая армии как таковой уже не существовало, ее командующий попал в плен. 20 мая германские танковые дивизии вышли к Ла-Маншу, заняв Амьен и Абвиль. 23 мая Гудериан блокировал Булонь и Кале, а 25 мая немцы захватили Булонь, 26 мая — Кале. 3 июня, по сообщению радио, на Париж было сброшено больше тысячи бомб, и газеты писали, что убито 254 человека, ранено — 652. 9 июня была форсирована река Эна в районе Ретеля, 12 июня фашисты форсировали Сену

[496] Письмо от 2.02.1940 // // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 41.

на оборонительной позиции перед Парижем, на востоке они достигли Монмирайа. В Шампани на юг продвигались танковые соединения. 14 июня немецкие силы вступили в Париж без боя, три четверти населения покинуло город. 15 июня Гудериан захватил крепость Лангр. 16 июня был взят Гре, 17-го — Дижон, Безансон. 17 июня Петэн выступил с воззванием прекратить борьбу. Режим оккупации распространился на северную и центральную Францию. 28 августа в этой зоне были упразднены все иностранные организации, в том числе восемьсот русских. В южной части, полностью зависимой от Германии, расположилось правительство Петэна, выступавшего за режим, подобный германскому.

Май оказался для Шмелева тревожным и по личным причинам. Осложнилось существование близких людей: Ольгу Александровну должны были оперировать в Амстердаме, «а тут эти дьяволы налетели»[497], и он не знал, жива ли она; еще в мае Ив был на курсах высшей математики и собирался держать конкурсный экзамен в Scolepolitechnik, но уже летом конкурс был прерван. Кроме того, в условиях войны Шмелев оказался безработным писателем. Трудно было не только ему, конечно. Очень болел Иван Созонтович Лукаш, и Шмелев в мае через «Возрождение» обратился к читателям помочь писателю морально и материально. Ивану Сергеевичу скоро должно исполниться шестьдесят семь лет, а в такие годы тяжело жить без надежды. Одно отрадно: к Пасхе он получил от Бредиус-Субботиной привет и мармелад.

В конце 1930-х годов осевший в Америке сибирский прозаик Георгий Дмитриевич Гребенщиков устраивал денежные сборы в пользу Шмелева, Бальмонта, Ремизова, Зайцева, Бунина. В 1940 году Бунин писал Гребенщикову:

---

[497] Письмо к И. Ильину от 27.05.1947 // Переписка двух Иванов (1937—1946). С. 295.

> Теперь спешу сообщить, что Зайцев и Мережковский пишут мне, что они были бы очень благодарны Вам, если бы Вы могли пустить в американской прессе призыв помочь нам, нескольким рус<ским> писателям. Я думаю, что к нам троим следует прибавить Ремизова и Шмелева[498].

Гребенщиков — человек, всегда готовый помочь Шмелеву. Давно, еще в 1923 году, он отозвался в «Последних новостях» рецензией на «Это было» Шмелева, в его «Солнце мертвых» он увидел, как революцией была вывернута наизнанку людская утробно-низменная суть[499]. Организатор Общества сибиряков США, Гребенщиков был почетным председателем Русского объединения обществ взаимопомощи.

Шмелев очень нуждался в помощи, притом что положение находящейся в состоянии войны Франции, по его мнению, было вполне терпимым: избыток продуктов на рынках, сытый народ, в доме тепло. Через две недели после взятия Парижа он отметил, что в оккупации сохранен порядок, что все достаточно корректно. Он, знающий положение беженца и тяготы эвакуации, остался в городе. Ему казалось, что в Париже будет гораздо спокойнее. Его жизнь в целом не изменилась. По радио он слушал чудесные вальсы и марши, и это хоть немного обнадеживало. Даже задержке пенсии от короля Югославии он спокойно находил объяснение: курьеры едут через неоккупированную часть Франции, а там беспорядок. Словом, он старался не поддаваться страхам, не паниковать.

Однако события 1941 года разрушили его надежды. Жизнь Шмелева превратилась в кошмар. Зима была суровой, очень холодной и снежной. Лопались трубы, быт был разлажен.

---

[498] С двух берегов: Русская литература XX века в России и за рубежом. С. 256.

[499] *Гребенщиков Г.* Это было // Последние новости. 1923. 11 марта.

27 апреля 1941 года Бунин записал: «Слух, что умер Шмелев»[500]. Но это было не так. Шмелев переселился в тот дом, где жили Зайцевы. Из их окон были видны стены Бианкурского кладбища — символический пейзаж. Иван Сергеевич бедствовал, но терпел невзгоды мужественно. Помогло весеннее тепло. Б. Зайцев писал об апреле 1941 года: «И всюду в Париже весна. Но нет радости. Да и Парижа настоящего нет»[501]. Помогали воспоминания — о вкусе граната, о запахе персиков... Все-таки оккупированный Париж — это еще не Крым под большевиками. Шмелев мог устроить себе завтрак из бифштекса, печеного картофеля, шоколадного крема, лепешки с черничным вареньем, с полстаканом «сент-эмильтона».

Ивана Сергеевича раздражали острые французские перья, а мягких и тупых раздобыть уже не было никакой возможности. Он писал на какой-то голубой бумаге, потому что нормальную, белую, достать трудно... впрочем, есть еще в центре, он даже заказал и ему обещали оставить. А еще целый блок принес Карташев в благодарность за хлопоты Шмелева о его пасынке, который был в плену.

Вышло итальянское издание «Неупиваемой чаши», все тридцать тысяч разошлись. Шмелев работал за своим столом, окруженный дорогими образами. Рядом была фотография сына Сергея и жены Ольги Александровны. В святом углу подаренный Деникиным образ Богородицы, там же висело медное распятье — дар рижской Ломоносовской гимназии, в которой Шмелев осенью 1936 года читал «Веселый ветер» и «Как я покорил немца». Далее — Иоанн Богослов, далее — образ Богородицы, подаренный Ильиным, большая фотография Иверской часовни в Москве, изображение храма Христа Спасителя, присланное ему из Берлина отстав-

[500] Устами Буниных. Т. 3. С. 92.

[501] *Зайцев Б.* Дни <Дневниковые записи 1939—1945 гг.> // *Зайцев Б.* Собр. соч. Т. 9. С. 183.

ным военным, художником Эрнестом Морицевичем Редлихом и его супругой Алисой Федоровной Редлих — пианисткой и преподавательницей музыки. Рядом — фотография с могилы Ольги Александровны, большой овальный портрет Сергея, перевязанный российским флагом-лентой. Была там и серебряная голубая лампадка — дар С.Т. Климовой, в пансионе которой около Риги жил Шмелев, а ранее — Ильин; под лампадой висела на нитке сосновая шишка с Валаама. Над камином — портрет Ольги Александровны Бредиус-Субботиной, направо от камина, на радио, — другой ее портрет.

Память обращала его к «Последней любви» (1852, 1854) Ф.И. Тютчева: «О, как на склоне наших дней нежней мы любим... Продлись, продлись, очарованье... Ты и блаженство, и безнадежность». 3 сентября 1941 года он написал Ольге Александровне, что каждый день жизни — благословение. Он обращался к ней: «Родная моя, свет мой неупиваемый!», «милая-чудесная», «милая, светлая моя», «неупиваемая радость».

Она — Светлая и Святая Дева. Даже так. И он, конечно, вспоминал пушкинскую «Мадону» (1830): «...моя Мадона, чистейшей прелести чистейший образец». Еще он видел в Ольге Александровне свою Анастасию — предвечный идеал. Потому он послал ей в 1941 году «Неупиваемую чашу», и надпись на книге смущала откровенностью его самого: «Моей светлой душе — Ольге А<лександровне> Б<редиус>-С<убботиной> — первое отсвет-страдание ее, ныне явленной мне»[502].

Они перешли на «*ты*». То «*ты*», то «*вы*». Он полюбил ее исступленно.

Эта любовь придала ему силы жить и надеяться: она в письме от 15 сентября 1941 года назвала его не только далеким другом, но и дорогим, и родным, и милым, и неоцененным; она писала ему, что думы ее о нем — прекрасные и нежные. На

---

502 И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 697.

следующий день она написала стихотворение, в котором выразились и обожание, и одухотворенная любовь к нему:

Созвучья дивной Песни Мира я б уловить хотела
в гимн победный, —
— от рева волн могучих океанов,
раскатов гроз, сорвавшихся камней с утеса,
от ручейка весны журчащей,
трели соловья влюбленной,
от шепота колосьев спелых,
шума ласкового бора
и звона жаворонков в небе,
от шелеста осенних листьев,
метели-бури завыванья, —
до...
звонких слезок мартовской капели,
до... шороха травы, растущей,
до... лепета ребенка...
Букеты пышные Цветов Земли собрать бы я хотела, —
от лотоса,
мимозы стыдливо-робкой,
фиалки скромной, —
до...
жарких маков...
И ароматов Жизни я бы взять хотела, —
от свежести холодной льдинки, —
до душных волн сосны смолистой в солнце,
от нежности душистой детской щечки,
земляники спелой,
от ландыша благоуханья чистого, святого, —
до...
страстного дыханья алой розы,
Чтобы к ногам Твоим повергнуть и знать,
Что *Ты* отдашь мне *все*, —
— в... одном лишь *поцелуе*[503].

[503] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 159.

Она решилась отправить ему это поэтическое признание только 6 октября, но и в ее сентябрьских письмах он уже почувствовал зарождающееся чувство к нему. И он тоже понял, что любит...

Простите, милая, простите… о, прости, мой Ангел, как я нежно-свято люблю Вас, Оля моя… славяночка моя — царевна! Замученное сердце полно последним жаром, все оно горит непостижимо, так нежданно... я же давно его утратил... — мне казалось так! Я недостоин, я не смею, — вот мое твердое признание: я не смею, я кощунствую, я — пусть изнемогаю от «огня», — нет, я не смею. А теперь... читаю Ваше письмо… я не смею верить... но я читаю, я знаю, как Вы чисты, как Вы правдивы, как недосягаемо правдивы! — я... я для Вас не только автор... я для Вас и живой еще..! Вот, моя гордыня... ви-дите? где же гордыня-то..? я взгляда вашего не стою... так я себя скрепляю... тушу огонь свой... в мыслях оскорбить страшусь... О, несказанная... я так растерян... все во мне мутится, — Боже, это Т ы говоришь? Не Темный это льет в душу мою свет... Твой это свет... в мои потемки... Да ведь Ты, Ты, Господи... в с е, в с е, так в с е направил, так ясно показал слепым глазам... — так все начертал... Когда смотрю на эти годы, на это откровенье с неба… на этот «случай», на мой вскрик, на скорбь Вашу, далекую, в день Вашего Рождения... на эту книжку… на эти 9 мес. «разлуки», внешней только, и как зрел п л о д... во мне зрел, и я чувствовал, как зрел он... эти девять месяцев разлуки я был с в е т е л... это был свет в сердце... это был шепот воскресавших надежд, возвращаемых утрат... когда все в и ж у... — Ты, Господи, жизнь мне возвращал... — а я, видите ли... я все не верил, я страшился омрачить сердечко Ваше... Как я Вас люблю..! это нельзя измерить, у меня нет мерок слова теперь в э т о м, слова мне непокорны... разбежались... истаяли и потускнели, мои слова, покорные мои рабы… творцы! Девочка моя светлая, как я люблю тебя, как нежно гляжу в твои глаза… как пальчики твои целую... я плачу, я не могу больше говорить... ничего не вижу, вот пишу... Прости меня, прости, родная, мой Бог, моя нетленная, лас-

точка... ты залетела в мое сердце, ты, и как там неуютно... ну, побудь немного, я так счастлив… ну, умчишься, но ведь ты б ы л а в нем... — это безмерность счастья для меня... это величайшая, слепящая награда, не по заслугам... это щедрость Бога, это твое великодушие, это — кровь твоя, р о д н а я... только потому все это... Мы так похожи, до... оглушенного «непониманья»![504].

Он признавался ей, что так никогда еще не любил. Письмо написано 20 сентября. В этот же день она ответила ему письмом, в котором призналась, что грустила о нем, а 23 сентября — о том, что полюбила его: «Да. Я люблю Вас тоже. Давно, нежнейше и полно, и свято! Люблю»[505].

Не встречаясь, общаясь лишь эпистолярно, они нуждались друг в друге. Шмелев по ее умным и светлым письмам создал образ, к которому обратил свою любовь, и она это понимала. Опасаясь разочаровать его, предостерегала: у меня скверный характер, я не богиня, могу быть неприятной... Возможно, она была влюблена в явление по имени *Шмелев*. Он знал, что внешне давно уже не привлекателен, писал ей о том, что некрасив. Знал, что женщину влечет к мужчине не только внешность и не только физическое общение. Понимал, что сила дарования в мужчине притягательна. Во время публичных чтений он замечал обращенные на него страстные, благодарные женские взгляды. Он позже признавался Ольге Александровне, что, раздражая своим дарованием чувственный инстинкт женщин, осознавал их готовность отдаться ему духовно и телесно. Но после гибели сына он ни разу не изменил жене.

К О.А. Бредиус-Субботиной он испытывал чувство, которое сам называл нестеровским. И страсть — и поклоне-

[504] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 117—118.
[505] *Там же*. С. 129.

ние, и нежность — и любовь умственная. В ее же любви было больше преклонения.

24 сентября он предложил ей стать его женой — законной. Как он выразился — брачной. Она не могла с такой же стремительностью принять его предложение: у нее — муж, и он человек прекрасный, в нем нет грубой силы, он любит Россию, а еще Бредиусы — авторитетный в Голландии род и так просто развестись не дадут... С мужем расстаться не может, но Шмелева любит «безумно, до смерти, исступленно»[506], зовет его в Голландию — и все ему отдаст, что в ее сердце, и не считает это грехом — ведь она нежность свою ни у кого не отнимает, ведь на нежность ее никто и не посягает... Грехом не считает, но лгать тяжело. Она встречает почтальона на пороге, забирает письма Шмелева и объясняет дома, что это... так... писательская поэзия, перед которой она преклоняется. Шмелев же, не замечая сложности ее положения, запрашивает ее о любимых духах: ландыш? грэпэпль?

Невольно он переносил на свое отношение к Ольге Александровне все то, что когда-то перечувствовал и пережил с женой. Он описывал ей запахи, любимые его женой: «Я любил, когда она тихо подойдет, а я пишу, ни-чего не слышу, хоть пожар, — не вижу, — и… на голову мне — накапает грэпэплем… я не слышу, потом — запах бросает меня куда-то… и я прихожу в себя»[507]. Ему горько от мысли, что этого никогда не повторится с его новой возлюбленной. Шмелев мечтал пожить с ней в монастыре Саввы Звенигородского, под Москвой. Еловые белые полы… всенощная... молитва… прогулки на лыжах, горячие просфоры, жаркий кагор… монастырская еда — блины, московская солянка, осетрина… Там в 1912 году он жил с Ольгой Александровной и Сережей

[506] Письмо от 4.10.1941 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 165.

[507] Письмо от 3.11.1941 // *Там же.* С. 227.

три зимних дня. Сравнивая свое отношение к жене и Ольге Александровне, заметил: раньше он любил, теперь сознает, как любит.

Он желал встретить в Субботиной не только женщину, в которой воплотились бы черты и привычки его жены, Ольги Александровны, но и писательницу. Ситуация весьма узнаваемая — ведь и талант Галины Кузнецовой тоже развился под влиянием Бунина, в ее прозе он и описан, ее образы напитаны бунинским видением жизни. О, это желание сотворить свою женщину, развить в ней свой творческий акт... В Шмелеве вспыхнула надежда на то, что Ольга Александровна, несомненно, творчески одаренная натура, что она начнет писать — и он передаст ей свои сюжеты, например о крымской жизни, свои мысли, научит ее мастерству. И он учил ее спокойному тону, умению «скрывать с о в с е м свою душу» и при этом быть предельно искренней, убирать все лишнее из текста, не относящееся к сути дела, не допускать, вслед за Достоевским, красивостей, крика, излишних пейзажей; увы, это часто встречается у Бунина — «право... ни к селу, ни к городу». Самый замечательный пейзаж — у Чехова, в восьмой главе «В овраге», когда Липа несет своего мальчика: «Это — лучшее во всей мировой художественной прозе. И — какая простота! Бунину здесь до чеховской щиколотки не подняться: ему трагическое — никогда не удается»[508], — писал он Бредиус-Субботиной.

Он внушал Ольге Александровне веру в ее силы, уговаривал не принижать себя и творить, упрашивал описывать — что угодно! детство... сны... пусть выдумывает... Он согласен с ней: многие художницы не могут почувствовать вечноженственное и так и остаются мелко-страстными, но — он знает! — не она: она талантлива, просветлена, гениальна, умна, сложна.

[508] Письмо от 6.11.1941 // *Там же*. С. 237.

Ольга Александровна начала писать, в письмах к нему изображала житейские ситуации, которые, как он полагает, требуют минимальной правки — они уже готовы к печати! Она написала рассказик в духе Шмелева «Первый пост». Понимала, что творила в его манере, что загипнотизирована им. Она согласна быть его притоком, и даже если ее рассказ не отвечает высокой художественности, она сохранит его как дневниковую запись — и так, в таком проявлении, она нужна России. Итак, О.А. Бредиус-Субботина, как и Шмелев, наполняла свою жизнь высоким гражданским смыслом.

Он молился о ней. Он беспокоился: тепло ли она одевается? В болотной Голландии так сыро! Он советовал ей больше есть устриц — они необходимы для крови. Для убедительности сообщал, что сам ест их по две дюжины. Уговаривал ее не ходить на почту затемно, тревожился: не больна ли? Он послал ей варенье из груши, которое сварил специально для нее, сварил сам — вспомнил, как это делала жена. Он так опечален, что не смог найти для нее пьяных вишен. В 1942 году, когда уже трудно было достать что-либо изысканное, он послал ей маленькую коробочку шоколадных конфет и тревожился: не дрянь ли? А в крещенский сочельник раздобыл для нее пять красных праздничных свечей — пять из шестнадцати во всем Париже! Он запрашивал о размере ее ноги, решил достать ей почти невозможное по тем временам — шелковые чулки. И уверял ее, что хорошо питается: ест гречневые блины, у него есть сухие бананы, мед, бисквиты, сардины, грецкие орехи... есть манка и мог бы кашу сварить... но лень, есть хорошее бордо, но... лень бутылку открывать, есть коньяк... но не пьется; есть какао... но не хочет с ним возиться... Он посылал ей продукты. В феврале 1942-го он собрал ей посылку: два флакона духов «Гэрлэн», коробочка шоколадных конфет, печенье, вязига для пирога, чернослив и проч. Все это должен был доставить отец Дионисий, но вдруг он сообщил Шмелеву, что сможет взять с

собой только половину, другие подарки передаст со следующей оказией. Шмелев был растерян и взбешен. Однако на следующий день он остыл, смущаясь собственного гнева.

Как он все это добывал, на какие средства? 13 мая 1942 года Зайцев писал вывезенному немцами из СССР в феврале того же года Иванову-Разумнику: «Шмелев — такой же худой, как я...»[509]. Шмелев болел, голодал. Один из основателей Русского исторического архива в Праге, издатель, библиограф, в прошлом эсер Сергей Порфирьевич Постников сообщал Иванову-Разумнику 28 апреля 1942 года: «...Шмелев в ужасном положении в Париже»[510]. Но при этом Шмелев постоянно подбадривал Ольгу Александровну. Он умолял, чтобы она избегала никчемной суеты, мышиной возни, и посвятил ей шутливую элегию «О мышах и проч.»:

Мышей она страшилась пуще Бога,
Мышам она «всю душу» отдала, —
Не потому ль и ласки так немного
В последних письмах мне дала..?

Мышей голландских стоит ли страшиться?
Они — кошмар голландских серых снов:
Пусть миллиард их в грязи копошится, —
Сей символ тлеющих о с н о в!

Мышам — мышиное, себе ж — крепи надежды,
Пресветлой, радостной и нежной вновь пребудь.
Ну, что-нибудь мышам пожертвуй из одежды...
А для меня — в с е й п р е ж н е й будь[511].

Она внушала ему: он — Гений, даже неземной Гений, и она на коленях перед ним. Писала ему: Бог радуется на него,

[509] Встреча с эмиграцией. Из переписки Иванова-Разумника 1942—1946 годов. М.; Париж, 2001. С. 61.

[510] *Там же*. С. 203.

[511] Письмо от 16.02.1942 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 505.

и все самое прекрасное в Руси — в нем, и это прекрасное есть мировое. Ее восхищало, что его произведения полны любви, даже в «Солнце мертвых» нет злобы. Она обращалась к нему «Ангел мой».

Он таил свои чувства от людей. Но по его письмам Ильин догадался о многом. Серов, услышав от Шмелева рассказ о том, какая она чудесная, советовал ему хранить это счастье и быть нежным.

К 1942 году было издано около сорока томов — и в России, и в эмиграции — произведений Шмелева на разных языках, включая японский и китайский. В русской литературе и в целом в русской гуманитарной мысли он занимал одно из лидирующих положений. Архимандрит Иоанн называл Иванову-Разумнику в письме от 11 июня 1942 года главные, по его мнению, писательские силы эмиграции: Бунин, Шмелев, Зайцев, Ходасевич, Гиппиус, Мережковский. Но Ходасевича и Мережковского уже не было на этом свете: «Сейчас узнал: сегодня утром (7-го) умер Д.С.Мережковский, 76 лет. Вдруг??»[512] — писал Шмелев Бредиус-Субботиной в декабре 1941 года. Б. Зайцев записал рассказ З.Н. Гиппиус о кончине мужа:

> Но в субботу совсем был здоров... как обычно. Утром занимался два часа, потом завтракал... да, потом прилег на диванчике. Днем ходили в кондитерскую, он пирожки любил. Вернулись, пообедали... да, все как обычно. Вечером читал, лег в час с чем-то. Я зашла с ним проститься, всегда это делаю... Мы ведь пятьдесят два года вместе, и ни на один день... не расставались ни на один день. Так вот, я присела к нему на постель, потом поцеловала, перекрестила и пошла... ну, к себе. Заснула. А утром меня femme de menáge будит: «Madame,

[512] Приписка к письму к О.А. Бредиус-Субботиной от 6.12.1941 // *Там же.* С. 320.

идите, Monsieur… ему плохо». Я прибежала, он в халате, в кресле, тяжело дышит… хрипит. И без сознания. Вот. Доктора сейчас же позвали — он сказал: tres grave. А Дмитрий уже и скончался. Нет, он не страдал[513].

Смерть Мережковского обострила у старшего поколения писателей ощущение ухода — не своего, а литературы… и смены нет… и, как Зайцев заметил, высокой выработки тоже нет…

В январе 1942 года, в день православного Рождества, Шмелев был на меценатском завтраке в ресторане «Москва». Там были «останки писательства, искусства», и он долго выступал и был поражен тем, для скольких он близок. «Не ждал, — я полагал, что м о е идет в гущу русскую-эмигрантскую… а тут видишь, что захвачены… все… — вплоть до… левых в искусстве, до бывших снобов, эстетов, символистов! И можешь себе вообразить, что мои “простые”, моя “нянька”, мой “Горкин”… — близки э т и м. Вот не думал-то!»[514] — писал он Бредиус-Субботиной 10 января 1942 года. И все же единства между главными силами не было, а снобизма у «эстетов» с годами не убавилось. 21 июня в зале Русской консерватории проходили чтения Шмелева. Собралось много народу, были Тэффи, Зайцев, Карташев, Сургучев. Многим из присутствующих было уже за шестьдесят. Вот запись Н. Берберовой в «Черной тетради»: «Читал Шмелев, как читали в провинции до Чехова: с выкриками и бормотаньем, по-актерски. Читал захолустное, елейное, о крестных ходах и севрюжине. Публика была в восторге и хлопала. Да будет тебе земля пухом, великая держава!»[515] Разногласия сохранялись. Но то, что вызывала иронию у Берберо-

[513] *Зайцев Б.* Дни. С. 191. *…femme de menáge* — приходящая домработница (*фр.*). *…tres grave* — очень печально (*фр.*).

[514] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 420.

[515] *Берберова Н.* Курсив мой. С. 481.

вой, то было дорого другим. В начале февраля Шмелева посетил князь А.Н. Волконский, его друг, и передал ему письмо от Великого князя Владимира Кирилловича, с 1938 года главы дома Романовых. В письме были слова восхищения «Богомольем». От Великого князя в 1942 году Шмелев получил и его фотографию с надписью «И.С. Шмелеву — глубоко русскому писателю». Шмелев писал Ольге Александровне 4 февраля 1942 года: «Романовы меня читают, любят: Ксения, Ольга тоже»[516].

Война, однако, отдалила от Шмелева многих. Даже Зайцева, творчески ему близкого. Как вспоминала Нина Берберова, этих двоих «развела политика во время немецкой оккупации»[517].

Шмелев был счастлив своей любовью и всецело ею был поглощен. Но шла война, и он не осознал катастрофичности вторжения немецких войск в Россию. К началу войны Германии и СССР он отнесся совершенно не так, как ранее к Советско-финляндской войне. Он писал Ольге Александровне 9 октября 1941 года, уже после взятия немцами Брянска, о том, как вдохновил его прорыв советской обороны между Ржевом и Вязьмой 5 октября:

> ... прорван фронт дьявола, под Вязьмой, перед Москвой, армия окружена... идет разделка, Преподобный в вотчину свою вступает. Божье творится не нашими путями, а Его, — невнятными для нас[518].

В победах Германии он усматривал высший промысел: Преподобный — это Сергий Радонежский, а благовестия от него он ждал со времени «Куликова Поля». С.П. Мельгунов

[516] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 493.
[517] *Берберова Н.* Курсив мой. С. 314.
[518] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 147.

записал в дневнике 29 июля 1941 года: «Шмелев так и говорит: с фюрером — Бог»[519]. Иллюзии Шмелева сводились к следующему: война эта очистительная, Германия освободит Россию от большевиков, разрушится идеология Маркса, украденная им у египтян и китайцев, Россия переживает катарсис, готовится к новому Откровению. Он даже поверил, что придет время, когда его будут печатать в России, что в России будут снимать фильмы по его произведениям.

Он убеждал себя в очистительной силе войны, но сам же отвергал фашизм.

Не он один в эмиграции решил, что Германия воюет с большевизмом, а не с Россией, что наконец-то покончат с коммунистической идеологией. Развести полярно эти два понятия удавалось не каждому. Иван Бунин 30 июня1941года записал в дневнике: «Итак, пошли на войну с Россией: немцы, финны, итальянцы, словаки, венгры, албанцы (!) и румыны. И все говорят, что это священная война против коммунизма. Как поздно опомнились! Почти 23 года терпели его!»[520] Вскоре, 2 июля 1941 года, появилась запись: «Верно, царству Сталина скоро конец»[521]. России или Сталину? У многих в этом не было определенности. Шмелев июльские победы немцев рассматривал однозначно — как скорый конец царства Сталина. Даже высказался о том, что ментально германский и русский народы близки друг другу. Вот цитата из письма к Бредиус-Субботиной:: «...так крепко верю и так ярко чувствую, что славянская и германская души — широкие, большие души, и могут понять одна другую»[522].

Итак, не с русским народом немцы воюют. Или все же с народом? И как оправдать пролитую русскими кровь? Все-

[519] *Мельгунов С.П.* Дневник 1933, 1939—1944 // *Мельгунов С.П.* Воспоминания и дневники. М., 2003. С. 454.

[520] *Бунин И.* Дневники. С. 472.

[521] *Там же.* С. 474.

[522] Письмо от 11.04.1942 // И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 590.

таки Шмелев не мог не поставить перед собой этот тяжелейший вопрос. Но он, охваченный идеей великой, Божеской миссии, которую выполняют молодые эмигранты, испрашивавшие у него совет, идти ли им на восточный фронт воевать с большевиками, полагал: «Это бой с бесовской силой… и не виноват перед Богом и совестью идущий, если бесы прикрываются родной нам кровью»[523].

Мережковский незадолго до смерти выступил по радио с речью, в которой прозвучали слова об «огромных размерах той задачи, которую приняла на себя Германия в борьбе против большевизма», о «величии геройского подвига, взятого на себя Германией в Святом Крестовом походе против большевизма», о других народах, присоединившихся к этому походу, о близком воскресенье России[524]. В Русской Зарубежной церкви была высказана мысль о том, что война Германии с Советами есть продолжение Гражданской войны, и митрополит Серафим обратился к эмигрантам с призывом помочь германским войскам освободить Россию от большевиков. В 1941 году генералы П.Н. Краснов, А.Г. Шкуро, сочувствуя германскому вторжению, участвовали в формировании батальонов на оккупированной территории. Во Франции русскими воинскими объединениями руководил военный историк и теоретик генерал Н.Н. Головин. Говорило ли это о фашистских пристрастиях? Нет. Это свидетельствовало о заблуждениях, о ненависти к большевикам. Берберова писала о Г. Иванове: «После войны он был как-то неофициально и незаметно осужден за свое германофильство. Но он был не германофилом. А потерявшим всякое моральное чувство человеком, на всех углах кричавшим о том, что он предпочитает быть полицмейстером взятого немцами Смоленска,

---

[523] Письмо к О.А. Бредиус-Субботиной от 29—30.05.1942 // *Там же*. С. 678.

[524] Текст был опубликован после смерти Д.С. Мережковского в «Парижском вестнике» (8.011944. № 81). Цит. по: Независимая газета. 23.06.1993. С. 5.

чем в Смоленске редактировать литературный журнал»[525]. В.А. Маклаков, юрист, в прошлом кадет, в прошлом российский посол во Франции, а в эмиграции глава Офиса по делам русских беженцев при французском Министерстве иностранных дел, свидетельствовал, что в начале войны к нему приходили многие узнать, возможно ли им получить обратно их имения[526].

С появлением лагерей для остербайтеров Шмелев осознал трагичность войны для русского народа. Он предпринимал все возможное, чтобы посетить лагеря, увидеть все своими глазами, подбодрить пленников. Он решил, что должен в этих целях читать заключенным «Богомолье». Попросил помочь ему посетить лагеря Л. Земмеринг, которая тогда была в Берлине. В декабре 1941 года он обратился непосредственно к управляющему делами русской эмиграции во Франции Ю.С. Жеребкову, внуку флигель-адъютанта Николая II, с просьбой выхлопотать для него в Берлине разрешение на допуск в лагеря. Но уже в начале января Шмелев, по-видимому, получил отказ: «О моих планах — посетить лагеря — нечего и думать: вчера получил точные справки»[527], — сообщил он Бредиус-Субботиной.

Воспринимая все связанное с Россией горячо, он и в это смутное время занял активную позицию, не желая пережидать и наблюдать. У него была цель: докричаться до русских из СССР, рассказать им о настоящей России. Ради этого он принял предложение о сотрудничестве от ориентированной на официальную германскую идеологию берлинской русской газеты «Новое слово». Он послал в редакцию главу из «Солнца мертвых», рассказ «От обезьяны», который в

[525] *Берберова Н.* Курсив мой. С. 532.
[526] См.: *Будницкий О.В.* Попытка примирения // Диаспора. I. С. 191.
[527] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 427.

1932 году печатался под названием «Смешное дело» в «России и славянстве». Материалы были опубликованы осенью 1942 года. Рассказ «От обезьяны» восторга, правда, не вызвал; так, Иванов-Разумник писал Алексею Ремизову 21 октября 1942 года: «В последнем номере “Нового слова” прочел бездарный рассказ Ив<ана> Шмелева: уж лучше бы оставался “задушенным”»[528] (Иванов-Разумник разделял писателей СССР на погибших, задушенных, приспособившихся).

Шмелев намеревался передать в газету очерки о новой России, что с Богом и верой, но уже первая статья была запрещена. С ним также пожелал сотрудничать разрешенный фашистским режимом к изданию «Парижский вестник» — газета, доступная для вывезенных из СССР. Издавался там и Иван Дмитриевич Сургучев, чьи пьесы до революции ставились и в Александринском театре, и во МХАТе. Шмелев согласился, потому что увидел наконец возможность общения с советскими русскими. Он передал редакции главы «Лета Господня» и рассказ «Чертов балаган» (1926) — о герое-капитане, который боролся с большевиками, возглавляя в Крыму бело-зеленый отряд. Написанное в декабре 1942 года «Рождество в Москве», отвергнутое нацистской цензурой в «Новом слове», также было опубликовано в «Парижском вестнике» — газетке, по выражению Шмелева, «поганой», «подъяремной». Публикация рассказа вызвала недовольство гестапо. Автору была высказана претензия, к тому же ему не дали визу в Голландию, куда его приглашали на чтения. Цели редакций этих газет, с одной стороны, и Шмелева, с другой, не просто не совпадали, но по ряду позиций были враждебны.

Летом 1942 года Шмелева трижды просили товарищи его сына поддержать их обращение к крымчанам благодарствен-

---

[528] Встреча с эмиграцией. С. 106.

но помолиться за освобождение Крыма от Советов. Дважды он отклонял их просьбу. На третий раз он услышал укор: ему напоминали о трагической гибели сына в Крыму. Острота момента заключалась и в том, что в ту пору Шмелев страдал от приступов язвы, во время которых терял волю, способность к психологическому сопротивлению. Это было начало страшного недуга: в тяжелом состоянии он находился всю вторую половину года, превозмогая боли, мучаясь постоянными рвотами, потерял до десяти килограммов веса. Он дал согласие и на обращение, и на участие в молебне, на котором возглашалась вечная память замученным в Крыму большевиками. Во время молебна Шмелев благодарил Бога за «отнятие Крыма от палачей и бесов, от мучителей», и, как писал он впоследствии Ильину, ему тогда было «все равно: отняли у бесов Кр<ым> немцы, союзники, белые ли войска... *одно* было в душе: умученные *не* в их власти, не в их злобе!.. *Не* Крым от России отнят: священный прах вырван из окровавленных лап убийц, и теперь, м<ожет> б<ыть>, можно будет поехать *туда* и отыскать священные останки! Предать их земле по-христиански»[529].

1942 год — для Шмелева время сомнений и неоднозначных решений, время и *да* и *нет*. В ноябре, перед Сталинградской битвой, он почувствовал, что миру пришла пора считаться с Россией. Ему даже показалось, что осуществляется его идея о том, что Россия вступает в пору вселенского православия — либо через Голгофу, либо через великодержавность. Уже не было речи миссии немцев в борьбе с большевиками, уже Россия воспринималась не как царство Сталина, а как родина.

В декабре 1942 года он написал «Рождество в Москве. Рассказ делового человека». Некоторые изменения в текст

[529] Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 140—141.

он внес в 1945-м. Рассказ был посвящен, как помним, Наталии Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным. Ильины переживали войну трудно, в материальной нужде, страдая от холодов: зимой философ работал, сидя на коленях, на кровати. С 1941 по 1942 годы у Шмелева не было никакой возможности общаться со своим другом — письма Ильина не доходили до него.

«Рождество в Москве» — это рассказ-напоминание о жизни в «теплой, укладливой Москве». Он был написан в духе «Лета Господня». Шмелев словно укреплял страдающих: он изобразил храм Христа Спасителя в морозной ночи, описал рождественские звезды в ночь сочельника («Где же ты, Вифлеемская?.. Вот она? Над храмом Христа Спасителя»), гул колоколов над Москвой. Он описал, как везли гусей в Москву из Козлова, Тамбова, Курска, Саратова, Самары, как распространялся запах сыра из верещагинских сыроварен, как гнали в Москву свинину, яйца, а от Азова, Дона, Волги, Каспия — красную рыбу, как зазывали игрушечные ряды святочными масками, как горели огнями, медью и красным лаком кондитерские, в которых шоколад от Эйнема, от Абрикосова, монпансье Ландрина, пирожные от Трамбле. Рассказ был составлен из жанровых зарисовок: бородатый, приземистый, белозубый мужик цедит из самовара сбитень, гуляют фабричные — впряглись в сани, полные свиных туш, солонины, мерзлых баранов. Веселая суета в легкий пост была выражением радости Рождества. Эта суета таяла в рождественском звоне колоколов, в мощных голосах «С на-ми… Бог!..». В рассказе развита и тема потерянного рая: нет храма Христа Спасителя, «Бог отошел от нас». Автор взывал к кротости и покаянию, верил в то, что народ, искупивший грехи, воздвигнет новый храм Христа Спасителя, а на стенах его будет рассказано о русском грехе, русском страдании и покаянии. Очевидно, что в мотиве греха и покаяния отразилась его мысль о войне-голгофе.

В рассказе, как и во многих шмелевских произведениях, сюжет сведен к минимуму. Он писал о малом, не о героическом. Писал о привычном, бытовом, полагая, что в таком повествовании передается правда о жизни. Так апостол Лука повествовал о жизни Иисуса. В декабре 1941 года, в день введения во храм Пресвятой Богородицы, Шмелев был у обедни и слушал из Евангелия — о Марфе и Марии. И ему прояснилось: бытовая подробность, малый случай (Христос в гостях), такой не событийный и не громкий, передает саму правду. Господь и угощение принимает, и ведет людей, и любви учит, и в нескольких строчках о быте звучит апофеоз-гимн, прославление Богородицы устами посторонней свидетельницы, услышавшей ропот Марфы; и Шмелев заключил: «Быт, радушие, угощение, и — все о Господе, *все* Им пронизано, и большее о т д а н о Вечной Правде, Жизни Духа Любви!»[530] Так Шмелев-художник в тексте Евангелия вдруг увидел себе родное. По сути, следуя этой традиции, он и в «Лете Господнем», и в «Рождестве в Москве» через бытовые детали изображал высокие смыслы жизни.

Изобильная, красивая, уютная Москва — образ, противоположный реальности военных лет, русская сказка, которая возникла в воображении Шмелева при чрезвычайно прозаических обстоятельствах. В декабре 1942 года его с сильными болями довезли до лаборатории, где ему сделали зондирование — взяли желудочный сок. Сидя с резиновой кишкой в течение полутора часов, голодный, он как бы увидел всякую снедь... копченого сига, сбитень... увидел елку и что было в Москве и что утрачено. Через несколько дней, на Рождество, он уже читал своим знакомым новый рассказ. Впоследствии он переработал лишь его концовку.

Вот этот-то рассказ, переведенный на немецкий, Шмелев и предлагал опубликовать в Германии, но нацисты его

---

[530] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 303.

запретили. После войны, в начале января 1948 года, рассказ вышел в «Русской мысли», но без посвящения Ильиным. Как автору объяснил главный редактор Владимир Феофилович Зеелер, посвящение было не обозначено по чистой случайности. В том же году рассказ был опубликован и в рождественском номере чехословацкой «Православной Руси», но монастырских блюстителей не удовлетворило название, они дали свое — «Рассказ торгового человека». Шмелев был возмущен: монастырские цензоры не рассмотрели за бытом, за «мамоной», радостной веры. Однако епископ Серафим (Леонид Иванов) разъяснил, что и пропущенное посвящение, и казус с названием — чистая случайность: епископ на время отлучился, при этом заглавная страница после проверки старого правописания осталась в его портфеле, метранпаж, выпуская номер, вынужден был по памяти дать заглавие!..

Завершился 1942 год скорбно: 23 декабря ушел из жизни Константин Бальмонт — он скончался дома, окруженный книгами, напевая отрывки из собственных стихотворений. В ночь перед смертью он попросил почитать ему шмелевское «Богомолье».

1943 год был страшным. Гибли знакомые в концлагерях. Шмелев голодал, обносился. Теперь он сравнивал свое парижское существование с крымской жизнью. Жесткая цензура ограничивала информацию о России, но он все более верил в то, что Россия вступала в эпоху великого прославления.

В августе Шмелев написал рассказ «Свет. Из разорванной рукописи». Некто Антонов, преуспевающий коммерсант, надел золотые часы за двенадцать тысяч, костюм за шесть тысяч и пошел со своими компаньонами завтракать в ресторан, собираясь затем на скачки, но попал под бомбежку. Из-под завалов его спасает обитатель кочегарки — безрукий помощник истопника, участник империалистической и граж-

данской войн. Этот человек получает пособие, собирает окурки на продажу. Словом, он из парижских низов. В своем спасении Антонов видит чудо, Божью помощь: он единственный спасшийся из всех пострадавших. Перед ним встает нравственная проблема: он, грешный, не заслужил милости. Усовестившийся, он обратился к своему спасителю, к поделившемуся с ним последним куском и последним глотком грога нищему капитану с георгиевской ленточкой: «Я, может, последний из подлецов... нажрался этих проклятых франчков, загордел, заскорузнул... забыл, когда и нуждался...» Антонову страшно, и он понимает, что без капитана ему жить никак невозможно. Шмелев, по сути, написал рассказ о спасении для покаяния. Его герою во тьме кромешной открылся свет — Божий промысел.

Возможно, рассказ был написан по просьбе «Русского инвалида» или Зарубежного союза русских военных инвалидов. Он получился несколько аскетичным, сам Шмелев назвал его «суховатым». Об отношении писателя к своему рассказу можно судить по его письму к Бредиус-Субботиной от 18 августа 1943 года:

> Вот пример тебе — я последовал «заданию», так просили инвалиды. Я себя заставил. Видишь, я не отмахиваюсь от «заданий», от «урока». Было трудно, да... — надо было вживаться... — вначале я с раздражением делал, потом... втянулся. Рассказик пустяковый, — хоть и очень трудный!, толстовский, ведь, как бы его серии — учительных, я это отлично понимаю и думаю — старик от него не отмахнулся бы. Надо инвалидам собрать денег, как-то подействовать на сердце читателей — и я не в силах был отклонить просьбу: ведь больше никто не мог бы им помочь. Из этого «этюда» можно было бы сделать н е ч т о, рассказ развить, но... к чему? Дано в с е существенное — для избранного читателя; для простого же — самый ф а к т. Самое трудное — «раскаяние» воскресшего. И это мотивировано всяческим потрясением: размягченность души —

«а здорово тебе нервы потрепало!» — дана: если перенести себя в такую обстановку, вжиться в физическое и душевное состояние, станет понятно: в таких случаях люди ревут, впадают в откровенность — радость-то, что уцелел, ж и в у! — готовы всю душу излить и чуть ли не все отдать. Испуг... «что-то страшное видел», — испуг совсем детский, — «вы... вы здесь, г-н капитан?..» — так дети вдруг проснутся ночью и кричат — «нянь, здесь ты..? ...» Вот в таком состоянии и раскроется душа. И так естественно выходит, что дальше Антонов уже не может быть без «няньки»... его спасшей. Он уже не мыслит, как же можно теперь без капитана-то... — ведь целое «откровение» получено, хоть и скуп капитан на слова. Но несложный Антонов учувствовал, конечно, душу и сердце этого нераскрытого мною человека: да, теперь, встретив т а к о е, уже нельзя, уже тяжело потерять, — даже заскорузлая душа поймет это. А что такого необыкновенного сделал капитан? Ничего... а вот поди же... — уже — н е л ь з я. Ч е м - т о сумел капитан сделать себя необходимым. Чем же? .. — да всем тем, на что мною прикровенно даны намеки, черточки... — и в этом-то и была вся трудность рассказа: не навязывать, не выпирать, а дать родиться естественно. Надо было мне и душевное состояние «спасенного» передать читателю, его галлюцинации, его «радость» — радость от пустяка, от такого проявления ж и з н и, как, м<ожет> б<ыть>, аляповатая этикетка от консервной жестянки... от запаха картошки... вина — конечно, скверного вина. Но кто был близок к гибели... о, как должен радоваться и пустяку — самой пылинке в жизни, пылинке, кружащейся в солнечном луче! Выздоравливающие после тяжелой болезни, после трудной операции... когда они чувствуют, что уже снова начинают жить... какое чудо видят даже в дольке апельсина, сквозного на огоньке больничной лампочки! А тут, в жарком, душном подвале, один звук воды из крана — уже солнечный дождь весенний, картинка на жестянке — уже Божий мир, солнечный огород, как там, в станице где-то, далекой, родной станице... зеленая стена живого гороха под кубанским солнцем... баштаны, кавуны... степи... — все бы это я мог дать, но надо было — сжа-

то, и я все же дал существенное. А коли размахнуться — легко бы было»[531].

Этот рассказ в жизни самого Шмелева оказался пророческим. 3 сентября во время авиационной бомбардировки Парижа пострадало его жилище, бомба упала в пятнадцати шагах от его дома, сам он остался жив чудом. Взрыв произошел около десяти часов утра. Иван Сергеевич еще был в постели. Он увидел вспышку огня; стекло, деревянная обшивка, кусок штукатурки были выбиты внутрь комнаты. Шмелев встал и обнаружил, что напротив его окон уже не было здания и улица завалена грудой мусора, что у дома слева не было стены. Через двадцать минут к Ивану Сергеевичу прибежал Сергей Михеевич Серов и обработал ему раны.

Борис Зайцев записал в дневнике 9 сентября:

> Другой столб дыма, сизый и слабый, встал в направлении Эйфелевой башни, но к нам ближе. <…> А третий еще левее, где Auteil. Он тоже не походил на первый, по жертвам же вышел самым страшным. Для меня еще то оказалось пронзительным, что ведь это все «наши» прежние места, дома и улицы вокруг Claude Lorrein, где мы столько лет прожили. Разбита почта, где я столько раз отправлял письма заказные. Убит булочник-голландец на углу, чуть не убит Шмелев[532].

Вечером в день обстрела по усеянной щебнем и битым стеклом, изрытой воронками мостовой Зайцев пробрался к жилищу Шмелева:

> По rue Boileau к Шмелеву едва пробрались. Бомба упала в пятнадцати шагах от его дома. Дом напротив разрушен. У Ива-

[531] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 2. С. 207.
[532] *Зайцев Б.* Дни. С. 204.

на Сергеевича выбиты стекла, рамы вылетели. Сам он лежал в глубине комнаты на постели и был засыпан осколками — к счастью, не пострадал. Я его не застал, он уехал уже в деревню[533].

Через два дня после бомбежки, 5 сентября 1943 года, Шмелев подробно описал случившееся О.А. Бредиус-Субботиной:

Дорогая Ольгуночка, пишу тебе с Юлиной дачки, куда меня вышибло из Парижа бомбами. 3 сентября, в 9-45 утра, когда я еще был в постели, — последние три ночи я почему-то спал очень плохо, прерывисто, — после сигнала тревоги тотчас началась стрельба Д. С. А. — «дефанз контр авион», и тут же ахнула бомба. С постели, сквозь дощатые стены и драпри, я как будто увидел взрыв огня — и одновременно оглушительный взрыв, будто тысяча пушек ахнула в мои окна. Не помню, успел ли я спрятать голову под одеяло... вряд ли. Все вылетело внутрь квартиры: огромные окна, драпри, железная палка их, обшивка под окнами, за которой — механизм для поднятия штор, огромный кусок толстой штукатурки, фунтов 20, из-под окна, что перед письменным столом. Доски переломало, и — молниеносный ливень стекол — толщиной вдвое больше пятака — засыпал все... Перед кроватью висела толстая раздвижная занавесь на кольцах, но не сплошь. Я минуты две лежал, ощупывая лицо... потом высыпал из туфель, возле, стекла, — коврик был покрыт сплошь, как бы льдышками, — встал... взрывы еще слышались, а на моей улице — крики, стоны, и началась уже работа по спасению. Накинув что-то, я поднял — рукой уже — край шторы, во многих местах пробитой, и увидел... — уже не было дома в 3 этажа напротив моих окон, — а ширина улицы не больше 11—12 м., — только груда мусора и остатки 1-го этажа. Оттуда выходили, через полузасыпанный вход крыльца, женщины с чем попало, выносили ребятишек, уцелевших чудом... Слева, на высоте бывшего 2-го этажа, спускали по откосу мусора носилки с обнаженным телом кон-

[533] *Зайцев Б.* Дни. С. 204.

вульсивно двигавшейся женщины, м<ожет> б<ыть> уже отходившей... убили мою визави, горбунью, часто глазевшую на небо. Стену соседнего 4-этажного дома, слева от меня, напротив же, срезало, и я увидел оставшуюся внутренность, пустую... — впрочем, на стене висели круглые часы, показывающие без 10 десять, и четыре кастрюли, рядышком. Сплошной вопль-стон, грохот, стуки... остатки чада от взрыва. Справа от меня, и от разрушенного дома, рухнул брандмауэр и левое крыло крепкого 3-этажного здания, в глубине двора, под каштанами, которыми я, бывало, любовался, — их посбивало частью, — оказалось оторванным... Моя квартира... — сравнительно мало пострадала. Выбиты все окна, сорвана надоконная деревянная обшивка, железная палка, в 2 с половиной метра, попала на занавесь перед моей постелью, сбило лампу с письменного стола, и кусок штукатурки весом фунта в 3 лежал на рукописях, на столе. И лампа не разбилась, я тут же ее попробовал — го-рит! В правой части моего ателье, где столовая, все, конечно, засыпано, как тонким льдом. Широкая кушетка, у задней стены, параллельно моей постели, вся сплошь подо «льдом». Пробита картина — копия кустодиевской «Купчихи» — внизу, и стеклянная стрела осталась в ней. Погиб один из двух моих лимончиков, и срезало шесть листьев твоей бегонии, но седьмой жив, будет, значит, расти... Баночки с вареньем на столе — напудрены стеклом... Но что о пустяках..! Да, за моим изголовьем, на полу, грядка стеклянных кусков и стрел: все это промчалось над головой, — я будто слышал ветер от них... часть стекла оказалась под одеялом: у меня — после увидел, — оцарапана правая нога в пяти местах и спина... — увидал лишь потому, что заметил после кровь на полу, капли... — ну, первым, минут через 20, прибежал Серов, помазал йодом. Кусочек стекла я после вынул из мякоти левой части левой ладони. Уже не было воды, но газ шел. Я из уцелевшей в кувшине воды все же сварил кофе, чуть подкрепился, собрал наскоро, что пришло в голову, — последнее, что написал, — а я еще написал 3-й рассказ для «Лета Господня» — «Москва», после «Живой воды», — и поехал на дачу. Там уже были извещены. Юля накануне уехала туда. Да, мой «святой» угол — два вершка его край от окна, и оттуда все сорвало в тайфуне взры-

ва — остался, как был: даже бумажные иконки, прислоненные к образам, не слетели. Ни одного портрета не затронуто! Ни одной книги… — а они у самого окна. Ну, в 2—3 вершка их корешки. Все мое одеяло было покрыто стеклом. В кухне, в задней части квартиры, вырвало тяжелую раму, она упала на кухонный бассейн под кранами, белый, и оторвала переднюю часть его. Но вторая половина рамы оказалась нетронутой, стекла не треснули даже, хотя замок окна сорван. Моя входная толстая дверь, запертая накрепко, с наложенной цепью, была открыта, скоба запора вырвана с мясом, а цепь… как-то вылетев с обоих концов, мирно свернулась калачиком и спала в уголке. И на комоде, перед занавеской постели, ни один пузырек не сбит, лишь все запудрено беловатой пылью и засыпано стеклами. Оказалось, что и позади нашего дома рухнула бомба и натворила… Я, следовательно, попал как бы в «вилку»[534].

Пять недель, во время ремонта квартиры, Шмелев жил у Юлии Кутыриной — сначала за городом, потом в ее парижской квартире, — работая над «Летом Господним». Как он писал Ильину, счастливую случайность, спасшую ему жизнь, он посчитал небесным заступничеством. Примечательно, что со 2-го на 3-е октября ему приснился Сергей. Сын сказал, что пришел побыть с ним.

В 1943 году Шмелев получил известие от родного человека, своего племянника Никанора Любимова, сына старшей сестры — Софьи Сергеевны. С племянником были связаны воспоминания о сыне: вместе с Сергеем он закончил Артиллерийское училище. Далее он преподавал, получил звание полковника. В 1941-м Любимов ушел на фронт, с 1943-го числился без вести пропавшим. Шмелева поразила судьба племянника, профессора Артиллерийской академии. Они встретились. На предложение вернуться в Россию Шмелев дал

---

[534] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 2. С. 213—215. *…дефанз контр авион* — defense contre avion, противовоздушная оборона (*фр.*).

решительный отказ. Как неожиданно племянник возник в жизни Шмелева, так неожиданно и исчез. По одной из версий, изложенной в «Московиане» О. Сорокиной, Любимов оказался в Европе, потому что сдался в плен; известно, что в Берлине он навестил Земмерингов, Раису Гавриловну и Людмилу, которая позже сообщила Шмелеву, что, по словам хозяйки дома, где жил Никанор, группа офицеров, в том числе и он, однажды исчезла. История племянника лишь подтверждала сомнения Шмелева относительно освободительного похода немцев в Россию, в частной судьбе проявилась катастрофа народа. Но надо отметить, что мать Никанора Любимова до конца своих дней получала за сына пенсию, а органы госбезопасности проявляли заботу о жене.

Следующий год Шмелев начал необычно. 6 января 1944 года он написал такое распоряжение своим душеприказчикам:

> Прошу душеприказчиков О.А. Бредиус и Ю.А., урожденную Кутырину, когда станет возможным, перевезти прах моей покойной жены и мой в Россию и похоронить в Москве на кладбище Донского монастыря, по возможности возле могилы моего отца Сергея Ивановича Шмелева. Настоящее мое духовное завещание написано мною лично, Иваном Сергеевичем Шмелевым, и подписано мною лично в г. Париже 6-го (шестого) января 1944 (тысяча девятьсот сорок четвертого) года на рю Буало, н. 91. Иван Сергеевич Шмелев[535].

Он понял, что при жизни Россию он никогда не увидит, что если и настанет там когда-нибудь эпоха великого прославления, то причиной того будет отнюдь не германский поход. И еще он, очевидно, остро почувствовал, что смерть не так уж далека.

[535] Цит. по: *Коваленко Ю.* Москва — Париж. Очерки о русской эмиграции. М., 1991. С. 20.

XVIII. *«Почему так случилось»*
Итоги войны
Встреча с Ольгой Александровной

Как и герой «Света», Шмелев, возможно, задавался вопросом, почему и для чего был спасен во время бомбежки. Он погрузился в работу, завершил вторую часть «Лета Господня», которую писал весь 1943 год. Это девять больших глав о болезни и кончине отца. С марта 1944-го он приступил ко второй части «Путей небесных». Весной написал рассказ «Почему так случилось» — о блужданиях русского интеллигента. Но теперь, в отличие от прежних произведений, его герой осознает всю глубину своих ошибок. Кроме того, в условиях войны, в контексте размышлений о возрождении России через Голгофу в рассказе выразилась мысль, что в революции виновата интеллигенция, а вот голгофские страдания легли на плечи народа.

Шмелев усматривал параллель между этим рассказом и кошмаром Ивана Карамазова. «Почему так случилось» — название научного труда главного героя произведения, профессора, занятого философией прогресса. Профессор обращается к «Воспоминанию» (1828) Пушкина:

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града

Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Это стихотворение ценил Розанов, и Шмелев об этом вспоминает. Действительно, во втором коробе «Опавших листьев» (1915) есть запись:

> Пушкин... я его *ел*. Уже знаешь страницу, сцену: и перечтешь вновь; но это — *еда*. Вошло в меня, бежит в крови, освежает мозг, чистит душу от грехов. Его
>
> Когда для смертного умолкнет шумный день
>
> одинаково с 50-м псалмом («Помилуя мя, Боже»). Так же велико, оглушительно и религиозно. Такая же правда[536].

Подобно Розанову, герой Шмелева воспринимает пушкинский текст как покаянный псалом. Как пушкинскому лирическому герою, покаяние и знание о жизни приходят к профессору ночью — ночь возбуждает познание. В финале рассказа это познание выражено пушкинскими строка-

[536] *Розанов В.В.* Опавшие листья С. 343.

ми: «И с отвращением читая жизнь мою, / Я трепещу и проклинаю».

Профессору снится сон. Он видит себя в снежном пространстве, у окна избы, в которой топится печь. Варятся щи со свининой, потягивает запахом пирогов, кашей, лучком… Рождество. Словом, родные эмигранту ощущения. В такой сюжетной завязке отразилось личное; Шмелев писал Ильину: «Этот рассказ явился мне на мысли года 2 тому, когда я сильно заболел (приступ воспалившейся “язвы”). Я увидал впросонках поляну и — гребешок избы в сугробе…»[537]

Герой Шмелева вдруг начинает испытывать не только радость, но и стыд: мужик спросит интеллигента, барина, почему так случилось и кто довел Россию до смертоубийства, а барину нечего ответить. Далее в сонном сознании возникает ироничный Мефистофель, который дает герою истинное знание: профессор сорвал маргариточку и сам сорвался! пишет свой труд, а в помощниках у него сатана! Мефистофель напоминает профессору о его юношеских увлечениях Чернышевским. Таким образом, в рассказе Пушкину противополагается Чернышевский. Мефистофель указывает профессору на то, что тот плохо знает Пушкина, проглядел у него насущное. Сознавая ценность Пушкина, своего противника, шмелевский Мефистофель — признаем это — похож на демона из пушкинского «Ангела» (1827): «Не все я в небе ненавидел, / Не все я в мире презирал».

Теперь Чернышевский — «солома», а был когда-то «властителем дум». Интеллигент — шутит Мефистофель — напевал: «Белинского и Гоголя / С базара понесут», и в итоге «все разбазарили». Мефистофель усмехнулся и на некрасов-

[537] Письмо И. Шмелева к И. Ильину от 30.08.1945 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 341—342.

ских «пилигримов» у парадного подъезда: в страдную пору мужик не будет «по подъездам шляться». Припомнил Мефистофель и «уклоны» Толстому: «Попотел я с ним, а все-таки сбил на "Крейцера"! — переперчил он... сам не сознавая, а... подтолкнул, у многих слюньки накипали, да что поделать, темперамент!»

Грех интеллигента в том, что он мужика не остановил: Микита, в валенках, в полушубке, прозревал небо, весь универс, и возносился! За всенощной Микитку пробирала дрожь, «и никто Миките-"ваньке" не воспретил так превозноситься, н е л ь з я». Грех интеллигента в том, что он все украл у вознесенного в мечтах мужика. Интеллигент в «народишко» еще и сомнение вложил: есть ли Бог? Мефистофель напоминает профессору: философы, психологи, криминалисты, психиатры, социологи, «чуть ли даже не геологи» — все читали доклады, углубляли анализ и так «раскачивали помаленьку» устои. Рассказ завершался тем, что проснувшийся профессор на своем философском труде написал слово «ложь» и стал топтать рукопись под исступленное «к черту!».

Ильин писал Шмелеву 9 ноября 1945 года: «Это скорбное горение мысли не должно оставаться под спудом: оно *русское* и *нужно русским*»[538]. Ильин сам задавался вопросом: зачем нужно было пропять Россию? У него был ответ: безбожие. У Шмелева этот же ответ. От текста к тексту видно, как коренная эстетическая идея Ильина о религиозной основе творчества становится коренной и для Шмелева.

Но религиозная мораль в рассказах Шмелева и категорическое осуждение греха, умственных блужданий, научной безответственности гуманитарной интеллигенции или, напротив, героизация человека из народа все же не превращала художественный текст в развернутую максиму или иллюстра-

[538] Письмо И. Шмелева к И. Ильину от 30.08.1945 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 352.

цию нравственной догмы. Шмелева-художника от иллюстративности или прямой публицистичности удерживал творческий потенциал, он свою идеологию размельчал в рефлексии героя, делал ее предметом созерцания, скрытой целью интуитивного узнавания мира.

Ильин, это увидев, назвал рассказ «Почему так случилось» созерцанием. Это произведение побудило Шмелева к мысли о том, что для обновления жизни необходимо перестроить всю науку, право, религию, культуру, политику, хозяйство на основе созерцающего сердца. Непосредственная любовь в отношениях людей, в отношении человека к миру, по сути, была подменена в дореволюционной России сверхлогикой — это основная мысль рассказа, и она же звучит в отзыве Ильина. Умозрительность, сверхлогика представлялись Шмелеву диктатором-хамом, Смердяковым, облекшимся в софизмы Ивана Карамазова и все растлившим.

Рассказ был настолько важен для Шмелева, что, пока он не окончил его, не выговорил в нем всего, что накопилось, он не смог продолжать работу над «Путями небесными».

В июне 1944 года началось наступление союзных войск в северо-западной Франции. 25 июня, после массированной авиационной подготовки, американские войска перешли в наступление. К 31 июля они заняли Авранш. Подавив противостояние немцев на западном крыле фронта в Нормандии, союзники начали наступление в направлении Бретани, значительные территории которой были освобождены патриотами Сопротивления. К 25 августа союзные войска вышли к Сене и Луаре и овладели большими пространствами северо-западной Франции. Через три дня, 28 августа, они вошли в Тулон и Марсель. 2 сентября американо-французские войска вступили в уже освобожденный Сопротивлением Лион. В августе вспыхнуло восстание в Париже. Еще до восстания, 9 августа 1944 года, к Шмелеву пришел начальник полиции — так

он представился — и просматривал его бумаги, задавал вопросы. 14 июля, в день взятия Бастили, 100 тысяч жителей Парижского района участвовали в массовой демонстрации, 18 августа прозвучал призыв к всеобщей забастовке, которая переросла в восстание. 19 августа оно охватило весь город. 24 августа, вечером, в Париж вошли танки второй французской бронетанковой дивизии, а 25 августа от коменданта Парижа была принята безоговорочная капитуляция войск немецкого гарнизона.

Шмелев бедствовал весь 1944 год. Было голодно и холодно, постоянно отключали свет и газ. Он был изумлен и растроган, когда однажды зимой к нему пришли топить печь незнакомые ему читательницы — бедная женщина и ее шестнадцатилетняя дочь. Узнав, что он мерзнет, просто пришли и высыпали собранные за городом дрова.

В эти дни Шмелева спасала работа над «Путями небесными» и молитва. В Париже ужасно, но и в Голландии не лучше. Его потрясали рассказы О.А. Бредиус-Субботиной. «Подумать: в их доме отапливалась одна комната… фронт в 20 верст<ах>, осень и зиму и полвесны, и к ним вселили 4 солдат… все в одной комнате… и солдатня приводила спать — — — девок! <… > Все банки ограбили, взорвали… ценные бумаги разорвали… в постели вываливали консервы! Жгли деревни, ляпали яйцами в картины…»[539] — делился он своим возмущением с Ильиным.

С приходом победы нужда не ушла. Ивану Сергеевичу нечего было есть. В феврале 1945 года он попросил Ильина связаться с переводчицей своих текстов Руфью Кандрейя и узнать о возможностях перевода первой части «Путей небесных» — вдруг через Красный Крест можно будет переправить ему бандероль в счет будущего гонорара?.. Встревожен-

[539] Письмо к И.А. Ильину от 28.09.1945 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 359.

ный Ильин предпринял все возможное для спасения друга. Он добился для него двух посылок от швейцарской благотворительной организации, американская приятельница Ильина Шарлотта Барейсс перевела на имя Шмелева сто швейцарских франков и еще одну посылку, сами Ильины переслали ему десять тысяч французских франков. В конце года Шмелев получил от Барейсс целую колбасную «лавку» и рационально, по-хозяйски ею распоряжался, сначала ел сыр и масло и сохранял бекон и колбасу, которые он развесил на гвоздях над радиатором. Своим богатством он делился с нуждающимися и оттого был счастлив.

В мае 1945 года Шмелев написал статью «Творчество А.П. Чехова». Чехов стал для Шмелева колоссальной духовной опорой. В его рассказах он чувствовал тревожную совесть и религиозную интуицию. «Внук крепостного, сын мещанина-лавочника, рационалист, к религии внешне как будто равнодушный, он целомудренно-*религиозен* — он — *свой* в области высокорелигиозных чувствований». Чехов «замешен» на народной почве. Он не только воспевал гимн науке как единственной истине и красоте, но и постигал красоту религиозного восторга, и радость жизни, и чтобы понять это, достаточно «Студента» и «Святой ночи»... Вот, рассуждал Шмелев, профессор Николай Степаныч из «Скучной истории» верил лишь в науку, но к концу жизни понял свою беспомощность.

Статья писалась трудно, но пока Шмелев работал над ней, Чехов дал ему очень много. В 1946 году в Цюрихе вышел составленный Шмелевым сборник чеховских произведений. Предисловие, конечно, тоже было написано Шмелевым. «Скучная история», «Студент», «В овраге», «Святая ночь», «Свирель», «Степь», «Дом с мезонином» («Мисюсь» в швейцарском издании) — таков подбор Шмелева. Он посмотрел на Чехова нетрадиционно, его взволновали религиозные темы

его рассказов. Возможно, определенную помощь в этом он полчил от книги М.А. Каллаша (Курдюмова) «Сердце смятенное» (1945). Примечательно, что он сослался на эту книгу в черновике первой статьи о Чехове[540].

Та народная правда, которую Шмелев в победном мае искал у Чехова, была увидена им и в народе России. 27 мая 1945 года ему довелось поговорить с человеком из Советского Союза. То был прошедший всю войну выпускник филологического факультета, который, зная дореволюционное творчество писателя, в военное время прочитал «Лето Господне» и «Няню из Москвы» и принял их. Кроме того, Шмелев знал о том, с каким интересом, нарасхват, читалась его «Неупиваемая чаша» в Берлине вывезенными из СССР рабами. Он советской власти враг, но не народу. Гитлер — воплощение смердяковщины, пошлый ум — напоролся на Россию! не на большевиков! Гитлер напоролся на Россию, и это символично, являет чудо. «Так было назначено», — писал он Ильину[541].

По поводу победы СССР над нацистской Германией Шмелев ликовал. К радости примешивалось отчаяние: сколько жертв положено, чтобы сбросить гнет расизма, германизма в его отвратительнейшем образе... Всегда возводивший в абсолют правду народную, Шмелев и в поражении Германии увидел силу этой правды. Он славил победу русского народа и благодарил Бога за великую духовную силу народа, презираемого фашистами: это презрение прикрывалось антикоммунизмом.

В 1946 году в разговоре с М.М. Коряковым, публицистом «Нового журнала», он высказал мысль о том, что Со-

---

540 См.: *Осьминина Е.А.* Две статьи И.С. Шмелева о А.П. Чехове // Русская речь. 1995. № 1. С. 49.

541 Письмо к И.А. Ильину от 28.09.1945 // Переписка двух Иванов (1935 — 1946). С. 360.

ветская власть украла победу у русского народа. Об этом же он писал и в письмах. Мысль эта была близка многим. Б. Зайцев, например, полагал, что победа не послужит возрождению России и освобождению народа. Шмелев размышлял о том, что майская победа далеко не полная, что жертвы неокуплены, что в мире много ужаса. Соловки и Бухенвальд для него были трагедиями одного порядка.

Ход событий не вполне отвечал надеждам Шмелева. Уже в августе 1945 года он решил: все подчинено высшему плану, а человеку отводится место свидетеля, участника, но не более. Не раз он обращался к «Цицерону» (1830) Ф.И. Тютчева и там находил ответы на вопросы о смысле истории и месте в ней человека: он — «их высоких зрелищ зритель». И что есть высший план? Почему все помимо Его воли? А совершилось новое грехопадение, пусть неосознанное и невольное, и оно по сути — вызов Высокому Ковалю порядка-плана. И вновь Тютчев ведет мысль Шмелева, и ему страшно «шевеленье Хаоса» — «смертоносное, мириады веков скованное, во имя Плана, — ныне — принявшее вид игрушки-смерти в руках человечества-младенца! Случайно ли это все?!.. Нет... это как-то входит в неведомый План, новое грехопадение, как, м<ожет> б<ыть>, последнее следствие библейского»[542], — делился Шмелев своими сомнениями с Ильиным в августе 1945 года.

После войны человечество не может жить привычно! 1945 год Шмелев понял как начало рубежа. А за рубежом — конец или возрождение?.. И он не может со всей определенностью ответить на этот вопрос. Что, если человечество лишь утешает себя? Но он, как и человечество, тоже хочет поверить в то, что не только шевеление Хаоса ощущается, но

---

[542] Письмо к И.А. Ильину от 28.09.1945 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 330.

есть и «дуновение Божества» — и «откроется видение Вечности», и наступит всеобщее и окончательное Преображение, и будет Суд над дерзновением. Только до этого еще будут страшные человеческие деяния, поражение гуманизма. Обратившись к Евангелию, он написал Ильину 22 августа:

> Проснусь ночью и содрогнусь, и пронзит острое отчаяние. Так бесславно, так невнятно-дерзко, так... бездарно кончать Историю! И при таких-то возможностях! При таком-то «награждении», при таком доверии: «будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершен есть»! Такое приравнение к Себе, такая любовь, такая... *свобода*... — и какой же... дивертисмент! Плюнуть — и растереть?!.. Ведь дано же задание — о, дивное! — освободи бесконечную силу твоего духовного *атома*, и — познай себя, а через сие — *ВСЕ!* Вот он — рай-то обетованный, Рай — уготованный... — и как же давно, *указанный!* — по единственно верному пути Слова. И что же...?! Челов<ечество> лишь заглядывало в *эту* «таблицу элементов» и только то и делало, что херило их, а не заполняло «клетки»[543].

Шмелева одолевали апокалиптические настроения, а вокруг жизнь шла своим чередом. Собственно, как у Пушкина в любимом Шмелевым «Медном всаднике»: «Уже по улицам свободным / С своим бесчувствием холодным / Ходил народ». Иван Сергеевич открывал газеты, наблюдал за парижанами и недоумевал — как будто ничего не произошло... От этого он испытывает еще большее одиночество. И опять он искал спасение в книгах. У него острейшая потребность читать. Надо бы Марка Аврелия перечитать... Но уже нет Тургеневской библиотеки — «немцы схряпали»[544]. Что-то удается достать на французском, как он говорил — на туземном, языке.

[543] Письмо к И.А. Ильину от 28.09.1945 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 331.

[544] *Там же*. С. 332.

Ильин, как часто это бывало в их общении, успокаивал: ничего не случилось. Не случилось, а совершилось и совершается давно. В противоположность мысли Шмелева о конце всего, Ильин толковал ему о начале новой эры, в которой «надо идти от *Духа* — к Сыну и Отцу», надо «растить и строить созерцающим сердцем», надо «обновить культурно-творящий акт», противоположный и властолюбивому католицизму, и «полному разложению православной церковности»[545], и масонству, особенно сочувствующему Советам. Словом, не зрителем надо быть, а работать. Советская власть по-прежнему представлялась Ильину воплощением дьявола. Как и Шмелев, он полон уважения к народу, который спас Россию и разгромил своего вековечного врага, использовав форму «советчины», и теперь народ мучается от внутреннего врага.

Как и прежде, Ильин укрепил волю Шмелева — и письмами, и трудами. Он прислал ему свою книгу «Сущность и своеобразие русской культуры». И вот уже Шмелев благодарил Бога за все, он уже мечтал написать и третью, и даже четвертую часть «Путей небесных», он хотел воспеть в своем религиозном романе Господа. В памяти вдруг всплыло двустишие Николая Берга из рассказа В.Г. Короленко «На затмении» (1887):

На Святой Руси петухи поют:
Скоро будет день на Святой Руси...

Тоска по России порой переживалась как болезнь и достигала крайнего предела. 4—5 августа 1945 года он написал посвященное России стихотворение «Марево»:

Вся снеговая-голубая,
В ином краю приснишься Ты,

[545] Письмо И. Шмелеву от 9.09.1945 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 353.

Иль яркий день чужого мая
Напомнит мне твои черты, —

Я, весь в плену воображенья,
Воздвигну светлый образ Твой
И, верный раб отображенья,
Весь день живу я, сам не свой.

Так знойный свет в степях Востока
Покажет марево-обман —
Зеркальный блеск и синь потопа —
И вмиг развеется туман.

Была Ты... да? Таперь — какая?..
Все та же ширь, все та же даль?..
Вся снеговая-голубая,
Вся — свет и светлая печаль?..

Пусть Ты совсем другая стала,
Чужая вся, и вся — туман...
Но лишь бы маревом предстала —
Испить чарующий обман.

Но так порой тяжело, что и не выдавить аввакумовского «Ничего, Марковна... ино еще побредем...».

Осенью нашел хорошую женщину, которая управлялась по хозяйству гораздо лучше, чем прежняя старушка. Шмелев прозвал ее Плаксиной за печальный вид. Она приходила к нему четыре раза в неделю и за два часа, которые стоили 60 франков, готовила еду, мыла посуду, ходила по магазинам. Он считал, что во многом благодаря ей закончил «Лето Господне».

Год завершался в работе. Он перерабатывал и переписывал «Пути небесные», связывался с переводчиками, готовил к изданию книги, получил вышедшую в Швейцарии «На морском берегу». Он стойко преодолевал бытовые трудности,

на зиму закрыл часть квартиры и, чтобы согреться, ютился в одной ее половине. Он терпеливо превозмогал бронхиты, боли, слабость. Был благодарен всем, кто духовно и материально поддерживал его. 15 декабря 1945 года он признался Бредиус-Субботиной:

> Знаешь, бывают дни, когда я хочу выть, выить… плакать неслышно — когда никаких болей нет, — ж а л е т ь себя. Оля, милая… не знают мои читатели, к а к, в каких страданиях, в каких тяжких условиях жизни многое написано за эти последние годы. И знать им не надо. А эти дни я уже как бы оставил всякую надежду, что вернусь к работе. А сколько нужда грозила!.. ведь я же 5 лет ничего не мог заработать… а заграничные гонорары были закрыты… Не будь Юли — и… меня бы не было. А когда можно стало снестись с Швейцарией, меня с п а с дорогой друг Иван Александрович <…> Это Господь дал мне счастье узнать его[546].

В апреле следующего года его свалил бронхит, двенадцать дней он промучился с температурой. Это произошло после чтений в холодном «Казачьем музее» 30 марта. Чтения устраивались в пользу церкви. Зал был полный, успех был огромный, церковь собрала свыше двух миллионов франков. В результате болезни ослабело сердце. Через каждые два часа Шмелев погружался в трех-четырехчасовой сон. Только через двадцать семь дней он смог выйти из дома — за молоком.

В апреле в Париж приехала Ольга Александровна. Наконец, они увиделись. Вместе провели предпасхальные дни, были в церкви и слушали Песнь Воскресения. Ездили на могилу к жене Шмелева. Он читал Ольге Александровне «Лик скрытый», «Марево», и ему открылась ее сложная, многоликая, порывистая душа. Время вместе с ней пробежало

[546] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 2. С. 375, 376.

бессистемно и стремительно. В понедельник после Пасхального воскресенья она собралась домой — получила телеграмму, в которой сообщалось о смерти восьмидесятичетырехлетнего свекра. Пора было надевать «голландский хомут»[547], как заметил Шмелев.

Десять лет прошло после смерти жены. Вспомнив ее, он пережил печаль, но почувствовал и свет примиряющий. 3 июля Шмелев написал стихотворение, посвященное умершей супруге, в котором были слова: «По Ней печаль моя... / Самоотверженно Она меня хранила». Ранее, 11 июня, он закончил «Завет прощальный», обращенный к О.А. Бредиус-Субботиной. Шмелев писал о женщине, еще не познавшей своего пути, но не ведающей покоя:

Раздольной волею вольна,
Светла, могуча и мятежна,
Ужель, девятая волна,
Вскипишь лишь пеной безмятежно?..

Вскипишь — и, в блеск разбивши грудь,
Отпрянешь мутью неизбежной,
И затеряется твой путь
В просторе синевы безбрежной?..

О нет же… нет!.. Поверь в себя,
Исполни Божие Веленье:
Твори, страдая и любя,
Познав свое предназначенье.

Покойной волею полна,
Восторгом светлого волненья,
Катись, девятая волна, —
Волна любви, — не разрушенья[548].

[547] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 426.
[548] *Там же*. С. 428.

Ему было приятно творческое волнение Ольги Александровны, но он не видел в ее жизни воли и покоя, а служенье муз, как известно, не терпит суеты.

Общение с ней облегчило его болезненное состояние. Их встреча произошла в дни страшного недомогания Шмелева. Его донимал зуд в правом глазу, половина его лица была поражена острыми болями, температура доходила до 38°, в Пасхальную ночь его мучили бредовые кошмары и желчные рвоты. Пришлось ограничивать себя не только в еде, но и курении: теперь он выкуривал не более пяти папирос в день, делил папиросу на четвертушки, а в мундштук закладывал вату. Возвратившись домой, Ольга Александровна справлялась о его здоровье, и по ее письму от 29 апреля 1946 года видно, как старался он скрыть свой недуг:

> Какой ужас, что Вы так больны. Я очень за Вас страдаю. Вы должны *очень* беречься, т.к. это не шутка. Как же Вы должны были премогаться все это время, а я-то и не догадалась. Конечно, потому Вы и «разговенье» так не по-Вашему «вяло» провели, а я-то, глупая, еще обижаться вздумала[549].

Он же через три дня, 2 мая, в четверг Фоминой недели, отвечая ей, признавался, как и в каждом письме, в любви:

> Большое солнце. — Ты в нем! Ты — во в с е м, для меня, моя нежная, моя светлая! И в с е — для меня — в тебе, в Тебе, только. Это я крепко познал теперь. Аминь[550].

Болезнь отпустила только к июлю.

---

[549] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. С. 413.
[550] *Там же.* С. 4

XIX. *«Темные аллеи» Бунина Об отношении к Советам «О тьме и просветлении» И.А. Ильина*

Летом 1945 года Бунин публично читал свои произведения. Шмелеву он приглашения не прислал. Читал то, о чем Шмелев не писал. Читал то, что Шмелев считал недостойным бунинского таланта и миссии русского писателя. Читал, по выражению Шмелева, «голоту», порнографию; «старческая похотливость» — так отозвался он об этих рассказах Бунина; он принципиально не читал этой «паскудографии»[551].

Речь шла о «Темных аллеях». Книга вышла в 1943 году, а второе, дополненное издание — в 1946-м. Первое издание отпечатано в Нью-Йорке, и в книге было всего одиннадцать рассказов. Второе издание — парижское, и в его состав вошло тридцать восемь рассказов. «Да, темные»[552], — саркастически заметил Шмелев.

29 декабря 1946 года состоялся вечер в честь и по поводу «Темных аллей». Было вкусно, весело, танцевали. Среди приглашенных — Тэффи, Маковский, Зайцев, Берберова. Шмелева, конечно, не было.

---

[551] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 321, 314.

[552] *Там же*. С. 514.

Его так изумил сам факт издания, что издателя Ореста Григорьевича Зелюка он обозвал литературным большевиком. В 1947 году он даже высказал мысль о необходимости, наравне со свободной печатью, цензуры, а в его иронических виршах о «Темных аллеях» были строки:

Тут инстинкт-то вон какой:
Родовой да половой...
Избежим такого «рейда»:
Почитай о сем у Фрейда...
Помни, помни: «не суди...»
Оттошнись — и прочь иди.
Хорошо-с... ну, а... издатель..?
Что ж издатель!.. ах, Создатель!..
Это — денежку кует,
Это — пару поддает.
Ну, при чем же тут... издатель,
Коли *есть* такой писатель!..
Не простой, а — при-Нобель!
Вот отсюда и... *кобель*[553].

В непримиримости Шмелева, в его нежелании бесстрастно прочитать хотя бы несколько рассказов из «Темных аллей», возможно, сказывалось не только неприятие самой темы эроса, но и старая обида, связанная с борьбой за Нобелевскую премию.

Любовная проблематика, органично развитая во всем творчестве Бунина, была второстепенной в творчестве Шмелева. Шмелев как-то даже высказался о том, что люди не научились любить, что животные порой любят красивей. Плоть, эрос — темы, в которых шмелевский дар проявлялся значительно скромнее, чем в описании бытия православной семьи. Плоть — не его тема. Как он писал Бредиус-Субботиной:

[553] Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 61.

> …я признаю за тёлом властные его права, все принимаю, как дар Творца, я не аскет, несущий подвиг, мне т е л о нужно, да… нужно для возбуждения, для творческих порывов-взлетов… но я себя держал на поводу, для Оли, для п о р я д к а, для… не знаю»[554].

Но возможно, ему просто было не дано писать об эросе так, как Бунину. В «Жизни Арсеньева» Бунин называл себя казаком-бродником, которому никак невозможно усидеть дома; его герои влюблены во всех женщин мира; с героями его происходило что угодно, только бы не быть им скованными узами брака. Шмелев же признавался Ольге Александровне: «…я выдержал огромную борьбу с чувственной стороной во мне, н е светлой», остался вне «пределов любви»[555].

Шмелев, с его собственных слов, никогда не испытывал и чувства ревности. Он не знал этой страсти, этой тьмы, как он писал. Таким образом, его вдохновение было лишено и этого источника. Лишь однажды, будучи влюбленным гимназистом, он устроил сцену ревности некому полковнику, приставу части, принявшему горячее участие в судьбе семьи Охтерлони (только что умер отец Ольги Александровны) и хлопотавшему о пенсии от Севастопольского комитета. Молодой Шмелев увидел, как Оля Охтерлони и полковник на извозчике ехали в канцелярию губернатора, он заявился к полковнику и решительно потребовал оставить в покое его невесту.

Если Шмелев и писал о любви, то оказывался во власти высокой цели изобразить идеал. Такой была Анастасия из «Неупиваемой чаши», Даринька из «Путей небесных». Он описывал их так, чтобы читатель целомудренный ничего грязного, темного или просто соблазнительного в женском обра-

---

[554] Письмо И. Шмелева О. Бредиус-Субботиной от 22.09.1941 // И.А. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 122.

[555] Письмо от 2.01.1942 // *Там же.* С. 409

зе не нашел. Его прямо-таки тошнило от пошлости любовной. Как когда-то тошнило от натуралистической изобразительности, от Золя. Как символ собственного творческого состояния он воспринимал стихотворение Пушкина 1828 года «Кобылица молодая»:

Кобылица молодая,
Честь кавказского тавра,
Что ты мчишься, удалая?
И тебе пришла пора;
Не косись пугливым оком,
Ног на воздух не мечи,
В поле гладком и широком
Своенравно не скачи.
Погоди; тебя заставлю
Я смириться подо мной;
В мерный круг твой бег направлю
Укороченной уздой.

Из его писем к Бредиус-Субботиной ясно, что он испытал описанное Пушкиным, что сам себя в творчестве укоротил и направил в *мерный круг,* и помогала ему в этом его жена, Ольга Александровна — и до, и после своей смерти.

Ильин называл Бунина мрачнейшим из эпикурейцев. Все-таки — из эпикурейцев. Шмелев слышал в бунинской прозе эту тональность. Сам же он полагал, что истинный писатель творится страданием. «Радостными в творчестве бывают лишь не-глубокие, не-трогающие, не-захватывающие. Эпикурейцы...»[556] — писал он О.А. Бредиус. И развивал свою мысль: даже Мопассан знал, что такое страдание, как и Бальзак, Флобер, Стендаль, Шатобриан, Доде, Гюго, Диккенс, Шиллер, много горького познания у Гете и, конечно, у Пушкина.

[556] Письмо от 27.02.1942 // *Там же.* С. 543.

У «Темных аллей» был безусловный успех. Как писали критики, в том числе и Адамович, в них звучала благодарность к жизни, пусть несовершенной. Но были и смутившиеся. Для подготовки американского издания «Темных аллей» пришлось пойти на мелкие купюры; как вспоминал Андрей Седых: «В 47-м году я получил от Бунина манускрипт его “Темных аллей”. С разрешения автора М.А. Алданов и я удалили из рукописи несколько строк, которые могли вызвать обвинение в “эротизме”, — обвинения этого он впоследствии все равно не избежал»[557]. Георгий Гребенщиков в январе 1944 года написал Алданову: «...скользкая эротика, забава бывших и, слава Богу, изгнанных из быта барчуков, растлевавших своих горничных...»[558]. Строгий Ильин усмотрел в «Темных аллеях» похотливое естество человека, не различающего добра и зла. Бунин же сопоставил «Темные аллеи» с «Декамероном»: обе книги создавались в мрачную пору, в одном случае это была война, в другом — чума. Ему рассказы «Темных аллей» были необходимы как спасение от ужаса жизни. Да и прав ли Ильин, видевший в творчестве Бунина лишь инстинкт? лишь пол? В «Позднем часе» (1938) герой говорит о том, что в будущей жизни встанет перед избранницей на колени и поблагодарит ее за все, что получил от нее в жизни земной. Инстинкт Бунин умел опоэтизировать, что давалось редким писателям. Рядом, пожалуй, можно поставить лишь Куприна. Да и многие бунинские герои расплачивались за свою естественность смертью, болезнью, неудавшейся жизнью.

Но Шмелеву было достаточно услышать пересказ сюжета, ему хватало процитированного кем-то фрагмента, и он впадал в мрачнейший сарказм. Например, зачем это в «Весной, в Иудее» (1946) на Пасху — сыр? Зачем извращает свой

[557] *Седых А.* Далекие, близкие: Воспоминания. М., 2003. С. 193—194.
[558] С двух берегов. С. 226.

дар? Зачем хватается «за рюмки и подолы» и зачем «заголяется»?[559] Не будет он читать «Темные аллеи» — многих от них уже «сблевало»...[560]

Причем раздражение Шмелева распространялось не только на «Темные аллеи». В 1947 году ему пересказали содержание бунинского рассказа «Три рубля» (1944), этот рассказ читали по радио. В гостинице уездного города на свидание к рассказчику напрашивается уличная барышня; рассказчик решает напоить ее чаем, дать три рубля и выпроводить, однако он поддается внезапной страсти; далее герой ужасается тому, что произошло с ним в этом захолустье: барышня за три рубля продала свою девственность; барышня эта, вчерашняя гимназистка, ставшая сиротой, вызывает у героя нежность и жалость; они живут в Ялте, а весной она умирает. Шмелев отозвался о рассказе зло: «что-то сверх-гадкое», «надуманное», «патологичное», этот рассказ «отравляет... юных»[561].

Бунин в прозе лирик, в творчестве Шмелева развилась и победила строгая мораль.

У Шмелева свой счет к писателям-эмигрантам, эмигрантская литература должна быть совестливой и ответственной: в России «истекают кровью и слезами кровавыми...»[562]. Все более в нем проявлялся интерес к СССР, возрастало сострадание народу-победителю. В 1947 году астрологи предсказали Сталину скорую смерть, и Шмелев с надеждой обращался к небесам: когда же? может, «уже при дверях» (Мф., 24 : 33)? 8 января 1948 года прошел слух о том, что Сталин умер. Неужели «сдох»?[563] В начале марта 1948 года вдруг

[559] Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 41, 43.
[560] *Там же*. С. 46.
[561] Письмо к И. Ильину от 8.05.1947 // *Там же*. С. 122.
[562] *Там же*.
[563] Письмо к И. Ильину от 9.01.1948 // *Там же*. С. 228.

подумалось: может, Сталина уже нет, а есть некая эманация? Первые инсульты у Сталина, действительно, способствовали возобновлению террора в 1946-м и в 1947-м. Шмелев в письме к своей благодетельнице Шарлотте Максимилиановне Барейсс от 8 мая 1947 года выказывал нетерпение:

> Ведь там — в лагерях! — ка-аждую минуту умирает в страданиях — 30 человек, каждый час — около 1700—1800! В день — около 41 000. И это по минимальному расчету, я беру число заключенных — в 10 милл<ионов> — а называют и 12, и 15 милл<ионов> при средней продолжительности «лагерников» — в 3 мес<яца>. Так рассчитан паек: вытягивают жизнь каторжной работой, а на смену выбывших — матерьялу хватит. Это — страшная правда. А мир — молчит. Так мы, живущие в свободе, счастливцы! И часто забываем о сем»[564].

До него дошли сведения о том, что в СССР — голод. Он узнал об августовском постановлении 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград» — о разгроме Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, узнал об идеологической линии Жданова. До парижской эмиграции дошли сведения об арестах эмигрантов в Праге и на Балканах — в зонах, занятых советскими войсками. Шмелев — бескомпромиссный антисоветчик. Он язвителен по отношению к просоветской газете «Русские новости», а там публиковались рассказы из «Темных аллей».

Его ненависть к Сталину росла на фоне роста лояльности к СССР среди эмигрантов в последние месяцы войны и в начале послевоенного периода. Просоветские настроения подкреплялись надеждами на демократический путь послевоенной России, возникало желание принять участие в восстановлении страны.

Сначала в советское посольство пригласили митрополита Евлогия, который прибыл на прием в автомобиле посла. По-

---

[564] Письмо к И. Ильину от 9.01.1948 // *Там же.* С. 124.

том, 12 февраля 1945 года, советское посольство посетили некоторые русские эмигранты во главе с В.А. Маклаковым, послом в Париже с 1917-го по 1924 год. Во время визита произошел обмен речами, говорили тосты за Красную Армию, за Сталина. Маклаков был символом русского либерализма, и он заявил о прекращении борьбы с советской властью, хотя и заметил, что это вовсе не означает признания ее правоты. Прием породил в эмигрантской среде бурю.

Поползли слухи о том, что собрался уехать в СССР Бунин. Сенсацией осени 1945 года среди эмигрантов стал завтрак Бунина у А.Е. Богомолова, советского посла во Франции. В разговоре с послом Бунин сказал о своем уважении к стране, разгромившей фашистов, благодарил за приглашение вернуться в СССР, одобрительно отозвался относительно возвращения в СССР Куприна. Так об этом визите впоследствии вспоминал советский посол[565]. Шмелев негодовал: «Этот — лизал тарелки по полпредствам, считал себя “никому и ничем неподсудным”; он — вне оценок, при-Нобель <...>», то есть Нобелевский лауреат, написавший «Темные аллеи»; и далее: «Верченье Б<унина> вокруг “полпредства” знающие объясняют невероятной трусостью Б<унина>. Он испугался, что теперь, с победой, комм<уни>сты буд<ут> хозяевами Фр<анции>. И — забежал. Перестраховывался»[566]. Вокруг Бунина со стороны Советов развернулась игра. Осенью 1945 года советское издательство «Художественная литература» даже начало подготовку к публикации двадцатипятилистного тома его произведений. В конечном итоге тревоги Бунина о составе сборника стали поводом к прекращению издания. У всей этой истории была своя экспозиция: 2 мая 1941 года Бунин писал из Грасса А. Толстому о том, что находится в ужасном положении, Толстой 18 июня

[565] См.: *Бабореко А.* Бунин. М., 2004. С. 362—363.
[566] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 513.

1941 года отправил Сталину письмо, в котором просил разрешить Бунину вернуться в СССР или помочь ему материально.

21 июня 1946 года вышел спецвыпуск ЦК Союза советских патриотов, в котором был напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 года о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской Империи, а также утративших советское гражданство и проживающих на территории Франции лиц. Этот указ распространялся как на служивших в Белой армии, так и на эмигрантов в целом. По свидетельству Веры Николаевны Буниной, в семьях эмигрантов «произошел раскол», волновались по поводу отъезда[567]. В августе того же года Бунины встречались с Константином Симоновым, который старался убедить писателя вернуться на родину. Симонов Буниным понравился своей искренностью. Но вот запись Веры Николаевны о визите Симонова и его супруги Валентины Серовой:

> Симоновское благополучие меня пугает. <…> Он неверующий. <…> Когда он рассказывал, что он имеет, какие возможности в смысле секретарей, стенографисток, то я думала о наших писателях, и старших, и младших. У Зайцева нет машинки, у Зурова — минимума для нормальной жизни, у Яна — возможности поехать, полечить бронхит. <…> Это самые сильные защитники режима[568].

Буниных удручали просоветские настроения эмиграции: «Очень тяжело. Безотрадно. Бессмысленно»[569]. Бунин, как и Шмелев, остро воспринимал информацию о репрессиях, что, напрример, следовало из его обращенных к Симонову вопросов о судьбе Пильняка, Мейерхольда и др.

---

567 Устами Буниных. Т. 3. С. 181.

568 *Там же*. С. 182.

569 *Там же*.

После войны Георгий Адамович начал сотрудничать с просоветскими «Русскими новостями», в которых он выступил с эссе «Конец разговора» (1945). 22 июня 1941 года для него стало концом русской эмиграции, поскольку войну он воспринял как общерусское дело. Но он оправдывал Сталина, признавал коммунизм, он писал о том, что в СССР нет эксплуатации человека и не надо говорить о пролитой крови, что ненависть к СССР — постыдная болтовня. Эти настроения отразилось в его адресованной французскому читателю книге «L'autre patrie» (1947). Против просоветских настроений Адамовича выступил другой недруг Шмелева — Георгий Иванов. В статье «Конец Адамовича» — она появилась в «Возрождении» в 1950 году, в год смерти Шмелева — Иванов обрушился на литературную критику Адамовича, писал о безответственности и вкусовщине его оценок:

> Иногда слова Адамовича не имели никаких последствий. Иногда, наоборот, означали для того, к кому относились, на самом деле «начало конца». <...> ...самый капризно-противоречивый, самый произвольный приговор Адамовича принимался его многочисленными адептами и поклонниками слепо, как закон. Причем новый закон автоматически отменял предыдущий. Тот, кто возьмет на себя труд посмотреть фельетоны Адамовича подряд за несколько лет, вплоть до 1940 года, будет вознагражден, отыскав самые причудливые оценки «первого эмигрантского критика» — мало кем оспариваемый в эстетических кругах того времени титул Адамовича[570].

Он противопоставлял Адамовичу Иванова-Разумника, автора антисталинских мемуаров.

В «Русских новостях» помимо Адамовича и Бунина публиковались Н. Тэффи, А. Бахрах, Н. Кнорринг, К. Мочульский,

[570] *Иванов Г.* Собр. соч.: В 3 т. / Сост. Е. Витковского, В. Крейда. М., 1994. Т. 1. С. 599, 600.

В. Корвин-Пиотровский, Ю. Терапиано, В. Мамченко, А. Гингер и др. Однако к началу 1950-х годов многие газету покинули.

Публиковался в «Русских новостях» и А. Ремизов. В 1930—1940-е годы он создал замечательную повесть «Учитель музыки: Каторжная идиллия», но уже после завершения работы Алексей Михайлович, изменивший свое отношение к СССР, убирал из текста фрагменты, которые могли бы быть истолкованы как антисоветские. Шмелеву было чрезвычайно жаль Ремизова, «несчастного юрода». Ремизов был его соседом — они жили на одной улице, и Шмелев порой навещал его. Непримиримый к сочувствующим СССР, он жалел подверженного страху Ремизова, который защищался от жизни игрой в притворяющегося мертвым жука — так писал о нем В. Андреев[571]. В 1946 году Ремизов получил советский паспорт. Советское посольство вело с Ремизовым свою игру. Как-то, навестив Ремизова, Шмелев услышал от него, что тот ждет гостя — советского консула Емельянова: он надеялся, что консул привезет ему весть о дочери, которая осталась в России. Шмелев писал:

> А тот ему привез... па-чпорт! и бут<ылку> шампанского. И — «умерла от разрыва сердца». Не они ли убили-то..?[572]

Взяли советские паспорта, хотя в СССР не поехали, супруги А. Присманова и А. Гингер — яркие поэты из молодого поколения первой волны эмиграции.

В 1948 году началась новая волна вокруг имени Бунина в связи с его выходом из Союза русских писателей и журналистов в Париже. В ноябре 1947 года Союз писателей и журналистов исключил из рядов своих членов, взявших советские паспорта. В знак солидарности о выходе из Союза заявили и

[571] *Андреев В.* История одного путешествия // Русский Берлин. С.223.

[572] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 494.

другие писатели. Бунин, полагая, что раскол в Союзе оправдан, что соединение в нем эмигрантов и советских подданных невозможно, отказался поддержать исключенных. Однако позже, недели через две, он сам вышел из Союза и сложил с себя обязанности его почетного члена. Объяснения содержались в его письме к М.С. Цетлин. Бунин писал:

> Почему я не ушел из Союза уже давным-давно? Да просто потому, что жизнь его текла прежде незаметно, мирно. Но вот начались какие-то бурные заседания его, какие-то распри, изменения устава, после чего начался уже его распад, превращение в кучку сотрудников «Русской мысли», среди которых блистает чуть не в каждом номере Шмелев, участник парижских молебнов о даровании победы Гитлеру… Мне вообще теперь не до Союзов и всяких политиканств, я всегда был чужд всему подобному...[573]

Для Зайцева же очевидно другое: выходом из Союза «Иван поддержал советских»[574]. Так он написал В.Н. Буниной 15 февраля 1948 года.

Шмелев осуждал всякие связи с советскими писателями. Он насмешливо относился к тому, что на Западе русская литература представлена Эренбургом и Симоновым: «Эх, Максима с Алешкой-то не могли послать во славу России…»[575] — ни Горького, ни Толстого уже не было в живых.

Он крайне настороженно отнесся к визиту, который нанес ему некто, возвращавшийся в СССР. Он думал, что этот некто — посланец от Советов. Шмелеву было обещано открыть перед ним все советские издательства. Просьба

[573] Литературное наследство. Т. 84. Кн. 2. С. 404.

[574] Письмо Б.К. Зайцева В.Н. Буниной от 15.02.1948 // *Зайцев Б.* Письма. 1923—1971. С. 169.

[575] Письмо к И.А. Ильину от 3.08.1946 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 435.

письменно изложить свои условия и соображения была расценена Шмелевым как провокация: письменный документ будет понят как прошение! Не согласился он и на форму личного письма. И хотя Шмелеву объяснили всю необходимость сотрудничества с советскими издательствами ради укрепления престижа России, он вознегодовал: ему там, в СССР, либо мух гонять, либо их кормить! «Богомолье» все равно не издадут! да он бы никогда в России не написал ни «Богомолья», ни «Лета Господня»! он там чужой! сначала пусть откроют Оптину! Отказал он гостю и в просьбе дать материал для второго выпуска «Русского сборника». В первом публиковались Бунин, Ремизов, Тэффи. Ему в пример поставили Ремизова: Алексей Михайлович печатается в «Советском патриоте». Шмелев был неумолим. Его посетила и двадцативосьмилетняя пианистка, красавица, чешка-полуполька С. Златка, которая просила о личной переписке, но в визите которой он также заподозрил неладное — руку Москвы.

В 1937 году Ильин сообщал Шмелеву о том, что пишет книгу «Шмелев. Бунин. Ремизов. Мережковский». К концу года была готова вступительная статья, отработана глава о Бунине, наполовину сделана статья о Шмелеве и в черновом варианте — главы о Ремизове и Мережковском. К апрелю 1938 года Ильин намеревался сдать рукопись в печать и летом увидеть готовый экземпляр книги. Однако проект книги изменился, и в апреле Ильин сообщил Шмелеву о том, что, заканчивая главу о Ремизове, он понял, что композиция и в целом главная идея книги должны быть иными: она должна состоять не из портретов, а подчиняться единому замыслу. Появилось новое название — «О тьме и скорби. Книга художественной критики. Бунин. Ремизов. Шмелев». Концепция Ильина сводилась к следующему. Господь послал русским тьму и скорбь. В бунинском творчестве

Ильин увидел прежде всего тьму первобытного эроса и проистекающие из него муку, но, однако, и радость любви. В прозе Ремизова он узрел тьму страха, и опять же — муку как следствие тьмы. Он полагал, что в творчестве Бунина и Ремизова нет скорби. Переживающий муку цепляется за жизнь, а научившийся страдать, скорбеть, испытывает состояние светоносное, духовное, преодолевающее животную муку. В творчестве Шмелева он видел тьму богоутраты, но еще и скорбь мира, и скорбь о мире, и именно через эту скорбь — путь к Богу, радость православного богонахождения, выход к свету. Примечательно, что в окончательном варианте названия слово «скорбь» было заменено словом «просветление». Таким образом, книга выстраивалась по принципу восхождения, снизу вверх, от тварной темноты, в которую человека ввергает мука, к просветлению. Споря с Толстым, он писал Шмелеву:

> Христианство не благословляет на «муку» и не зовет к «жалости» (вопреки Толстому). Оно благословляет на *страдание* и зовет к свету и радости. Оно уводит от муки и учит победе. И страх в нем исчезает. Христос не «мучился» на Кресте, а страдал и скорбел; и путь Его был светоносный и победный. В этом смысл Христова Воскресения, победившего тьму, муку и страх[576].

Заметим, что третья часть «Лета Господня» называлась «Скорби».

Ильин предполагал, что Бунин будет недоволен, что Ремизов напишет о нем «какую-нибудь химерическую дребедень», а Мережковский станет презирать его за то, что для него не нашлось ни слова[577]. Он мечтал выпустить книгу

---

[576] Письмо к И.С. Шмелеву от 3.08.1946 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 225.

[577] *Там же.*

осенью 1938 года, но осень прошла в тревогах, осенью он покинул Германию и теперь надеялся, что книга выйдет к Рождеству. В начале января 1939 года Ильин полагал, что книга вот-вот начнет печататься в Риге при содействии Русского академического общества (РАО), почетным членом которого он был, и будет выпущена к марту (в марте он ожидал гранки). Но все сроки прошли, а книга не была издана, потому что в РАО начались интриги, внутри общества создалась партия, находившаяся под влиянием берлинских русских национал-демократов. Предпринимались попытки издать книгу помимо РАО, для чего был сделан вариант текста на машинке, но началась война, советские войска вошли в Латвию. В ноябре 1945 года Ильин еще раз пересмотрел текст, откорректировал его. В 1947 году Шмелев пошел к Гукасову, как он шутил — к Карасину-Мазутычу, с просьбой издать книгу Ильина, но Гукасов отказал под предлогом малого рынка для больших книг.

Когда в конце 1946 года Шмелев получил от Ильина машинопись, название будущей книги уже было изменено на «О тьме и просветлении». Прочитав этот вариант, он решил, что психология творчества еще никем не была так раскрыта. Шмелев справедливо полагал, что концепция книги следует из теории эстетики, высказанной Ильиным в его труде «Основы художественного творчества». Конечно, он был согласен с тем, что творчество Бунина — акт родового инстинкта и вытекает из недр инстинкта полового. Ему близка версия Ильина о ремизовском юродстве, цель которого — забить в себе страх перед жизнью. Шмелев высказал мысль о том, что источник страха Ремизова гораздо сложнее инстинкта: в отношении Ремизова к миру проявляется богобоязнь, чистого Бога в его произведениях нет. Отсюда и кривизны его Миколы, и описанные им больные сны, которые он, возможно, сам творил. Ремизов, как думал Шмелев, в своем творчестве играл в игрушки, в луна-

тизм, но все-таки он очень непосредственный человек, он — как обиженный ребенок, и «скорбь и боль очень ему чувствительны, до подкожной боли-горенья… и выход у него… лишь в воздыханье-вскрике»[578]. За главу о себе Шмелев благодарил Ильина, кланялся ему земно.

При жизни Шмелев так и не увидел книгу изданной.

[578] Письмо к И.А. Ильину от 3.08.1946 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 444.

XX. *В поисках правды «Русская мысль» «Пути небесные»*

Эмигрантская литература катастрофически теряла читателя. Проблема читательской аудитории стала неразрешимой. Все славянские земли, оказавшись в сфере влияния СССР, были словно за колючей проволокой. Шмелев понимал, что даже «Лето Господне», при известности этого произведения, не разойдется тиражом более полутора тысяч.

Переживания, связанные с размышлениями о народе-победителе, да еще и осознание собственной ненужности, своей изолированности от массового русского читателя — все это омрачало его существование и угнетало духовно. Он перестал ходить в церковь, лишь порой открывал Евангелие. Он вновь искал утешение и смыслы у других, а потому в шестой или седьмой раз перечитал «Войну и мир». Но обнаружил печальную истину — творческие силы Толстого иссякали: свежи первые два тома, но в четвертом томе автор ослабел, хотя писал в благожелательных условиях, далеко не старым, недавно женившись, на подъеме; он «смял» Соню, Наташа глупа, хоть и умна чувством, Безухов — «рыхляк шепелявый», Болконский «путано-неопределенен», невыносима перегруженность романа домыслами… все-таки насколько гениален в мыслях Достоевский, настолько «Толстой

перед ним — глуп»... Толстой гениален, только когда описывает жизнь в образах и бессознательно... Толстой выстраивает художественный мир на философской идее, и в этом его неудача, как решил Шмелев[579]. Ему не нравились концовки ни «Смерти Ивана Ильича», ни «Войны и мира», ни «Хозяина и работника», ни «Анны Карениной», ни «Крейцеровой сонаты». Шмелев взялся читать К. Леонтьева, но вдруг почувствовал, что Леонтьев — не его: «Своеобразен, да... но — за волосы себя притащил (притащил ли?!) — к вере... (и какой!) и вряд ли дам встречу с ним в Оптиной (в романе)»[580]. Он хотел ввести Леонтьева в «Пути небесные», теперь усомнился, стоит ли.

Столь необычные для него отзывы о Толстом и Леонтьеве свидетельствуют о том, что в его жизни начался новый этап. В связи с работой над «Путями небесными» по совету Ильина он стал читать письма Феофана Затворника и в нем открыл своего учителя. Он духовно напитывался его мыслями. Феофан сейчас — его главное познание. В письмах святителя так просто и мудро объясняется о молитве и покаянии, о внимании ума и страхе Божием, о вольнодумцах и миролюбцах, о гневе и искушении. Возможно, потому теперь Толстой не философ, что Феофан поучал: «Православный христианин читает слово Божие; истины, прямо в нем содержимые, печатлеет в своем сердце, не двигая своей мысли за пределы содержимого и не возвышая над ним господственно и самоуправно своего ума, а ему смиренно подчиняя его»[581]. Понимая, что не постиг полноты веры и даже решив, что для веры надо родиться, он много размышлял в то время о творчестве Богопознания, много читал об Оптинском старце Амвросии.

---

[579] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 401.

[580] Письмо к И.А. Ильину от 18.01.1946 // *Там же*. С. 380.

[581] *Феофан Затворник*. Письма о христианской жизни. М., 2003. С. 159.

В январе 1947 года Шмелев прочитал «Историю моего современника» В.Г. Короленко 1922 года издания — и духовно потребно, и для «Путей небесных» может пригодиться материал о 1870—1880 годах. Он принялся искать последние книги Розанова, решил прочесть Иоанна Златоуста, «Пасхальные письма» (1897) Вл. Соловьева, возникла потребность посмотреть «Свет Невечерний» С. Булгакова — но тут уж на него обрушилось негодование Ильина: не приведи Бог так верить, как Булгаков! резонер-выдумщик! есть в нем от Федора Карамазова... Булгаков, Бердяев, Розанов, Мережковский, Вяч. Иванов — это, как растолковывал Ильин Шмелеву, люди, не умеющие отличать «*духа* от *пола*, *молитвы* от *оргазма*, *вдохновения* от *соблазна*, *созерцания* от *выдуми*, *ответственности* от *кокетства*»[582].

Укрепляя свою веру, Шмелев поехал в храм на вынос Животворящего Креста. С одной стороны, душевное удовлетворение, действительно, получил, но с другой стороны, общение со схимонахом вселило в его душу раздражение: схимонах по сути своей очень уж советский... вот бесовское наважденье... так и чертей в схимонахи обрядят...

Как скучен мир!.. Перепады от вдохновения к душевному упадку сопровождали Шмелева на протяжении уже многих лет. Он старался не читать газет и обходиться без радио — подарил его Ивику. Некоторые рассказы и очерки он писал для собственного ободрения. Например, в мае 1947 года появился «Врешь, есть Бог...», рассказ из цикла «Заметы». В основу сюжета Шмелев положил переданную ему Вересаевым историю, которую тот услышал от своего шурина — видного большевика Смидовича. Описанное событие произошло летом 1922 года в Ильинском, где ранее была резиденция великого князя Сергея Александровича, а в 1922 году

[582] Письмо к И. Шмелеву от 11.02.1947 // Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 36.

жил Троцкий. Двенадцатилетний сын Троцкого, как Петр Первый, завел потешных и решил доказать им, что Бога нет: выплыл на середину пруда, достал икону Богородицы, обвязал ее бечевкой, привязал кирпич и бросил в пруд. Однако икона чудесным образом выплыла. Ночью по просьбе батюшки ее достал матрос.

В 1947 году Шмелева увлекла программа «Русской мысли». Он был рад тому, что газета продолжала издаваться в Париже, и принял предложение о сотрудничестве. Выпускалась она на русские деньги, ее редактором был Владимир Феофилович Зеелер. Зеелера Шмелев любил. Давно, еще 14 марта 1937 года, он писал Ильину: «Есть душа одна, Зеелер, хмурый с виду, но горячий внутри, любящий. Он — навещает, приходит таким добрым, “закрытым” медведем, бурчит, молчит — утишает»[583]. «Русскую мысль» Шмелев посчитал первой русской свободной газетой. Он одобрял ее православную направленность. Причем газету решено было не ориентировать на боевой дух — она должна быть созидательной. Что ж, он и с этим согласен.

Шмелев поспешил привлечь к газете Ильина, но тот ответил принципиальным отказом и даже попросил его умерить эмоции, ибо с собаками ляжешь, с блохами встанешь: работать на «Русскую мысль» значит полупринять советчину.

Шмелев возражал и продолжал сотрудничать с газетой. У него были свои мотивы, и для Ильина они не новы. Когда Ильин ушел из «Возрождения», Шмелев внушал ему: надо служить читателю. Принципиальность друга была непонятной. Он уверял Ильина в том, что «Русская мысль» — вовсе не помойная яма. Шмелев не получил от газеты пока ни сантима, но не беда — пусть газета встанет на ноги. Ведь если

[583] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 175.

он и Зайцев уйдут, тираж упадет вдвое. Он отдавал в газету очерки, а редакция в свою очередь приняла решение печатать «Пути небесные». Ильин крайне пренебрежителен: «Сброд бесхарактерных *не*мыслителей»[584]. И саркастичен: Зеелер Шмелева «безсантимно сентиментит»[585]. Он даже отказал Зеелеру в просьбе дать предисловие к «Путям небесным», правда, под вполне корректным предлогом: Шмелев не нуждается в предисловиях. Он уверял Шмелева в том, что от номера к номеру газета становилась все бледнее и неинтересней, потому что послушна католическим союзам и способна только на полуправду.

Ильин вообще говорил *нет*, если речь заходила о пошатнувшихся или о противниках. Вот Ольга Александровна запросила новый адрес Ремизова, Шмелев в свою очередь справился у Ильина, но тот не дал: Ремизов перешел на сторону Советов.

8 августа 1947 года скончался Антон Иванович Деникин. Для Шмелева это был удар, «утрата неизбывная»[586], как он писал 29 августа Ксении Васильевне Деникиной. С Деникиным он был дружен, они были близки в быту, постоянно общались с 1926-го до конца войны — в 1945 году Деникины уехали в Новый Свет. В «Русской мысли» 16 августа появилась статья Шмелева «Памяти “Непреклонного”», написанная 12 августа. В ней говорилось о том, что Деникин православный, глубоко-религиозный человек, человек-солдат, что Его девиз — Бог, Россия, Свобода, что он был лучшим примером правителя-демократа, но в годы его служения рядом не оказалось равных ему сотрудников и сподвижников.

Ильин опять сказал *нет*: Деникин храбр, честен, но как правитель был несостоятелен, субъективен и пристрастен в

[584] Письмо к И. Шмелеву от 16.05.1947 // Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 125.

[585] Письмо к И. Шмелеву от 19.07.1947 // *Там же*. С. 156.

[586] Иван Шмелев: отражения в зеркале писем. С. 129.

оценках, четвертый том его мемуаров возмутителен по отношению к Краснову, пятый — по отношению к Врангелю, Деникин в 1919 году бросил армию и спасся на английском судне. Шмелев, преклонявшийся перед чистотой и доблестью Врангеля, недоумевал: грех Деникина в отношении Врангеля — на его душе, в статье он исходил из лучшего — и оно было!

В 1947 году Шмелев закончил работу над вторым томом «Путей небесных» — романом, посредством которого он искал ответ на вопрос, заданный себе еще в Первую мировую, империалистическую, войну, после призыва Сергея в действующую армию: что есть смысл бытия и в чем его скрытый лик?

В ответе на анкету «Русские писатели о современной русской литературе и о себе» в 1925 году он высказал мысль о том, что большие произведения вынашиваются годами. Так и получилось с «Путями небесными». Идее написать роман предшествовал замысел создать ряд очерков для монастырской газеты братства преподобного Иова Почаевского. Однако смущало его то, что сюжет о поиске человеком истины, о судьбе невера, о плотской любви не вполне отвечал духу монастыря. Потому в 1935 году он опубликовал очерки в «Возрождении» и «Сегодня». Из этих очерков позднее и родился роман. Писать о путях небесных Шмелеву посоветовал Карташев.

В основу сюжета была положена история любви скончавшегося в 1916 г. В.А. Вейденгаммера, дяди О.А. Шмелевой, к девице Дарье Королевой, впоследствии его невенчанной жене. Шмелева привлек духовный путь Вейденгаммера, поначалу воспринявшего марксизм, а после гибели Дарьи ставшего монахом Оптиной пустыни. В мае 1936 года был закончен первый том «Путей небесных», публиковавшийся в «Возрождении» с марта 1935-го по июнь 1937 года. В том же

году первый том отдельной книгой вышел в книгоиздательстве «Возрождение».

П.М. Пильский справедливо писал, что главная идея романа — предначертанность судеб[587]. Причем Шмелев чувствовал, что роман ему самому предначертан, внушен. Особенно он уверовал в это после кончины жены. К.А. Куприна отмечала в книге «Куприн — мой отец», что после смерти Ольги Александровны Шмелев стал особенно религиозен. Сопутствующие написанию «Путей небесных» факты он воспринимал как неслучайные и направленные на создание романа. Так, ему поначалу было неясно, зачем он, работая над «Путями небесными», в 1935 году принялся читать Софокла и изучать работы Ф.Ф. Зелинского, но позже прояснилось, что он, безотчетно, искал там античное понимание рока. Осмыслив воззрения древних, он размышлял о христианском понимании промысла: где у Софокла — гибель в угоду злому року, у Шмелева — искушение и спасение. Собственный текст казался Шмелеву странным и неясным. Медиумическую суть романа отметил Ильин. Прочитав присланный ему первый том, он написал в мартовском письме о неясном рисунке героев: они «не до-индивидуализированы», они словно снятся, либо автор сам не верит в свои образы, либо «этот медиумический стиль письма потребован самим сновидческим созерцанием “Путей” и медиумическим образом главной героини...»[588].

Смерть жены прервала работу над романом. О продолжении Шмелев думал часто, к этому его побуждала О.А. Бредиус-Субботина. В 1941 году он признался ей в том, что если «Пути небесные» когда-нибудь будут написаны, то только благодаря ей. Первую, несовершенную, редакцию второго тома он отослал ей в Голландию: во время войны в Париже машинопись могла погибнуть — порой он работал над рома-

[587] Сегодня. 1937. 23 янв.

[588] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 180.

ном под бомбами, ночью относил написанное в подвал. Война побуждала его задумываться о смысле этой работы, и он не находил его; но размышления о результатах войны приводили его к мысли о Книге судеб, о небесном плане, о предустановлении событий, и он продолжал работать.

Второй том он писал с марта 1944 года по январь 1947-го. К 1946 году вместо двадцати семи глав стало сорок восемь, при этом текст увеличился лишь на четырнадцать страниц, что объясняется решительными сокращениями. Шмелев безжалостно расставался с фрагментами текста, учитывая мнение Ильина о первом варианте тома. Некоторые главы переписывались по двенадцать раз. К 1947 году вместо сорока восьми глав стало пятьдесят четыре, при этом Шмелев нещадно выкидывал куски прежнего текста. Приближаясь к завершению второго тома, он вновь впадал в тяжелые сомнения о смысле всей работы. Второй том вышел в книгоиздательстве «Возрождение» в 1948 году. За два года до этого, в 1946-м, в Париже был опубликован французский перевод первого тома. Третий том написан не был.

Сюжет об интеллигенте-невере и о верующей женщине-простолюдинке, живущей с ним в грехе и через свою любовь к нему изменяющей его мировидение, имел самое прямое отношение к занимавшему Шмелева вопросу о совести. В 1935 году вышла книга Ильина «Путь духовного обновления». По замыслу Ильина, она должна указать сомневающимся путь из глубокого религиозного, духовного и национального кризиса. Цель книги отвечала и размышлениям Шмелева. Особенно его заинтересовала глава «О совести», и он писал Ильину 11 мая 1935 года:

> Сперва о важном. Спасибо, милый, получил Вашу главу «О совести», в самый разгар работ и хлопот, и прочитал залпом, отбросив все. Так меня «унесло» ото *всего*, подняло и —

открыло мне как бы новый мир, дало ключ к разгадке многого, для меня темного. Поражает — ясность и сила доводов и углубленность. Я буду читать вторично и еще-еще, т.к. тут каждая строка — «рука ведущая», а я сейчас, будто ослепленный, ищу, ищу… и посему на неск<олько> дней оставил «Пути небесные», бросаюсь от вас к Вл. Соловьеву, к Ап. Павлу… — и во мне многое раздирается, многое я не могу *внять*, бунтую-барахтаюсь[589].

Роман Шмелева во многом развивает и подтверждает мысли Ильина о совестном акте.

По Ильину, совесть «есть сама внутренняя сила Божия в нас, которая открывается нам как наше собственное глубочайшее существо»[590], а воззвание к совести — вид молитвы. Ильин писал о беде современного человечества: оно «разучилось переживать совестный акт и отдаваться ему», его образованность «есть мертвое и отвлеченное действие рассудка», знающего о целесообразности жизни, «но ничего не разумеющего в вопросе *о священных целях жизни*; современник умеет критически относиться к «иррациональной глубине совести»[591]. Христианская совесть, по убеждению Ильина, смолкла «за последние века европейского просвещения»[592].

Герои Шмелева переживают совестный акт, на пути к священным целям жизни обретают подлинную внутреннюю свободу. Так и Ильин не противопоставлял совесть внутренней свободе человека. Напротив, писал о том, как человек, пережив состояние совести, отдавшись голосу совести, осуществляет внутреннюю свободу.

Совестный акт, по Ильину, «осуществляется не в порядке рассудочного умничания, суждений, рассуждений, выводов,

[589] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 62.
[590] *Ильин И.* Путь духовного обновления. М., 2003. С. 137.
[591] *Там же.* С. 110.
[592] *Там же.*

доказательств и т.под., но в порядке иррационального со-средоточения души»[593], всякого рода теоретические построения лишь мешают ему: Л. Толстой — носитель совестного акта, но если бы он не теоретизировал о рецептах спасения людей от всех зол, если бы он менее проповедовал, он достиг бы большего; о том же говорит и пример В. Гюго, претендовавшего на роль нравственного и социального пророка; у И.Г. Фихте, пытавшегося создать своего рода религию совести, идея построения философской системы возобладала «над потребностью в искренней простоте и ясной глубине»[594].

Обратившись к наследию Феофана Затворника, автор «Путей небесных» укреплялся духовно. Он писал Ильину 12 января 1946 года: «Горю-дрожу над “Путями”. В час отдыха вбираю кое-что из славных писем Феофана Затворника… — и... внимаю, и… нахожу *своим*!»[595] Или письмо от 13 февраля того же года: «Милый, познаю… — Ваш мудрый совет! — Феофана Затворника! Что за глубина!.. И как же я духовно нищ!.. (что нищий-то я!). Читаю, что только могу схватить… — трудно доставать! — Леонтьева, о нем, о Феофане…»[596] Поучения Феофана о совести очевидны в духовном пути героев «Путей небесных». Называя совесть силой духа, святитель Феофан объясняет: «В совести Сам Бог говорит… А что Бог говорит, известно из укора совести»[597]. Из этого следует, что положения книги Ильина близки максимам Феофана и даже вытекают из них. Совесть, по Феофану, дана человеку затем, чтобы судить его; «сожженная совесть ничего не чует… грешит с сознанием, — и горя мало», но у

[593] *Ильин И.* Путь духовного обновления. С. 125.

[594] *Там же.* С. 134.

[595] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 378.

[596] *Там же.* С. 382.

[597] Душеполезные поучения святителя Феофана Затворника. Козельск: Издание Введенской Оптиной пустыни, 2003. С. 126.

обратившегося к Богу человека «совесть за-блуждающаяся вразумляется, искаженная исправляется», «совесть исповедью и сокрушением умиряется»[598].

«Пути небесные» — о путях спасения души через совесть, о страстях, искушениях, прельщениях, самолюбии, сомнениях, о том многом, что содержится в поучениях Феофана. Ильин писал Шмелеву 1 апреля 1939 года: «Вот Феофана Затворника — Путь к Спасению — чудно»[599]. Шмелев рассказал историю о духовном спасении человека не только внецерковного, но и по отношению к религии нигилиста, Феофан же вразумлял: «Первый ангел между Ангелами погиб. Апостол между Апостолами в присутствии Самого Господа погиб. А разбойник на кресте спасся!»[600] Феофан поучал о спасении Господом и о спасении Господом при участии человека, о чем и рассказано в «Путях небесных». Содействие других в спасении души неизбежно, по Феофану, так как «мы яко христиане — едино тело»[601]. Шмелев повествовал об усилиях человека на пути к Богу, о проявлении хотения и воли к спасению, Феофан же писал: «Сотворить нас без нас мог Бог, а спасти нас без нас не может»; «всякому спасение готово; но сам приди и возьми его»[602]; однако «спасает души Спаситель, а не мы»[603].

Поводырем Ильина в написании его «Пути» был Феофан Затворник. Поводырями Шмелева в написании его «Путей» были Ильин и Феофан Затворник.

В основу романа была положена идея подчинения человека Божественному промыслу, или, как писал Шмелев, плану.

[598] Душеполезные поучения святителя Феофана Затворника. С. 126, 127.
[599] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 269.
[600] Душеполезные поучения святителя Феофана Затворника. С. 313.
[601] *Там же*. С. 311.
[602] *Там же*. С. 312.
[603] *Там же*. С. 314.

Трудясь над ним, он преодолевал собственные сомнения. Так, Шмелев признался Ильину 14 марта 1937 года: «Двое во мне: и вот, *кто, какой* во мне писал — этот — верит, *в полусне* верит, чем-то глубоко внутри — верит. А другой — внешний, при свете дня обычный... — мечется и сомневается — да не обман ли, не самообман ли?»[604] В романе отразились и его религиозные колебания, и его религиозный максимализм: «Итак будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть», — обращался он к словам Евангелия от Матфея (5, 48).

Шмелев полагал, что «Пути небесные» — первый опыт православного романа. Определенность и заданность религиозной идеи, подчинившей себе художественный текст, дает основание полагать, что Шмелев действительно создал, в отличие от Достоевского, не философский роман, а православный. В августе 1949 года он написал статью «О Достоевском: К роману “Идиот”», и в ней высказал свои соображения о том, что в «Идиоте» претворилась попытка создать религиозный роман, которая повторилась в «Братьях Карамазовых». Достоевский, по Шмелеву, нащупал в человеке страшное — древний соблазн греха, но и постарался показать положительно прекрасного человека. Однако, как он считал, создать такого положительно прекрасного человека ему не удалось, как не получилось в «Идиоте» показать освобождение человека от греха через религиозное возрождение.

Шмелев обращался к наследию Леонтьева и, делая упор на жанр православного романа, писал: «...о чем мечтал когда-то К. Леонтьев, отрицая “опыт” Достоевского — “Бр<атья> Кар<амазо>вы”»[605]. Выбор Шмелева — путь ортодокса, он следовал за учением Церкви, Достоевский — и на это обра-

[604] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 174.

[605] Письмо от 13.02.1946 // *Там же*. С. 381. Леонтьев не верил в христианскую идею Достоевского. См. «Наши новые христиане. Ф.М. Достоевский и гр. Лев Толстой» (1882). Так же он писал В.В. Розанову 13 апреля 1891 года: «Но усердно молю Бога, чтобы вы поскорее *переросли Достоевского* с его

щал внимание Леонтьев — был субъективен в переосмыслении религиозных истин.

Структура романа явно ориентирована на тексты Феофана, состоящие из глав, в названия которых положены моральные, религиозные понятия. Например, в «Поучениях»: «Грехопадение», «Страсти», «Зло», «Неверие», «Прелесть», «Гнев» и т.п.; в «Письмах»: «О развлечениях», «О соблазне», «О гневе», «Об искушении», «О затворничестве» и т.п. У Шмелева: «Откровение», «На перепутье», «Искушение», «Грехопадение», «Отпущение», «Соблазн», «Прозрение», «Попущение», «Преображение» и т.д. Такой же принцип — и в основе композиции ряда книг Ильина.

"гармониями", которых никогда не будет, да и не нужно. Его монашество — сочиненное. И учение от Зосимы — ложное; и весь стиль его бесед фальшивый»; из письма от 8 мая 1891 года: «Христианское учение (настоящее, а не *Фед. Мих...*) иногда *весьма* сурово и страшно, что делать!»; «Хотя в статье вашей о "Великом Инквизиторе" многое множество прекрасного и верного, и сама по себе "Легенда" есть прекрасная фантазия, но все-таки и оттенки самого *Дост.* в его взглядах на католицизм и вообще на христианство ошибочны, ложны, туманны: да и вам дай Бог от его *нездорового* и *подавляющего* влияния поскорее освободиться! Слишком сложно, туманно и к жизни неприложимо. В Оптиной "Братьев Карамазовых" *правильным правосл. сочинением не признают*, и *старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож.* Достоевский описал только его наружность, но говорить его заставил совершенно *не то*, что он говорит, и не в *том стиле*, в каком Амвросий выражается. У от. Амвросия *прежде всего* строго *церковная мистика* и уже потом — прикладная мораль. У от. Зосимы (устами которого говорит сам Фед. Мих.!) — прежде всего мораль, "любовь", "любовь" и т.д., ну, а мистика *очень* слаба. Не *верьте* ему, когда он хвалится, что знает *монашество*; он знает хорошо только *свою проповедь любви* — и больше ничего» (*Розанов В.В.* Собр.соч.: Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев. М., 2001. С. 329, 333, 336—337). Вл. Соловьев, чьи работы также оказали влияние на содержание «Путей небесных», писал: христианская идея искажалась у Достоевского, «по мнению г. Леонтьева, примесью сентиментальности и отвлеченного гуманизма. Оттенок сентиментальности мог быть в стиле у автора "Бедных людей", но во всяком случае гуманизм Достоевского не был тою отвлеченною моралью, которую обличает г. Леонтьев, ибо свои лучшие упования для человека Достоевский основывал на действительной вере в Христа и Церковь...» (*Соловьев В.* Три речи в память Достоевского // *Соловьев В.* Сочинения: В 2 т. / Сост. А.В. Гулыги, А.Ф. Лосева. М., 1988. Т. 2. С. 320).

Ильин также полагал, что «Пути небесные» — православный роман, потому что он поучающий (как он писал, учительный) и житийный. Шмелев, действительно, будто создавал жития своих героев, и в письме Ильину от 27 марта 1946 года сообщал о том, что вторая книга охватывает тридцать восемь дней жития главных героев, особо выделяя слово *жития*.

Вспомним: в июне 1935 года в речи на торжественном собрании по поводу десятилетия «Возрождения» Шмелев высказал мысль о двух силах творчества — о воображении и углубленном провидении. По-видимому, «Богомолье» и «Лето Господне» были написаны во многом благодаря интуиции и живому воображению, «Пути небесные» писались с мыслью о провидении. Ремизов понял это и сказал: «Лета Господня» и «Богомолья» Шмелеву было мало, ему хотелось создать что-то вроде «Бесов» Достоевского, «толстовское "Не могу молчать" и Достоевского "пророчества" в беллетристической форме — и в его глазах и как он выражался»[606]. Ильин также отметил новую писательскую манеру Шмелева:

> Я не знаю ни одного произведения у Шмелева, кроме разве «Путей небесных», где бы он попытался, наподобие Л.Н. Толстого («Крейцерова соната», «Война и мир») или наподобие Достоевского (главы о Зосиме в «Братьях Карамазовых»), выговорить идею своего произведения в добавочном отвлеченно-умствующем рассуждении, поднести ее читателю как бы освобожденною от художественного облачения[607].

Роман должен был разрешить могучие бытийные вопросы, которые вставали перед Шмелевым на протяжение его многотрудной жизни. А. Карташев имел основания написать:

---

[606] *Ремизов А*. Мышкина дудочка. С. 130.
[607] *Ильин И*. О тьме и просветлении. С. 163.

> В положительном понимании христианства и церкви Ив<ан> Серг<еевич> был поразительно прост… В этом смысле его религиозная психология была старообрядческой: «Так было, так и должно быть, лучше не выдумаешь! <…>» Вот почему было так безысходно его томление над замыслом «Путей небесных». Он удачно вел своих героев по первоначальным этапам религиозного пробуждения и просветления. Но надо было когда-то ответить не словами, а художественной правдой жизни на вопросы, превышающие религиозный опыт автора, а может быть, и самой статической церковности. Неудивительно, что автор изнемог. Сам Гете не одолел проблем второй части «Фауста», Гоголь второй части «Мертвых душ», даже Достоевский не дошел до «ответов» в «Карамазовых», даже Толстой — в «Воскресении». Такова вообще судьба вопросов, превышающих достигнутое человечеством и данное ему откровение[608].

Итак, православный роман. Православие в понимании Шмелева есть «в ы с ш а я с в о б о д а д у ш и, полная свобода… только надо в ы - н е с т и ее!»[609] — так он писал О.А. Бредиус-Субботиной 22 сентября 1941 года. Православные — горячие, пишет Шмелев, вспомнив из Божественного наказа Иоанну в «Апокалипсисе»: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3, 14—17). Православные, по Шмелеву, не теплые, а горячие — потому «нас Господь не изблюет из уст Своих»[610].

[608] *Карташев А.* Певец Святой Руси (Памяти И.С. Шмелева) // Центральный Пушкинский комитет в Париже. Т. 2. С. 449.

[609] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 123—124.

[610] *Там же.*

Князь Владимир, «слишком накрутивший в жизни», то есть горячий, принял православие, почувствовал в нем «с в о ю стихию»[611].

В «Путях небесных» Шмелев изобразил горячих.

Главный герой романа — Виктор Алексеевич Вейденгаммер — переживает совестный акт. Ему есть в чем виниться: «Я стал, в некотором смысле, нигилистом <...> испытывал как бы сладострастие, когда при мне доходили в спорах до кощунства, до скотского отношения к религии»; «Стыдно вспоминать, но мной овладело бурное чувство вожделения»; «Такие и еще более растлевающие мысли меня сжигали»; «Я ее развращал невольно» и т.п.

Шмелев полагал, что преображение Раскольникова — ложь, Раскольников — «нудящий неврастеник»[612]. Его герой — интеллигент с нормальной психикой, в определенном смысле гедонист 1870-х годов. Вейденгаммер — человек порыва, поначалу невер, для Амфитеатрова он — «москвич в Фаустовой мантии»[613]. В шестнадцать лет он познакомился с немецкой философией, случилось отпадение от религии, он, как в университетские годы сам Шмелев, стал отходить от веры; как Шмелев, он увлекся «Рефлексами головного мозга» Сеченова, и вселенная представилась ему «свободной игрой материальных сил»; окончив техническое училище, он, инженер-механик, занялся астрономической механикой, составлял карты небесных движений, и все это подвело его к мысли о тщетности человеческого знания, беспомощности мышления перед непознаваемым небом. Он бросился искать доказательств «вне-пространственно-материальной силы», и ему вдруг открылось черное мартовское небо в звез-

[611] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 1. С. 123—124.
[612] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 393.
[613] Возрождение. 1937. 20 марта.

дах; глядя в звезды, в секущие параболы, в небесные пути, прозрев «мириады солнечных систем», он погрузился в тоску, осознал свою никчемность, понял, что ограблен небом, что он «окурок».

Тридцатитрехлетний Вейденгаммер совершает аморальные поступки. Встретив юную Дариньку, он разжигает в себе хотение: «Мне хотелось, просто, и м е т ь эту беззащитную». Глядя на «черничку» Дариньку во время церковной службы, он впадал в кощунственную страстность и готов был петь ей тропари, как Пречистой, «соблазнялся в храме и соблазнял». В горький для нее период, когда она оплакивала смерть своей наставницы матушки Агнии, он овладел ею «в страстном исступлении». Оставив Дариньку в Москве и отлучившись в Петербург, он соблазняется там знаменитой венгеркой-танцовщицей. Шмелев, как свидетельствовала Юлия Кутырина[614], думал развить в романе тему прозрения истины через грех. Эта же мысль была в «Пути духовного обновления» Ильина.

Приход героя к вере показан как чудо перерождения, имевшее место в истории русской интеллигенции. Для Шмелева в этом смысле были показательны фигуры К. Леонтьева, Л. Толстого, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, С. Булгакова, С. Нилуса — мыслителя, в трудах которого писатель также искал истину. По замыслу Шмелева, герой должен был открыть для себя Пушкина, увидеться с Тургеневым в Спасском-Лутовинове, встретиться с Леонтьевым, в вере которого автор усматривал умственное принуждение. Все это должно было найти свое место в третьем томе.

Во втором томе говорится об увлечении героя Толстым. Известно намерение Шмелева ввести в повествование переписку Вейденгаммера с Толстым. Возможно, этот мотив

[614] См.: *Кутырина Ю.А.* «Пути небесные»: Заметки к третьему ненапечатанному тому // *Шмелев И.С.* Собр. соч. Т. 5. С. 443.

был бы развит в третьем томе. Но Толстой теперь для Шмелева не учитель — и этому выводу мы можем найти соответствующую мысль у Феофана, рассуждающего о «бреднях Толстого»:

> У этого Льва никакой веры нет. У него нет Бога, нет души, нет будущей жизни, а Господь Иисус Христос простой человек. <...> Все у него свой ум... <...> Какие это глупые студенты, что верят Л. Толстому, который ни во что не верит. У него нет ни Бога, ни души и ничего святого. Он пишет глупости для того только, чтобы смутить верующих, и все криво толкует. <...> Разбил мою голову башибузук Лев Толстой. Наболтал он кучу глупостей, а взяться у него не за что... Все почти бездоказательно...[615].

Во втором томе упоминаются петербургские лекции Вл. Соловьева о рождении Бога в человеке, о Богочеловечестве — в 1935 году. Шмелев сам увлекся «Чтениями о богочеловечестве» (1878—1881) Соловьева. «Чтения» имели свою роль в формировании идеи «Путей небесных». Соловьев писал об «умственном и нравственном разладе»[616], о необходимости религиозного начала и самоотрицания на пути к истинной свободе, к спасению, что имело непосредственное отношении к духовному пути Вейденгаммера. В духовном влиянии Дариньки на Вейденгаммера очевидно отражение рассуждений Соловьева о механическом мышлении и органическом, рассматривающем нечто в его связи со всем прочим и развивающем «одно понятие в полноту всецелой истины»[617]. Шмелев признавал в Соловьеве великий ум. Кутырина привела запись Шмелева 1925 года, в ней очевидны мысли Со-

[615] Душеполезные поучения святителя Феофана Затворника. С. 460—461.

[616] *Соловьев В.* Чтения о Богочеловечестве. Статьи. Стихотворения и поэмы. Из «Трех разговоров». СПб., 1994. С. 33.

[617] *Там же.* С. 121.

ловьева: «Верую, что человек есть орудие — средство преобразить мир, сделать его воистину Ликом Божиим — Видимым Богом. <...> Цель — Красота и Гармония всего сущего»[618]. О том же, по сути, писал Ильин в «Пути духовного обновления»: «Итак, любовь к совершенному есть источник религиозной веры. Именно на этом пути человек становится верующим в подлинном и чистом смысле этого слова»[619], как и «*совесть есть живая и цельная воля к совершенному*»[620]. Вейденгаммер желает послушать Соловьева, который, как кажется герою, говорит о том, во что Даринька верит сердцем. Однако Вейденгаммер приближается к началу «восхождения» не через интеллектуальный опыт, а благодаря Дариньке, ее сердечному и непосредственному принятию жизни.

Герою открывается истина, о которой размышлял сам Шмелев: во всем, что случается с ним и с Даринькой, проявляется рука ведущая, высший план, «даже в грехопадении, ибо грехопадения неизбежно вели к страданиям, а страдания заставляли искать п у т е й». В рождественскую ночь, в Кремле, он услышал, как пели звезды, и почувствовал, как душа наполнилась высшей гармонией. Духовно насыщенную жизнь Вейденгаммер и Даринька ведут в купленном им мценском имении Уютово, не так далеко от Козельска, от Оптиной пустыни. Там, глядя на звезды, которые чертили в небе

---

[618] *Кутырина Ю.* «Пути небесные»: Заметки к третьему ненапечатанному тому // *Шмелев И.С.* Собр. соч. Т. 5. С 444.

[619] *Ильин И.* Путь религиозного возрождения. С. 62.

[620] *Там же.* С. 113. Ср.: «...в повелении “будьте совершенны” требуются не единичные акты воли, а ставится *задача жизни*. <...> Требуется *процесс совершенствования* как неизбежный путь к совершенству, так что безусловное повеление “будьте совершенны” означает на деле: *становитесь совершенными*»; «...ясный голос *совести*, укоряющей человека не за одни плотские грехи, но также и за всякую неправду — за все чувства и действия несправедливые и безжалостные, а вместе с тем развивается и особое чувство страха Божия, удерживающее нас ото всякого столкновения с тем, в чем выражена для нас святость Божия» (*Соловьев В.* Оправдание добра // *Соловьев В.* Сочинения. Т. 1. С. 254—255, 265).

свои пути, он говорит о том, что наука не может дать ответа на вопрос, кто установил эти пути, и «никогда не даст»: наука есть мера, и мера не может объяснить безмерности. Завершается второй том фрагментом: Даринька дарит Вейденгаммеру Евангелие, в котором — «в с е».

Сюжет третьего тома должен был развиваться стремительно, хотя достичь этого, как полагал автор, непросто при тихом течении русской жизни 1880—1890-х годов. Замысел был таким: потрясенный гибелью Дариньки, Вейденгаммер принимает постриг, однако его духовный путь не заканчивается, он не постигает веры в полноте, он, как Леонтьев, мыслитель, лишенный высшего познания. Таких, как считал Шмелев, много в России; таких много особенно в католичестве, и эта мысль, возможно, была воспринята от Ильина, от Феофана. Перечитав двадцать первую главу Евангелия от Иоанна, Шмелев усмотрел в ней мотив размежевания церквей на православную и католическую, он обсуждал с Карташевым свою версию о том, что Иоанну было поручено хранение истины — православия. В третьем томе Шмелев намеревался развить эту тему. В первых двух томах вопрос о конфессиях лишь намечен: дед Вейденгаммера по житейским соображениям перешел в православие из лютеран; во втором томе появляется образ Франца-Иоганна Борелиуса, известного голландца-ювелира, кальвиниста, в старости «притулившегося на задворках православной церкви» и в ней приготовлявшегося к смерти. В третьем томе Шмелев намеревался рассказать о жизни русских монастырей, о водительстве старцев, образом Оптиной пустыни передать «просфорочно-корочный запах»[621].

Автор «Путей небесных» искал правду о мире умственно, но душе его было потребно наивное узнавание. Его ге-

[621] Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 382.

рою наивная простота предстала в образе Дариньки, сироты-золотошвейки с Малой Бронной, насельницы монастыря. Даринька — спасительница Вейденгаммера. В линии Дариньки развиты и представления Шмелева о ценностях любви.

Ильин писал о том, что «никто не умел живописать людей такого сердца и такой любви столь совершенно, как Достоевский, Лесков и Шмелев в России, как Диккенс и Гофман в Западной Европе», что настоящая любовь исходит из «чистого и цельного сердца», что «свою настоящую и высшую форму эта любовь приобретает тогда, когда она *срастается с духовным опытом* или прямо *вырастает* из него»[622]. В «Путях небесных» есть любовь-страсть и любовь возвышающая, Шмелев как бы разрешал проблему, поставленную Ильиным: «Человеку доступна двоякая любовь: любовь инстинкта и любовь духа»[623], которые редко сочетаются, хотя и не враждебны друг другу.

В письмах Шмелев сравнивал Дариньку с героиней «Неупиваемой чаши» Анастасией. Кроме того, образ Дариньки все более обретал черты жены Шмелева, Ольги Александровны. Писатель наделил героиню тихостью, чистотой, кротостью, детскостью: «голос у нее как будто детский»; «она плакала всхлипами, по-детски», «совсем, совсем как обиженный ребенок!»; «путаный полудетский лепет» и т.п. В то же время Шмелев хотел выразить в Дариньке женское обаяние, «предельный шарм», «апофеоз женственного»[624], заменяющий ослепивший Савла Свет. Вейденгаммер говорит о Дариньке: «У редких женщин бывает это… “тайна”, обыкновенно, та-ет, как только женщина “раскрывается”, телесно. Но если э т о — душевное, тогда она поведет за собой, до конца». В своей героине он видел духовную силу, опирался на

[622] *Ильин И.* Путь духовного обновления. С. 53.

[623] *Там же.*

[624] Письмо от 27.03.1946 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 394.

слова Библии: «И семя Жены сотрет главу Змия» (Быт. 3, 15). Даринька видится Вейденгаммеру «явленной», «иконной».

В Дариньке есть сила, отличающая святых. Сила эта была в бывшей блуднице, но явившей собой пример христианского аскетизма Марии Египетской, была в целомудренной Варваре Мученице — об этом Шмелев писал О.А. Бредиус-Субботиной 2 января 1942 года. Перечитав «Идиота», он обнаружил, что в этом романе (как считал, и гениальном, и неудачном, сумбурно построенном) в женщине нет такой силы. Как следует из его переписки с Ильиным, он называл самым удачным в романе образом генеральшу Епанчину, видел в ней истинно русскую женщину, но удивлялся тому, что нигде в романе не говорится о религиозности Епанчиных, что религиозно пуста Аглая. Ремизов почувствовал это, догадался, он написал: Шмелев хотел «вклеить в слова своей героини» что-то такое, что Алеше сказал Зосима: «Ты будешь все с несчастными и в несчастье счастлив будешь»[625].

Союз Дариньки с Вейденгаммером греховен, в этом ее крест. По свидетельству владыки Серафима, у которого Шмелев в 1937 и 1938 годах гостил в монастыре Братства Преподобного Иова Почаевского, писатель намеревался вложить в уста оптинского старца Амвросия данное Дариньке предсказание нести свой крест «ложного <…> положения называться женой Виктора Алексеевича»[626]. Вейденгаммер наставляет неопытную Дариньку, стремится привить ей вкус к красивой жизни в миру, создать из нее женщину для себя. Обдумывая эту ситуацию, Шмелев обращался к Достоевскому, к истории воспитания Настасьи Филипповны Тоцким. Он считал, что этот сюжет исходит из толстовского «Семейного счастья» (1859): Сергей Михайлыч приготовил себе

[625] *Ремизов А.* Мышкина дудочка. С. 132—133.

[626] *Кутырина Ю.А.* Свидетельство лично знавших Виктора Алексеевича // *Шмелев И.С.* Собр.соч. Т. 5. С. 473.

жену, Тоцкий приготовил себе наложницу. Но совесть Вейденгаммера и Дариньки распоряжается так, что воспитуемым оказывается он, а Даринька переживает ответственность за него. Как писал Ильин: «*Совесть есть первый и глубочайший источник чувства ответственности…*»[627].

Шмелев верил в то, что если бы отправили в отставку Сталина, Трумэна и других политических лидеров, а у кормила власти встали бы княгини Ольги, Марфы Посадницы, Марии Стюарт, Софьи, жизнь бы обновилась, поскольку, за редким исключением, женщина живет сердцем. Перлом и светом называл он Анастасию, супругу Ивана Грозного. Екатерина Медичи или Салтычиха, грузинская Тамара, Мессалина, Клеопатра, с его точки зрения, аномальны.

Писателя привлекал тип скромницы, в которой пробуждается страстность. При создании ее образа Шмелев обратился к пушкинскому «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…» (1831):

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий!

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом все боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле!

---

[627] *Ильин И.* Путь духовного обновления. С. 113.

Как видно из письма Шмелева к О.А. Бредиус-Субботиной от 3 ноября 1941года, он считал, что Пушкин дал лучшее о женщине — вакханке и смиреннице. Он обращался к тютчевскому «Люблю глаза твои, мой друг...» (1836): лирический герой любит глаза «с игрой их пламенно чудесной», но больше его влекут «Глаза, потупленные ниц / В минуты страстного лобзанья, / И сквозь опущенных ресниц / Угрюмый, тусклый огнь желанья». Такая Даринька.

Грех, греховное — лейтмотив размышлений Дариньки. Ее записи — череда беспощадных покаяний. Например: «Я кощунственно оправдывала похоти свои примерами из житий святых. Обманывала и заглушала совесть, прикрываясь неиссякаемым милосердием Господним»; «...припоминала самое искушающее, что читала в Четьи-Минее о Марии Египетской, о преп. Таисии-блуднице, о муч. Евдокии, "яже презельною своею красотою многие прельщающи, аки сетию улови", о волшебной отроковице-прелестнице Мелетинии на винограднике, о преп. Иакове-постнике, о престрашном грехе его. В грехах их искала оправдания страстям своим и искушала Господа»; «грех входил в меня сладостной истомой» и т.п. Свои малые грехи героиня переживает как тяжкие преступления, и в этом мотиве, скорее всего, выразились мысли Феофана Затворника: «И делает недостойным прощения не великость и множество грехов, а одна нераскаянность»[628].

Даринька многое открывает нам в представлениях Шмелева о женщине.

Чего Шмелев не дал Дариньке, так это ищущего ума, интеллектуального познания. В умствовании он видел источник духовных блужданий. Ильин возражал: можно быть сердцем ребенком и в то же время состояться как ученый,

---

[628] Душеполезные поучения святителя Феофана Затворника. С. 204.

художник и т.д. «В этом отношении Ваша Даринька мне *не* путеводна»[629], — писал он. Слова Христа «будьте как дети» (Мф. 18 : 3), по Ильину, не означают призыва к малообразованности. Эта же мысль содержится в «Пути духовного обновления»: «Итак, знание и вера совсем не исключают друг друга»[630].

С написанием второго тома «Путей небесных» завершились духовные искания писателя. Теперь бы он не назвал себя полувером.

[629] Письмо И. Ильина к И. Шмелеву от 15.03.1946 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 386.

[630] *Ильин И.* Путь духовного обновления. С. 38.

XXI. *Обвинение в коллаборационизме*
Женева
«Записки неписателя»
Труды и дни в Париже
Операция
Хлопоты
Кончина

В 1947 году Шмелев бедствовал, что, впрочем, случалось уже не раз. Но, как всегда, приходила помощь. Читательница из Голливуда прислала ему посылку со свитером. Фонд имени И.В. Кулаева передал Шмелеву пятьдесят долларов США из трехсот, ассигнованных на нужды писателей. Генерал Дмитрий Иванович Ознобишин, поклонник его творчества, основатель Казачьего музея, уезжая на жительство в Женеву, подарил Шмелеву чеки на сто пятьдесят долларов и добавил десять тысяч французских франков. Пришло пять посылок с крупой, банками молока от Шарлотты Максимилиановны Барейсс. Шмелев даже смог поделиться крупой с Ильиными и при этом по-мужски, обстоятельно объяснил, как варить кашу, посоветовал класть на дно кастрюли лист бумаги — чтобы не подгорела, рекомендовал добавлять в кастрюлю русское масло — опять же чтобы каша не подгорела, разъяснял: русское масло можно вытопить из сливочного!..

Здоровье Шмелева стало совсем слабым. На нервной почве открылась язва. Он описывал Ильину свою диету, но так, что, оказывается, и в диете язвенника можно найти удовольствие. Шмелев по-детски радовался малому:

> Пью молоко, с бел<ым> «бушА», из кондит<ерской> — взял в рот — и нет ничего! Но приятно растаяло. А это «растаяло» — с пятачок! — стоит 2 фр<анка>! — на 1 *секунду*!! Если так есть, в час… 7200 фр<анков>! Безу-мие. А посему ем только с чашкой молока, на 10 фр<анков> (5 штучек). Сахар и белок и так вздуты, будто воздушный чуть мятный пряничек (ну, жульничество, но приятное, сладкое). Зато молоко *втекает* терпимо. И — целое блюдо! А на 1-ое мал<енькая> кастр<юль>ка овсянки на молоке и с маслом. Вот и обед. Ем я два раза в день. Главное — недолго готовить. Утром — яйцо, чашку кофе с мол<оком>, кусочек сух<ого> хлеба. Хлеб ужасный! Сухарей — biscottes — нет! На ночь чашку молока и — 2 куска сахару. Мяса не ем, ветчину — вывел из обихода, к<а>к и супы. И вполне довольно. А когда — кисель. Сыр<ых> ягод и фр<уктов> — нельзя. Ложку варенья — вышел кисель. А манная-то еще!»[631]

Что предопределило обострение болезни? — сутуация, сложившаяся в эмиграции после окончания войны: его причислили к коллаборационистам, как и Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус, И.Д. Сургучева, генерала Н.Н. Головина, «карловацкого» митрополита Серафима и др. Что касается Шмелева, то его обвиняли в участии в молебне по случаю «освобождения» Крыма и в сотрудничестве с «Парижским вестником».

Опасность обвинения возникла еще в августе 1944 года, после изгнания фашистов из Франции. Тогда Шмелева спас

[631] Письмо к И. Ильину от 11.07.1947 // Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 152.

Виген Нерсесян, во время войны влиятельный участник движения Сопротивления. Он вычеркнул Шмелева из черного списка. Как писал Шмелев: «...а то бы меня смололо месяцами лагеря! Я — чист, дело бы разобрали, но до этого меня уже не было бы... я не вынес бы»[632]. Он сочувствовал Сургучеву, которого продержали несколько месяцев в тюрьме — присудили к шести месяцам и тут же освободили, поняв, как полагает Шмелев, что ситуация в большей степени спровоцирована доносами, чем позицией самого Сургучева.

Письмо Шмелева к О.А. Бредиус-Субботиной от 5/18 декабря 1945 года свидетельствует, что в печати против него разворачивалась кампания, начатая газетами «Русский патриот» (с марта 1945 года — «Советский патриот») и «Русские новости»:

> Читаешь русско-парижские газеты? Их две, мало чем разнятся. П о ю т. Порой — д о н о с я т. Там неприязнь злая к писателю. В переломное время (острое!) полезла из всех щелей озлобленная мелкота, ни йоты не давшая (ни в чем!), и сразу — за подвыванье! Не стану писать, об этом можно (и нужно) не говорить даже. Дошло до того (ползанье на брюхе), что даже, говорили, и т а м с т о ш н и л о... и, — говорил Ремизов и многие, — что «погрозились»: «не касаться... это — русский писатель!» М<ожет> б<ыть>... — не знаю точно. Сводили счетцы за все: и за мою «российско-национальную» л и н и ю во всем творчестве. Грызли ногти, что писатель не дал ни слова, ни буквы п р о т и в Родины. Он творил Лик России, той, которую, как теперь видно эту м о г и л у! — хотели раздавить и — зарыть в «общей яме». У меня есть данные, к а к бешено принимались (врагом) даже этюды из «Лета Господня». Т а к о й России — им не надо. Скажу: Господь изволил мне — б ы т ь и — п е т ь. Тебе не видно рвов

[632] Письмо к И. Ильину от 11.07.1947 // Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 141.

> и волчьих ям. Я тоже их не в и д е л, но я з н а л, что я не только «лишний» для планов оккупанта, но и...[633]

Эта очень недостойная история длилась не один год. Обстоятельства вынудили Шмелева объясняться и оправдываться. 8 марта 1946 года в письме к Борису Ивановичу Николаевскому, одному из создателей Гуверовского института в США, председателю литфонда помощи писателям и ученым, он объяснял:

> Война, с оккупации Франции немцами, прервала мое живое общение с читателем. Когда появился листок «Парижский Вестник» — да, скверный листок! — редактор полковник Богданович, знавший меня и мой читатель, не раз просил меня дать — «что хотите» о России... не только он. Меня донимали и мои читатели. «Почему Вы не говорите нам о нашем... Не продолжите "Лета Господня"»? Появившийся новый читатель... это было для меня великим искушением: говорить ему, показывать ему подлинную Россию! Я спросил полковника Богдановича: «на какие деньги газетка?» — «даю честное слово: на наши гроши! Помогите же, чтобы это было — не совсем "Полицейские ведомости"!..» Я ответил: «мне безразлично... вы из них "участка" не вытравите... все в кулаке и все — казарма... все в казарме и застенке... и если я соглашаюсь печатать, то потому только, чтобы продолжать давать мое, о родном... и, главное, для слепых! Ни одного слова не менять, печатать все, что я дам...» И я давал, пока проходило. Я дал перепечатку из «Возрождения» — «Чортов балаган». Я дал очерки «Лета Господня»... — «Именины»... — о былой России, незаляпанной...— *не* прошло. И я замолчал. И молчал 7—8 месяцев. Мне заявляли: «требуют "активного"». Я сказал: «нет, "активного" нет у меня и не будет». Я многое испытал. Я отказал представителю «шведско-немецкого концерна» продать авторские права... Так вот,

[633] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 2. С. 378—379.

мое «Рождество в Москве» было яростно похерено немецкой цензурой. Такой России им не нужно было. Мое шло в полный разрез — мое о России — с их пропагандой. Да, конечно, я всегда знал, что мое о России — это уже «контрпропаганда». Так мне и заявляли-писали мои читатели. Через месяц-два ко мне является новый редактор — Пятницкий: «дайте же нам о России!» — «Нет, о России не проходит». — «Пройдет!»... «Мы протащим...» Да, снова искушение: дать мою Россию, богатую, сильную, глубокую, сытую, с ее «С нами Бог...», с ее «духовным богатством...», а не <...> «историческое недоразумение»... не дикарей, вшивых, жрущих траву, дикарей-голодранцев, каких показывали, водя по берлинским улицам, ...не ту Россию, какую изображала всесветная печать до войны, да и после.., не говоря уже об оккупантах... «Печатайте, но ни одного слова не менять». Протащили, хотя, — говорили мне, — «косились где-то». Вот вся моя работа. Да, после я каялся: да, ошибся, лучше было бы совсем молчать. Но я не запятнал чести русского писателя. Я не опозорил себя, я — да, ошибся <...>.

Надо знать, в каких условиях протекала жизнь во Франции. Теперь многое уяснилось. А тогда... я многого и не знал и не предвидел. Теперь-то мы знаем, что все было под «гестапо». И все мы ходили у края ямы. <...> Теперь... да, я вижу, что многое иначе представлял себе... я верил в минимальную чистоту, порядочность людей... хотя бы и немцев... Но я не сказал, не написал ни одного слова за них, для них. Все мои напечатанные слова — могут быть прочтены, они — есть. <...>

Вот, Борис Иваныч. Тяжело мне было все это ворошить, писать Вам. Но я почувствовал, что я должен, хоть с Вами и не встречался, сказать Вам правду, ибо Вы сохранили доверие ко мне, — лично, правда, меня не зная. Благодарю Вас[634].

На Шмелева устроили самую настоящую травлю. 3 мая 1946 года Нина Берберова сообщала Иванову-Разумнику:

[634] Цит. по: *Бонгард-Левин. Г.М.* Дело И.С. Шмелева // *Бонгард-Левин Г.М.* Из «Русской Мысли». СПб., 2002. С. 106.

«Шмелев отовсюду исключен»[635]. 24 апреля 1947 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» содержался выпад против «Русской мысли», опубликовавшей «Поднятие икон» — главу из «Путей небесных» Шмелева, якобы сотрудничавшего с германским режимом. В защиту «Русской мысли» и Шмелева выступил Глеб Струве, на обвинения нью-йоркской газеты он ответил письмом в редакцию той же газеты «О “Возрождении”, “Русской Мысли”, И.С. Шмелеве и пр.”» (1947. 4 мая). 25 мая 1947 года по советскому радио была передана информация о том, что в «Русской мысли» публикуется Шмелев, сотрудничавший с немцами во время оккупации. Через неделю, 31 мая, «Русская мысль» опубликовала «Необходимый ответ» Шмелева. В нем говорилось: 25 мая советское радио оповестило о том, что в новой антикоммунистической газете «Русская мысль» печатается между другими фашистами и работавший с немцами во время оккупации Шмелев, но «фашистом, — объяснял он, — я никогда не был и сочувствия фашизму не проявлял никогда», «работал *против* немцев, против преследуемой ими цели — в отношении России»; «Парижский вестник» — единственная газета, распространявшаяся среди пригнанных в Европу русских; если немцы пропагандировали образ России как исторического недоразумения, то он показывал ее величие. Шмелев писал:

> Не раз предлагали мне в Эмигр<ационном> Управлении дать «что-нибудь поактуальнее». Я отвечал, что не пишу для пропаганды, «актуальности» в душе нет. На меня косились, задержали на полгода статью «Певец ледяной пустыни». Мне предлагали возглавить «литерат<урный> отдел» при Управлении и — я отклонил. Предложили — «почетным председателем», — ответил, что не ценю почета. А когда мне пришлось просить о визе за границу, для устройства литератур-

[635] Встреча с эмиграцией. С. 289.

> ных дел, ответили: «когда же вы дадите что-нибудь акту-альное?» Я снова заявил — не-спо-со-бен. <…> Я шел на жертву, работая в такой газетке. Но что же делать? Хоть через вражий орган «шептать» правду… — поймут, вздохнут, хотя бы слабый лик России почувствуют. Меня читали — и были благодарны. И все это — никак не значит, что я «работал с немцами»: моя работа шла как раз вразрез с их целью.

Владимиру Феофиловичу Зеелеру, генеральному секретарю «Союза писателей и журналистов», Шмелев в письме от 5 июня 1947 года объяснял ситуацию с молебном: дал свою подпись под молитвенным благодарением по случаю «освобождения» Крыма и о поминовении убиенных большевиками в Крыму русских людей, но в душе не было торжества, а была мысль о том, что сможет теперь поехать туда искать останки сына. По предложению Зеелера Шмелев вышел из Союза писателей и журналистов. Но Зеелер же боролся за Шмелева.

Не чувствуя за собой вины, но тяжело переживая обрушившееся на него обвинение, Шмелев обратил свой взор к русской диаспоре в США и заподозрил в разжигании кампании Марка Алданова. В 1947 году он объяснял недоброжелательство к себе Алданова высказанным ему отказом подписать письмо против нападения России на Финляндию. Он полагал, что Алданов не мог ему этого простить. Во Франции женатый на сестре Алданова Яков Полонский, публицист, автор статей в «Современных записках» и «Русских записках», рассылал по французским издательствам коммюнике, позорившее Шмелева. Шмелев был в этом уверен, и для этой уверенности были, очевидно, свои причины. Он даже подумал, уж не помогал ли Полонскому Бунин. В этой истории он склонен был видеть и наступление на него «Последних новостей», которые считал своего рода филиалом советского посольства.

Он полагал, что над ним творится расправа. Развернувшаяся травля напоминала описанное Ремизовым:

> ...мы здесь на каторге, и притом на бессрочной каторге. <...> Все друг друга ненавидят: везде одни враги. Если не открыто, то втихомолку каждый норовит нагадить другому. Постоянно шепчутся, озираясь. Какой-то всеобщий страх, что кто-то другой помешает и вырвет из рук. И это не от жадности, а от разъедающей нищеты. <...> Сочинить что-нибудь позорящее, оклеветать – первое удовольствие. И это стало второй природой — нашей каторжной природой[636].

Эмигрантское бытие как каторга — в этой мысли ничего неожиданного не было. Например, у Георгия Иванова: «А хотелось, не скрываю, — / Слава, деньги и почет. / В каторге я изнываю, / Черным дням веду подсчет» («В громе ваших барабанов...». «Посмертный дневник. 1958»). Но Ремизов писал о психологии каторжников.

В то же время в октябре 1947 года в связи с тем, что во время войны Шмелев никуда не выезжал из Парижа, он получил удостоверение привилегированного жителя Франции. Так ему было выражено признание французских властей. Этот факт, несомненно, должен был защитить его.

Пережить трудный период помогло творчество. 21 июля, в день иконы Казанской Божией Матери, в день рождения жены, он, например, принялся писать рассказ «Еловые лапы», закончил его 1 августа, в день рождения Серафима Преподобного. Хотел дать бесстрастно детскую и благостную русскую душу. Рассказ маленький, но, пока писал, устал. Он писал и усмирял страсти, усмирял страдания.

Вопреки навалившимся невзгодам, жизнь текла своим чередом. В 1948 году было издано полностью «Лето Гос-

[636] *Ремизов А.* Учитель музыки: Каторжная идиллия. С. 348—349.

подне». Огорчала очень высокая для кармана эмигранта цена — шестьсот франков. Идея издания созрела в конце 1946 года. Княгиня Софья Евгеньевна Трубецкая порекомендовала издавать в «ИМКА-Пресс». Бердяева там уже не было. Шмелев стороной узнал, что машинопись передана на рассмотрение комиссии, и эта новость вызвала тревогу: кто в комиссии? «остатки от “Матери-Мареи”, сатанисты, “евангелисты”, подсоветч<и>ки-подвывалы»? захотят «умыть»[637] Шмелева?.. Уже думал отдать машинопись Гукасову в «Возрождение», там были готовы издать книгу целиком. В январе 1947 года Виген Нерсесян, общественный активист, член французского отделения Национально-трудового союза Нового Поколения, сообщил ему о том, что произведение принято к печати издательством «Эдитёр-рэюни», по сути, «ИМКА-Пресс». 21 января Шмелев приехал в «ИМКА-Пресс» к делопроизводителю Б. Крутикову, который рассказал ему о положительном решении комиссии. Однако окончательное решение должен был принять Пауль Андерсон, руководитель издательства, участник ИМКА, куратор русских проектов. К работе над полным изданием «Лета Господня» намерены были приступить не ранее чем во второй половине года, поскольку из-за нехватки линотипистов из шести линотипных машин работали только две. Затратить на издание предполагалось триста тысяч. Причем Шмелев стал настаивать на том, чтобы текст набирался по старой орфографии. В противном случае грозил расторгнуть договор. Как печатать *Бог* без «ъ»?.. Издательство согласилось.

Как всегда, укрепил его силы Ильин. В 1948 году в пятнадцатом выпуске «Дня русского ребенка» появилась его статья «Иван Сергеевич Шмелев». Это был фрагмент из рукописи «О тьме и просветлении». Ильин писал о поч-

---

[637] Письмо к И. Ильину от 12.12.1946 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 522.

венничестве Шмелева, его духовной одержимости, его внепартийности, о расцвете предметного созерцания, о наполнении быта бытием, углублении лиризма, усилении пророческого содержания..

Иван Сергеевич устал сверхмерно, как он говорил. При всем пророческом содержании его текстов, он был уже человеком, измученным жизнью, нездоровьем, в определенной мере —собственными страстями и рефлексиями, собственной требовательностью к себе и к миру.

В целом в 1948 году жизнь Шмелева круто изменилась, он покинул Францию. Но этому предшествовала целая история.

26 июля 1947 года Иван Сергеевич получил письмо от епископа Серафима из монастыря Троицы в Джорданвилле. Ранее в письме к епископу Шмелев высказал такую мечту: сбросить бы десять-пятнадцать лет и податься под стены его обители. Это письмо было прочитано епископом архиепископу Виталию. И вот теперь епископ Серафим писал Шмелеву о своем желании помочь ему закончить «Пути небесные», при этом он ссылался на обнадеживающие слова владыки Виталия о возможности выписать Шмелева в Америку — хотя бы на год. В письме из Троицкой обители испрашивали его согласия на переезд, но не в обитель, поскольку там нет удобств; говорилось и о пожертвовании мецената, которого отыщет владыка Виталий. Шмелев смущен — он не может жить на средства мецената, он согласен жить в монастыре: он восхищен подвижничеством владыки, там родной воздух, там он не будет обузой. Предложение епископа было очень кстати: парижская квартира требовала больших денег — до двадцати пяти тысяч в год, парижская жизнь его извела, в Париже он плесневеет.

Мысль о переезде захватила Шмелева. Рождались творческие планы, он даже подумал о возможности реализовать намерения экранизовать свою прозу: во Франции он дважды

отказался продать права на кинематографическую версию «Неупиваемой чаши» — боялся искажений. Он попробовал бы сделать американский сценарий по своему «Трапезондскому коньяку». Он будет читать лекции. Он будет вставать в шесть-семь утра. Ему не придется ходить по лавкам, думать, когда сможет оплатить газ, электричество, квартиру. Он будет посещать храм. Он будет избавлен от ненужных посетителей. И еще ему так хочется побывать на Аляске. А еще хочется увидеть национальный парк в Калифорнии, там автомобили проезжают сквозь дупло, там медведи обитают на воле, там зайцы на лыжах, там водопады…

И еще аргумент: вдруг начнется Третья мировая война. Ильин успокаивал: в СССР голод и разруха, советская армия способна на диверсии, но не на мировую войну, Советы знают, что США обладают атомным оружием, к тому же еще не готовы подземные города Кузнецкого бассейна. Он советовал своему другу не связывать предполагамый переезд в США с угрозой войны: переезд не должен быть бегством. Ильин советовал Шмелеву не отказываться от меценатских денег при условии, что они будут вноситься архиепископу Виталию, советовал жить и на меценатство, и на гонорары, и на сотрудничество с монашеским журналом. Кроме того, он убеждал Шмелева поселиться не в монастыре, а недалеко от него.

Шмелев согласен: жить в самой обители, среди дисциплинированной братии, он действительно не сможет, а надеть клобук не мыслит — слишком в нем много личного и независимого. К тому же, живя в обители, своей свободой он может смущать монахов. В благодарность за покровительство он намеревался соответственно распорядиться своим литературным наследием и часть доходов от будущих изданий передать на православно-миссионерское установление: он решил оставить обители свои главные произведения, а именно «Солнце мертвых», «Лето Господне», «Богомолье», «Ста-

рый Валаам», не исключалось передать обители и «Пути небесные», и «Куликово Поле». Он не хотел быть нахлебником. Он поедет туда не с пустыми руками, не бесправным пришельцем! Нашлись меценаты, и со Шмелевым уже обсуждали возможность купить двухкомнатный домик.

Шмелева обнадеживала весть о том, что американцы раскрывают зоны для DP, т.е. перемещенных лиц: в таком случае центром русского рассеяния станут США. «Туда мне путь»[638], — писал он Ильину 19 августа 1947 года. Но с августа же появляются и первые проблемы: переезд не обещает быть скорым. Квота для русских закрыта до 1 января 1948 года, постоянная виза требует много хлопот.

Но Париж уже так невыносим! В декабре 1947 года Шмелев, оставив квартиру на попечение племянницы, перебрался в Женеву. Перед отъездом он вопросил Евангелие о своих планах — и ему ответилось главой 21 от Луки: когда Христа спросили о храме, он сказал, что придут дни, когда «не останется камня на камне», и еще Христос предостерег от заблуждений. И что это значило?.. Ильин иронизировал: у Бога яблоки воруете!

Шмелев уехал вместе с генералом Дмитрием Ивановичем Ознобишиным, известным библиофилом, в прошлом заместителем военного атташе в Париже. В январе 1942 года Иван Сергеевич получил от генерала письмо: ему предстояла вторая операция, и он просил Шмелева приехать — не хотел умереть, не пожав писателю руку. Шмелев поехал к нему, и тогда ему показалось, что они станут друзьями.

В Женеве Шмелев жил в пансионе, на свои деньги, не желая материально зависеть от генерала. Хозяйка отличалась строгостью, потому в пансионе был покой. Ни детей, ни собак, ни радио, персонал не то что не говорил громко, а просто

[638] Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 177.

шептал. Тут Иван Сергеевич вдруг обнаружил, что в Париже он недоедал. Он попал в праздную, сытую Женеву, в которой все закупали подарки к Новому году, а в кондитерской не было свободных мест, и витрины ломились от переизбытка продуктов. Но уже в его январских 1948 года письмах зазвучал мотив скуки и духовной пустыни. Вдруг он почувствовал, как давила даже чистота сервировки. Теперь ему предпочтительней русская харчевня. Нет цели, нет идеи, изо дня в день верчение в колесе — такова жизнь швейцарцев. Господи, даже у большевиков есть идея! Женева — ненужная, нечему тут учиться. Тоску наводила и плохая погода.

Пансион стал для него дороговат: 15 франков в сутки. Он искал другой пансион, но попадались лишь убогие и грязные. Он начал скучать по парижской квартире. Понял, что в своей квартире на улице Буало он обжился. Он даже бомбежку там пережил. Его тяготило великодушие Ознобишина. И что его понесло в сию счастливую страну? Он вновь утратил волю и вновь не мог взяться за работу. Как следствие женевского переедания началось обострение язвы. Ильин старался его успокоить: язва — это от долгого голода и нервного перенапряжения, а что касается щедрости Ознобишина, так не следует его лишать смысла жизни.

В январе 1948 года Шмелев поселился у инженера Г.О. Риша, доброго и странного человека. Ему под шестьдесят, он немного говорил по-русски, все время что-то чертил и спать ложился в семь вечера. Он мил и предупредителен, угощал чаем, а в знак расположения показал фотографию императорской семьи.

В Женеве оказался хороший храм, и Шмелев познакомился с отцом Леонтием (Барташевичем). По его совету он и поселился у Риша. У отца Леонтия была библиотека, и Шмелев мог ею пользоваться. Он сблизился с Федором Ефимовичем Волошиным — изобретателем-ученым, профессором, специалистом по точным приборам, в 1937 году основавшим

свою лабораторию в Париже. Он общался также с врачом Юрием Ильичом Лодыженским, который в 1920—1930-е годы возглавлял международный комитет «Во имя Бога» («Pro Deo»), и этот комитет помогал беженцам из социалистических стран. Лодыженский руководил Российским Красным Крестом в Женеве, он был членом бюро Лиги Обера — Лиги борьбы с III Интернационалом. Лодыженский пригласил Шмелева и Ознобишина на домашнюю елку, и Шмелев был умилен и обрадован сохранившимися традициями и преданиям. Он писал Ильину:

> Чудесная пара (внучка и внучек) ребятенков! — какая радость для баб<ушки> с дед<ушкой>! Елка на фоне раскраш<енного> полотнища (грибы — сказочные), — к<а>к меня это *взяло*! Подарки — уйма! — из камина, целый воз Д<еда> Мороза (*без* мороза!), и я получил — репродукцию иконную из собрания Кондакова. Ну, вороха еды...»[639].

Светлым было и Рождество 1948 года. В девять утра от О.А. Бредиус-Субботиной ему были присланы розы. Он писал ей 9 января 1948 года:

> Светлая Ольгуна, ты необычайна, единственна! Целую *сердце* твое. Это Рождество стало для меня таким лучезарным — Тобою, моя радость! Розы твои — сама ты. Они девственно-свежи и сегодня — на третий день Рождества. Вон они, ж и в ы е, яркие, — в полной силе, между двойных рам. Они освещают меня, и вся комната — твой свет.
>
> 25 дек. (7 янв.), без 20 мин. в 10 ч., когда я, выпив кофе, это petit dejeuner, — с 2 теплыми булочками, медом, маслом, отличным молоком, собирался ехать в церковь (5 мин. от меня tramway), девушка принесла цветы — твой ранний поцелуй —

---

[639] Письмо к И. Ильину от 8.01.1948 // Переписка двух Иванов (1935—1946). С. 227.

во — Имя Света Разума... и — Сердца. Сияли розы и все кругом. Я сейчас же сказал — обрезать кончики и поставить в вазу. Хрустальная ваза *как раз* поместилась между рамами. В комнате очень тепло и сухо, и розы быстро истомились бы, если бы не это укрытие — влажность-свежесть. И вот они живут. И я живу ими — тобой. Я понес эту ж и з н ь во мне — в церковь, весь праздничный и обновленный. И этот день Рождества был для меня весь наполнен счастьем, сознанием — что ты со мной. Голубка Оля — нет слов у меня: они утонули в сердце, и я несу их чутко-нежно – священно. <...> О, моя радость! моя голубка, моя сила и свет! Да будешь ты благословенна! Преклонившись, целую твои руки[640].

На Рождество в Париж из Америки на имя Ивана Сергеевича пришли три посылки, и он попросил Юлию Александровну Кутырину раздать их содержимое нуждающимся. В первый день Рождества он, после обедни, обедал у отца Леонтия, а в следующее воскресенье для русской колонии была устроена большая елка — и Шмелев читал там отрывки из своей «Няни».

Теперь он уже не скучал по парижской квартире и решил задержаться в Женеве, затребовал из Парижа пальто, приобретенное еще в Берлине в 1922 году. Купил себе теплые туфли и калоши. Из Парижа ему переслали машинку. В феврале 1948 года возвратилось желание работать. В начале двадцатых чисел февраля Шмелев вновь читал, теперь уже у отца Леонтия, перед небольшой аудиторией, по случаю приезда отца Нафанаила: в течение сорока минут исполнял «Масленицу» из «Лета Господня». Читалось легко, в полный голос. Следующие чтения были семнадцатого и восемнадцатого апреля, они были организованы Русско-швейцарским клубом, и он читал «Куликово Поле», «На святой дороге» из «Бо-

[640] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 2. С. 664—665. *...petit dejeuner* — утренний завтрак (*фр.*). *...tramway* — трамвай (*фр.*).

гомолья», «Масленицу», фрагмент из «Няни из Москвы», сокращенный вариант «Чудесного билета». Все чтения проходили триумфально, он был в форме и покорял аудиторию. Но потом наступало недомогание.

Ильин пригласил его с чтениями в Цюрих. Они состоялось 26 июня. Было разослано 284 приглашения. Читал опять же «На святой дороге», из «Лета Господня» — «Крещение», из «Няни из Москвы». Шмелев полагал, что это его последняя встреча с Ильиным: они увиделись и, по сути, простились.

В Женеве у Шмелева появились новые заботы — о русских детях. Он сочувствовал идее создать дом отдыха для обездоленных славянских детей и для этой цели пытался раздобыть деньги, он приветствовал создание славянского детского Комитета спасения, почетным председателем которого стал отец Леонтий. Он познакомился с подвижниками этого дела, небогатыми людьми, готовыми принять участие в судьбах больных детей. Он поражен: миллионеры не дают денег на то, чтобы спасти четырех больных детей, а шестидесятилетняя врач Вера Дмитриевна Носенко платит свои деньги за квартирку для этих несчастных, принявший православие редактор католического журнала мистер Томас выделил на содержание одного ребенка 150 франков в месяц, свою посильную помощь оказала некая горбатая женщина, брошенная коммунистом-мужем в Будапеште. Сам Шмелев 17 июня 1948 года вызвался публично читать свои произведения в пользу организованной четой Носенко нагорной здравницы в Лейзине для вывезенных из Германии и Франции неимущих детей, которым угрожает туберкулез. И он читал из «Богомолья», «Лета Господня», «Няни из Москвы», ставил автографы на специально заказанных фотографиях. Зал на сто пятьдесят человек был полон, и удалось собрать 640 швейцарских франков. Да еще после цюрихских чтений он смог переслать на здравницу 275 франков. Кроме того, для этой здравницы Шмелев завещал 490 франков.

Иван Сергеевич все еще не отказывался от мысли осесть в США. Он намеревался поехать туда через Испанию, где должен был урегулировать издательские вопросы. Но в то же время он чувствовал, что сил на переезд уже нет, убеждал себя в том, что в США та же скука, что и в Женеве. И хотя Шмелев пытался получить визу в США, но все более понимал, что, не дождавшись визы, уедет обратно во Францию. Нужна ли ему Америка? И стало ясно, что бежать он намеревался туда от себя.

Однако созрело новое решение — уехать в Канаду. Там есть у преосвященного Иоасафа скит. Канада ему даже больше по сердцу!.. Тем более что в Троицкой обители вспыхнул конфликт между епископом Серафимом и создателем обители — игуменом Пантелеймоном, шестнадцать лет проработавшим на авиационном заводе у Сикорского. Возможно, теперь Серафим получит послушание создать новую «ячейку» в Калифорнии или Флориде.

Уже в феврале 1948 года Шмелев понял, что виза — непреодолимая преграда. Ему было отказано даже в туристической визе. В майском письме от вице-консула сообщалось: «К сожалению, уведомляю Вас, что после внимательного рассмотрения прошения о туристической визе, которую Вы заявили в Консульстве 14 мая, я обязан заключить, что Вы не подлежите к получению визы для посетителей»[641]. И хотя консул советовал возбудить ходатайство в Цюрихе о постоянной иммиграционной визе, вице-консул отказался принять Шмелева, пожелавшего узнать о причинах отказа. Шмелев написал в Париж, но и в Париже в американской визе было отказано.

Причина отказов очевидна — возня вокруг имени Шмелева по поводу его якобы коллаборационизма. В июне 1948 года он получил конверт без подписи, в котором содержалась ста-

---

[641] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 2. С. 492.

тья нью-йоркской газеты «Новое русское слово», а в статье сообщалось, что Шмелеву было отказано в визе в США из-за его сотрудничества с «Парижским вестником» и участия в молебне 1942 года.

Еще 29 января 1948 года Иван Сергеевич писал Ксении Васильевне Деникиной:

> В Америке, как и в Париже, меня пытались опорочить. Знаю. Все знаю. Созвучно с Кремлем — бесами, до поношения по радио. Я ответил публично. Может быть, Вы знаете? Но русским — «американским» я еще не ответил. Агенты бесов из Парижа (группка) снабжала газету в Нью-Йорке клеветой. Я знаю последствия. Но никому не пришло в голову попросить моих объяснений, а меры-то приняли, пытаясь лишить меня чести, лишив (!!) посылок! Ответил на клевету за меня мой верный множественный читатель! Я все высказал в письме Г<осподину> Б.И. Николаевскому... (почему — это другой вопрос), но, он, знаю, не мог ответить: нечего было отвечать. Он был подавлен и изумлен. Я это знаю. Он — честный человек. Поверили «Советским агентам» (теперь это определилось), но старого русского писателя не сочли нужным запросить.
>
> Сведения о клевете дошли до меня с большим запозданием. А из Парижа писали — кто меня знает, — и не один человек писал, — но втуне. Бог с ними. Придет, быть может, день, когда я коснусь и этого.
>
> Вот так же неверно (и я могу это доказать) оценили и осудили мое участие в богослужении по поводу освобождения Крыма: тут я оказался жертвой. Надо знать все. В своем ответе в «Русскую мысль» от 31 мая я не позволил себе коснуться «крымского»: открывать душу кому?! — псам, бесам? чтобы они плюнули еще?! Нет. Придет, быть может, день, когда я коснусь этого. А «агенты» и «документ» привели, и газета американская перепечатала! И сей стряпне, подлогу-то, и поверили. А корни сего — ох, глубоки! С февраля 1940 (помните, как Антон Иванович посетил меня и пожал мне руку за то, что я не подписался под «гнусным воззванием» в «Пос-

ледних новостях»? Вот оттуда). Со мной, много спустя, свели счеты. Так я и полагал. И о сем коснулся в письме Борису И<вановичу> Николаевскому. Моя жизнь — вся открыта и мною написанный мой паспорт. И чуткие это знают. Знают меня и — они меня не покинули. О, много их и — оттуда. И не кучке «сов-патриотов» и по ее клевете — не некоторой группе введенных в заблуждение людей в Нью-Йорке — учить меня чести и любви к Родине. Я более полувека — русский писатель и знаю, что такое русский писатель и каков его долг. Я уверен, что дорогой Антон Иванович знал подлинного меня. Как и Вы, милый, добрый и давний друг наш. Каков был, тем и остался. Многое мог бы сказать Вам. Может быть, и доведется. Мне грустно, что в числе поверивших клевете и подолгу могли оказаться чистые, достойные русские люди, кого я и посейчас почитаю, радуясь их служению обездоленным... Было создано «замешательство», создано сознательно-злостно, на радость бесам. И многие в сем без вины виноватые. Ну, время придет, и если это надо, с помощью Божьей, — все откроется.

Простите, что, невольно взволновавшись поднявшейся горечью, высказался перед Вами. Но что-то повелело мне сделать так. Вы, как и Антон Иванович, знали меня, может быть, ближе и вернее, чем иные многие. Но — и я это знаю — мой массовый читатель остался мне верен. И когда горсть хулила меня — мне посылали благодарственные и укрепляющие письма и знаки — за то, что я давал им Россию, когда ее лишь поливали грязью и заливали кровью. Это был ответ — за меня[642].

7 июля 1948 года появилось «Письмо в "Новое русское слово"» К.В. Деникиной, в котором она протестовала против обвинений, выдвинутых против Шмелева. В защиту писателя выступали Г.П.Струве, В.А. Маевский, А.В. Карташев,

[642] К «Делу» И.С. Шмелева // Русское Зарубежье. Вып. 1. М., 2004. С. 115—116.

В.Ф. Зеелер, Н.В. Борзов. Сложилось мнение, что инцидент был инициирован определенными эмигрантскими кругами и спровоцирован Москвой — за неприятие Шмелевым большевизма и за его нежелание вернуться в СССР.

Шмелев послал письмо Александре Львовне Толстой, учредительнице Толстовского фонда. Он вновь вынужден был прояснять истину. Он обращался к ней за третейским разбирательством клеветнических инициатив. «Глубокоуважаемый и дорогой Иван Сергеевич» — так начиналось ответное письмо Толстой. Она писала ему об остроте ситуации, которая не позволяла ей оказать письму Шмелева должного внимания: «Придется подождать, пока события несколько улягутся»; при этом она признавалась: «...я большая поклонница Ваших произведений, читала все, что только было в печати»; указывая на явную тенденциозность в отношении прессы к Шмелеву, она сетовала: «Во всем этом вопросе можно только удивляться одному, почему русская “общественность” не предает анафеме всех тех, которые еще в самом недалеком прошлом прославляли великого вождя Сталина»; в конце письма — «крепко жму Вашу руку»[643] и просьба сообщить о его материальном положении. К чести Толстой, в 1949 году она поддерживала Шмелева, перечисляя ему небольшие суммы. Позже, спасаясь от нищеты, Шмелев предлагал фонду купить у него авторские права за 75—100 долларов в месяц, однако у фонда не оказалось такой возможности[644].

Удар был нанесен не только по душевному самочувствию Шмелева. В ноябре 1948 года он серьезно заболел. Его замучили бессонница и зуд, он потерял аппетит, что только обострило его отчаяние. В критический момент его буквально спасла Мария Тарасовна Волошина, супруга профессора.

---

[643] Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 367.

[644] См. коммен. Ю.Т. Лисицы к изд.: Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 494—495.

Дело в том, что Волошины тоже жили у Риша, потому она вовремя вызвала доктора, который назначил ему уколы от язвы и питательное голландское средство. Окружение Шмелева не сомневалось, что болезнь ноября-декабря 1948 года была спровоцирована травлей.

Борис Зайцев написал Шмелеву 3 июня1948 года: «...из прежней России осталось четыре писателя: Бунин, Вы, Ремизов и я...»[645]. Шмелев — писатель прежней России, но он решил открыть для себя новую тему и написал «Угодников соловецких», включив их в цикл «Заметы». В рассказе события происходили в лагере. Некий швейцарский подданный присужден к десяти годам заключения в Соловецком лагере. Там он случайно нашел часть расколотой штыком иконы с изображением двух угодников, сохранил дощечку под нарами, а вскоре нашел другую половину с изображением трех ликов. За чудесной находкой последовало неожиданное освобождение.

Лагерная тема — неизвестная Шмелеву. Реального материала он не знал, в дальнейшем она так и не была развита в его творчестве. В мае 1948 года он задумал написать — уже в который раз — о трагических для России ошибках гуманитарной интеллигенции. Вызов звучал в самом названии — «Записки неписателя». Закончил он этот рассказ в январе 1949-го.

О самочувствии Шмелева во время создания рассказа можно судить по его письму к Ильину 9 мая 1948 года:

> Эти две послед<ние> ночи сплю по 3 ч<аса> — просыпаясь, как зарянка, — или голодная мышь — в 5 ч<асов> у<тра>. И, лежу, выпуча глаза. Как драная коза: все ду-мы, мысли, видения... речи... морды... — откуда-то из буду-

---

[645] *Зайцев Б.* Письма. 1923—1971 // Собр. соч. Т. 11. С. 171.

> щ<его> (?) труда?.. Одурел. Хочу — и не могу *сесть*: жгётся! И — толкает. Не «поползновение» ли?!.. И все — каша… — стр<ашно>смотреть. В-смотреться. Чушь… Хочу по-лной свободы — в сказе! Бесппланно. Да так оно и д<олжно> б<ыть>. Ибо — все — *хаос*. Итоги? А «герой»… — не то учит<ель> рус<ской> слов<есности> (в провинц<иальной> гимн<азии>), не то юрист… не то черт его зн<ает> — что — кто?![646]

В его воображении всплывали сами по себе видения, из которых должны бы родиться образы:

> И — почему-то! — сын (да и сам раньше) пряничника тверского (знаете крут<ые> мятн<ые> овечки, лошадки, рыбки, петухи, человечки… вязкие, бе-лые… <…> Приехал из Тв<ери>в универ<ситет> — калоши хлюпают)[647].

Рождались предметные и вкусовые ассоциации, сюжетные фрагменты… он — как сказано у Пушкина — «думал уж о форме плана и как героя назовет...». Всему этому Шмелев наконец придал идею: рушится вера в прогресс. Вдруг пришел на память чеховский Николай Степанович из «Скучной истории»: пустышка, мыслящий слизняк, в нем много самомнения при рабстве духа.

Так создавались «Записки неписателя». Непроизвольный поток образов Шмелев подчинил идее, придал ему поучающую направленность, и это его не смущало, как и при создании «Путей небесных». Для написания рассказа он искал труды Ключевского: Ключевский должен помочь изобразить русские основы. Но Ключевский и сам стал образом этого рассказа. Шмелев придумал Васика Субботина, который умер, будучи студентом второго курса историко-филологи-

---

[646] Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 318.

[647] *Там же.*

ческого факультета, о чем жалел Ключевский: в Васике он видел своего духовного наследника. Ключевский Шмелеву нужен был в рассказе как могучая фигура, в истории русской мысли противоположная разрушительному, критическому направлению.

В середине 1920-х в Варшаве были изданы «Записки писателя» Михаила Арцыбашева. В них содержались размышления о Советской России, о политических позициях эмиграции и ее задачах по сохранению не серебряных ложек, а вечных ценностей. Он писал: «Моя родина — русский народ, со всей его историей, с его величавым прошлым, с его культурой, с его языком, с его поэзией, с его своеобразной красотой»[648]. Послужило ли арцыбашевское произведение поводом для появления названия «Записок неписателя» Шмелева, неизвестно. Но задачи были общие.

Шмелев захотел показать патриархальную, целостную, русскую семью, через описание которой выявлялась нецельность русской жизни. Так много созидательного в русской семье — и почему литература дала обществу картину развала и ничтожества жизни? Герой записок, Сергей Печкин, — учитель истории и русского языка в Т-ой гимназии. Записки Печкина — это как урок личностного становления. На склоне жизни он задает себе вопрос, познал ли он, неписатель и немыслитель, суть бытия.

Отец рассказчика — тверской пряничный фабрикант, пряничниками были и деды, трудились они радостно и зла никому не делали. Шмелев на примере семьи Печкина развил свою основную тему — устои, лад. Он писал о том, что Тверь славится не только пряниками, но и красавицами, что матушка героя была скромная и стыдливая, что черта уклада российской семьи — простота: вот и государь, оставив пра-

[648] *Арцыбашев М.* Записки писателя // Литература русского зарубежья: Антология. М., 1991. Т. 2. С. 461.

деда у себя обедать, угощал жареным поросенком с кашей. По матери герой — из московских купцов. Шмелев показал, что замоскворецкий уклад — не тверской, он с лестовками, цепными собаками, странниками, гаданиями, няниными сказками, со стыдливостью и целомудрием, со множеством обмоленных икон, наконец, «с глубочайшим чувством и н о г о мира, который вот так близко, глядит и ш е п ч е т». Не тверские, не московские устои российского мира не сужали, а «ширили и углубляли». Дед — «добрый русский человек душевно-чистый». Шмелев писал об интеллектуальных основах русской жизни: дед знал книги Татищева, Карамзина, Соловьева, любил читать про Святителей, про то, как они строили Россию. В духовной жизни русских есть почва, на которую следует опереться и в которую надо упереться. Шмелев ввел в текст совет Ильина держаться за край ризы Господней. Дед поучает в черные дни уныния именно так и поступать: «“За край Ризы Господней...” — где это я прочел?.. з д е с ь прочел, у проникновенного нашего мудреца. И... как это благостно!..». Этому же учил и Преподобный Серафим Саровский, в рассказе не названный, но узнаваемый по известному своему обращению «радость моя». Святой благословил прадеда рассказчика словами: «Ступай, радость моя, как ступал доселе, Господь с тобой». Святой радовался — и дед, советуя держаться за ризу Господню, говорил о радости-сладости жизни.

Итак, с Господом, радостно, просто.

Но Россия претерпела развал. Рассказчик ищет ответ на вопрос: если у человека ума палата, то почему «в с е... т а к?!». Когда произошло убийство царя-освободителя, народ кричал: «...нашего Царя-Ослободителя вчерась убили!» Народ убийства царя не принял, рабочие крестились, на лицах пекарей был страх, и в том страхе было предчувствие надвигавшегося зла. Убийство Александра Второго научило русского человека самому «досматривать», быть не только устроителем жизни, но и ответственным. Шмелев указал и на ох-

ранительные позиции народа, с одной стороны, и анархические — с другой. Были такие, как кузнец Аким, и они убийство царя поняли как упразднение закона и как право самим устанавливать закон. Народным анархистам противостоят те, в ком силен инстинкт поряка.

Дед указал на источник хаоса — это нигилист. Герой — неписатель, потому что Шмелев не удовлетворен уроками писателей. Писатель боится упрощений, сворачивает с той дороги, на которую его влекло вдохновение. Исключением был Пушкин, у него надо учиться простоте отношения к жизни. Сам столь проникновенно написавший о своем отце, Шмелев в «Записках неписателя» удручен тем, что русская литература проглядела тип отца, прошла мимо этой, коренной для человека, сути русской жизни.

> Для меня становится ясным, как рус<ская> литература — невольно искажала *правду о России* и о русск<ом> человеке. Не Обломове, а — волевом. Жертвой такого невольного искажения явился Гоголь и — за ним, десятилетия недодуманностей и — и лжи. Не крепили, а подкашивали»[649].

Так писал Шмелев Ильину, а тот подхватил шмелевскую тему и развил ее в письме от 4 августа 1949 года: да, писатели стали смакователями зла, исключений не так уж много — Пушкин, Аксаков, Толстой, Лесков. Неожиданна мысль Ильина о том, что критицизм оказался бременем, мукой и для душевного состояния самих критиков:

> Но Гоголь сам *изнемог* от этого, даже до смерти. Достоевский *мечтал* прекратить это. Тургенев, скудный в духовном видении, старался не впадать в это. И особенно народ-

[649] Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 378.

> ники «последнего призыва» — Бунин, Горький, Куприн. Начитаешься — и *свет не мил*, на людей не глядел бы, России стыдился бы... Как по-Вашему — Куприн пил и *потому так* видел, или *так* видел и *потому* пил?»[650]

Но возразим Ильину: «народники “последнего призыва”» довольно быстро стали не народниками и обратились к вечным, универсальным ценностям. Бунин в «Окаянных днях», записках 1918—1919 годов, сам писал о развращенности русской литературы, «которая сто лет позорила буквально все классы, то есть “попа”, “обывателя”, мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина...»[651].

Шмелев нищенствовал, но в самый мрачный момент, как всегда, приходило чудесное спасение. Так часто бывало и с его героями. В ноябре 1948 года он вдруг получил гонорар за «Росстани», которого должно было хватить на два месяца жизни. Появилась надежда: он получил корректуру второй части «Путей небесных», корректуры «Богомолья» и «Солнца мертвых», «ИМКА» взяла к изданию «Куликово Поле», готовилось третье издание «Няни из Москвы».

В марте 1949 года Шмелев вернулся в Париж. Он приехал туда с 31 франком в кармане. У героя его «Въезда в Париж», Бич-Бураева, было больше — сорок. Шмелеву все там немило, квартира далекая и грязная, он одинок и болен. Но и куда-либо перебираться из Парижа пока не намерен, даже в США, хотя в июле 1949 года А.Л. Толстая и сообщила ему о том, что его друзья просят ее хлопотать о визе. Летом на десять дней он, правда, съездил в Женеву: там 30 июня читал свое слово о Пушкине.

---

[650] Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 397.
[651] *Бунин И.А.* Собр. соч. Т. 8. С. 95.

Он жил, как и раньше, горячо воспринимая все, что происходило вокруг. Например, возмущался «Русской мыслью», напечатавшей стихи Максимилиана Волошина «Роковой день», которые, как он посчитал, не многим отличались от «Двенадцати» Блока. Эти стихи о погибшей России — какой-то «вывих неврастеника»[652], крайности!..

Сам страстный и порой мнительный, он задумывался о том, что порождает человеческие крайности. В августе он написал статью «О Достоевском: К роману “Идиот”», и в ней высказал соображения о том, что в творчество Достоевского, изображавшего соблазны и крайности человека, корнями уходят труды Шпенглера. Очевидно, что и дерзкий человекобог Ницше порожден душевным хаосом героев Достоевского. Достоевский нащупал в человеке страшное — древний соблазн греха. В «Идиоте», замыслив изобразить «положительно прекрасного человека», он даже высказал мысль о возможности пересоздания жизни людей, влияния на них такого человека. Как это Мышкин Рогожину сказал: Парфен, есть, что делать на нашем русском свете! Действенная любовь — вот что считал Шмелев замечательным в этом романе. Хотя сам князь действует редко, «не проявляет и тени любви», к Настасье Филипповне у него только жалость… Шмелев даже решил, что Мышкин и Рогожин — сообщники, оба они, по сути-то, убили ее, оба поражены безумием. Нет... Мышкин — еще не тот положительно прекрасный человек, которого хотел показать Достоевский. Не получилось все-таки в «Идиоте» показать освобождение человека от греха…

Почему Достоевский, ранее не единожды перечитанный, так занимал мысли Шмелева в 1949 году? Он все-таки не отказывался от идеи написать третий том «Путей небесных». Он сам хотел разрешить вопрос: можно ли создать

[652] Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 388.

такого положительно прекрасного? можно ли человека пересоздать? В чем Шмелев не сомневался, так это в невозможности изменить Сталина.

Политические настроения эмиграции его волновали не менее страстно, чем психологические глубины человека. В конце 1939 года правление Богословского института осудило Георгия Федотова за опубликованные в левой печати, в том числе в журнале А.Ф. Керенского «Новая Россия», статьи, в которых высказывалась мысль о возможном изменении сути Советской власти, об обретении ею демократического смысла[653]. В результате преподававший Федотов ушел в отставку — сам Евлогий настаивал на его исключении из числа преподавателей Богословского института. Федотов подвергся критике со стороны правых. Прошло десять лет, но и в 1949 году Шмелев непримирим: для него Федотов — как Чаадаев и «прочая св<олочь>»[654]. Шмелев уже стар, он слаб физически, но он по-прежнему неистовый. В начале августа, после пятнадцати дней бессонницы, он понял, что конец приближается. Но писать-то надо! Перо падает… но писать надо!

В квартире Шмелева вместе с ним жили его женевские знакомые Федор Ефимович и Мария Тарасовна Волошины. Они взяли на себя заботы о нем, частично платили за квартиру. 26 ноября 1949 года Шмелеву сделали операцию в частной клинике: вследствие закрывшейся язвы отказал привратник желудка. Состояние перед операцией было критическое, очевидной стала угроза смерти. Волошина срочно вызвала врача. Опасались того, что время операции упущено.

В Шмелеве не было страха. За четыре часа до операции он заснул, во время операции, под местной анестезией, он ду-

[653] См.: *Керенский А.Ф.* Преступление Г.П. Федотова // Новая Россия. 1939. № 68. С. 4—8.

[654] Письмо к И. Ильину от 9.09.1949 // Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 400.

мал о Боге и о хорошем бульоне. Он познал то, к чему всегда стремился, — Бог был с ним, а смерти нет. Это ощущение на себе Божьей воли, отсутствие страха смерти Шмелев испытал еще до операции, 23 ноября, когда архимандрит Мефодий (Кульман) из Аньера радостно и светло молебствовал у него, исповедовал его и причастил.

После операции Шмелев потерял 20 килограммов и весил теперь 39 килограммов. Он выжил и считал это чудом: Бог дал срок закончить «Пути небесные». Так он решил. Ему очень захотелось писать, но врачи запретили. Чтобы выжить, ему необходимо было полгода полного покоя и высококалорийное питание. Операция стоила шестьдесят четыре тысячи. Конечно, у Шмелева этих денег не было. Деньги собирали друзья. Вот письмо Ильина к Карташеву от 2 декабря 1949 года:

> Дорогой Антон Владимирович!
>
> Принял меры по всем линиям для того, чтобы устроить помощь Ивану Сергеевичу. Вот что сделано — *всего на 33 Ваших тысяч*. Но, простите — аккумулятивный центр у Вас.
>
> Вчера я добыл *50 наших*. Вечером вчера же обеспечил банк<овский> перевод *30 наших*. Сегодня говорил с *Екатериной Сергеевной Фишер*: она немедленно присылает *250* наших (из Парижа Вам переведут почтою) и затем *сама предложила «потом» переводить Ивану Сергеевичу еще и ежемесячную квоту*. Значит, эти суммы поступят к Вам в ближайшие же *дни по разным каналам*.
>
> Остальное — дело Божие (т.е. исцеление и благословение).
>
> *Е.С. Фишер очень просит сообщить ей*, т.е. *мне для нее* — адрес лечебницы, где лежит Иван Сергеевич. Сие для *особого вида помощи «натурою»*.
>
> Прилагаю записочку от меня для Ивана Сергеевича. Душевно Вас обнимаю.
>
> *Ваш И. А. И.*[655]

[655] Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 404—405.

Екатерина Сергеевна Фишер жила на той же улице, что и Ильин, лично она не была знакома со Шмелевым, но приняла горячее участие в жизни писателя. Шмелев был ей сердечно благодарен. Она навестила его в январе 1950 года, они переписывались. Ссуду в 500 долларов дал Кулаевский фонд, и Шмелев надеялся ее вернуть гонорарами. Требовались лекарства, никуда не исчезли обычные бытовые затраты — и приходила помощь от Александры Львовны Толстой, Ксении Васильевны Деникиной, Ивана Александровича Ильина, Раисы Гавриловны и Людмилы Земмерингов, Шарлотты Максимилиановны Барейсс, Георгия Дмитриевича Гребенщикова, архиепископов Анастасия и Серафима и многих других. Конечно, всеми силами его поддерживала Юлия Александровна Кутырина.

После операции прошло сорок дней, а Шмелев все еще вставал только на один-два часа. Но произошло сильное укрепление духовное, он утвердился в вере в милосердие Бога, все еще чувствовал на себе Его волю, хотел молиться и стать истинно православным. В третьей и четвертой — а была задумана и четвертая — книгах «Путей небесных» он хотел воспеть Господа. Пока писать было нельзя, и он объяснял это так: ему дана возможность стать духовно чистым и достойным работы над романом. Он обратился к прежним мыслям о Божьем плане:

> ...каждому дан от Господа «план жизни». И если человек вглядывается в чертеж этого плана, следует ему — его жизнь — плодотворна и благоденственна. Иначе — страдания великие. То же и у кажд<ого> народа, у нашей Земли, и у всей Вселенной... — все в «плане», все *задано* — «выполняй, а *Я* помогу тебе». Господь в вечном творчестве, так и челов<ек>(к<а>к и природа) всегда в творчестве (даже в неподвижности своей), но важно, чтобы это тв<орчест>во соответствовало хотя бы тени «плана»[656].

[656] Письмо к И. Ильину от 4.03.1950 // Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 419.

Шмелев спешил работать, чтобы принести Господу благодарение за Его милость. Он задумал написать «историю одного романа» — вступительную статью для перевода на английский язык «Человека из ресторана». Об этом он рассказал навестившему его Зеелеру. Он тревожился об условиях издания труда Ильина «Аксиомы религиозного опыта» в «Возрождении» и «ИМКА-Пресс». Он хлопотал и об Ольге Александровне, которая перенесла тяжелую операцию и нуждалась в утешении и укреплении, и он умолял Ильина приласкать ее. Сам он писал ей:

> Дорогая моя Олюшечка, я так стосковался по тебе! мое сердце прямо переполнено нежностью к тебе, такой кроткой ласковостью, такой тихой любовью, такой светлой-светлой!.. Пиши мне открытой душой, не на Вы, это коробит… теперь я всегда сам смотрю свою почту, уже недели три, как не в постели, и каждое твое письмо тотчас же убираю и запираю. О родненькая моя! Напиши, как ты себя чувствуешь, как прибывают силы, как в душеньке у тебя? Думаю, что ты отдыхаешь в санатории. Если еще нет, Олюша, поезжай, голубка... окрепнешь, соберешь себя!.. Как я хотел бы с тобой уехать в Ланды, в Капбретон... <...> Как нежно, светло думаю о тебе! Спасена и ты, родная моя, светик мой. <...> Обнимаю тебя, родная моя, и нежно смотрю в твои добрые и, порой, р а д о с т н ы е глаза. Господь да сохранит тебя! Когда лягу в постель — молюсь за тебя, как умею. Напиши поскорей, очень тоскую по тебе, не зная, что с тобой[657].

В апреле 1950 года Шмелев написал для «Русской мысли» — очень старался успеть к Пасхе — очерк «Приятная прогулка», который посвятил Дмитрию Ивановичу Ознобишину.

Рассказчик «Приятной прогулки» прочитал в газете объявление о продаже библиотеки и в Пасху отправился по указанному адресу на станцию Лопасня по Курской железной

[657] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 2. С. 727, 729.

дороге. Он молод, только что поступил в адвокатуру, и свободных денег всего пять тысяч. По дороге он встречается с известным букинистом от Проломных Ворот и книготорговцем с Моховой. Хозяин библиотеки — князь, который, как говорит встретивший их на станции кучер, жалеет народ. Вся атмосфера Пасхи радует душу. Раздается колокольный звон, народ христосуется, библиотека залита солнцем, зеленые тюлевые занавески, стол под зеленым сукном, в простенке образ св. Николая, лампадка — все говорит об устроенном мире. Даже неожиданное решение князя библиотеку не продавать, а передать по дарственной будущей читальне имени Пушкина, говорит об этом. Князь о народе отзывается так, как мог бы сам автор: народ несет в себе бессознательно-стихийную веру в то, что он не хуже других народов, что он с князьями и царями «творил Россию». Князь и его крестьяне — потомки участников битвы при Калке, и рассказчику открывается истинный смысл слова *дружина*. Есть в очерке и древний дуб, под которым похоронен предок князя, сраженный в битве при Калке. Князь умер за три года до Первой мировой войны, он завещал похоронить его на сельском погосте — среди народа.

Шмелев словно писал себе в душевное укрепление. Это видно и в языке, простом и прозрачном, без стилевой экспрессии. Например: «Дорога пообсохла, но в тенистых местах еще оставалось снегу, после великих снегопадов. На встречавшихся малых речках вода еще не вошла в русло, и мужики, в веселых рубахах, стоя в ботничках, ловили наметкой рыбу».

Ему открылось: если бы он попал в Америку, то давно бы умер. Его оперировали здесь, он спасся — и это по воле Господа и по молитвам отшедших родных. Он чувствовал, что жить осталось немного. К апрелю состояние ухудшилось, он потерял аппетит, очень сдал в весе, засыпал только со снотворным. Незадолго до смерти он сделал распоряжения о своем архиве: передал на хранение Антону Владимировичу Карта-

шеву письма к О.А. Бредиус-Субботиной. Он так ослаб, что 9 июня уже сам не смог написать ей письмо. Но он его надиктовал и в нем признался: «Все мои планы гаснут, я почти в отчаянии. <…> О, как мне скорбно», и последнее слово: «Помолитесь!»[658]

24 июня, тяжелобольным, он приехал в обитель Покрова Пресвятой Богородицы, что в 140 километрах от Парижа — в Бюси-ан-От. С ним туда последовала и М.Т. Волошина. День Шмелев провел в беседах. В девять вечера он лег спать, но вскоре матушка Феодосия и Мария Тарасовна услышали донесшийся из комнаты Шмелева шум, они поспешили к нему и увидели его лежащим на полу. Ему вводили камфару… но она не помогала. Его не стало в половине десятого.

Шмелев приехал в обитель умереть под покровом Богородицы. Это поразило матушку Феодосию. Наверное, не только ее.

Отпевали его 28 июня 1950 года в соборе Александра Невского на улице Дарю, похоронили на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа в могиле, где была похоронена его жена.

Еще накануне операции Шмелев — мы помним это — осознал, что в нем нет страха смерти. Почти за десять лет до этого он думал, что смерти — об этом он писал Ольге Александровне 20 марта 1940 года — страшатся все, даже святые, только как-то иначе, даже Толстой — от жадности к жизни и оттого, что обладал избытком воображения жизни. Но сам Толстой за шесть лет до своей смерти написал:

> Смерть (и старость) не страшны и не тяжелы тому, кто, установив свое отношение к Богу, живет в нем, знает, что то, что составляет его сущность, не умирает, а только изменяется. И умирает и стареется легко тот, кто не только знает это, но верит в это, верит так, что живет этим, так живет, что старость и смерть

[658] И.С. Шмелев и О.А. Бредиус-Субботина. Т. 2. С. 736.

застают его за работой. Всякий знает, что умереть легко и хорошо, когда знаешь, за что, зачем умираешь, и самой смертью своей делаешь предназначенное себе дело. Так легко умирают взрывающие себя или убитые в сражении воины. Так легко должны были умирать и умирали мученики, самой смертью своей служа делу всей своей жизни и жизни всего мира. Хочется сказать, что счастливы такие мученики, и позавидовать им, но завидовать нечего, во власти каждого в каждой жизни нести это мученичество в старости и смерти: умирать благословляя, любя, умиротворяя своими последними часами и минутами[659].

Слова эти целиком можно отнести к Шмелеву.

Свой «Центурион» А.М. Ремизов начал с утверждения о том, что «имя Шмелева большого круга и в России, и среди русских за границей»[660]. Карташев в опубликованной в «Возрождении» (№ 10, 1950) статье «Певец Святой Руси (Памяти И.С. Шмелева)» писал, что русское сердце, оторванное от героики житий святых, ищет святых светских; в противоположность тому, что писали о Шмелеве «академики от литературы». Он утверждал: Шмелев «спустился в недра русского простонародного церковного благочестия», и там о его творчестве судит «суд собора церкви народной», там его признали своим, «почти уже канонизировали», он признан учителем; его «Лето Господне» — что песня вифлеемского пастуха, которая когда-то «через народно-хоровое исполнение при храме превратилась в "Священное Писание"»; Шмелев будет пророком у церковных масс в послекоммунистическую эпоху, они бросятся к консервативному православию и бытовому — таков «азбучный закон реакции»[661].

---

[659] Запись от 18.06.1904 // *Толстой Л.* Философский дневник. С. 134.

[660] *Ремизов А.* Мышкина дудочка. С. 128.

[661] Центральный Пушкинский комитет в Париже (1935—1937). Т. 2. С. 443—449.

P.S. Возможно, смерть Шмелева обострила чувство одиночества и суетности земного бытия не только у его друзей, но и у того, с кем он спорил, за чьим творчеством ревностно следил, кто на протяжении его долгой литературной судьбы был ему и спутником, и противником, — у Бунина. Шмелев нередко писал о том, что любовь читателей ценнее Нобелевской премии. Вот и Бунин в 1950 году написал, по-видимому, о преходящей Нобелевской победе и о будущем упокоении:

Был праздник в честь мою, и был увенчан я
Венком лавровым, изумрудным:
Он мне студил чело, холодный, как змея,
В чертоге пирном, знойном, людном.
Жду нового венка — и помню, что сплетен
Из мирта темного он будет:
В чертоге гробовом, где вечный мрак и сон,
Он навсегда чело мое остудит.
(«Венки»).

Стихотворение написано им в связи со своим восьмидесятилетием, а значит, через три с небольшим месяца после кончины Шмелева. Бунин умер в ноябре 1953 года, а 2 мая он записал:

Через некоторое *очень* малое время меня не будет — и дела и судьбы *всего, всего* будут мне неизвестны! И я приобщусь к Финикову, Роговскому, Шмелеву, Пантелеймонову!.. И я только тупо, умом *стараюсь* изумиться, устрашиться![662]

Разбирая архивы писателя, Милица Грин пометила, что это была последняя, найденная ею запись Бунина, сделанная «каким-то заострившимся почерком»[663]. Вот и Шмелев, получив из Парижа вести о болезни Бунина, написал Ильину 12 января 1948 года: «Видать, и мне пора помирать: ничего уже не радует»[664].

662 Устами Буниных. Т. 3. С. 208.
663 *Там же.*
664 Переписка двух Иванов (1947—1950). С. 231.

Основные даты жизни и творчества И.С. Шмелева

1873, *21 сентября* (3 октября) — в семье московского подрядчика С.И. Шмелева и Е.Г. Шмелевой (из купцов Савиновых) родился И.С. Шмелев. Жил в родовом доме на Калужской улице.

1880 — смерть отца.

1884 — поступил в гимназию № 1, далее обучался в гимназии № 6.

1894 — поступил на юридический факультет Московского университета.

1895 — публикация первого рассказа «У мельницы». 14 июля женился на О.А. Охтерлони. В августе И.С. и О.А. Шмелевы отправились путешествовать в Валаамский Преображенский монастырь; перед путешествием получили благословение у старца Варнавы в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры.

1897 — рождение сына Сергея. В том же году издана первая книга И.С. Шмелева «На скалах Валаама».

1898 — окончание университета, начало службы в московской адвокатуре.

1901 — переезд во Владимир; до 1907 года служба чиновником по особым поручениям Владимирской казенной палаты.

1905 — после долгого перерыва возвращается к творчеству: написан рассказ для сына «К солнцу» (опубликован в 1907).

1906 — с этого года в периодике начали печататься рассказы Шмелева. Публикация повести «Распад (Из воспоминаний приятеля)».

1909— И.С. Шмелев становится участником литературного кружка «Среда».

1910 — вошел в товарищество «Знание».

1911 — публикация повести «Человек из ресторана». В том же году в печати появляется рассказ «Рваный барин».

1912 — опубликован неореалистический рассказ «Пугливая тишина». Организация «Книгоиздательства писателей в Москве». Здесь с 1912 по 1914 г. выходило восьмитомное собрание сочинений Шмелева.

1913 — написаны характерные для неореализма рассказы «Ростани», «Волчий перекат».

1914 — Шмелевы снимают дачу в селе Оболенском Калужской губернии. Начало Первой мировой войны. И.С. Шмелев приступил к созданию очерков о деревне в военное время «Суровые дни».

1915 — призван в армию Сергей Шмелев.

1916 — с этого года по 1917 г. Сергей Шмелев воевал в составе артиллерийской бригады. Написан посвященный сыну рассказ о войне «Лик скрытый».

1917 — с 14 марта по 16 апреля И.С. Шмелев как корреспондент «Русских ведомостей» путешествует по Сибири в поезде, предназначенном для встречи амнистированных политзаключенных; во время поездки созданы очерки «В Сибирь за освобожденными». В декабре написан отразивший антиоктябрьские настроения Шмелева очерк «Про модные товары», вошедший в цикл «Пятна».

1918 — в июне И.С. и О.А. Шмелевы, а также вернувшийся с фронта Сергей уехали в Крым, поселились под Алуштой. В ноябре завершена повесть «Неупиваемая чаша». В конце 1918 г. Сергей мобилизован в Добровольческую армию.

1919 — Шмелевым написаны сказки, в которых изображены катастрофические последствия революционной свободы.

1920 — арест Сергея 4 декабря; 29 декабря его приговорили к расстрелу.

1921 — в конце января Сергей расстрелян. Шмелевы отправились в Феодосию на поиски сына; не получив никаких сведений, вернулись в Алушту.

1922 — в марте Шмелевы переехали в Москву. Завершен начатый в Крыму рассказ «Это было», посвященный трагедии человеческого разума. 13 ноября Шмелевы прибыли в Берлин.

1923 — в январе Шмелевы переехали в Париж и поселились у племянницы О.А. Шмелевой — Ю.А. Кутыриной, на улице Шевер. С июня до начала октября гостили у Буниных в Грассе. Там Шмелев закончил работу над эпопеей «Солнце мертвых». В этом году писатель стал членом Русского национального комитета, которым руководил А. В. Карташев.

1924 — в феврале Шмелев выступил с речью «Душа Родины» на вечере «Миссия русской эмиграции». Создан рассказ «На пеньках».

1927 — написана «История любовная. Роман моего приятеля». Вышел в свет сборник рассказов «Про одну старуху». Шмелевы поселились в Севре, где жили до 1933 г.

1928 — вышли сборники рассказов «Мэри», «Свет разума». С этого года в периодике публикуются очерки, впоследствии составившие книгу «Лето Господне».

1929 — в мае писатель заявил о своем разрыве с «Возрождением». Вышла в свет книга «Въезд в Париж».

1930 — в этом и следующем году на страницах «России и славянства» публикуется «Богомолье».

1931 — в январе Т. Манн отправил письмо членам Шведской Академии о выдвижении Шмелева на Нобелевскую премию; в феврале профессор Н. ван Вейк послал в Нобелевский комитет письмо-выдвижение на Шмелева.

1933 — вышла в свет книга «Лето Господне. Праздники». В конце года Шмелевы переехали из Севра в парижский пригород Булонь (Boulogne Billancourt). Известие о смерти матери.

1934 — в «Современных записках» напечатан роман «Няня из Москвы». 10 марта состоялось первое его публичное чтение Шмелевым.

1935 — отдельным изданием в Белграде вышло в свет «Богомолье». В мае состоялось публичное выступление Шмелева в «Союзе Русских Дворян». В том же году написан очерк «Старый Валаам».

1936 — 22 июня скончалась О.А. Шмелева. Поездка в Латвию, три дня в Печорах. Выступление в Берлине, встреча с И.А. Ильиным.

1937 — в январе в «Добровольце» появилась статья Шмелева «Сынам России», посвященная столетию гибели А.С. Пушкина; 11 февраля он, вместе с А.В. Карташевым и Д.С. Мережковским, выступил на торжественном заседании Пушкинского комитета. 13 мая — выступление в Праге, на Дне русской культуры; 14 и 15 мая — публичные чтения Шмелева в Праге. С 17 мая писатель гостил в обители преподобного Иова Почаевского. 12 июня — возвращение во Францию. Отдельной книгой в книгоиздательстве «Возрождение» вышел первый том романа «Пути небесные».

1938 — с начала года по 20 апреля Шмелев, по приглашению переводчицы его произведений Р. Кандрейя, жил в Швейцарии, где работал над романом «Иностранец», оставшимся незавершенным. На Пасху состоялись публичные чтения в Праге. 2 июня — возвращение в Париж. С 15 октября жил в Париже на улице Буало.

1939 — в «Возрождении» опубликован первый вариант «Куликова Поля». Второй вариант был готов в 1947 г. 12 июня получено первое письмо от О.А. Бредиус-Субботиной.

1942 — в феврале князь А.Н. Волконский передал И.С. Шмелеву от великого князя Владимира Кирилловича письмо, в котором было выражено восхищение «Богомольем». В декабре написан рассказ «Рождество в Москве».

1943 — 3 сентября во время авиационной бомбардировки Парижа Шмелев чудесным образом избежал гибели.

1944 — 6 января Шмелевым написано распоряжение душеприказчикам о перезахоронении праха его и О.А. Шмелевой в Москве на кладбище Донского монастыря. Весной написан рассказ «Почему так случилось».

1946 — в апреле состоялась встреча с О.А. Бредиус-Субботиной.

1947 — начало сотрудничества с «Русской мыслью». Закончена работа над вторым томом «Путей небесных». В декабре Шмелев выехал в Женеву

1948 — второе издание «Богомолья», в окончательном варианте вышло в свет «Лето Господне. Праздники — Радости — Скорби». 17 июня в Женеве проходят публичные чтения Шмелева в пользу здравницы для больных русских детей. 26 июня — публичные чтения в Цюрихе.

1949 — в январе закончен рассказ «Записки неписателя». В марте — возвращение в Париж. 23 ноября писатель исповедовался и причастился у архимандрита Мефодия (Кульмана). 26 ноября И.С. Шмелеву сделана операция.

1950 — в апреле написан рассказ «Приятная прогулка». 24 июня — кончина И.С. Шмелева в обители Покрова Пресвятой Богородицы в Бюси-ан-От (близ Парижа). Похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа в могиле жены.

30 мая 2000 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и при его участии прах писателя и его супруги был перезахоронен в Москве, на кладбище Донского монастыря*.

---

* В 2005 году прах Ивана Александровича и Наталии Николаевны Ильиных, Антона Ивановича и Ксении Васильевны Деникиных был перезахоронен в Москве — тоже на кладбище Донского монастыря.

Указатель имен

Содержание

Солнцева Н.М.

С 60 Иван Шмелев. Жизнь и творчество. *Жизнеописание*. М.: Эллис Лак, 2007. — 512 с.

ISBN 978-5-902152-45-3

Книга посвящена личной и творческой судьбе выдающегося писателя Ивана Сергеевича Шмелева, автора таких известных произведений, как «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне». Среди героев жизнеописания — И. Бунин, И. Ильин, А. Деникин, К. Бальмонт, А. Карташев, А. Куприн, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов, С. Маковский и многие другие яркие представители русской эмиграции, — те, с кем Шмелев был непримирим, и те, с которыми он был духовно близок.

ББК 84(2рос=Рус)6-4

Наталья Михайловна Солнцева

ИВАН ШМЕЛЕВ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Жизнеописание

Корректор *Е.И. Коротаева*

Подписано в печать 31.01.07
Формат 84x108/32
Бумага офсетная № 1
Печать офсетная
Печ. л. 26,00 + вклд.
Уч.-изд. л. 19,00
Тираж 3000. Заказ № 2280.

Издательство «Эллис Лак 2000»
123242, Москва, Красная Пресня, д. 6/2, к. 16

Тел. 254 7472. Факс 254 2611.
E-mail ellisluck2000@mail.ru





Вид на Каменный мост и Кремль из Замоскворечья.
И.Н.Раух. Вторая половина 1830-х гг.



Открытие памятника А.С. Пушкину 6 июня 1880 г.
Гравюра по рисунку с натуры Н. Чехова



Калужская площадь. Здесь находилась приходская церковь семьи Шмелевых. *Фото начала XX в.*



О.А. Охтерлони



Ольга Александровна, Иван Сергеевич
и Сережа Шмелевы



Первый сборник «Издательского товарищества писателей»
1912 года, в котором опубликован рассказ
И.С. Шмелева «Пугливая тишина»



Иван Сергеевич, Ольга Александровна, Сергей Шмелевы.
1915 г.



Портрет И.С. Шмелева.
Художник Я.Я. Калиниченко. 1917 г.



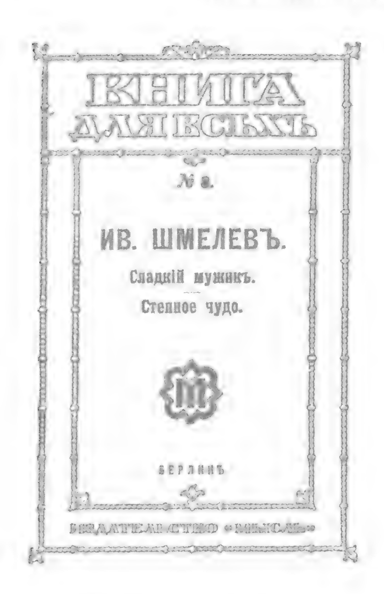
Арбатская площадь в 1920-е гг.
Слева: ресторан, описанный в «Человеке из ресторана»



Сергей Шмелев.
1917 г.



Семья Шмелевых в Крыму. *1920 г.*



КНИГА ДЛЯ ВСѢХЪ

№ [illegible]

ИВ. ШМЕЛЕВЪ.

Сладкій мужикъ.

Степное чудо.

БЕРЛИНЪ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ»

Берлинское издание сказок И.С. Шмелева. *1921 г.*



ИВ. ШМЕЛЕВЪ.

НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША

ПАРИЖЪ

Титул изданной в Париже в 1921 г. книги «Неупиваемая чаша». *На штампе надпись: «Русское Студенческое Христианское Движение. Эта книга подарена фондом Помощи Верующим в СССР при РСХД – Париж»*

Берлин. Потсдамская площадь.
1920-е гг.



Париж. Замок Консьержери (Дворец Правосудия), набережная Часов.
Почтовая открытка 1920-х гг.



О.А. Шмелева, В.Н. и И.А. Бунины, И.С. Шмелев.
Грасс. 1923 г.



И.С. Шмелев на берегу Атлантического океана.
1925 г.

Стоят: А.И. Деникин, Ив Жантийом, Н.К. Кульман;
сидят: И.С. Шмелев, О.А. Шмелева.
Капбретон. 1925–1926 гг.



Стоят: А.И. Деникин, И.С. Шмелев, К.В. Деникина.
Сидят: Ив Жантийом, Марина Деникина, О.А. Шмелева.
Капбретон. 1926 г.



И.С. Шмелев, К.Д. Бальмонт, Мирра Бальмонт, Ив Жантийом.
Вилла «Жаворонок». Капбретон. 1920-е гг.



И.С. Шмелев.
1923 г.



Пражское издание книги И.С. Шмелева, куда вошли «Неупиваемая чаша», «Это было», «Чужой крови». *1924 г.*



И.А. Бунин. *1924 г.*



А.И. Куприн. *1926 г.*



Журнал «Современные записки»



ВОЗРОЖДЕНІЕ

Vozrojdenie — La Renaissance

Юбилейный номер газеты «Возрождение». 3 июля 1927 г.

Главный редактор П.Б. Струве, редактор Ю.Ф. Семенов



П.Н. Милюков. *Шарж Griffon'a, опубликованный в «Иллюстрированной России». 1925. № 4.*



Г.В. Адамович



Д.С. Мережковский



За письменнымъ столомъ.



За книгой.

Мы застали Ивана Сергѣевича за работой.

— О старой русской вербѣ пишу! съ улыбкой пояснилъ И. С., указывая на рукопись. — Помните?

И писатель прочиталъ намъ маленькій отрывокъ изъ только-что написаннаго. Раздвинулись стѣны, и въ скромную эмигрантскую комнатку ворвался милый веселый шумъ старой Москвы. И показалось на минуту, что это не Парижъ, не лѣвый берегъ Сены у Дома Инвалидовъ, а уголокъ старой Россіи въ вербную субботу, когда пахнетъ весной и такъ весело кричатъ торговцы о тещиномъ языкѣ, умирающемъ чортѣ и объ американскомъ жителѣ.

И. С. мастерски читаетъ — ярко, выразительно и это еще больше усиливало впечатлѣніе отъ художественной правдивости разсказа...

Отъ вербы перешли къ дѣйствительности.

— Какъ видите, улыбнулся писатель, не забылъ...

Не оторвался отъ русской почвы... А вѣдь какъ намъ, писателямъ-эмигрантамъ глаза колятъ этой несуществующей оторванностью... И не только одни большевики... даже извѣстная часть эмиграціи.

Тема эта видно волнуетъ писателя и онъ продолжаетъ:

— Эти упреки совершенно необоснованы. Намъ, писателямъ-эмигрантамъ, не нужно входить въ соприкосновеніе съ современной русской дѣйствительностью, чтобы правдиво изображать и русскій духъ и русскій бытъ. Мы очень хорошо знаемъ Россію и носимъ ее въ душахъ нашихъ. Временное пребываніе заграницей даже полезно писателю. Оно расширяетъ его кругозоръ, заставляетъ по иному взглянуть на русскую сущность... Вѣдь ѣздили же раньше наши писатели за-границу?.. И творили заграницей! Вспомните Тургенева, Достоевскаго...

И. С. Шмелевъ въ Парижѣ четвертый годъ. Собственно въ Парижѣ авторъ «Солнца мертвыхъ» проводитъ меньшую часть года. 7 мѣсяцевъ въ году живетъ онъ на берегу океана въ Ландахъ, неподалеку отъ Біаррица.

— Вотъ скоро опять туда... 1-го апрѣля. И до самой осени, до ноября. Тамъ хорошо работается. Въ Парижѣ нельзя такъ спокойно работать. Здѣсь многое отрываетъ отъ стола: знакомые, общественная дѣятельность.

Заботамъ объ инвалидахъ и безпризорныхъ И. С. Шмелевъ отдается душевно и это, конечно, отнимаетъ время.

Работаетъ И. С. чаще всего по вечерамъ. Иногда захватываетъ часть ночи.

Въ данный моментъ И. С. заканч



И. С. Шмелевъ диктуетъ.
За машинкой его супруга Ольга Александровна.

Как живет и работает И.С. Шмелев.
«Иллюстрированная Россия». 1926. № 10



И.С. Шмелев.
Рисунок А.А. Гефтера. 1920—1930-е гг.



И.С. Шмелев. *Фотопортрет на почтовой открытке.*
Вторая половина 1920-х гг.



К.Д. Бальмонт у И. С. Шмелев.
Капбретон. 1926 г.



Капбретон. Открытка с видом канала.
На обороте письмо Е.К. Цветковской О.А. и И.С. Шмелевым от 18 апреля 1928 г.



И.С. Шмелев и Ив Жантийом.
Середина 1920-х гг.

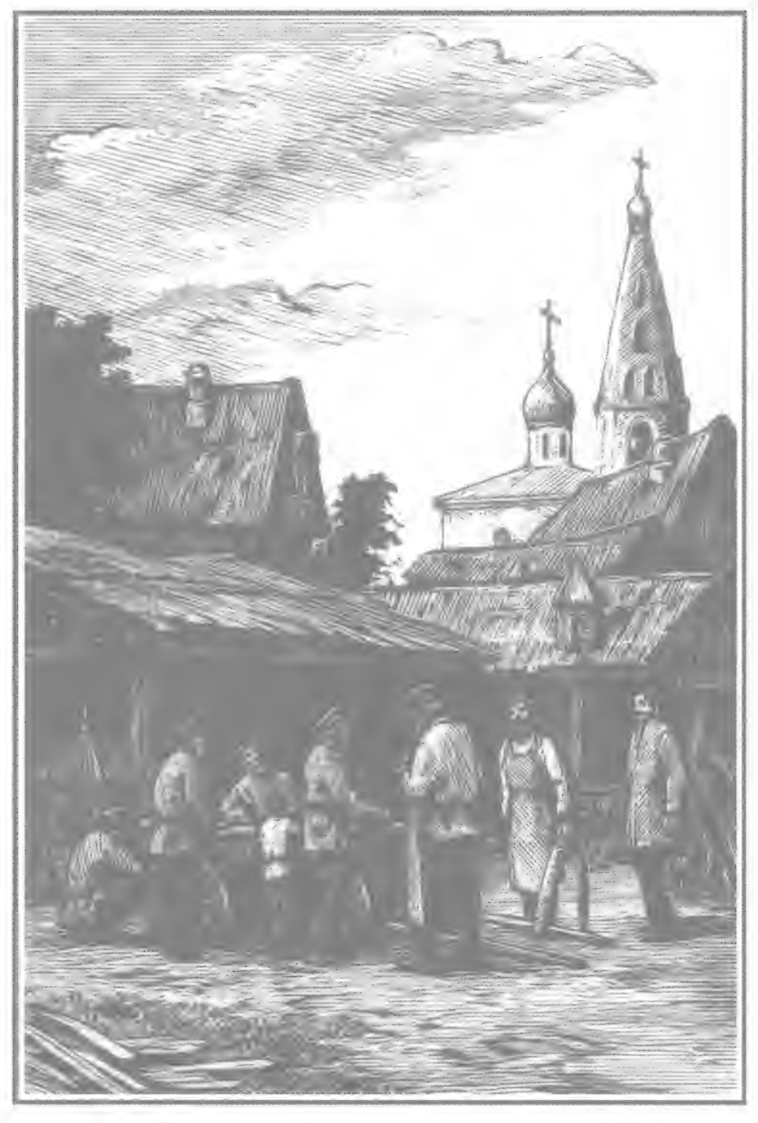


И.С. Шмелев. *1930 г.*

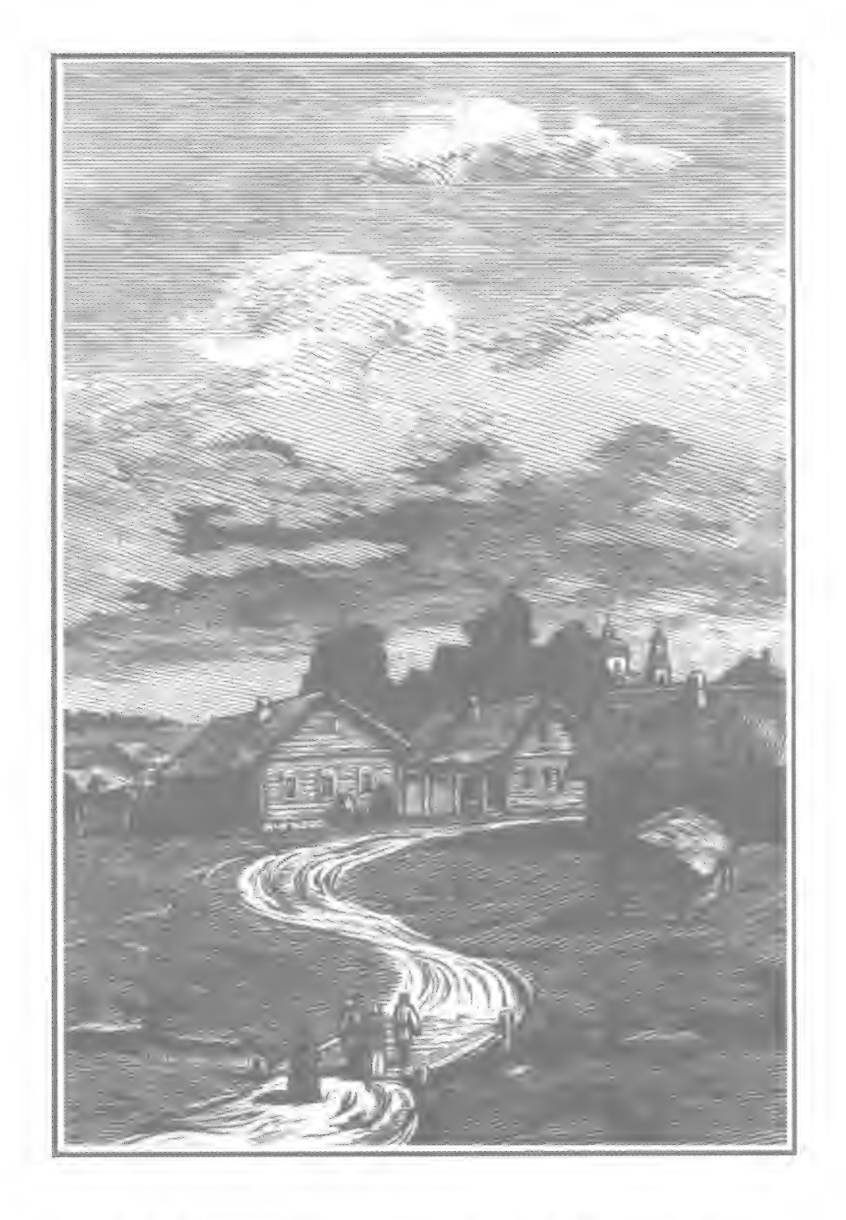
Севр. Дом, в котором жили И.С. и О.А. Шмелевы
в 1928–1933 гг.



На рыбалке



«Колесник <...> все на тележку смотрит.
– Слажено-то ведь ка-ак, а!.. <...> А дуга где?
Находят дугу, за санками».
Иллюстрация к изданию «Богомолья» (Москва, 1994).
Художник Ф.В. Домогацкий



«Вон уж и Пушкино. <...> Переходим Учу по смоляному мосту».
Иллюстрация к изданию «Богомолья» (Москва, 1994).
Художник Ф.В. Домогацкий



И.А. Ильин.
На обороте его автограф: «Другу мудрому, зоркому, светлому Ивану Сергеевичу Шмелеву. 1931. Апр. 25. Севр»

Торжественное собрание памяти А.С. Пушкина 11 февраля 1937 г. В президиуме В.А. Маклаков, Д.С. Мережковский, И.С. Шмелев, А.В. Карташев, М.М. Федоров, Н.К. Кульман и др.



Редакционный комитет «Иллюстрированной России»: И.С. Шмелев, И.А. Бунин, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, Б.К. Зайцев. *1936 г.*



Портрет И.С. Шмелева.
Художник Е.Е. Климов. 1936 г.


А.В. Карташев


К.В. Мочульский


А.В. Амфитеатров


В.Ф. Зеелер



И.С. Шмелев. *1941 г.*

О.А. Бредиус-Субботина. *Автопортрет. 1942 г.*



О.А. Бредиус-Субботина. *1941 г.*



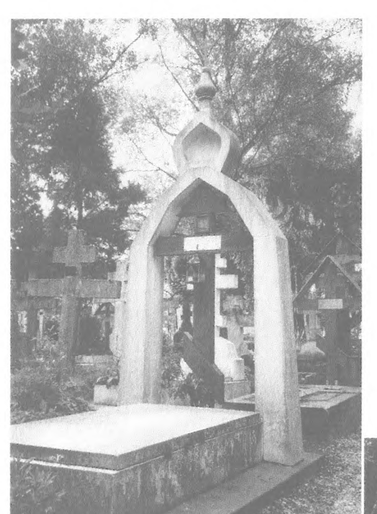
А.М. Ремизов и И.С. Шмелев.
Париж. 1940-е гг.



Столовая в квартире И.С. Шмелева.
Париж. Около 1950 г.



Кабинет И.С. Шмелева.
Париж. Около 1950 г.



Могила И.С. и О.А. Шмелевых на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. *Фото А.А. Романова*
◄

Могила И.С. и О.А. Шмелевых на кладбище Донского монастыря в Москве. *Фото А.А. Романова*
▼

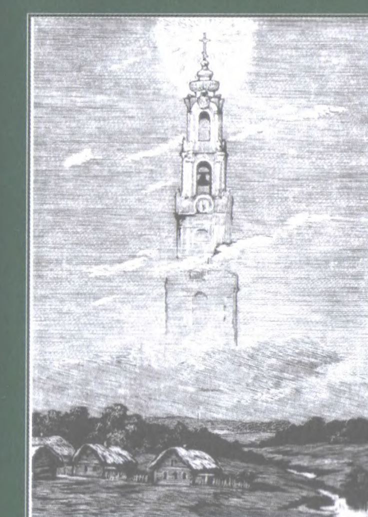
Н.М. Солнцева

ИВАН ШМЕЛЁВ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ИВАН ШМЕЛЁВ ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Н.М. Солнцева



«Розовое я вижу, в золоте, –
великую розовую свечу,
пасхальную.
Стоит над борами, в небе».

Иллюстрация к изданию «Богомолья»
(Москва, 1994)
Художник Ф.В. Домогацкий